Иностранная литература

2

1963

Иностранная литература
2
1963

Иностранная литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

РОБЕРТ ФРОСТ — «Увидеть Завтра юности глазами...» (Стихи) 4

ЯН КЕРЬЮ — Прикосновение Мидаса (Роман. Окончание) 8

ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ — Стихи из разных сборников (Вступительная статья М. Бажана и Г. Брейтбурда) 128

АТАНАС НАКОВСКИЙ — Мария против Пиралкова (Роман. Окончание) 132

ПОЭТЫ ГАНЫ

Дж. В. Б. ДАНКВА — Голоса моря . . . 187

ДЖОН ОКАЙ — Воды большой реки . . . 188

КРИТИКА

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН — Семена будущего . . 189

ВОЛЬФГАНГ ИОХО — Новые голоса в литературе ГДР 197

ВЛАДИМИР ОГНЕВ — О поэзии Тадеуша Ружевича 201

Е. ГАЛЬПЕРИНА — Путь Яна Керью . . . 207

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Обозрение зарубежной прессы 216

СОВЕТСКОЙ АРМИИ 45 ЛЕТ

ЯНУШ ПШИМАНОВСКИЙ — Крепче брони . 221

2

ФЕВРАЛЬ

1963

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»

Москва

ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

РОЖЕ ШАПЛЕН-МИДИ — Саморазрушение искусства 226

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

ПЬЕР АБРААМ — На что живет французский писатель 230

ПУБЛИЦИСТИКА

ХОРСТ ШЕПОНИК — Когда мистер Хаули хлопнул дверью... (Документальный очерк о Западном Берлине) 230
ЯН ДРДА — Говорит Фидель... (Из путевых заметок) 242

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

ЖУЖА ФЕХЕР — Искусство Карола Раслера 245

КАЛЕНДАРЬ «ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Д. МАРКОВ — В боевом строю 253

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

По страницам журналов социалистических стран 255

СРЕДИ КНИГ

ИЗДАНО В СССР

Т. Мотылева — Книга об Арагоне. ◇ А. Турков — Монголия — прекрасная страна... ◇ М. Ваксмахер — Говорит испанский поэт 259

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

И. Бернштейн — Когда мертвые поют. ◇ Л. Зонина — Этот остров — большая земля ◇ Егор Кутявин — Новая пьеса Шона О'Кейси 265

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ 270

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

Хроника 272

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

На обложке рисунок ЭЛИЗАБЕТ КЭТЛЕТТ (Мексика) «Мальчик»

К. БАРАСКИ «Памятник советским героям». 1945 г., Румыния.

РОБЕРТ ФРОСТ

«Увидеть Завтра юности глазами...»

С ночью я знаком

Уж много лет как с ночью я знаком.
Ведь сколько раз во тьму я уходил
Под дождь и возвращался под дождем.

Глухими улицами я бродил,
И, ослепленный чьим-то фонарем,
Глаза от света наземь отводил,

И снова пробирался я тайком,
Услышавши, как заглушенный стон
Прервался вдруг во тьме, там, за углом.

Часов я слышал полуночный звон,
И циферблат их говорил о том,
Что, как и время, безразличен он:

Добра и зла не различишь ты в нем.
Уж много лет как с ночью я знаком.

Что сказали мои пятьдесят

Учили старики, а я был молод.
Сталь ощущала старой формы холод,
Учебой тяготился я дотошной,
И обучался мудрости я прошлой.

Теперь я стар, а учат молодые.
Хоть неподатливы, увы, седые,
А все ж, старик, стараюсь вровень с вами
Увидеть Завтра юности глазами.

Светлые часы

Я вышел вечер проводить —
Со мною некому бродить,
Но оторваться не могу
От глаз оконных на снегу.

Со мной все те, кто там в домах:
Смычка я вижу твердый взмах,
Парней танцующих, девиц
И блеск их глаз, румянец лиц.

И долго с ними я бреду,
Толкуя громко, как в бреду.
Когда ж вернусь я при луне —
Нет света ни в одном окне.

Всего лишь десять. Их покой
Часов не нарушает бой,
Но, словно зов, разбудит звук
Моих шагов и палки стук.

Перевод с английского ИВАНА КАШКИНА

Ни далеко, ни глубоко

Нрав у людей такой:
Им на песке не лень,
К берегу сев спиной,
В море глядеть весь день.

Парусной лодки крыло
Там оживляет вид,
Порою воды стекло
Чайку на миг отразит.

Берег хорош собой
И многообразней стократ,
Но бьет о песок прибой,
И люди в море глядят.

Не видят они далеко,
Не видят они глубоко.
Но в мире им нет преград:
Смотрят, куда хотят.

Однажды что-то было

Люди смеются, что я встаю на колени
Перед колодцами и изучаю подолгу
Непроницаемую поверхность воды,
Где вижу только собственное отраженье,
Богоподобное на фоне небес,
В нимбе из мха и медлительных облаков.
Однажды, уткнувшись в колодезный сруб
подбородком,
Я, как мне показалось, увидел, что где-то
За моим отраженьем что-то белеет,
Что-то на дне колодца, что сразу исчезло.
Вода упрекнула слишком прозрачную воду.
Капля упала со мха, и то, что виднелось
На глубине, вдруг исказилось, смутилось,
Из виду скрылось. Но что там было на дне?
Истина? Беленький кварц? Что-то да было.

РОБЕРТ ФРОСТ

Рисунок художника Д. Дарана, сделанный на вечере поэта в Библиотеке иностранной литературы 5 сентября 1962 г.

Лодка с цветами*

В цирульне рыбак небылицы плетет,
Внимает компания сказкам цветистым,
А перед террасой у самых ворот
Лодка его обрела себе пристань.

Она взобралась на волну песка,
Наполнена выше бортов цветами —
Вот так же ее наполняла треска
Во время путины хорошими днями.

И, судя по райскому грузу цветов,
Хозяин и лодка в мечтах неизменных
Готовы рвануться по воле ветров
И вместе искать Острова Блаженных.

Остановившись у леса снежным вечером

Чей это лес? Я вспомнил чей.
Его хозяин средь гостей;
Не видит он, как я смотрю
На снег, летящий меж ветвей.

Моей лошадке не понять,
Что может здесь меня занять:
Мороз, жилья в помине нет,
Лишь темный лес да речки гладь.

Она тряхнула бубенцом:
Быть может, ты ошибся в чем?
А я молчу, и слышно лишь,
Как снег звенит под ветерком.

А лес манит, красив, глубок...
Но дело надо сделать в срок.
И до ночлега путь далек.
И до ночлега путь далек.

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

---

* В рыбацких поселках Новой Англии сажают в старых лодках цветы и ставят их перед домом.

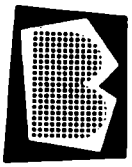
ЯН КЕРЬЮ

Прикосновение Мидаса

РОМАН

Перевод с английского Н. ВЫСОЦКОЙ
Под редакцией Н. МАН

ГЛАВА ПЯТАЯ



ременами Индра злилась на меня, смеялась над тем, как я одет, над моим выговором, над моей черной кожей. Когда к ней приходили школьные подружки, она непременно звала меня и старалась сказать мне что-нибудь оскорбительное. А то жаловалась отцу, что я ленив и дерзок.

— Что ты сделал, Арон, с моей дочерью? — как-то спросил он. Я наполнял хинином капсулу, и она выпала у меня из рук. Повернувшись к доктору спиной, я подобрал капсулу.

— Я ничего с нею не сделал.

— Она становится взрослой, и это болезненный процесс. Порой и мне от нее достается,— сказал он, и я услышал, что он потирает руки.

Днем она оскорбляла или не замечала меня, а по ночам лежала в моих объятиях на кровати Сантоса и клялась мне в любви. А иногда на коленях молила простить ее. Мы транжирили нашу страсть, как пьяный резальщик тростника — выигранные в лотерею деньги. На целую жизнь хватило бы того, что мы растрачивали за одну ночь. Индре едва исполнилось пятнадцать, но она превратилась в женщину в первый же месяц нашего знакомства: бедра раздались и округлились, быстрая мальчишеская походка исчезла, словно руки и ноги ее переняли плавность движений склоняемых ветром пальм. Она непрестанно твердила, что хочет ребенка, каждую ночь просила меня об этом и грозила мне всякими бедами. Родители следили за ней, а она бесстыдно обманывала их, хитрая, как оцелот. Иногда я слышал, как она с безжалостным пылом юности запугивала мать, и мне становилось жаль старую больную женщину. Иногда я думал, что она может предать и меня, но я гнал от себя эти мысли и радовался тому, что было сейчас.

Однажды ночью мы лежали в кровати Сантоса. Прижавшись щекой к моей груди, Индра заговорила, я почувствовал ее теплое дыхание.

— Мама привезет для меня молодого человека. Она говорит, что я уже женщина и мне пора замуж.

Я лежал тихо-тихо, казалось, что к спине мне прижали кусок холодного железа.

Окончание. Начало см. № 1, 1963 г.

— Ты молчишь, Арон? Тебе все равно? Я знаю, ты просто хочешь попользоваться мною, а что будет дальше, тебе безразлично.

Индра прижалась ко мне всем телом, потом соскочила с кровати.

— Ты не любишь меня! — крикнула она.

— Ты знаешь, что это неправда. Я готов для тебя на все, на все!

— Не смей ко мне больше притрагиваться. Да кто ты вообще такой? Черное ничтожество из захолустной деревушки!

Я метнулся к ней и крепко схватил ее. Она плюнула мне в лицо, ногтями расцарапала мне спину. Я бросил ее на кровать. Это походило на схватку с леопардом. Казалось, вся она превратилась в когти и злость. Она кусалась, царапалась, вырывалась, но я все крепче стискивал ее.

— Черная скотина! Черный зверь! — шипела она.

Я прижал ей руки к бокам и заставил лечь. Я сидел рядом и ждал, пока она не выдохнется, а она извивалась, выкручивалась и брыкалась. Наконец я навалился на нее, тяжело дыша, обливаясь потом. Она вдруг сникла и заплакала.

— Я никого не хочу, кроме тебя, Арон, только тебя. Дай мне ребенка, Арон. Я хочу от тебя ребенка.

— Они не могут отнять тебя у меня, Индра. Вырвать тебя из моего сердца и меня — из твоего. Пусть я буду у тебя один. Сбереги, девочка, все, все для меня. Весь день, работая в кабинете доктора, я чувствую запах твоего тела, твой жар.

— Я никого не хочу, кроме тебя, Арон. Подари мне ребенка, тогда мне волей-неволей придется выйти за тебя замуж.

Мы говорили, касаясь друг друга губами, словно слившись воедино. Ветер шумел, точно крылья громадной летучей мыши, но вот Сантос прошептал у двери:

— Теперь уходите-ка лучше оба. Никак наверху зашевелились.

■

Индра вернулась в свой монастырь в начале сентября. Она уехала, и все кончилось. Она обещала написать мне — мы ведь условились с ней бежать: получив от нее весточку, я должен был дождаться ее около монастыря и отвезти в Махайку. Но, когда она уехала, я понял, что все это невозможная затея. Никогда не захочет она стать босоногой деревенской девчонкой.

Я смотрел сквозь стекло на яркий день, на ветер, катившийся через плантации тростника, на ворон, черными точками усеявших небо, смотрел, как вдоль дальнего берега канала цепочкой шли резальщики тростника, держа тесаки на плече, а на тесаках болтались котелки. Доктор, должно быть, окликнул меня уже несколько раз, потому что теперь он подошел и потряс меня за плечо.

— Что с тобой? Нам тут некогда возиться с мечтателями.

Вечером Сантос предостерег меня:

— Да не показывай ты виду, дружище. Ты же выдаешь себя с головой. Ходишь с такой постной вывеской, что все, даже Марта, а она дальше собственного носа ни шиша не видит, говорят: «Мальчишка мечется, как обезьяна, потерявшая своего детеныша; все забивает себе голову этими книжками, гляди, как бы совсем не свихнулся». Или ты что задумал? Баб-то ведь на свете полным-полно.

Я очень сожалел, что роман мой остался в тайне. Было бы неплохо, если б все узнали, что сирота, бывший на побегушках у доктора, завоевал любовь Индры.

— Неужели, Сантос, по моему лицу все видно?

— За целую милю видно, дружище.

— Она меня никогда не бросит. Она поклялась, что выйдет за меня замуж.

— Не слишком ли ты, друг, размечтался?

— Ты ее недолюбливаешь, Сантос.

— Не то чтобы я ее не любил, да неохота, чтоб тебе натянули нос.— Он снял шапку и поскреб в затылке. Так он делал всегда, когда его что-нибудь беспокоило. И вдруг переменил разговор:— А нашего-то переводят в другое место. Слыхал?

— Мне он не говорил, но я слышал, как он разговаривал с хозяйкой.

— Мы поедем в сумасшедший дом под Бербисом,— объявил Сантос.

— Да, на шесть месяцев. А потом в Майхони. Оттуда до твоей деревни рукой подать. Сможешь проведать своих стариков.

— Хорошо бы.

■

Доктор, Сантос и я поехали в психиатрическую лечебницу на машине, а хозяйка и слуги добрались поездом из Джорджтауна до парома у Росиньоля. По дороге в Бербис я попросил доктора остановиться в Махайке. Я прошел по тропинке к моему старому дому и нашел тетушку Мур в кухне.

— Тетушка Мур! Это я, Акула!

— Слава тебе, господи! Ты вернулся, сынок, домой?

— Нет, только заглянул на минутку повидаться с тобой. Доктор ждет меня в машине.

— Ну и вырос же ты! И одет по-городскому!.. И говоришь-то как городской. Чего же ты не написал нам, что приезжаешь?

Я огляделся вокруг: все стало меньше — и хижины, и дворики, и манговые деревья, и дерево-сиротка, даже заросли шафрана между дорогой и корридовыми деревьями как-то осели и съежились. Тетушка Мур постарела, морщины на ее лице стали глубже, глаза слезились.

— Да все некогда было, никак не мог собраться написать. А у вас тут все в порядке?

— Раз на раз не приходится. У нас все по-старому, ничего нового.— Она пошла в кухню и вынесла мне фруктов и кусок баранины.

— Тебя там голодом, что ли, морят? Ишь, с лица-то совсем спал! Надо бы, сынок, есть побольше. Вот старик-то обрадуется!

— Мне, тетушка, пора. Будь здорова.

— О господи! Ну и вырос же ты!

— Всего хорошего, тетушка Мур!

Брата Кристофера я нашел в задней комнате его аптеки. Он сидел в кресле и смотрел на реку.

— Мальчик мой вернулся!

— Только повидаться с вами, брат Кристофер.

— Незачем было мне и спрашивать. Ты не вернешься. Здесь тебе слишком тесно.— Он откинулся в кресле, и я заметил, что лицо его пожелтело и сморщилось.

— Я видел тетушку Мур,— сказал я.

— У нее только и разговору что о тебе, даже когда ты перестал писать. А ты выровнялся, видно, в дядю Ричарда пошел, только, слава богу, его подлости не унаследовал. Да неужели так уж трудно написать несколько слов, что жив, мол? Может, придет день, когда ты обрадуешься, что есть на свете два старика, которые в тебя верят и не покинут тебя в беде.

— Я буду писать, брат Кристофер, обязательно буду.

— А каким ветром тебя занесло к нам?

— Доктора переводят в Бербис. Мне пора, брат Кристофер, право же пора.

— Ты приедешь еще, Арон? Приедешь?

— Да, брат Кристофер.

— Не заставляй себя ждать слишком долго, мой мальчик.

■

Больница была расположена в красивой местности. От города Нью-Амстердама ее отделяли широкие поля проса и маниоки, а от деревушки Канье — густые манговые заросли и речка. Уединенную территорию больницы пересекали обсаженные деревьями, посыпанные красным толченым кирпичом дорожки. Административные здания, коттеджи, больничные корпуса, мастерские и площадки для игр были обнесены забором и высокой зеленой изгородью. Тут жило человек шестьсот — больные и обслуживающий персонал. Когда сторож закрывал большие бревенчатые ворота, мы оказывались отрезанными от города и соседних деревень.

Больные подстригали газоны, пололи цветочные клумбы. Мирное зрелище открывалось взору. Медленно передвигались фигуры больных, служители прохлаждались в тени, но, словно для того, чтобы напомнить, что вы вступили в мир отверженных и проклятых, из северного корпуса доносились душераздирающие вопли — я таких сроду не слыхал.

— Там они держат буйных,— сказал доктор, указывая на каменное здание у реки.

Стены дома были увиты виноградом, и я заметил огромных бабочек, танцевавших на темно-зеленом фоне.

Дом управляющего находился рядом с проезжей дорогой, его окружали высокие фламбояны. Из окон верхнего этажа за деревьями виднелась темно-желтая река, заросли мангов.

Помню, как с приветливым, спокойным, ничего не выражавшим лицом доктор Рам совершал обход больных, пробиваясь сквозь чащу затаенного безумия. Психические заболевания не были его специальностью, но он был добр и беспредельно терпелив. Он придерживался теории, что безумие — результат заболевания желез внутренней секреции, но практических выводов из этого не делал и, в общем, должно быть, причинил мало вреда, пробыв полгода во главе больницы. Больных присылали сюда из других больниц, со всех уголков Гвианы. Некоторое время умалишенных держали взаперти под наблюдением, потом их осматривал врач и представитель властей.

Принятых в больницу разбивали на группы, на тихих и буйных, физически здоровых и слабых, платных и бесплатных. Мужчины работали на ферме или рубили деревья на острове, в устье реки, а женщины пололи клумбы, убирали палаты, работали в прачечной и в кухне.

■

Хозяйка болела и капризничала пуще прежнего. Все знали, что жить ей осталось недолго, но сама она не хотела с этим примириться. Если у нее хватало сил, она просиживала целыми днями в кухне, то и дело заставляя одну из девушек держать перед собой зеркало. Пристально разглядывая себя, она хвастала своей былой красотой и многочисленными победами. Родные навязали ей доктора, плакалась она, а она с самого начала жалела, что вышла за него замуж. Марта, с годами все больше худевшая, терпеливо слушала бредни своей госпожи и если замечала, что кто-нибудь из девушек улыбается, давала провинившейся затрещину и прогоняла ее из кухни. Марта была очень предана семье доктора. Я частенько слышал, как она в разговоре с девуш-

ками ругала хозяйку, но стоило им поддакнуть, и Марта набрасывалась на них, обзывая выскочками и неблагодарными тварями, а в завершение заявляла, что только она одна имеет право критиковать хозяев.

Когда мы въехали в дом управляющего, доктор снова настоял, чтобы я спал в одной комнате с ним и хозяйкой. Я всегда спал крепко, но когда Индра уехала, сон мой стал неспокойным, и я слышал, как хрипела и вскрикивала во сне жена доктора. Иногда она словно боролась с кошмарами, тогда доктор просыпался и успокаивал ее.

— Что с тобой, Эльза, милая? Не бойся, я здесь.

Безумие вторгалось в мои сновидения, и я видел тетушку Мур, брата Кристофера, Тимбера и дядю Ричарда. То их держали взаперти в северном корпусе, то, повернувшись ко мне спиной, они пололи грядки, а когда я приближался к ним, смотрели на меня и улыбались нехорошей улыбкой.

Горожане и жители деревень, завидев, что я выхожу из ворот больницы, сторонились меня. Они считали безумие заразным. Санитары злились на больных, а те, в свою очередь, ненавидели их. Старый санитар однажды рассказал мне, что один больной, увидев спавшего под деревом санитара, отрезал ему голову и закопал ее, чтобы тот, проснувшись, не мог ее отыскать.

Утром мы прежде всего шли в главное здание. Тут доктор просматривал истории болезни вновь поступивших и тех, кого пришло время выписывать. Потом мы отправлялись в кухню, в столярную мастерскую, в инфекционное отделение и затем в северный корпус.

В палатах инфекционного отделения пахло, как от застоявшихся луж, полных гниющей рыбы. Больные были грязны, да и санитары не чище. Свет проникал сквозь высокие, зарешеченные окна и освещал больных — они лежали на койках или с безразличным видом сидели на стульях, часто в самых неестественных, неудобных позах. Эти палаты напоминали мне берег после бури, усыпанный обломками погибших кораблей. Буйные были привязаны к койкам.

Хорошо было снова выйти на тенистые, посыпанные толченым кирпичом дорожки. В ярком свете дня исчезал ужас, терзавший меня в палатах.

Вспоминаю отдельных больных.

Молодого негра в кузнице, пытавшегося соорудить из обрезков жести самолет, чтобы лететь на Северный полюс.

Женщину — стоило выпустить ее из палаты, как она зарывалась лицом в землю и лежала так, пока санитарка не поднимала ее силой.

Молодого мужчину из общей палаты, который крадучись подходил к доктору и шептал, протягивая письмо:

— Я окружен врагами. Прошу вас, перешлите это королю. За то время, что я здесь, они обобрали меня не на одну тысячу.

— Хорошо, я перешлю письмо,— отвечал доктор.

В следующий раз тот же пациент подходил и спрашивал:

— А, доктор. Какие новости? Велел им король освободить меня?

Этот больной был образованный человек, и я бы никогда не подумал, что он не в своем уме — так убедительно он говорил.

Был там еще старик португалец, с лицом, сморщенным, как высушенный на солнце плод. Он воображал себя международным финансовым воротилой. Завидев доктора, он с улыбкой спешил ему навстречу:

— Цены на сталь растут, док. Предстоит большая война, без меня не обойдется. Сталь в моих руках.— В разгар беседы он умолкал и прислушивался.— Это, док, мой секретарь, меня зовут к телефону.— И поспешно уходил.

— Насчет чего вам, Педро, звонили? — спрашивал потом доктор.

— Заказали на шесть миллионов стали. Знаете, бельгийцы! — отве-

чал больной и, сунув в рот бумажную сигару, с важным видом принимался расхаживать из угла в угол.

Часто видел я и другого больного, который покуривал трубку, сидя на пороге одного из коттеджей. Я спросил у доктора, кто это такой, и он ответил мне:

— Ему хуже, чем остальным. Он нормальный. Много лет уже он здесь. Он убил жену и ребенка, но его родные — люди влиятельные, и они умудрились устроить его сюда. Он — бухгалтер и ведет наши счетные книги.

Заканчивали мы обход северным корпусом. Тут попадались поистине страшные лица. В тесных палатах толпились голые люди, одни стояли, вперив в пространство безумный взгляд, другие по-звериному выли. Тех, кто пытался покончить с собой, служители связывали крепкими веревками. Мы всегда заставали санитаров в одной и той же позе — повернувшись спиной к больным, они жадно смотрели на заросли мангов, на реку и зеленый остров.

— Что, Арон, угнетает тебя это место? — спросил как-то вечером доктор.

— Я чувствую, сэр, что старею раньше времени. Говорят, если пожить тут подольше, сам станешь вроде сумасшедшего. Мне кажется, что и со мной уже происходит неладное.

— И меня это гнетет, к тому же я чувствую, что жене моей не выбраться отсюда живой.

— Я все здесь ненавижу!

— Ненавидишь! Что же тогда сказать мне? Каждую неделю пишу я директору, что это просто гнилая дыра. И что я слышу в ответ? У правительства, видишь ли, нет денег, делается все возможное.— Я впервые увидел, что доктора душит ярость.— Пока они наконец соберутся заняться этим гиблым местом, меня уже не будет в живых. А кто виноват? Да каждый из нас, черт побери!

Мы стояли в саду, кругом звенели москиты. Начался отлив, и было слышно, как бьется о сваи и лижет берега река. Издалека доносилась нежная, словно звуки флейты, песня совы, спрятавшейся в листве фламбояна, по мосту грохотали повозки, санитарка кричала на больную.

— Впервые с тех пор, как я начал лечить людей, я растерялся,— продолжал доктор.— Там, через дорогу, тюрьма.— Он махнул рукой в сторону Нью-Амстердама.— Лучше бы мне быть там.

В темном небе загорались звезды, зажглись огни в кухне, в жилых комнатах и в спальне на втором этаже, где жена доктора, прикованная к постели, смотрелась в зеркало и видела, что умирает. Мне хотелось, чтобы она умерла поскорее — ведь тогда приедет Индра. Она ни разу не написала мне.

Всевышний прислал за хозяйкой в полдень, и она боролась, пока в горле у нее не зашуршало, словно сухие бобы в стручке. Индра приехала домой, она выла и причитала над могилой матери и грозилась броситься в нее.

Через неделю Индра успокоилась и стала хозяйкой дома. Она избегала встреч со мной с глазу на глаз, но я подкарауливал ее, выжидал и наконец встретился с ней вечером в саду. Доктор отлучился в город — он ездил туда очень редко.

— Ты больше не любишь меня, Индра?

— Все прошло, Арон. Кончилось.

Даже при свете звезд я видел, как она располнела, а ведь только полгода она не была дома.

— Индра, родная, я ночей не сплю, думая о тебе.

— Я встретила, Арон, одного человека и выхожу за него замуж. Он, как и я, индиец, и папа не будет возражать.

— Ты играла со мной. Для тебя я был забавой и всегда оставался лишь слугой.

— А ты чего ждал? — Она стала ко мне спиной, но я силой повернул ее к себе.

— Я заставлю тебя пожалеть об этом.

— Ты? Заставишь меня пожалеть? Не болтай ерунды.

Я бросился разыскивать Сантоса. Он оказался в своей комнате на первом этаже. Только утром вернулся он из Эссекибо, куда ездил навестить родных.

— Ты похож на вора, который украл курицу,— сказал он мне.

— Тяжело мне, друг.

— Девчонка, да?

— Она не хочет меня знать. Сказала, что я для нее был всегда лишь слугой.

— А чего же ты ждал? Ты помог ей стать женщиной. Ведь кровь гуще вина, а она — дочь своей матери.

— Я, Сантос, хочу уехать отсюда. Осточертело мне быть нищим и пресмыкаться.

— Жди своего часа, друг, да копи монету. А тогда все бросишь и махнешь в город или на золотые прииски. С деньгами дорога везде открыта.

— Как она со мной говорила, Сантос! Будто я червяк какой.

— Нечего огорчаться — ей, брат, есть чем тебя вспомнить. Она была твоей и теперь уже не сможет задирать перед тобой нос. Жди своего часа, друг, и заботься только о деньгах.

Доктор вернулся поздно и застал меня в кабинете — я сидел за большим столом красного дерева. После отъезда прежнего главного врача англичанина в этой комнате ничего не изменилось. В ней пахло старой кожей и пыльными книгами. На полке стоял медный котелок, на стенах висели выцветшие акварели. После смерти жены доктор Рам постарел. Глаза запали, волосы поседели.

— Ты любишь мою дочь, Арон? — спросил он, упершись в стол ладонями.

— Кто? Я? Вашу дочь? Взгляните! — Я протянул к лампе руку.— Я родился в полночь, черный и бедный, как бездомный пес.

Он стиснул кулаками лоб и пропустил сквозь пальцы густые пряди волос; меня он, казалось, не слышал и не услышал гнева, звучавшего в моих словах.

— Мы не выбираем своих родителей. Кто это сказал? Не могу вспомнить.

— Мои были неграми,— отрезал я, а он посмотрел на потолок, где паук душил дождевую муху.

— Сегодня у меня был интересный случай,— сказал он и взял историю болезни.

Я понял, что он только об этом и хотел поговорить. Про нас с Индрой он, конечно, ничего не знал. Просто сказал наобум.

— Сегодня прибыл один больной,— продолжал доктор,— помнишь Бьючемпа, того, что послал тебя ко мне? Я больше года ничего о нем не слышал, и надо ж — он очутился здесь.

Я пристально смотрел на доктора. Он как-то криво улыбнулся, словно ему было больно. Он дал мне понять, что я попал в ловушку. Пока этот белый был там, на воле, я мог убежать, но теперь мы оба оказались в руках у доктора. Порой я чувствовал, что доктор ревнует меня, как женщина любовника. Он ни с кем не хотел делить мою привязанность.

— И все же я уйду от вас,— сказал я.

— Вернешься в деревенскую грязь?

— Я могу работать.

— Я один у тебя остался.— Он подошел и обнял меня за шею, я отодвинулся — пальцы у него были мягкие, как дождевые черви.

— Я уйду от вас,— повторил я.

— Ты, мальчик, говоришь глупости. У меня ты можешь получить специальность...

Я выбежал из комнаты.

Когда я передал Сантосу наш разговор с доктором, он сказал:

— Зря ты это, дружище.

— Мне все равно.

— Не мели чепуху, мальчик. Тебе надо выждать и держать язык за зубами.

— Помнишь, Сантос, я говорил тебе про одного белого?

— Про того, что с козлиной бородкой?

— Он здесь.

— Мне он всегда казался немножко «того».

— Сегодня утром я прочитал историю его болезни. Там сказано: маньяк, а что это значит, я не знаю.

— Похоже, дружище, на коньяк.

— Там все написано. Он был горным инженером, на одном из его рудников произошел обвал, и он помешался.

— А ты вроде говорил, что он дорожный инженер!

— Я говорил, что он работал дорожным инженером. Если ты белый, так стоит только просмотреть технический учебник — сможешь быть кем захочешь. Помнишь, я говорил тебе, что он знал моего отца?

— Отец твой, должно быть, погиб на руднике. Спроси его. Раз он не в своем уме, от него легче будет добиться правды. Подвернется удобный случай, и спроси.

— А ты, Сантос, пожалуй, дело говоришь.

— Сумасшедший дом, брат, занятное место. Тут тебе и негры, и белые, и китайцы, и индейцы... и все равны.

Я решил поговорить с этим белым и дождался, когда доктор уехал по делам в Нью-Амстердам. Мистер Бьючемп был платным больным и жил в коттедже вместе с бухгалтером. Я нашел его на лужайке перед домом. Волосы и козлиная бородка его побелели и серебрились, как шелковистый хлопок. Он был очень прямой и высокий, точно скелет, обтянутый красной, загорелой кожей.

— Ты чей, мальчик? — спросил он, и я вспомнил, что при первой нашей встрече он задал мне тот же вопрос.

— Добрый день, мистер Бьючемп.

— Кто ты? Постой-ка, ты работал в четвертой шахте в Перенонге...

— Я сын Джо Смарта, сэр. Джо Смарта, помните? Вы говорили, что знали его. Он был моим отцом.

— Четвертая шахта... сказал, что спустится посмотреть, не обкрадывают ли нас эти проклятые китайцы... этакий здоровенный парень, зубов полон рот... смешно, но он играл в крикет... повсюду таскал с собой все принадлежности... смешно, право, как эти парни увлекаются крикетом...

— Мистер Бьючемп, я — сын Джо Смарта. Вы дали брату Кристоферу денег, чтобы он выучил меня, а потом пристроил к доктору Раму. Расскажите мне, пожалуйста, про моего отца. Вы ведь расскажете, правда?

Он пристально посмотрел на меня, и в голубых глазах его зажегся огонек: он меня узнал.

— Вы расскажете мне об отце — о Джо Смарте? — еще раз спросил я, но глаза его уже снова ничего не выражали, и он забормотал:

— Когда река хлынула в шахту, им было уже не спастись...

В дверях показался бухгалтер и сделал мне знак, чтобы я уходил.

— Он ничего не соображает, и у него может внезапно начаться припадок,— сказал бухгалтер.

Я направился по лужайке к аллее, ведущей к дому доктора.

— Смарт! Арон Смарт! — вдруг окликнул меня мистер Бьючемп.— У меня есть кое-что для тебя,— сказал он, когда я вернулся.

— Вы расскажете мне, сэр, об отце? Мне хочется узнать о нем. Мать бросила меня, и я о ней никогда ничего не слыхал.

— Подожди тут,— сказал мистер Бьючемп и скрылся в доме. Бухгалтер пожал плечами и ушел. Мистер Бьючемп вернулся с большим конвертом.— Вот возьми,— сказал он и, словно сразу забыв обо мне, посмотрел из-под ладони на солнце.— В Перенонге оно было ярче,— забормотал он,— только в шахте было темно... Когда хлынула река, им уж было не спастись.

Я оставил мистера Бьючемпа около коттеджа — он все бормотал что-то себе под нос — и бросился к дому доктора. Индра обрывала бутоны на фламбояне.

— Что это у тебя? — спросила она, заметив мое волнение.

— Не твое дело! — крикнул я.

Она сказала, что пожалуется отцу, но я бросился наверх в пустую комнату, и запер за собой дверь.

■

В конверте были деньги — четыреста восемьдесят долларов банкнотами — и письмо. Я пощупал бумажки, понюхал их, посмотрел на свет. Никогда я не видел столько денег. Аккуратно сложив доллары, я рассовал их по карманам. Письмо было написано на хорошей бумаге, от руки, обыкновенным пером с сильным нажимом. Не успел я прочитать его, как услышал, что приехал доктор. Я сунул письмо в нагрудный карман.

Доктор нашел меня в кабинете.

— А я, Арон, думал, что ты работал после обеда в амбулатории. Это место, наверно, и в самом деле плохо на тебя действует. Индра сказала, что ты только что как безумный промчался мимо нее с каким-то конвертом в руке.

— Я принес вам некоторые образцы семян и лекарственных растений,— отвечал я, показав на лежавший на столе конверт.

— К чему же такая спешка? Ты бы мог принести их в любое время.

— Я, сэр, хотел посмотреть одно слово в медицинском словаре.

— Скоро мы уедем отсюда, Арон. Индра выйдет замуж, и мы переедем в Майхони. А когда устроимся там, перед тобой откроются большие возможности, я уже все обдумал.

— Я не знал, что ваша дочь так скоро выходит замуж.

— Да, все решено. Она выходит за молодого Санкара.

— А какие большие возможности будут для меня, сэр?

— Я открою в Майхони аптеку и сделаю тебя в ней главным. Я уже заказал лекарства и оборудование, там ты сможешь многому научиться.

— А как насчет денег, сэр?

— Каждый месяц ты будешь получать жалованье, жить станешь в моей комнате и сможешь кое-что откладывать. Я выведу тебя в люди, Арон.

— Да, сэр.

— Ты как будто и не рад, мой мальчик?

— Просто все это так неожиданно, сэр.

Поздно ночью я встретился с Сантосом в его комнате. Неумолчно пела сова, в северном корпусе кричали больные, грохотали по мосту повозки.

В маленькой комнатушке Сантоса стояла кровать и стол, на полу была расстелена шкура оцелота — вот и вся обстановка. С потолка на проволоке свисал керосиновый фонарь. Индра не разрешала слугам включать электрический свет, хотя платило за него правительство.

Я вывалил на стол деньги, и Сантос, прикрыв рукой рот, свистнул от изумления.

— Ты очистил докторову жестянку! — воскликнул он и бросился к двери, проверить, заперта ли она.

Я покачал головой и засмеялся.

— Да нет, какая там жестянка, небось кассу ограбил,— он взял несколько бумажек и стал их разглаживать.— Силы небесные! Вот это, друг, дельце! Выкладывай скорей, как все было, не то я лопну от любопытства. И сколько же тут?

— Четыреста восемьдесят.

— Силы небесные!

Я рассказал ему о своей встрече с белым. Сантос то и дело перебивал меня: ему хотелось знать все до мельчайших подробностей.

— А где письмо? — спросил он, когда я закончил свой рассказ.

— В кармане. Весь день оно, как огнем, жгло меня.— Я положил письмо на стол.

— Читай, читай же.

— Тут сказано: «Мистеру Арону Смарту». Первый раз, брат, мне написал письмо белый.

— Когда пишет белый, это всегда не к добру: либо землю у тебя отберут, либо в тюрьму посадят.

— Начинается так: «Я в здравом уме. Голоса, что тревожат мой сон, молчат...»

— Х-м, чудные они, эти белые...

— Дай же прочитать письмо.

— Ладно. Валяй, друг, дальше.

— «...Поскольку сам я лучше всех знаю, болен я или нет, я с полной ответственностью заявляю, что нахожусь сейчас в здравом рассудке. Я адресую это письмо тебе, Арон Смарт, ибо после трагедии, в которой ты не повинен, в живых остались только мы двое. Ты — сын человека, которому я причинил непоправимое зло...»

— Слова-то все какие...

— Не мешай, Сантос.

— Ладно, друг. Молчу.

— «...Я встретил твоего отца, Джо Смарта, вскоре после приезда в Гвиану. Я должен объяснить тебе вкратце, что заставило меня сюда приехать, хотя тебя это прямо и не касается. В Англии я оставил молодую жену. Мы только что поженились. Ее родные были против нашего брака, потому что я не имел ни денег, ни положения, и жена под влиянием своей сварливой матери сделала мою жизнь невыносимой. Один из моих друзей рассказал мне про золотые и алмазные прииски в Гвиане, и я приехал сюда в надежде быстро разбогатеть, вернуться в Лондон и зажить там с женой в собственном доме. Отца твоего я встретил в Джорджтауне, в баре. Он незадолго до этого вернулся с алмазных копей в Мазаруни и швырял деньгами направо и налево. Прокутив деньги, он предложил мне войти с ним в долю. У меня было три тысячи фунтов, взятых в долг, и я купил на все эти деньги снаряжение и провизию.

Удача с самого начала сопутствовала нам. За три месяца мы заработали более трех тысяч фунтов. Большую часть денег я отсылал жене — она написала мне, что ждет ребенка. Тогда бы мне и уехать, но мной овладела алмазная лихорадка. Ты не можешь представить себе, что значило для меня вдруг отбросить привычки цивилизованного человека и, забыв правила поведения «добропорядочных англичан», очутиться

в первобытном мире, где царили распущенность и излишества. Сперва мне было противно, страшно. Я держался в стороне, я хотел лишь одного: нажить состояние и вернуться к жене и ребенку. Нам по-прежнему везло. У твоего отца было безошибочное чутье — он отыскивал богатые жилы. Но судьба, давая одной рукою, другой жестоко карает за свою щедрость...»

— Господи! Давай-ка выпьем. Нелегко, мальчик, слушать про этого белого.

— Дай мне, Сантос, дочитать до конца. Не хочешь — не слушай, я прочту про себя.

— Ладно, ладно, давай дальше.

— На чем я остановился?

— Белый говорил про судьбу. Читай дальше.

— Так вот: «...Я узнал, что ребенок родился мертвым, а жена моя умерла от родов. С горя мой разум помутился, и я бросился в водоворот, которого раньше сторонился,— пьянство, женщины, азартные игры...»

— Интересно, кто же сказал этому белому, что игра — плохое дело? Раз у человека есть деньги...

— Ну хорошо, хватит тебе! Дашь ты мне дочитать или нет?

— Читай, читай, дружище.

— «...Твой отец очень помог мне. В джунглях нет расового барьера. Каждый ловит свое счастье, пока у него хватает сил и ловкости. У твоего отца был размах, ему всего было мало...»

— Ну и ну! — Сантос присвистнул.

А я продолжал:

«...Человек он был беззаботный, но друзей своих никогда не покидал — ни в радости, ни в беде. Он поддержал меня в горе, и, если бы не он, я бы наверняка покончил с собой. Как-то он упомянул про свою жену — он тоже женился совсем недавно. Когда мы с ним встретились, тебе исполнился год, и он всего лишь несколько раз видел тебя. Сначала я упрекал его за то, что он не думал о жене и ребенке, но потом понял: он не семьянин и никогда им не станет. Деньги были для него каким-то непонятным символом, он любил их и ненавидел. Когда они у него были, он изо всех сил старался побыстрее промотать их, а спустив все до нитки, отправлялся в глубь страны и трудился там до кровавого пота, чтобы снова разбогатеть.

Когда мое горе немного поутихло, я стал скупать заявки на прииски, начал выписывать заграничное оборудование и нанимать дешевых, но надежных рабочих. Старатели, жившие в джунглях, были слишком независимы и ненадежны, и я законтрактовал рабочих в Китае. У меня работало сразу четыре шахты. Самая большая находилась в местечке Перенонг, в верховьях Мазаруни. Там под началом твоего отца работало двести китайцев. На большой глубине мы напали на богатейшую жилу. Она давала за день больше ста унций золота. Я посулил китайцам отпустить их домой, как только они выработают до конца эту жилу, хотя контракт был заключен на два года. Они шли по золотоносному пласту под одним из протоков реки, прорезая слои песка и сланцев, и я ни разу не предупредил их об опасности.

Золото и алмазы делают человека зверем, убивают в его сердце доброту и совесть, честных и порядочных людей превращают в воров, лжецов и негодяев. Твой отец и двести китайцев безгранично верили мне, а я их предал. Они рыли слишком близко от русла реки, вода смыла перемычки и затопила их всех. А самым ужасным было то, что отец твой погиб у меня на глазах. Я стоял у входа в шахту, когда он и шестеро рабочих поднимались по веревочной лестнице. Мы услышали грохот воды и вопли смертельного ужаса. Рабочие бросились к лестнице и стали карабкаться вверх. До поверхности им осталось футов тридцать, я уже

отчетливо видел их лица. Отец твой был человек крупный и, конечно, не такой проворный, как китайцы. Когда вода стала стремительно прибывать, они попытались опередить его. Последнее, что я видел,— твой отец подтягивался на руках, ухватившись за перекладины лестницы, а шестеро китайцев повисли у него на ногах. Я бросился за веревкой, но, когда вернулся, вода уже дошла почти до самой поверхности и кипела, как в адском котле.

Все это — одни только факты, и подрастая, становясь старше, ты еще не раз спросишь себя: как же мог я после такой трагедии жить дальше. Дело в том, что мы, англичане, обременены совестью, хотя недоверчиво относимся к любому проявлению чувств. Сознаюсь: гибель сотен людей не причинила мне столько терзаний, сколько смерть жены и ребенка. Потом я еще долго работал на других шахтах. Чувство вины овладевало мной постепенно, год за годом оно бередило мою совесть и наконец целиком захватило меня. Я уже никуда не мог уйти от него. Вот тогда-то я и попытался разыскать твою мать. Много лет расспрашивал я о ней по всему побережью. Лишь когда мы по воле случая встретились с тобой, я узнал, что ты жив, и уже потом ваш мистер Кристофер рассказал мне, что мать бросила тебя. К тому времени я уже пожертвовал свое немалое состояние на разные благотворительные цели, в надежде что господь хоть отчасти простит мне мою вину. Я отдаю тебе все, что у меня осталось, кроме маленькой пенсии, которую я получаю. Да благословит тебя господь, а я молю бога, чтобы ты когда-нибудь простил меня».

— Все? — спросил Сантос.

— Да. И подпись: «Джулиан Бьючемп».

— Ну и как же ты, друг, на все это смотришь?

— Я не все понял из того, что хотел сказать белый, но хоть узнал что-то про отца.

— По-твоему, этот белый плохой?

— Не знаю, Сантос. Не знаю. Будь он такой уж плохой, не стал бы он разыскивать меня и маму. Отец обо мне не заботился, да и мама тоже. Да что там, я совсем их не помню — не знаю даже, какие они были из себя. И вот появился этот белый и помог мне. Как же я могу назвать его плохим?

— Я только так спросил, потому как, по мне, будь он хоть сам дьявол, а он станет мне другом, коли поможет в нужде.

Мы долго сидели молча, слушая грохот проезжавших по мосту повозок. Я понимал: мне надо самому решить, что делать дальше. Мысль отправиться на золотые и алмазные прииски зародилась у меня, когда я еще работал у Тимбера, а письмо мистера Бьючемпа подлило масла в огонь. Доктор предлагал мне обеспеченное будущее, но, приняв его предложение, я бы связал себя с ним на всю жизнь. Сантос рассказывал мне, что уже бывал на приисках, но ему не повезло. Вот если бы уговорить его поехать со мной! Он по крайней мере знает, какое надо покупать снаряжение, какие припасы, а деньгами я бы рискнул. Я заметил, как загорелись при виде денег глаза Сантоса, и не сомневался: стоит мне предложить ему войти в долю, и он вряд ли устоит. Я мог вернуться и в Махайку. Там я бы занялся земледелием, получил бы аптеку брата Кристофера — а в деревне это очень доходное дело,— но меня туда совсем не тянуло.

— Сантос,— сказал я,— я хочу отправиться на прииски и попытать счастья. Поедешь со мной?

Он посмотрел на меня, словно сомневался — не шучу ли я, и сразу насторожился.

— Не так-то это просто, дружище. Работа у меня верная, одежда бесплатная, и я не работаю до седьмого пота. А ведь в джунглях, ты

знаешь, работа адская, многие выдыхаются и старятся там прежде времени.

— Мы будем делить добычу пополам. Я знаю — мне повезет. Знаю — и все тут!

— Пополам, говоришь?

— Да, пополам.

— А когда же мы двинемся в дорогу, дружище?

— Сегодня. Сейчас. Ночью. Я оставлю записку доктору и мистеру Бьючемпу. Может, поспеем на утренний паром.

— Ты меня огорошил, парень, но я согласен.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Темные, в разрывах, облака заслоняли звезды, и даже в северном корпусе царила тишина, когда мы покинули больницу для умалишенных. Все мое имущество уместилось в старом чемодане, который дал мне в свое время брат Кристофер. Ручка у чемодана оборвалась, и я тащил его на плече. «Надо бы заглянуть в Махайку и попрощаться с тетушкой Мур и братом Кристофером,— подумал я.— Но это значит признаться им, что аптекаря из меня не вышло. Они станут утешать меня — нет уж, лучше не надо».

Сантос нес свои вещи, увязанные в простыню. Было время дождей, дул влажный, пронизывающий ветер. Земля под ногами была мягкая. Когда мы вошли в Нью-Амстердам, все вокруг спало, но потом на одной из улиц мы вдруг услышали лай рвавшейся с цепи собаки. В полицейском участке горел свет, и, когда мы проходили мимо, полицейский у ворот сказал:

— На паром, ребята, еще рано.

— Знаем, дружище, зато хоть выспимся до рассвета,— отозвался Сантос. Это было первое, что он сказал за всю дорогу.

Наконец мы добрались до пристани. Там уже были и другие пассажиры — фермеры, резальщики тростника из прибрежных деревень; кто приехал на запряженной осликом тележке, кто пришел пешком. Большинство спало под сенью цинковой крыши пакгауза. Мы уселись рядом с фермером индийцем и его женой. Они лежали на голой земле и тихонько переговаривались. Сантос привалился к своему узлу и закрыл глаза, я вытянулся и вместо подушки подложил под голову чемодан. Я думал о докторе. До восьми утра он меня, конечно, не хватится, а если проснется раньше и увидит, что моя кровать пуста, решит, что я читаю в кабинете.

Похожая на деревянный полуостров пристань с закрытыми бревенчатыми воротами стояла на реке Бербис. Река все время наносила к берегу ил, пристань через каждые два-три года приходилось передвигать. Тишину время от времени нарушали резкие крики кроншнепов. Я спал неспокойно и проснулся на заре, когда солнце показалось из моря, там, далеко за устьем реки. Белый туман повис над водой, как спустившаяся с неба сетка от москитов, и ветер, стараясь расчистить горизонт, надувал ее. Ветер высушил росу на наших лицах — он прохватывал насквозь. Мы купили билеты и, едва только сторож-негр с заспанными глазами отворил ворота, взошли на борт парома. Хлынули на палубу пассажиры, закричали носильщики, заскрипела лебедка, и потревоженные ветром волны стали лизать железные бока парома. Я почувствовал, как в груди моей нарастало волнение. Наконец-то я свободен, как эти белые журавли, что несутся над волнами тумана к бескрайним болотам. Убрали сходни, и машины в чреве парома зарокотали, как барабаны. Я живо

представил себе Индру: теперь она злорадствует и говорит отцу, что оба мы — и я и Сантос — черномазые негодяи и следовало ожидать, что рано или поздно мы оставим его с носом.

Мы ехали на нижней палубе. Паром был забит автомобилями, повозками и скотом, на корме теснились пассажиры третьего класса. Я свесился через борт и смотрел на убегавшую воду. Туман поднимался, и с середины реки я увидел оставшийся позади Нью-Амстердам с его уютными домиками, белевшими среди зелени, как кипы хлопка, шпилями церквушек, лесопилками, около которых на отмелях теснились приплывшие с верховьев реки плоты.

Сантос за все это время не проронил ни слова. Он сидел на корточках в уголке и не поднимал глаз.

— Ты что, Сантос? — спросил я. Он опустил голову на руки и не ответил. Я повторил вопрос и осекся — так сердито взглянул он на меня.

— Отстань ты от меня, ради бога! Отстань!

Я подумал, что он, наверно, жалеет, что ушел от доктора, или скучает по своей девчонке в Канье. Меня это тогда не встревожило — я без удержу радовался обретенной свободе и думал только о золотых приисках да алмазных копях. Позже я понял, что Сантос не любил перемен. Куда бы ни забросила его судьба, он приспосабливался к обстоятельствам и был доволен и сам бы никогда не сорвался с насиженного места. Полагая, что он должен разделять мою радость, я принялся болтать, передразнивая доктора, Марту, докторшу и лечившегося у нас кузнеца. Меня окружили пассажиры, мне нравилось, что они смеются, я кувыркался, а потом повис, точно мартышка, на какой-то перекладине. Паром не добрался еще до Росиньоля на противоположном берегу реки, а Сантос уже шутил с молодой индианкой, кормившей грудью ребенка.

Мы прожили в Джорджтауне три недели, закупая инструмент и продовольствие. Дождь лил не переставая, но и в плохую погоду не замирала кипучая жизнь и неумолчный гомон города. Мне это казалось странным — в деревне, когда шли дожди, все сидели по домам.

Жили мы в гостинице около здания суда, и по утрам сквозь сетку дождя я видел статую королевы Виктории. Массивная, промокшая, стояла она перед своим троном и смотрела через канал в сторону Стэброкского рынка, где, по словам Сантоса, голландцы когда-то торговали рабами. Я любил бродить с Сантосом по улицам. Они были похожи на реки, запруженные бревнами, а мы с ним — на подхваченные течением щепки. Толпы народа вливались на рыночную площадь, где сталкивались со встречным потоком — крича, переругиваясь, смеясь. Здесь были люди всех национальностей, всех цветов кожи — китайцы, негры, индийцы, европейцы, сирийцы, креолы и потомки стольких рас, что уже невозможно было определить, кто они такие. Были тут негры с раскосыми, как у китайцев, глазами, люди с курчавыми волосами и индийскими чертами лица, белые, чьи лица, казалось, были натерты красной пылью дорог, темнокожие с голубовато-серыми глазами, белокурые негры и бледнолицые индейцы. Для меня все они делились на богатых и бедных, впрочем, богатых было мало, а бедных много. Богатые хранили молчание, бедные кричали на все лады, и крики их заглушали шуршание шин, шум моторов, стук копыт. Лачуги и хижины не могли вместить бедняков, их то и дело выплескивало на улицы и рынки.

Вечером, накануне отъезда на прииски, Сантос повел меня в публичный дом. Он объявил, что это мое боевое крещение. Покинув город, из женщин мы будем встречать только проституток. Пошли мы рано — Сантосу хотелось попасть в первую очередь. Мы шли берегом, пока не добрались до большого здания. В первом этаже помещался танцзал, на втором и третьем — номера. Эльза, в прошлом уличная красотка, преуспевшая в жизни и ставшая хозяйкой заведения, тепло встретила нас.

— Да никак это ты, Сантос! Давненько же ты у нас не был!

Хриплый резкий голос мадам вполне подходил к ее продувной физиономии с быстрыми блестящими глазками.

— У меня была постоянная работа, Эльза.

— Ты знаком с моим мужем? — спросила она, кивнув в сторону здоровенного краснокожего детины, маячившего в углу под лестницей.

— Я и не знал, Эльза, что ты снова вышла замуж.

— Встань, Тихоход, и поздоровайся,— скомандовала Эльза, и великан неуклюже двинулся к нам.— А что это за мальчишку ты привел, Сантос? — спросила она, повернувшись ко мне и разглядывая меня, как кусок мяса на базаре.

— Дружок мой. Он, Эльза, не мальчишка, он человек ученый, на докторской работе собаку съел. Просто лицо у него нежное.

— Идите наверх в зал и выбирайте.

— Пошли, друг! — позвал меня Сантос, и мы поднялись по лестнице.

От яркого света в зале я даже зажмурился. С потолка, не защищенные абажуром, спускались большие электрические лампы. В центре на возвышении играл оркестр — четверо взмокших от усердия негров. В зале танцевало несколько матросов — белых, негров, мулатов. Музыка смолкла, и ко мне подошла женщина. Белое с глубоким вырезом платье так облегало ее фигуру, что я понял — больше на ней ничего нет.

— А я тебя знаю,— сказала женщина, и лицо ее озарила улыбка, во рту сверкнули зубы, словно и там горели электрические лампочки.

— Меня? — я оробел и сконфузился.

— Помнишь Горбатого Тимбера и его артель? — спросила она и засмеялась глубоким грудным смехом.— Большой какой стал,— добавила она, пристально разглядывая меня, так что мне захотелось убежать.

Я узнал ее. Это она пришла мне на помощь, когда Тимбер сломал мне ногу.

— Давно это было,— сказал я, а она так просто, дружески посмотрела на меня, что вся моя робость пропала.

— Ну ты, я вижу, уже на приколе,— ухмыльнулся Сантос.

— Посмотри, может, Мэри тебе понравится,— сказала ему женщина и показала на тоненькую португалку в другом конце комнаты. Я был рад, что встретил свою, деревенскую.

— Что ты здесь делаешь? — спросил я и, взглянув на нее, понял: не надо было спрашивать.

Но она, казалось, не обратила на мои слова внимания.

— Забыл? Меня зовут Белл.

Комнатка у Белл была маленькая и чистая. Кровать, стул, умывальник с тазом и фарфоровым кувшином. Я присел на краешек стула. Она налила в стакан рому, добавила воды и протянула мне. Я выпил — на глазах выступили слезы. Она засмеялась и взяла у меня стакан, чтобы снова наполнить его.

— Садись на кровать, Акула,— сказала она.— Видишь, я даже помню, как тебя звать... Да не сиди ты как пай-мальчик в воскресной школе.

— Никто не называл меня Акулой, с тех пор как я покинул Махайку...

— Я слыхала, какой-то белый платил за твое учение, и ты стал ученым.

— Да откуда же ты, Белл, про это узнала?

— Я ведь не то, что ты, нет-нет да и съезжу домой.

— Про это долго рассказывать. Белый чувствовал вину перед моим отцом и потому помог мне.

— И про это я слыхала.

— А ты, Белл, давно тут?

— Да ты, Акула, никак собираешься отчитывать меня? Книжки эти, Акула, совсем задурили тебе голову,— сказала она и крепко прижалась ко мне.

— Не надо, Белл, так, будто ты на работе.

Она дала мне еще рому, и мне уже было безразлично, что она там говорит. Я лежал на кровати и смотрел, как кружится под звуки долетавшей снизу музыки потолок.

Всю ночь мы не сомкнули глаз. В четыре утра Сантос постучал в дверь.

— Выходи, приятель, пора в путь!

— Не нравится мне, Акула, этот парень,— сказала Белл.— Не лежит у меня к нему душа. Останься со мной, Акула, останься! Я найду тебе жилье и стану работать на тебя.

— Мне надо идти.

— Я поеду за тобой, Акула. Клянусь тебе!

— Да выходи ж ты! — взревел Сантос.— Помогай тебе бог, коль ты будешь влюбляться в каждую, с кем переспишь!

Белл спрыгнула с постели и натянула платье. Она распахнула дверь, схватила Сантоса за талию и подняла в воздух прямо над лестничным пролетом.

— Чтоб у моих дверей не слыхать было таких гадостей!

— Он, Белл, мой товарищ. Он не хотел тебя обидеть.

Она поставила Сантоса на ноги, а он, обалдев, смотрел на нее во все глаза.

— Пока ты не ушел, поцелуй меня покрепче,— сказала Белл и на глазах у Сантоса крепко обняла меня. Почувствовав соленый вкус ее слез, я вконец смутился.— Не забывай меня, Акула, я приеду и привезу тебе удачу.

Встреча с Белл заставила меня более внимательно присматриваться к людям, и я почувствовал, что Сантос завидует мне. Наша дружба держалась на том, что он был взрослый, а я мальчишка, Бэлл же унизила его и тем самым уронила в моих глазах. Теперь я, как и он, чувствовал себя мужчиной и знал, что, если в будущем возникнет спор, я смогу высказать собственное мнение и сумею отстоять его.

— Ну и силища у этой бабы. Я ведь не замухрышка какой, а она подняла меня как пушинку. Я и раньше слышал про эту Белл. Из тебя, друг, получится настоящий сердцеед — перед тобой, что перед боксером, ни одна баба не устоит.— Сантос рассмеялся, но я знал, что смеется он не от чистого сердца, и чувствовал в его словах фальшь.

Мы зашагали вдоль берега, и шаги наши гулко раздавались по улицам спящего города. Пересекая рыночную площадь, я сказал скорее себе, чем Сантосу:

— Белл — хорошая женщина. Она лучше целой тысячи таких, как Индра.

■

Мелкий дождь сеялся над рекой, когда мы погрузились на пароход, отправлявшийся в Бартику. Дождь шел над морем, и ветер гнал его к берегу. Выйдя из устья реки Демерары, мы поплыли вдоль берега к реке Эссекибо. Море было неспокойно, порывами налетал ветер. Переваливаясь с боку на бок, пароход пробивался сквозь злые, вздымавшиеся к небу волны. Сантоса тошнило, он мутным взором смотрел на окаянную воду, и лицо у него было зеленее мха. Я поддерживал его, когда он, ставший вдруг маленьким и несчастным, свешивался за борт. Брызги осыпали теснившихся на палубе пассажиров, многих мутило.

Когда пароход ложился на бок, сваленные на носу ящики с оборудованием до отказа натягивали веревки, которыми были закреплены.

Дождь перестал, проглянуло солнце. Я уже мог разглядеть линию берега—за болотистыми зарослями мангров тянулись к небу трубы прибрежных фабрик. Пароход теперь только слегка покачивало, и Сантос уселся на палубе, привалившись спиной к одному из ящиков. Мы шли по реке Эссекибо к бухте Парика.

— Внутри у меня совсем пусто,— пожаловался Сантос.

— А ты глотни-ка вот этой штуки,— сказал его сосед, протягивая Сантосу бутылку самогона,— здорово помогает.

— Понимаешь, приятель, в животе ровно ничего не осталось, просто дыра дырой.— Сантос обтер рукавом горлышко бутылки и жадно отхлебнул.— Вот теперь полегчало, а все ж таки не выношу этих пароходов.— Он возвратил бутылку и продолжал болтать с соседом.

— Не верится, что это река,— сказал я.— Ты только посмотри, какая широченная — того берега и не видно...

— Да, всем рекам река — двадцать миль в ширину,— сказал Сантос.— Там вот остров Легуан, а за ним остров Другой.

В Парике мы сошли на берег, и пока пароход брал новых пассажиров, купили на пристани фруктов.

— Хорошо снова чувствовать под ногами твердую землю,— сказал Сантос.

— Все на борт! — крикнул с парохода матрос.

Теперь мы шли вверх по реке, и вода потемнела. Облака то сгущались, то рассеивались, но дождь перестал. Когда проглядывало солнце, реку обступали тени прибрежных деревьев, и она была так спокойна, что казалось, будто мы плывем по перевернутой чаше небес, обрамленной деревьями. Пассажиры оправились после морской болезни и весело расхаживали по палубе, болтая и распевая песни. Высокий разбитной негр, расплывшись в улыбке, пристроился на ящике и, наигрывая на гитаре, запел высоким чистым голосом:

Потеряла я письмо.
Потеряла я записку.
Это к милому письмо.
Кто найдет и принесет, отдам алмаз.
Кто найдет и принесет, отдам алмаз.
Что-то скажет моя мать.
Что-то скажет мой отец.
Потеряла я письмо.
Кто найдет и принесет, отдам алмаз.*

Остальные подхватили хором, и бутылка с самогоном пошла по кругу. Так впервые столкнулся я со старателями, и беззаботная щедрость их натуры поразила меня. Они были бесстыдны, необузданны и вспыльчивы, но делились с товарищем последним. Жизнь их казалась мне нескончаемым праздником.

Следующая остановка была в форте Айленд, некогда бывшем столицей голландской колонии. Я увидел старые развалины, громоздившиеся на обрывистом берегу напротив причала, деревья, пробивавшиеся сквозь каменные плиты, обвалившиеся замшелые стены. Дикий виноград и лианы заполонили развалины, постепенно стирая с лица земли все, что построили в своей гордыне чужеземцы.

Пароход скользил дальше вверх по реке. В безоблачном небе пылало солнце. Отлив обнажил золотые песчаные берега, и за морем зеленой листвы показались наконец Голубые горы. Сантос, позабыв обо мне, резался в кости с четырьмя старателями. Я отыскал прохладное местечко под спасательной шлюпкой, улегся и заснул. Сантос разбудил меня, когда мы уже пришли в Бартику. Мы сгрузили наши ящики, оставили их в пакгаузе и пошли через город.

* Здесь и далее стихи публикуются в переводе Андрея Сергеева.

— Тихое местечко,— сказал я. Тишина обступившего город леса, казалось, приглушала людские голоса и лай тощих псов, шнырявших по дворам и проулкам.

— Нет, не тихое, просто притаилось и ждет. Послушал бы ты, что тут творится, когда искатели алмазов, направляясь в Джорджтаун, проходят через город. Все как с цепи срываются. Девок и кабатчиков видимо-невидимо, в тавернах без полиции не обходится. Деньги, как вода, утекают из рук старателей. Город дожидается, когда пробьет его час.

Я был рад, что Сантос разговорился, потому что снова чувствовал себя неуверенно. С тех пор как мы ушли от доктора, произошло столько событий, и мне требовалось время, чтобы все обдумать, во всем разобраться.

Неподалеку от холма Слез, кладбища на окраине города, мы нашли заброшенную лачугу, выгнали из нее летучих мышей и развесили там свои гамаки. Собирая сучья для костра, я опасливо косился на горбатые силуэты гор, черневшие на вечернем небе: ведь побережье, где я вырос, было плоско, как доска, и я сроду даже холма не видел. Внезапно наступившая ночь принесла с собой обильную росу и сырость, которая прохватила меня до костей. Сучья стали влажными, и когда я развел костер, он долго шипел, плевался, дымил и вспыхнул только тогда, когда Сантос плеснул в него керосину. Мы зажгли фонарь, повесили его в лачуге, чтоб отпугивать летучих мышей, подсели к огню и принялись уплетать вяленую рыбу с сухарями, запивая горячим чаем. На тропинке, что вела к лачуге, показались какие-то светящиеся точки. Сантос объяснил мне, что это глаза пауков-птицеедов, которые вышли на охоту.

— Я выиграл на пароходе пять долларов,— сказал Сантос.

А я слушал, как лягушки просят нового дождя, и плотнее кутался в одеяло.

— Как, по-твоему, Сантос, не пропаду я в джунглях?

— Джунгли, дружище, место неплохое, только люди портят его.

— Расскажи мне про себя. Я ведь ничего о тебе не знаю, как ты рос, где ходил в школу, есть ли у тебя жена...

— Знаешь, друг, не вороши старого. Я выбивался в люди как умел и рано сел за баранку. Года за два до твоего появления женился...

— А я и не знал, что ты женат!

— К кому же я, по-твоему, ходил в тот раз в Эссекибо? Жена живет у моей двоюродной бабки. Она из таких, что захотела привязать меня к дому крепкой веревкой, вот я и сбежал через год, потому что не домосед по характеру.

— Раз так, зачем же ты женился?

— Так уж случилось. Когда я работал неподалеку от деревушки Бакстон, мне понравилась одна мулатка, и не успел я оглянуться, как она понесла. Сказать по правде, я не знал, что делать, понял только, что пора смываться. Вот как-то раз в субботний вечер, когда я собрался к моей девчонке, один дружок и шепни мне — отец ее, мол, все узнал. Ну, я-то считал себя умнее всех и потому все-таки отправился. Не успел я ступить на порог, как ее папаша наставил на меня свое охотничье ружье и спрашивает, каковы мои намерения. Я, конечно, с ответом не медлил, а у самого в голове одно — как бы выскочить на улицу: там меня никакая пуля не достанет. Но папаша этот был негр с лицом как из камня, и от глаз его ничего не укрылось. Поговорил это я с девчонкой да и собрался было восвояси, но старик встал с ружьем у дверей, и мне пришлось сказать: «Спокойной ночи, уважаемый тесть»,— а он отвечает: «На дворе, сынок, дождь, оставайся лучше в комнате, которую мы для тебя приготовили»,—и хотя никакого дождя, по-моему, не было, я волей-неволей повиновался: с ружьем не поспоришь. Короче говоря, они держали меня под арестом до самой свадьбы, старик со своим здоровенным

племянником привели меня в церковь и отпустили только тогда, когда услыхали, что я сказал: «Согласен». Вот так я и женился.

— А с ребенком что сталось?

— Растет себе,— ответил Сантос и заговорил о другом: — Завтра нам, чтобы поспеть на пароход, надо встать до зари, давай-ка соснем.

Он вышел, топнул несколько раз ногой, и я заметил, как с тропинки стали исчезать паучьи глаза.

Сантос сразу уснул, а я прислушивался к звукам, долетавшим из леса за холмом Слез — надрывно ухала сова, с листьев падали капли росы, протяжно завывал оцелот.

На заре земля содрогнулась от воплей семейства красных ревунов *. Было очень холодно, и я, выйдя из хижины, стал бегать по склону холма, чтобы согреться.

— Ну, давай, дружище, давай! — уговаривал Сантос не желавший разгораться костер, и щеки у него при этом надувались, как пузырь из свиной кожи.

Тинаму заполнили своим пением тишину, оставленную для них красными ревунами. Они пели друг другу в чаще леса, и никогда раньше не слыхал я такой сладостной музыки. Начиная с самых низких, они переходили к невероятно высоким нотам и тянули их так долго, что казалось, горло у них вот-вот лопнет.

Позавтракав черепашьими яйцами с сухарями и выпив чаю, мы отправились к пристани. Позади нас болтали маленькие обезьянки, и в гуще огромного мангового дерева восторженно кричали туканы.

Главная улица Бартики ожила. Старатели волокли тяжелые тюки, гуськом двигались нагие индейцы — мужчина шел первым и тащил на голове или на плечах пожитки, за ним следовали женщины и дети; лодочники, могучие, как стволы деревьев, несли широкие весла, звенели громкие голоса смеющихся женщин. Золотоискатели кричали женщинам прощальные слова:

— Как ворочусь, Мэри, уж насыплю тебе в подол золота.

— Эй, Хенни, поедем, крошка, со мной! Я с тобой как король на троне.

Женщины что-то хрипло кричали в ответ, хохотали.

Солнце еще не вышло из-за гор, а мы уже погрузили наши ящики на борт «Виктора». Капитан и гребец приготовились отчаливать. Кроме нас, здесь было еще двадцать четыре пассажира, ящики и тюки навалили до самого планшира, и пароход — это было легкое речное судно с неглубокой осадкой — глубоко осел. Капитан, черный, как речная вода, силач, так привык перекрывать своим криком шум воды у порогов, что даже в обычном разговоре голос его гремел, будто рев красного ревуна. Он стоял на корме, держа одной рукой весло, а другой зажав пусковой канат подвесного мотора, и казалось, родился он не как все люди, а, точно камень, свалился с неба.

— Отчаливай, и да поможет нам бог! — взревел он и изо всех сил рванул канат.

Мотор заурчал, потом заработал ровно, и «Виктор» вышел на широкую гладь реки. Мы плыли по спокойной воде, рассекая туман. Я оглянулся и на берегу увидел женщин, стиравших белье. Они клали мокрое, намыленное белье на плоские камни и изо всех сил колотили его веслами. Туман проглотил женщин, заглушил их голоса и шлепки весел.

Утро было в разгаре, когда наше суденышко стало с трудом подниматься по реке Мазаруни. Мы гребли по очереди, так как шли против течения. К полудню добрались до Тетрубских порогов. Гребец, неподвиж-

---

* Обезьяны из породы цепкохвостых.

но сидевший на носу с самого момента отплытия из Бартики, встал, уперся ногами в борта и быстро, уверенно заработал веслом — вправо, влево, вправо, влево.

— Навались на весла! — рявкнул капитан, и старатели, затянув песню, принялись дружно, в такт выгребать веслами. Капитан и гребец знали каждый дюйм реки, форму и размеры каждого подводного рифа и проходы между ними. Отплыв четверть мили от Тетрубы, мы подошли к Маршальским порогам, и капитан подал нам сигнал взяться за канат. Мы спрыгнули в бурлящую воду, и, переступая с камня на камень, ощупывая босыми ногами дно, все двадцать шесть человек стали тянуть за носовой и кормовой канаты. Сверху вода была теплая, но по ногам с силой ударяли холодные струи. Судно миновало полную водоворотов стремнину, и все взобрались на палубу.

После полудня мы подошли к порогам Куапо — каменной лестнице, по которой вода неслась с такой быстротой, что солнце дрожало и горело в завесе брызг, а шум стоял такой, словно ватага обезумевших школьников с хохотом неслась вниз по гулким каменным ступеням. Когда мы вышли на берег, мне захотелось ответить диким голосам порогов, я принялся кричать и плясать, так что Сантос всполошился:

— Что с тобой, дружище? Уж не рехнулся ли ты? — Но остальные молчали: это был их привычный мир, и они знали, как ошеломляет он новичков.

Мы уже проволокли «Виктора» до самого верхнего порога, когда раздался крик — будто вспугнули спящего зверя. Кто-то из пассажиров поскользнулся на мшистой скале, и бурное течение понесло его... Не раздумывая, я бросился за ним. Когда я вынырнул на поверхность, меня оглушил рев воды. Впереди себя я видел этого человека, над водой появлялись то его руки, то всплывала вздувшаяся рубашка. Мимо меня, казалось, стремительно мчались скалы, голые ноги моих спутников, деревья. Миновав первый порог, я нырнул, изо всех сил борясь с подводным течением. Потом вынырнул, жадно глотнул воздух и, оттолкнувшись от острой скалы, поплыл вдогонку за вздувшейся рубашкой. Ко второму порогу я успел подготовиться и постарался обойти водовороты, но мигом оказался у третьего. Стремительный поток увлекал меня, покуда я не коснулся коленями дна. Мне удалось оттолкнуться, и я вынырнул, растопырив руки, чтобы не удариться о скалы. Рядом со мной в бурлящей стремнине за третьим порогом оказался тонувший. Уже почти совсем обессилев, он хотел ухватиться за меня, но я, поддерживая его, стал плескать ему в лицо водой, пока он совсем не обмяк. Тогда я обхватил его одной рукой и, отталкиваясь от дна ногами, попытался выбраться из стремнины. Водоворот неистово бурлил и кипел. Я лег на спину и что есть мочи отталкивался ногами. Никогда в жизни не видел я такого голубого неба, и деревья нависли надо мной зеленым пологом. Я нащупал подводную скалу, но она была очень скользкая — на ней не удержишься. Мои ноги затягивало в водоворот, утопающий был слишком тяжел, и я с трудом удерживал над водой его голову. Вместо того чтобы плыть по течению, мне приходилось бороться с ним. Капитан и гребец вытащили нас, можно сказать, в последнюю минуту.

— Ты что, дружище, впервой на этой реке? — прокричал капитан, плывя между нами и толкая меня и мою безвольную ношу к берегу. Он был сильный, как буйвол, и глаза его вспыхивали на солнце.

Гребец помог мне взобраться на скалу — ноги не держали меня, казалось, они налились водою.

— Ну, вылазь, герой! — крикнул он, поддерживая меня.

Капитан положил человека, которого я пытался спасти, лицом вниз и начал его откачивать.

— В первый раз, что ли, едешь? — спросил он меня.— Везучий ты,

черт. В другой раз не выкидывай на моем судне таких штук. Капитан тут я и уж как-нибудь догляжу за своими пассажирами.

Изо рта пострадавшего полилась, растекаясь пятном на скале, вода. Сантос поджидал меня, вид у него был перепуганный, но, когда я подошел к нему, он расплылся в улыбке.

— Да ты, брат, молодчина. Я б в эту реку нипочем бы не сунулся— тони хоть родная мать. И старатели считают, что ты молодец,— он кивнул в сторону остальных,— да только молчат. Такие уж они люди — сейчас не скажут ни словечка, зато потом сложат про тебя песню.

Мы продолжали плыть вверх по реке. Человек, которого я помог спасти, лежал на парусине на носу корабля и смотрел на солнце. Звали его Джеймс Веллингтон. Придя в себя, он сказал:

— Спасибо, друг. Если тебе нужна на твоем участке еще одна пара рук — рассчитывай на меня.— И я понял, что человек он неразговорчивый и ему стоило немалого труда произнести эти слова.

Мы разбили лагерь у Испанских порогов, и капитан, разделив нас на группы, дал всем работу. Одни разгружали судно, другие ставили для ночлега палатки, третьи собирали дрова. Солнце, немного помедлив на верхушках деревьев, внезапно скрылось, предоставив звездам, кострам и фонарям разгонять тьму.

Пассажирам роздали по пинте муки, пачке сухарей и по две ложки сахару, мы же с Сантосом приготовили славный ужин из собственных припасов. Долговязый старатель, всю дорогу от Парики игравший на гитаре, после обеда влез на ящик и заиграл снова. Все звали его Паз. Длинная шея его нелепо торчала из плечей, не утолщаясь книзу, и кто-то давным-давно сострил, что между плечами у него — паз, в который и вставляется шея.

— Ну, как ты, Акула? — спросил меня Сантос. Он лежал в гамаке, болтая своей черной ногой и изредка ударяя по ней метелкой — отгонял москитов.— Теперь я буду звать тебя Акулой, ведь ты даже этой реке сумел натянуть нос.

— Я уже попривык, Сантос, а когда мы только отправились в джунгли, мне было как-то боязно.

— Да неужто ты не видишь, что этот парень прямо генерал! — сказал старатель, лежавший рядом с нами.

Мне хотелось сказать Сантосу, что после невольного купания в голове у меня прояснилось, что, когда меня несло через пороги, я сам себе доказал, что я мужчина, и что я это здорово придумал — отправиться в Перенонг и работать около того места, где погиб мой отец. Но вокруг нас галдели и хохотали старатели, и я бы выглядел дураком, услышь все это кто-нибудь, кроме Сантоса.

В три часа утра раздался приказ капитана:

— Разжечь по берегу костры!

Старатели выбирались из своих гамаков и в темноте, спотыкаясь о хворост, сваленный возле погасших костров, гремели котелками и ведрами. Позавтракав при ярком свете костров, мы свернули свои гамаки, уложили пожитки и отвязали от шестов палатки. В шесть утра мы перетащили последний тюк через выступавший из густого тумана каменистый пригорок. Взошло солнце и засверкало на блестящей паутине, которой пауки опутали за ночь ветви. Было еще прохладно, когда мы принялись тащить «Виктора» против течения, а в восемь часов наш пароход уже снова пыхтел, двигаясь вверх по реке. Хорошая разминка и близость приисков развязали языки. Каждый клялся, что стоит ему добраться до места, как он сразу разбогатеет, не мешкая вернется в город и заживет на славу. Джеймс Веллингтон сидел на носу спиной к остальным. Однажды предложив мне свои услуги, он больше со мной не разговаривал.

День за днем мы нагружали, разгружали и тащили «Виктора» через стремнины, повинуясь зычному голосу капитана. Как-то раз, когда мы уже миновали пороги Мариппо, я, прячась от солнца, уселся между ящиками. Капитан обратился ко мне:

— Слыхал я, ты человек книжный, на доктора учился?

— Нет, только на аптекаря,— отвечал я. Я еще не знал, что старатели, говоря о себе, любят преувеличивать и очень невысоко ценят тех, кто не делает этого. Но капитан смотрел назад, на Мариппо, и не слышал меня.

— Посмотри на Мариппо,— сказал он.— Каждый раз, как проскочу его, душа поет. Уж он — всем водопадам водопад. Сколько людей там утопло — и не счесть.

— А мне он показался таким же, как и другие.

— Оттого, что сейчас половодье. Убери только воды на фут, и река нас всех на тот свет отправит. Что ни год, нужно этому водопаду судно сцапать. В тот год погиб капитан Рэтан. У скал вокруг Мариппо цепкие зубы.

— Судно на мели! — крикнул гребец. Капитан принялся честить гребца и его родню до седьмого колена, а мы попрыгали в реку и, стоя по грудь в воде, стащили «Виктора» с песчаной отмели. Когда мы снова взошли на борт, капитан как ни в чем не бывало продолжал:

— Я бы мог рассказывать про несчастные случаи на этой реке до самого светопреставления. Вот так-то, сэр. Как ты свое докторское дело знаешь, так я знаю мою реку. В книгах этому не научишься, тут надо видеть каждый изгиб, как насквозь видишь свою старуху.

На пятый день мы достигли подножия Парбакашских порогов. Куда ни посмотри — со всех сторон нас обступали леса, холмы и голые скалы, поросшие диким виноградом и чахлыми деревцами, приютившимися в расселинах. Мир вокруг меня неудержимо разрастался, я казался себе меньше муравья и как-то все больше сближался со старателями, которые каждый день рисковали жизнью, а по ночам пели и смеялись у костров. Мы с Сантосом взобрались на скалу около водопада посмотреть на закат.

— Какая большая наша страна! — сказал он, и я понял его: ведь на побережье мы были отрезаны от мира, стиснутые морем и бескрайними, как океан, лесами.

— Хорошо бы остаться здесь навсегда,— сказал я.

— То же самое говорит каждый житель побережья, но великий край суров и неприветлив. Сюда можно приезжать и уезжать, оставаться тут нельзя — пропадешь.

Мы плыли дальше, и все чаще отвесные скалы сменялись бурными стремнинами. Мимо утеса Кабури мы прошли в полдень — нависшая над водой каменная громада дрожала в горячем мареве, казалось, она вот-вот растает в воздухе и исчезнет. Миновали водопад Зеркальный, спустились по реке Кусевайо, увидели в утреннем тумане Топоко, обошли стороной белые клыки скал у Туреси и причалили в сонной бухте Камакусы. Тут мы явились в полицию и предъявили свои разрешения на разработку недр. Я заметил, что все полицейские были жителями побережья, а сидевшие здесь арестанты — старателями. Последние походили на людей, наслаждающихся отдыхом, первые же, казалось, чувствовали себя в ловушке. Стены не окружали места заключения — только лесная чаща да река. Сантос рассказывал, что однажды во время алмазной лихорадки из тюрьмы ушли все — и заключенные и стражники.

Еще два дня пути от Камакусы — и мы прибыли к месту назначения, в устье реки Перенонг. Мы разбили палатки у задней плотины, неподалеку от водопада Трав. В первую ночь мне приснилось, что мы плывем по реке, которая взбирается на самое небо, вода начинает грохотать еще

там, в небесах, и это несется вниз до самого моря. На рассвете мы увидели, как бледнеет при появлении солнца полная луна, и услышали пронзительные крики обезьян. Солнце спалило покров тумана, открыв нашему взору громадные деревья, опутанные лианами и орхидеями, и зеленые холмы; только желтые цветы и красноватые стволы нарушали однообразие сплошной зеленой стены. Сантос чувствовал себя в Переноnге как дома, и я был уверен, что во всей Гвиане нет такого уголка, которого бы он не знал. Когда я проснулся, Сантос уже возвращался с купания, встряхиваясь, как мокрый пес.

— Не худо бы раздобыть свежего мяса,— сказал он.— Я слышал, как у водопада перекликались маруди.

Мы достали из непромокаемых чехлов ружья и до тех пор начищали стволы, пока они не заблестели, как лунный свет на уснувшей воде. Мы двинулись вверх по реке и скоро оказались у водопада. Сантос остановился под эбеновым деревом и показал на птицу в его ветвях.

— Давай ты,— прошептал он.

Я прицелился и выстрелил. Эхо выстрела разбудило весь лес, птица глухо ударилась о землю. В гуще листвы захлопали крылья, по земле быстро пробежал какой-то зверек. Почти коснувшись моих ног, проскользнула зеленая змея. Самец маруди, сидевший ближе к верхушке, с жалобным криком взмыл в воздух.

— Вернется,— уверенно сказал Сантос, прижал к губам край листа и отрывисто засвистел.

Птица вернулась, покружила над деревом и опустилась на ветку, выстрел Сантоса раздробил ей голову.

— Этой парочки нам хватит на неделю,— сказал он. Я подобрал птиц, каждая весила больше десяти фунтов.

Позже, когда солнце уже приближалось к зениту, мы отправились в лавку Буллы Дэниелса. Она находилась в полумиле от нашего лагеря, на берегу реки.

— Эй, Булла! — крикнул Сантос, поднявшись на первую ступеньку лестницы.

— Кто там еще?

— Это я, Сантос, мы тут с приятелем.

Лавка помещалась в большом некрасивом строении с цинковой крышей и стенами из пальмовых стволов.

— Сантос? — послышалось изнутри, хозяин отворил дверь и спустился по ступенькам.

Он был невысок ростом, а голова его странным образом напоминала нарост на дереве. Над добрыми, широко расставленными глазами нависали густые брови. Приплюснутый, словно перебитый нос почти касался толстых губ. Волевой подбородок делила пополам глубокая впадина. Шея у него была короткая и крепкая, плечи — могучие, талия — тонкая, походка немного странная — вприпрыжку.

— А, это ты, Сантос,— обрадовался он.— Опять, значит, забрел в наши края.

— Да. Хочу, Булла, попробовать еще раз.

— А кого это ты привел с собой? Что-то лицо его кажется мне знакомым.

— Товарищ мой. Он учился на доктора, да бросил, хочет попытать счастья на приисках. Парнишка этот, Булла, прямо герой. Видел бы ты, как он вытащил из воды около Куапо Джеймса Веллингтона!

— Я про это еще вчера слыхал. Тебя как звать?

— Арон Смарт.

— Силы небесные! — Булла впился в меня взглядом, обошел вокруг и осмотрел с головы до ног.— Уж не сын ли ты Джо Смарта?

— Да. Джо Смарт был моим отцом.

— Господи помилуй! Вот не думал, не гадал! Бог ты мой! Дай-ка пожать тебе руку, сынок. Отродясь я не плакал горше, чем в тот день, когда узнал о гибели Джо. Говорил я ему: с этим белым держи ухо востро, да разве он меня слушал! Душа у Джо была нараспашку — он верил каждому встречному-поперечному. Знаешь, он говорил мне как-то про жену и сына, да я думал, он шутит. До чего же я рад тебя видеть! Сын Джо Смарта! Дай я еще раз пожму тебе руку!

Он говорил без умолку, едва переводя дыхание. Потряс мою руку, отступил на шаг, снова придвинулся и похлопал меня по спине. Я не знал, что сказать.

— Арон, мальчик, я стану заботиться о тебе. Ничего не бойся. Дружба с Буллой Дэниелсом что-нибудь да значит — спроси у любого, от Перенонга до Ореаллы, от Рораимы до самой Акараи. Для друга ничего не пожалею, а врагу спуску не дам.

Булла разгорячился, хлопал ладонью по перилам, снова и снова тряс мою руку.

— Тоник! — крикнул он, и в дверях показался щуплый косоглазый негритенок.

— Тоник, это Джо Смарта сын. Помнишь, я же чуть не каждый день вспоминал про Джо? — Мальчик, склонив набок головку, ничего не ответил.— Принеси-ка нам, Тоник, виски. По такому случаю надо выпить.

— Похоже, Джо Смарт всех тут знал,— сказал Сантос.

— А как же ему было не знать,— подхватил Булла.— Он и в крикет играл, и чем он только ни занимался.

Мы вошли в лавку и расположились у стойки. Тоник налил нам виски. От цинковой крыши в помещении стояла такая жарища, что все поснимали рубашки. Сантос с довольным видом потягивал виски.

— Я, Тоник, пойду покажу Арону ствол шахты, где утонул его отец,— сказал Булла.— Нет-нет да и схожу на то место, и разговариваю с Джо, и поминаю лихом этого белого.

— Хорошо, капитан,— все так же без улыбки откликнулся Тоник,— лодка, капитан, привязана у какаралового дерева.

Тоник был из тех людей, что рождаются стариками, и, глядя на него, невозможно было сказать, сколько ему лет — шестнадцать или шестьдесят. Но когда он двигался, на мускулистом теле его перекатывались мышцы, крепкие, как канаты. Мы прикончили бутылку виски, и Булла перевез нас в лодке через реку. По крутой тропинке мы добрались до заброшенного лагеря старателей, среди буйно разросшейся зелени виднелись остатки заржавевшего оборудования и развалившихся хижин. Мы осторожно продвигались вперед, обходя заросшие травой отверстия шахт. В одном месте на крюке болталась грязная, разбухшая от влаги вывеска: «Бьючемп и Смарт — шахта № 4». Я не знал, что мы уже подошли к главному стволу шахты. Булла раздвинул кусты и сказал:

— Вот тут, Арон.

Я посмотрел вниз; там, футах в пятнадцати от меня, стояла вода, покрытая водорослями и цветами лилий, и мне подумалось, что отец, родившийся среди туманных болот родной Махайки, тут, должно быть, обрел покой. Я машинально бросил в воду горсть камушков. Булла снял соломенную шляпу и прижал ее к груди.

— Джо, друг, я позабочусь о твоем сыне,— заговорил он.— Разве не ты, Джо, первый одолжил мне денег, чтобы я смог открыть свою лавку? Ты, не раздумывая, помогал всякому, кто попадал в беду, никому не отказывал. Я стану заботиться об Ароне. Обещаю тебе, Джо.

— Пошли, что ли! — предложил Сантос.— Не нравится мне это место. Кажется, что тебя здесь со всех сторон обступают призраки.

— Тела так и не всплыли? — спросил я Буллу.

— Хоть бы одно. Река и шахта не выпустили их. Ты, сынок, должен иной раз приходить сюда и разговаривать с отцом, потому как он заточен там с оравой китайцев и не понимает их языка.

Мы вернулись в лавку Буллы и распили втроем две бутылки рому. К вечеру пришли жившие поблизости старатели и несколько женщин. Они пили стаканами спирт и самогон, расплачиваясь самородками, золотым песком и алмазами. Двое сцепились из-за женщины. Булла прекратил драку, в мгновенье ока нокаутировав обоих, вышвырнул драчунов за дверь, и, прежде чем я успел понять, что происходит, соперники уже лежали в траве, и роса остужала их страсти. В углу я заметил Джеймса Веллингтона, в задумчивости, ни слова не говоря, он сидел и потягивал вино.

— А вот и ты, Джеймс Веллингтон! — подошел я к нему. Джеймс поднял глаза, губы его чуть дрогнули, он взял стакан и осушил его за мое здоровье.

— Когда же начнем работать, капитан? — спросил он.

— Денька через два, надо сперва сколотить артель. На участке нашем заросли непролазные, как ил.

— Я помогу тебе подобрать хороших ребят. Я их всех знаю, одни могут работать как надо, а у других — кишка тонка.

— Приводи их завтра утром. Встретимся тут, в лавке, мы с Буллой посмотрим их. Знаешь Буллу?

— Чтобы я, Джеймс Веллингтон, да не знал Буллы Дэниелса? Я знавал его, когда он еще был боксером...

— Тогда ты, должно быть, знал и моего отца, Джо Смарта?

— Про Джо Смарта я слыхал, да только встретиться с ним мне не довелось.

Я передал Булле свой разговор с Джеймсом Веллингтоном и услышал от него, что Джеймс работник хороший, только человек очень уж скрытный — они знакомы больше двадцати лет, но о прошлом Джеймса ему до сих пор ничего не известно.

На другой день к лавке пришло шестнадцать человек, мы отобрали десятерых.

Ночью, накануне того дня, когда мы приступили к работе, мне приснилось, что я снова живу в Махайке и охочусь на болоте. Я хотел сорвать пучок лилий, но не успел до них дойти, как земля вдруг расступилась и поглотила цветы. А на том месте я услышал из-под воды два громких голоса — мужской и женский: женщина ругала мужчину, а он хохотал в ответ. Они выбрались из глубокой ямы и пошли ко мне, и вдруг я понял, что это мои родители. Я бросился к ним, звал их, но, подойдя ближе, увидел, что у них нет голов — смех и слова вылетали из отверстий между плечей. В ужасе бросился я прочь и тут же проснулся в холодном поту.

Началась разработка участка. Мы договорились с Сантосом, что половину всей добычи будем делить между собой, а остальное — между десятью рабочими, которых мы наняли.

Булла и Джеймс хорошо подобрали людей. Едва мы начали работать, как жажда напасть на богатую жилу завладела нами. Мы работали, не разгибаясь, от зари до зари; пот лил с нас градом, мы хохотали и пели кто во что горазд. Когда старатели узнали историю моего отца, они вообразили, что я унаследовал его магический дар находить алмазы. Они брали у Буллы в долг всевозможные припасы, и он предупредил, что каждый, кто ослушается меня, будет иметь дело с ним.

Особой породы люди были эти старатели. Трудности и опасности не страшили их, они наживали и проматывали целые состояния, с тысячами в кармане покидали джунгли и клялись, что нипочем не вернутся, но всегда возвращались, зачастую пропив все до нитки. Шло время,

люди менялись, но мечта, владевшая ими, оставалась прежней. Когда старателям закрывали кредит в одном месте, они перебирались в другое. Им не так уж трудно было уговорить лавочников давать им в долг, даже когда за душой у них не оставалось ни гроша, потому что в любой момент могли снова разбогатеть. У многих на побережье были семьи, но в джунглях царили свои законы, свои правила, и для старателя покинуть жену и детей, близких или дальних родственников было таким же обычным делом, как есть и спать. Они были искателями приключений. Среди лесов и рек, среди высоких гор и бесконечных саванн, то поднимавшихся к небу, то расстилавшихся плоской равниной в сердце континента, человек был пылинкой. Но чувствовал он себя великаном, покорителем громадного мира и был подлинным героем. Для человека не имело значения, кем он был на самом деле, важно было, кем он себя считал. Его страстью было золото и алмазы, потому что в поисках их он освобождался от всего, что привязывало его к жизни на побережье. Прожив месяц с этими людьми, я понял, что мы с Сантосом не можем до конца разделить их мечтаний — слишком много жило в наших сердцах жадности, слишком привыкли мы к обеспеченной, размеренной жизни.

Мы разбились на две партии — по шесть человек каждая. Одной руководил Сантос, другой — я. Вырыв две ямы по двадцать четыре фута в длину, четырнадцать в ширину и двенадцать в глубину, мы с Джеймсом Веллингтоном приступили к промывке. Джеймс был моим первым помощником, а Вуди Сэм, самый большой болтун на всех приисках,— помощником Сантоса. Около ручья, где я почти все время работал, стоял том, и Вуди с Джеймсом подносили к нему в ящиках песок, гальку и глину. Том — сколоченный из легкого дерева ящик — был не очень глубок, восьми футов в длину и двух в ширину. Два человека перемешивали содержимое своих ящиков до тех пор, пока грязная жидкость не просачивалась сквозь отверстия в днище тома в другой пустой ящик побольше. Я зачерпывал ковшом густую грязь, выливал ее в сито и промывал породу в ручье. Песок вымывался, и я слышал, как дребезжали камушки — словно кто-то стучал зубами в лихорадочном ознобе. Быстрым движением я снова и снова встряхивал сито, чтобы алмазы, если они были в породе, осели в центре.

Когда я впервые увидел алмаз, я стал кричать и прыгать, как цыпленок на горячих угольях. Все бросили работу — каждому хотелось разглядеть алмаз на солнце, попробовать его на зуб, взвесить на ладони. Вуди Сэм разбил над нашими ямами по бутылке рому, и только после этого мы снова принялись за дело.

— Хороший знак,— сказал Вуди.— Если найдешь алмаз в четыре часа, дело верное. Мы еще много чего найдем в этой грязище.

— Вуди знает, что говорит,— заметил кто-то.

— Пустая болтовня,— проворчал Джеймс, но его никто не поддержал.

К концу недели обе ямы уже дали алмазов на десять тысяч долларов. Разговоров и смеха теперь в ямах почти не слышалось — все работали сосредоточенно, с удвоенным усердием, но к вечеру, искупавшись в прохладной заводи над водопадом Трав, старатели спускались по очереди в лавку Буллы и ведрами притаскивали спирт и ром. В сумерках на меня всегда нападала томительная сонливость, усевшись поближе к огню, я вытаскивал впившихся в кожу клещей, а потом начинал дремать. Меня удивляло, что другие, проработав весь день, не устают, как я, и раза два, когда я заснул у костра, старатели будили меня, добродушно-грубовато говоря, что если роса проберет человека до костей, то он неминуемо схватит воспаление легких. Но время шло, я окреп и вечерами стал кутить вместе со всеми. По ночам старатели напивались, а днем, в жару и в дождь, алкоголь выходил у них из тела вместе с потом. Спирт

был таким крепким, что первые несколько раз мне казалось, будто я наглотался горячих углей. Другие же пили его, как воду, весело болтали, играли в карты и плясали всю ночь напролет. Сборище получалось довольно странное: люди стекались сюда из самых разных уголков Гвианы, между ними было мало общего, но всех роднила мечта напасть на алмазную россыпь или золотую жилу. Ночь за ночью продолжался пьяный кутеж, ругань висела в воздухе, люди бросались друг на друга, как дикие быки. И драки нередко кончались бы трагедией, если бы не Джеймс Веллингтон — пил он много, но никогда не пьянел. Разнимая дерущихся, он хранил невозмутимое спокойствие. Всегда вовремя разводил противников, а если они имели глупость бросаться на него, валил любого с ног коротким и точным ударом.

Из разговоров у костра я узнал, что Менни Рей дважды проматывал целые состояния; Вуди Сэм уверял всех, что собирается послать денег жене, но дальше уверений дело не шло; старик Галловей уже двадцать лет не виделся с женой и детьми, жившими у моря; Барнс раньше бродил по деревням, читая проповеди и молитвы, потом прижился у одной женщины, которая обманывала его с другим и вконец разорила. Локджо Киртон служил матросом на шхуне в Карибском море и мечтал стать владельцем судна. Воскресшего Моррисона чуть не похоронили заживо во время эпидемии гриппа. Рактон Дэниел был трубачом в Армии Спасения *, но дочь майора, белая, забеременела от него, и ему пришлось уехать из города. Об остальных я мало что помню, кроме того, что Джеймс Веллингтон и Поль Слоу никогда ничего о себе не говорили, хотя все мы знали: у них нашлось бы что рассказать.

Сантос не любил перемен, но, оказавшись на новом месте, чувствовал себя как рыба в воде. Прошло несколько месяцев, и он стал заправским старателем: усвоил их небрежную, вразвалочку, походку, манеру разговаривать, пить, плясать, хвастать.

Из-за этой перемены в нем отношения наши ухудшились. По пятницам я относил недельную добычу алмазов к Булле. Он сортировал их и взвешивал, а затем я делил алмазы под хищными взглядами старателей. Моим банкиром был Булла, Сантос же хранил свои алмазы в мешочках, которые пришивал к поясу, надевавшемуся прямо на тело. В субботу вечером мы отправлялись в лавку кутить, и заканчивался кутеж только в понедельник на заре. Как-то в воскресенье я встретил в лавке Сантоса — он сидел за столиком недалеко от стойки. Яркое солнце, светившее в окно, резало его воспаленные глаза, как песок. Он залпом осушил полстакана спирта, и я сказал:

— Смотри, Сантос, дружище, ты слишком много пьешь.

— А ты кто такой, чтобы мне указывать? — вскинулся он и ударил кулаком по столу.— Иди-ка ты, мальчик, да искупайся в реке. Если ты учился по книгам, так думаешь, тебе все позволено, как белому? — Он подался вперед и расхохотался мне в лицо. Сидевшие за соседними столиками обернулись к нам. Кровь бросилась мне в голову.

— Думай, что говоришь, Сантос! Я не маленький и не позволю так со мной разговаривать.

— Нет, уж я скажу тебе пару ласковых. Трезвый ли, пьяный ли, я уж сумею тебя проучить, стоит мне только захотеть.

— А ну, попробуй! — крикнул я. Сантос опрокинул стол и ринулся ко мне. Булла, перемахнув через стойку, встал между нами.

— Я, Сантос, хочу дать тебе добрый совет. Не являйся ко мне в лавку оскорблять моих друзей, и не сдобровать тебе, коли я узнаю, что ты занимаешься этим где-нибудь еще... Я знал его отца, а ты даже

---

* Реакционная религиозно-филантропическая организация, основанная в 1865 году. В своей структуре копирует армию.

не знаешь, кто был твоим папашей. Не побрезгуй советом Буллы Дэниелса. Оставь этого малого в покое.

— Ладно, Булла. Ты же видишь, он так накачался, что еле держится на ногах.— Гнев мой прошел, я протянул Сантосу руку.— Вот тебе моя рука!

Но Сантос, будто не заметив этого, схватил бутылку спирта и, пошатываясь, вышел вон.

— Все вы против меня! Все как есть! — выкрикнул он за дверью.

— Гляди в оба за этим парнем! — сказал Булла, провожая его глазами.

— Пьяный он.

— Что у трезвого на уме,—у пьяного на языке. У этого негра зуб на тебя. Следи за ним. Говорю тебе, тут в джунглях матери родной нельзя верить.

— Вот увидишь, Булла, завтра он постарается помириться и со мной, и с тобой.

— Ты, Арон, весь в отца! Тоже думаешь, что все люди таковы, какими кажутся. Да только пока Булла Дэниелс живет тут в Перенонге, пусть этот мистер Сантос поостережется, не то я, помяни мое слово, разделаюсь с ним по-свойски.

— У меня есть новости,— сказал мне Булла позднее, когда мы сидели с ним в задней комнате.

— Ты, кажется, прослышал о богатом участке?

— Нет, сынок, того лучше. Скоро из Джорджтауна придет судно с женщинами. О богатой добыче алмазов в Перенонге уже говорят повсюду, вот капитан Родиус и везет свой товар, чтобы хорошенько выпотрошить вас.

— Из меня они много не вытянут, у меня есть девушка.

— Ну, что это за девушка? Она тебе даже не пишет. Может, она тебя обманывает, почем ты знаешь?

— Она, Булла, не умеет писать.

— Тогда должна попросить кого-нибудь.

— Все равно она хорошая, хоть и не пишет.

— Ну, раз так, давай, дружище, выпьем за ее здоровье. Как ее звать-то?

— Белл. Просто Белл. Не знаю, есть ли у нее другое имя.

Когда я вернулся в лагерь, Сантос храпел в своем гамаке. Наутро, проснувшись, он сказал, что голова у него гудит, будто его пришибло упавшим деревом.

— Прости, если я обидел тебя и Буллу,—сказал он, низко опустив голову.

— Я-то, Сантос, не сержусь, а вот с Буллой ты должен толком поговорить. Он рассердился.

— Я схожу к нему попозже.

— Пойдем искупаемся,— предложил я.

Сантос вместо ответа стиснул руками голову и стал раскачивать ее из стороны в сторону.

Солнце еще не вставало, и люди суетились в предрассветном тумане — сворачивали гамаки, разжигали костры, доставали кастрюли и котелки, чистили рабочий инструмент.

— Эй, Вуди, пошли с нами купаться! — крикнул я, когда мы проходили мимо хижины, где спал он и Маршалл.

— Есть, капитан, дай только натяну брюки.

Мы поднялись втроем к тому месту, где начинался водопад Трав и где между скал, сдерживающих быстрое течение, образовалась тихая заводь. Плавать здесь было безопасно, зато у подножия водопада около

скал водились электрические угри и пираньи *. Мы долго плавали и плескались в прохладной темной воде, а когда вылезли на берег, уже показалось солнце. На обратном пути я увидел пятнистого удава, он обвился вокруг нависшего над тропинкой сука. Сантос взял у меня ружье и выстрелом размозжил змее голову. Удав свалился на землю, извиваясь и колотя хвостом, а когда он наконец стих, я снял с него шкуру.

— Убивать змей — плохая примета,— сказал Вуди.— Помяни мое слово. Когда убьешь какого-нибудь гада, значит, кто-то помрет в лагере.

— Из этой кожи, Вуди, выйдут отличные туфли для моей девушки,— сказал я, но он продолжал ворчать всю дорогу.

Неделя проходила за неделей, и наши отношения с Сантосом наладились. По ночам мы говорили о докторе, об Индре, о миссис Рам и Марте. И каждый раз я удивлялся: как это Сантос так ясно помнит всякую мелочь, когда для меня жизнь с этими людьми отодвинулась куда-то далеко-далеко. С тех пор как Булла предостерег меня насчет Сантоса, я стал внимательно присматриваться к нему. Живя с ним бок о бок, прислушиваясь к его разговорам с другими старателями и видя, как охотно он по любому поводу становился на их сторону, я начал понимать, что он мне завидует. Он всячески старался скрыть это, но жестоко завидовал тому, как относились ко мне мистер Бьючемп, доктор Рам, Булла. Он принадлежал к людям, не умеющим жить без зависти. Он лелеял эту зависть и упивался тем, что она отравляла его отношения с близкими ему людьми. Я уже больше не принимал за чистую монету его веселый смех, добродушные шутки и забавные истории. Я не спускал с него глаз, когда он работал в яме. Подозрения овладели мною; теперь мне припомнилось многое из того, на что я раньше не обращал внимания, и все это только подкрепляло их.

На глубине двадцати футов в обеих ямах стали попадаться алмазы покрупнее, и мы работали, еле сдерживая волнение. Теперь старатели трудились, не разгибая спины. За работой они мечтали о том, как будут кутить в Джорджтауне, рассказывали о женщинах, с которыми имели дело в городе, вспоминали многочисленные случаи, когда едва-едва не разбогатели. Один Джеймс Веллингтон хранил молчание, если же пытались у него что-нибудь выведать, двумя словами отбивал у любого охоту его выспрашивать. Когда мы заходили в лавку Буллы, Джеймс усаживался у стойки в самом углу и медленно, задумчиво тянул из стакана виски. Прикончив две бутылки, он уходил. Много раз видел я, как он, сидя на скале, часами смотрел в воду.

В лунные ночи наш лагерь звенел музыкой. Локджо Киртон играл на гитаре, Галловей — на барабане, остальные — на импровизированных инструментах: жестянка из-под какао с мелкими камушками заменяла маракас **, бычий рог, заклеенный тонкой бумагой,— саксофон, распиленный бак из-под керосина служил турецким барабаном. Мы изобрели еще один музыкальный инструмент, прикрепив к барабану гладкий изогнутый кусок дерева. Горлышко пустой бутылки плотно затыкали пробкой и водили ею по этой деревяшке.

При первых звуках оркестра старатели начинали медленно кружить вокруг костра, и мелодия все больше овладевала ими. Музыка становилась стремительной, вступали новые инструменты — музыканты дули в рога, стучали ложками, били в барабаны. Только грохот водопада Трав перекрывал мелодии речных песен и напевов с далекого побережья.

---

* Пиранья — хищная прожорливая рыба. Водится в реках Центральной и Южной Америки. Стаи пираний нападают даже на крупных животных и человека.

** Маракас — народный музыкальный инструмент наподобие погремушки, сделанный из высушенного плода дерева тотумо.

Я часто присоединялся к танцующим. Ритмы были так зажигательны, что ноги сами пускались в пляс, все тело ходило ходуном, смех неудержимо рвался наружу. Лунный свет и костер давали каждому танцору партнершу — его собственную тень. Сантос танцевал лучше всех. Он двигался стремительно, страстно, и, когда музыка завладевала им, тело его превращалось в огонь и ветер. Музыканты, чувствуя, как загорается Сантос, играли для него одного. Танцуя, он становился то листом, слетающим на землю с высокого дерева, то вольным ветром, со свистом несущимся над густыми травами саванны, то гребнем прибоя, неторопливо набегающего на берег, а потом отступающего.

Ночь за ночью музыка, лунный свет, танцы и шум водопада наполняли наши сердца таким ликованием, что найди мы сразу даже целую гору алмазов, это не могло бы доставить нам большей радости.

А в темные безлунные ночи я прислушивался к звукам, оглашавшим берега Мазаруни,— ухала сова, слышался предсмертный крик схваченной змеей лягушки и стук копыт пробегавшего мимо оленя, шелестел в лесу ветер.

В период дождей не смолкал глухой шум ливня, голова болела от раскатов грома, и молния разносила в щепы гигантские деревья.

■

Однажды после обеда мы нашли голубой алмаз в сорок каратов и тут же заказали у Буллы четыре ящика виски. Казалось, солнце никогда не сядет. Наконец стемнело, и мы зажгли вокруг лагеря фонари. Старатели с других участков пришли отпраздновать это событие вместе с нами. Ночь наполнили пьяные крики, музыка, звяканье бутылок об эмалированные кружки. К полуночи запасы вина иссякли, и Вуди с Галловеем отправились в лавку за подкреплением. Киртон был вдребезги пьян. Он разбил два фонаря и едва не загорелся. Веллингтон, Сантос и я тщетно старались его утихомирить, он вырвался и побежал к реке. Я с трудом нагнал его на берегу, но споткнулся и упал, а он свалился в воду. Вуди стал светить в его сторону факелом и громко кричать:

— Вылезай скорей, моряк Киртон! В речке полным-полно угрей. Скорей вылезай! Жить тебе, что ли, надоело?

Киртон переплыл поток, пробежался по берегу и снова бросился в воду. Он плыл к нам, и за ним извивался светящийся след. Киртон был так пьян, что мы диву давались, как это он не тонет. Когда он доплыл до середины реки, мы услышали крик. В темной воде я увидел его глаза — громадные, побелевшие от ужаса. Электрический угорь обжигал его снова и снова. Веллингтон бросился по берегу к лодке, прыгнул в нее и поплыл к Киртону. Он схватил товарища, но его отбросило назад электрическим зарядом. Громадный угорь вился вокруг Киртона, пока тот не ушел под воду. Веллингтон вернулся, осторожно поддерживая поврежденную руку.

— Заряд прошел через Киртона и ударил меня,— сказал он.

— Говорил я вам,— начал Вуди.— Как убьешь змею, так джунгли и требуют в отместку человека.

— Раньше срока не помрешь,— заметил Маршалл.

Услышав печальную весть, захмелевшие старатели протрезвели.

— В этом алмазе — смерть,— сказал кто-то.

— Не мели ерунды,— прикрикнул на него Сантос.— Каждый умрет в час, назначенный ему господом богом.

Тело Киртона снесло вниз по Мазаруни, нашли его между Перенонгом и Камакусой. Жалкие останки похоронили на берегу реки, око-

ло того места, где их отыскали. Мы перебрали пожитки Киртона, надеясь найти адрес его родных, но ничего не обнаружили и отправили вещи вместе с причитавшимися ему алмазами в полицейский участок, в Камакусу.

— Лучше бы дали его костям докатиться до самого моря,— сказал Вуди.— Он ведь был моряком.

Старатели, как и матросы, иногда годами вынуждены обходиться без женщин. Во время долгого одиночества они живут воспоминаниями и делятся друг с другом впечатлениями от встреч с городскими проститутками. Они так часто повторяют свои истории, что и ты уже знаешь этих женщин — как они выглядят, как говорят, что чувствуешь, лаская их.

Когда весть о том, что в Перенонг прибывает корабль с женщинами, дошла до старателей, весь лагерь стал лихорадочно готовиться к встрече. Старатели извлекали из тайников и, не стесняясь, разглядывали украденные алмазы, вытаскивали из чемоданов фланелевые костюмы, шелковые рубашки и пестрые галстуки, начищали до блеска ботинки. Между собой договорились, что если женщин на всех не хватит, то будет устроен аукцион, и они достанутся тем, кто больше даст.

Рактон Дэниел, слывший сердцеедом, решил нарядиться «для репетиции» еще утром, накануне приезда женщин. Надел двухцветные ботинки, но тут же заорал не своим голосом и стал кататься по траве. Все переполошились, а когда Рактон сбросил ботинок, увидели, что в большой палец ему вцепился здоровенный муравей. Старатели хохотали до упаду, кружась вокруг Дэниела, а он весь день ходил злой и мрачный.

Женщины прибыли в субботу после полудня, и старатели высыпали на пристань встречать их. На мужчинах были пестрые шелковые и полотняные рубашки, шикарные фланелевые костюмы, в галстуках сверкали бриллиантовые булавки. Старателям приходилось все время цепко стоять голыми ногами на земле, от этого ступни у них стали широкими, а теперь их стискивали дорогие ботинки. Сантос, как один из самых богатых алмазоискателей, стоял впереди всех и то и дело бегал в дальний конец пристани в надежде первым увидеть корабль.

Когда «Смуглянка» показалась из-за поворота реки, ее встретили дружными криками и ружейной пальбой. Корабль приближался, и мужчины на берегу вели себя как мальчишки — старались привлечь к себе внимание, толкались, кричали, делали непристойные жесты и, торопясь помочь женщинам сойти на берег, наступали друг другу на ноги.

Мы с Буллой стояли в дверях лавки, Тоник примостился на стуле позади нас. И если бы не врожденное добродушие и мужчин и женщин, свалки бы не миновать. Капитан Родиус — коренастый крепыш, как почти все капитаны речных судов,— повел свой отряд сквозь толпу к лавке, громко крича:

— С дороги!

Хохочущая, разодетая во все цвета радуги стайка женщин двигалась за ним, их насмешки, меткие пощечины и звонкие шлепки удерживали нетерпеливых мужчин на некотором расстоянии. Я издали узнал Белл — она возвышалась над остальными. Кто-то попытался обнять ее, но получил кулаком в живот и скрючился от боли, остальные загоготали, однако сами старались держаться поодаль.

— Вон моя девушка! — сказал я Булле.

— Которая?

— Высокая, в белом платье. Похожа на королеву, правда?

— Да беги ты к ней скорее! Девушка тащилась в такую даль, а ты стоишь тут и язык чешешь! Ну, живо!

— Белл! — крикнул я.— Белл!

— Акула! Слава тебе господи, как я рада!

— Ты приехала, Белл!

— Я же сказала, что приеду!

— Я писал тебе, но ты не ответила.

— Писать я не умею, а рассказать кому-нибудь все, чтобы за меня написали, я не могла. Я разыскала одного белого, чтоб он прочел мне твое письмо, ученого человека. Я хотела, чтобы он как следует прочитал, что ты пишешь. И этот белый сказал, что ты хорошо умеешь писать.

— Иди познакомься с моим другом Буллой. Он знавал моего отца и с тех пор, как я появился тут, заботится обо мне.

Я подвел ее к Булле, он засмеялся своим густым смехом и обнял Белл.

— Так вот какая красотка ему приглянулась. Он говорил мне, что ты прямо королева. А я так думаю, что и королеве до тебя далеко.

— Вот уж льстец отыскался, да только ты мне все равно нравишься,— Белл звонко поцеловала Буллу в лоб, и старатели шумно выразили свое одобрение. Кто-то пошутил:

— А старик еще хоть куда.

Белл засмеялась, и смех ее прозвучал для меня нежной музыкой.

Я уже представил ее Тонику, и Вуди Сэму, и Джеймсу Веллингтону, когда подошел Сантос.

— А Сантоса ты помнишь?

— Да как же мне его не помнить? Ведь это он свел нас вместе.

Мы вошли в лавку. Женщин окружали поклонники, старавшиеся перещеголять друг друга. Они наперебой покупали для красоток самые дорогие вина — виски, крем-де-мент, шампанское, отваливая по пятнадцать, пятьдесят, семьдесят долларов за бутылку. Такие деньги можно было заработать за час, за день или за целый год — как кому повезет.

— Ну, как дела, Акула? — спросила Белл. Булла отправился в кладовку за бутылкой какого-то особого крем-де-мент.

Сантос сжимал в объятиях смуглую девицу и целовал ее в ухо. Она смеялась, увертывалась и кусала Сантоса в щеку.

— Делаю деньги, Белл, только и скучища же тут.

— А про меня ты, Акула, вспоминал? Хоть изредка?

— И ты еще спрашиваешь. Я все время вспоминал тебя, и ту ночь, и какая у тебя кожа нежная вспоминал. А как подумаю, что тела твоего касаются другие, так бы, кажется, и полетел к тебе стрелой.

— Ох и чудные же вещи ты говоришь.

Белл стояла рядом, грудь ее, вздымаясь, почти касалась меня. Однажды утром я видел, как впереди меня пересек тропу ягуар, и теперь подумал, что под шелковистой кожей Белл таится та же неукротимая сила, что у ягуара. Жесткие черные волосы, большие глаза и широкие скулы выдавали ее южноамериканское происхождение. Лицо у Белл было овальное, лоб — широкий, крупные, красиво очерченные ноздри, чувственные полные губы охотно показывали белые, как тигровые орхидеи, зубы. Плечи широкие, руки мускулистые, но кисти изящные. А в теле скрыт огонь, что течет в жилах у негров и заставляет их то двигаться лениво и плавно, то срываться с места, как бешеный порыв ветра.

— Скажи, Белл, отчего ты из всех выбрала меня? — внезапно спросил я, и Белл рассмеялась.

— Я знаю всяких мужчин, всех цветов кожи, оттого, мальчик, и выбрала тебя.

— Нет, Белл, скажи мне правду — почему?

Руки ее коснулись моего лица, пальцы легко пробежали по щекам и подбородку.

— Я все докажу тебе, Акула, а говорить складно, как ты, я не умею.

В лавке яблоку негде было упасть. Все кутили напропалую — старатели выкидывали немыслимые фортели, голоса звенели, потные тела дрожали от возбуждения. Булла нанял Джеймса Веллингтона на субботу и воскресенье помогать ему за стойкой. То и дело вспыхивали ссоры, но Булла каждый раз пресекал потасовку, не давая ей превратиться в общую свалку. Белл пожаловалась на усталость, и Булла предоставил нам на ночь свою комнатушку, пообещав сдать нам домик, стоявший на холме напротив лавки. Мы заснули под пьяные выкрики и звон стаканов.

Утром стрелы солнечных лучей усыпали нашу постель, Белл потянулась, пальцы ее забегали по моему позвоночнику. Накануне я слишком много выпил и теперь с трудом открыл глаза.

— Из тебя, Акула, никогда не выйдет настоящего гуляки,— сказала Белл.

— Знаю, я только тянусь за компанией.

— Пошли искупаемся.

— Хорошо, только немного подальше, где начинается водопад.

Булла уже сидел на ступеньках и ковырял в зубах громадной колючкой.

— Хорошо спали? — спросил он.

— Как в раю,— ответила Белл и, извинившись, ушла в дом.

— Присядь-ка, сынок,— сказал Булла и ловко сплюнул через перила.— Ты знаешь, на своем веку я повидал немало. И женщин тоже хватало на долю Буллы Дэниелса. Хоть женат я никогда не был, да все ж, если мне померяться с царем Соломоном, я от него не шибко отстану. Что я тебе друг, ты знаешь. И послушайся моего совета: запри в клетку эту райскую птицу, потому как ей нет цены.

— Вот это добрый совет,— сказала Белл, появляясь в дверях.

— Он мне, королева, дороже родного сына.

— Акула — парень не промах, да только надо быть поосторожнее, не то обдурят его за милую душу.

— Ты рассказал ей про этого негра, про Сантоса?

— Я хотел потом рассказать, Булла...

Но он не дал мне кончить.

— Недоброе затеял этот человек.

— Не знаю, говорил тебе Акула или нет, а мне Сантос сразу не понравился. Да ведь я не злопамятна и как подумаю, что без него нам бы с Акулой не встретиться, так мне ему спасибо сказать хочется.

— Он что-то задумал, королева, и задумал недоброе. Булла Дэниелс на своем веку всяких повидал — кого-кого тут только не перебывало. И двуличные бывали, и такие, что вовсе пробу ставить негде, а иной, бывало, разливается нежней, чем тинаму. Нет, королева, нынче Буллу не проведешь.

— Я слежу за Сантосом,— сказал я.

— Не спускай с него глаз. Этого Сантоса раскусить не так-то просто. Один парень из его партии сильно задолжал мне, и я велел ему тоже следить за Сантосом.

— А отчего, Булла, ты не бросишь эти места и не переселишься в город? Разве тебе здесь не скучно? — спросила Белл.

— Я, королева, уж пробовал отсюда уезжать, и не раз, да ничего не вышло. Через два месяца опять возвращался. Нет у меня ни семьи, ни хозяйства. Сердцем я прикипел к этим краям. Булла Дэниелс уж не уйдет отсюда, а как призовет меня господь бог, то кости мои зароют вон под тем какараловым деревом, на берегу реки.

Мы немного посидели молча, было слышно, как в кухне насвистывал Тоник.

— Между прочим, Акула,— заговорила Белл,— совсем позабыла

сказать тебе, в Бартике к нам подсел один человек, он говорил, что вы с ним родственники.

— Что за человек?

— Не очень темнокожий, глазастый такой. Сказал, что зовут его Ричард Долли. Подкатывался ко мне, спрашивал, может, я его помню — он был тогда надсмотрщиком на починке дорог, да только я ничего не вспомнила.

— Господи боже мой, да это мой дядя! Ну, скажу я вам, если уж дядя Ричард пустился в джунгли... Видно, нет ему больше удачи на побережье...

— А самое интересное, что ночью в Камакусе, когда ром ударил ему в голову, он заговорил о Сантосе.

— Но я уверен, что они с Сантосом никогда не встречались, Сантос бы мне сказал.

— Ни в чем не будь слишком уверен, дружище,— прервал меня Булла.— Говорю тебе, этот малый хитрый и коварный. Держи с ним ухо востро.

— Завтрак готов! — крикнул Тоник, искоса взглянув на нас с порога.

— Тоник зовет к столу. Идемте. Он сердится, когда еда остывает.

— А давно ли, Булла, живет у тебя Тоник? — спросила Белл, когда мы входили в дом.

— Он мальчишкой бродяжничал в Бартике, я заприметил его и взял с собой сюда, он был худющий, как бездомный пес. Тоник — славный. Он не улыбается потому, что лицо его тогда все сморщивается и перекашивается, но сердце у него доброе, и он настоящий житель лесов. Может с закрытыми глазами провести вас отсюда до Рораимы.

После завтрака мы с Белл отправились к заводи над водопадом Трав. Час проходил за часом, а мы все плавали и валялись голышом на скалах. Я рвал охапками цветы и засыпал ими Белл. В двадцати ярдах от нас вода круто устремлялась вниз, и темный поток превращался в белоснежную пену. Мы резвились, как дети, и чуть не умерли со смеху, когда водяная муха стала карабкаться по носу Белл, а зимородок, ловя рыбу, бросился в воду, и тут с неба камнем упал орел и унес в когтях зимородка. Белл кинулась в прозрачную воду и, скрестив ноги, уселась на белом песке, не сводя с меня глаз. Я свесился со скалы и стал корчить рожи, тогда она выскочила из воды, брызгаясь и хохоча. Когда мы устали, она стала петь мне любовные песни, тут же сочиняя слова.

— Белл,— сказал я и повернулся к ней. Она лежала под ворохом цветов, на груди ее пламенела орхидея.— Белл, мне так хорошо, как никогда в жизни не было.

— Я чувствую себя совсем чистой,— сказала она,— эта вода, и воздух, и твоя нежность словно смыли с меня пот всех мужчин, спавших со мной ночь за ночью.

— Белл, я сделаю тебя королевой. Смотри. Надену тебе на голову эту корону из орхидей. Она тебе как раз. Ты, Белл, стань орхидеей, а я буду деревом, и ты обовьешься вокруг меня — и так до самой моей смерти.

— Сроду никто не говорил мне ничего подобного, Акула. И мне, мальчик, хорошо. Как никогда. Ведь ты знаешь, я на десять лет тебя старше, и мне иной раз делается страшно: а вдруг я слишком быстро состарюсь?..

— Клянусь тебе, Белл, мне никого, кроме тебя, не нужно...

— Ты плохо знаешь жизнь и женщин...

— Я знаю тебя, Белл, и больше ничего не хочу знать.

К вечеру мы перебрались в домик Буллы, стоявший на холме, а на другой день я уже снова работал.

Старатели, которых подзадоривал Сантос, потешались над моим влюбленным видом.

— А здорово тебя, капитан, прихватило!

— Да тебе и алмаза-то сегодня не разглядеть. Витаешь от счастья в облаках.

— А я, капитан, тебя не виню: она и вправду королева.

Белл принесла мне удачу. За неделю мы нашли два больших алмаза; тот, что покрупнее, я подарил ей. Каждый вечер я поднимался по тропинке к нашему домику, полный радужных мечтаний, торопясь увидеть на веранде Белл. Вокруг пестрели желтые маргаритки и дикие азалии, в мягком свете вечерней зари на травянистых склонах пылали шапки подсолнухов. Длинные тени громадных какараловых и эбеновых деревьев ложились на тростниковую крышу и тянулись дальше, к ручью.

Белл украсила наш домик шкурами оцелота, коврами из обезьяньего меха и бамбуковыми шторами. Люди, обитавшие в нем до нас, проститутки и старатели, по-настоящему этот дом не обжили — они временно селились в нем, готовили пищу, ели, спали и уходили кто куда. А Белл сделала его настоящим домом, местом, где мужчина и женщина могут жить и растить детей.

Каждый вечер к нам приходили Булла, Сантос, Джеймс Веллингтон, Вуди Сэм и Рактон Дэниел. Приходили не только выпить и поболтать, они наслаждались домашним уютом, который принесла с побережья Белл, наслаждались теплом домашнего очага, некогда им знакомого, но давно позабытого.

Вначале всем нам было как-то не по себе: говорили мы то слишком громко, то шепотом, то тщательно подыскивали нужные слова, а то произносили что-то совсем невпопад. Я частенько вспоминал тетушку Мур и брата Кристофера, давал слово написать им и послать денег, да так и не собрался. Но постепенно все друг к другу попривыкли, освоились, и теперь у нас не смолкали громкие речи, смех, музыка.

— Белл,— сказал я однажды, когда гости ушли.— Иногда мне хочется побыть одному. Гости ходят к нам каждый вечер, и нам не удается посидеть с тобой вдвоем. В чемодане у меня лежит несколько книг, а я к ним даже не прикоснулся. Ты принесла мне покой, но я не могу им насладиться.

Стоя передо мной, расставив ноги и уперев руки в бока, Белл громко расхохоталась.

— Неужто твоя голова недостаточно забита книгами? Лучше жить вовсю, чем читать книги белых. Ты читаешь — тебе одному хорошо, а когда мы пьем вино и вокруг нас народ, весело всем.

— Ты не поняла меня, Белл. Когда читаешь книги, и с людьми говорить интереснее.

— Да если собрать книги со всего Джорджтауна, там и половины не найдешь того, что бывает с людьми в жизни. Вот уж сказал! Жизнь и так коротка, книжки белых нам ни к чему. Уж кто-кто, а я на своем веку повидала этих белых — от меня они хотели того же, что и все другие.

Как-то вечером Булла пришел раньше обычного, он запыхался, взбираясь на холм.

— У меня, Акула, новости!

Мы ужинали, и Белл предложила ему солонины с бобами и рисом.

— Не за тем я пришел, да только больно уж вкусно готовит королева, хоть по горло сыт, все равно не откажешься.

— Плохие вести или хорошие? — спросила Белл, когда Булла принялся за еду.

— Это уж как посмотреть, королева,— отвечал Булла, проглатывая большой кусок солонины.

— Говори, Булла, не тяни. Я наелась и могу что угодно выдержать.

— Вы, наверно, заметили, что вчера вечером Сантос не показывался? — Булла понизил голос и оглянулся.— Так вот, верный мне человек шел за ним до самого Оронопаи. Там этот негр встретился с твоим дядей. Они шептались, придвинувшись друг к другу, да так, что и травинку между ними было не просунуть.

— Похоже, что придется мне заняться этим делом,— сказала Белл.

— Не вмешивайся. Мы с Буллой сами справимся.

— Человек мой не слышал, о чем они толковали, говорит только, что шептались долго.

— Невеселые вести,— сказала Белл.

— Сантос что-то затеял, только, надо полагать, он все же соображает, что делает, ведь зарослям этим нет конца-краю, и немало умников сломало себе здесь шею.

— А может, мне лучше пойти повидаться с дядей Ричардом? Хотел бы он скрыть от меня свой приезд, так не откровенничал бы с Белл.

— Не болтай чепухи. Люблю я тебя, да только не мастер ты в таких вещах разбираться. Пускай лучше враги принимают тебя за дурака.

— Королева права. Пускай мистер Сантос сделает первый ход. А мы подождем.

Попозже пришли остальные, собрался весь оркестр, шум выплеснулся из домика и разнесся по лесу. Музыканты обливались потом под керосиновой лампой, глаза у них блестели, ноги выбивали такт. Сантос вышел на середину комнаты, и все расступились. Музыка завладела им, он закружился, словно колибри, и тогда Белл выскочила к нему в середину круга, тряся плечами, будто ее бил озноб.

— Давай, красавица, давай ко мне! — крикнул Сантос, и она стала наступать на него и кружиться под дробь барабана Галловея.

Старикан Галловей понял: началось состязание — партнеры, то тесно сплетаясь, то отбегая друг от друга, будут извиваться, прыгать и кружиться, покуда жажда танца не покинет обессилевшее тело. Он же, Галловей, словно божок, управлял каждым движением танцоров, гневно колотя или лаская толстую кожу своего барабана. Глаза Белл горели, как светлячки, танцуя, она словно струилась, а Сантос был сама быстрота и грация. Насекомые вились вокруг лампы и, опалив крылышки, падали, густо усыпая пол. Мы хлопали в ладоши и подзадоривали танцоров. Гибкое тело Белл заворожило старателей, я слышал их шумное дыхание. Удары барабана неслись, как лавина водопада, все быстрее, быстрее. Старик Галловей вскочил на ноги и кружил вокруг танцующих, раскачиваясь в такт музыке. Дэниел со своей бамбуковой флейтой устремился следом за ним. Танцующие обнялись, разошлись, обнялись снова, а потом вдруг оттолкнули друг друга и, заливаясь смехом, без сил повалились наземь. Старатели кинулись было к Белл, как разъяренные жеребцы, но мы с Буллой стояли над ней и никого не подпускали, пока не остыл их бешеный пыл и они, пристыженные, не убрались восвояси.

■

Мы выработали до конца пласт гравия в обеих ямах и уперлись в скалу. Пришлось копать новые ямы. Через два месяца должен был наступить период дождей, поэтому вместо двух ям мы стали рыть три. Вуди Сэм работал со мной, а Джеймса Веллингтона я назначил главным по третьей яме — ее рыли около какаралового дерева. Пройдя верхний слой, мы сразу напали на пласт гравия, в котором было столько алмазов, что, промывая породу, я с трудом удерживал в руках сито.

— Двойная выручка всем! — крикнул я, держа на ладони несколько камней, ярко сверкавших на солнце. — Двойная выручка и вечером гулянка! — Мы работали как бешеные.

Из ям долетал только скрежет лопат, натыкавшихся на камни, слышались удары ломов, крошивших твердую землю, и шорох выгребаемого гравия да сдавленные восклицания людей, поднимавших тяжелые ящики. Солнце стояло над головой, и все вокруг распалось на островки темной густой тени и яркого солнечного света. На верхушке какаралового дерева, около которого копал Джеймс Веллингтон, пронзительно закричала маруди.

— Не рой так близко от какаралового дерева! — крикнул Вуди Веллингтону, но тот даже головы не поднял.

Я видел, как поблескивали на дне ямы напрягавшиеся мускулы его рук.

— Сам знаю, что мне делать,— ответил Джеймс, передавая Дэниелу полный ящик гравия, но Вуди все-таки подошел к яме.

— Давай-ка, Джеймс, свалим это дерево,— предложил он.— У какараловых деревьев только один основной корень, и они падают легко.

— Да ведь алмазы так и сыплются ко мне в лопату. Спроси у капитана. Неужто я брошу лопату, чтоб валить какое-то дерево? Вот увидишь, я выкопаю вокруг корня весь гравий, а оно так и будет стоять на месте.

Вуди пошел прочь, бормоча, что из-за этих алмазов любой спятит.

Маруди с пронзительным криком взмыла в воздух, раздался вопль:

— Господи Иисусе Христе!

Мы кинулись к яме. Джеймса придавило тяжелым стволом.

— Джеймс, Джеймс! Ну скажи что-нибудь!

Ответа не было.

Мы отвалили ствол и вытащили Джеймса, изо рта, из носа, из ушей и глаз у него хлынула кровь. Он был мертв. Мы завернули его в мешки и отнесли в лагерь. Я бросил все на Сантоса и Вуди Сэма и пошел в лавку.

— Тоник, бутылку виски! — потребовал я. Мальчик замешкался, и я крикнул: — Скорее, ради всего святого!

Вышел Булла.

— Спокойно, сынок, спокойно. С королевой, что ли, поссорились?

Я опрокинул кружку виски и только тогда заговорил:

— Я убил Джеймса Веллингтона... сто каратов за человеческую жизнь... Тот белый загубил двести человек да еще и моего отца, а я — только одного. Но ведь Джеймс был, как и я, темнокожий...

— Говори скорее, что случилось. Глаза у тебя совсем сумасшедшие, и лицо — будто все внутри у тебя оборвалось. Говори скорей, в чем дело.

— Джеймс... Его убило... Он копал совсем рядом с какараловым деревом, и его придавило... Это я виноват, Булла... я... я даже не крикнул ему, чтобы он не рыл там...

— Не болтай глупостей. Кто говорил тебе, что жизнь тут, в джунглях, легкая, что люди так запросто добывают из земли золото и алмазы? Если бы я, Булла Дэниелс, рассказал тебе обо всем, что видел, слезами твоими наполнилась бы пересохшая река.

— Но он так внезапно погиб... погиб ни за что...

— Всякому свое...

В кармане у Джеймса Веллингтона мы нашли письмо от жены. Она писала:

«Дорогой Джеймс, уж без двух месяцев два года как нет тебя дома и ребятишки все пристают ко мне когда ты воротишься совсем замучили бога ради отпиши мне когда же ты к нам приедешь. Только и пишешь в следующий месяц вот мол дожди кончатся да вот мол настанет ведро а вот уж без малого два года почти прошло а тебя все нет да нет. Господь бог наш повелел нам чтобы муж и жена и дети их жили вместе а для меня видать нет того божеского закона. Джеймс Веллингтон как выходила за тебя знала что джунгли тянут тебя как омут да надеялась

ты отвыкнешь от них и видит бог старалась для тебя да только выходит впустую. Ты живешь и помрешь там, а мы живем и помрем в своей деревне. Бога ради приезжай ты посмотри своих деток. Дороти и Джонас ходят в школу и в дождь и когда ясно. Трудно мне с ними хотя деньги что ты послал я и получила. Бога ради приезжай Джеймс домой.

Всегда тебя любящая жена Джойселин».

Мы справили по Джеймсу Веллингтону поминки — старатели и женщины плясали и пели гимны и глушили ведрами спирт. Джеймс всегда здоров был пить, поэтому и мертвому налили полный рот вина.

— Пей, Джеймс, пей, веселее будешь, когда попадешь в рай, или ад, или куда там тебе положено,— приговаривали старатели, осушая свои кружки.

Поминки продолжались до зари, и, когда солнце было уже высоко, мы похоронили Джеймса около того места, где он частенько сиживал, глядя на воду. Булла прочел несколько стихов из Библии, мы опустили деревянный гроб в яму и засыпали его землей и камнями. Белл и другие женщины так громко выли, моля бога увидеть их скорбь, что никто и не слышал слов молитвы.

— Пошли домой, Акула, отдохни сегодня,— сказала Белл после похорон.

— Нет, Белл, сейчас уж лучше работать.

— Ты так расстроился. Хоть денек не прикасайся ты к этим алмазам — пусть ночная роса смоет с них кровь.

— Бога ради, оставь меня, Белл. Захочу, так буду работать, пока не свалюсь.

— Наш мальчик расстроился, королева. Еще не зачерствел, как другие старатели,— сказал Булла.

— Да ведь он со мной как с врагом разговаривает,— ответила Белл и, резко повернувшись, ушла.

Мы снова взялись за лопаты, и Сантос разбил над ямой Джеймса Веллингтона бутылку рому.

— Одного взяла — и хватит с тебя,— сказал он.

Мы собрали три тысячи долларов и послали их миссис Веллингтон и двум ее ребятишкам.

Старателям казалось, что это судьба шутит шутки, когда смерть отрывает человека от всего на свете: от его надежд разбогатеть, от друзей, от родных. Для большинства это означало только одно — в шумной толпе стало одним человеком меньше. Смерть тревожила этих людей, но не печалила — они знали, какие опасности подстерегают их на каждом шагу, и, будучи по природе игроками, принимали это как должное.

При жизни Джеймс Веллингтон значил для меня очень мало. Он был молчалив и хорошо работал. «Кончили бы мы тут рыть, и он, вероятно, пошел бы своей дорогой, и мы бы никогда с ним больше не встретились»,— говорил я себе. Но все равно он точно живой стоял у меня перед глазами. Мне помнилось, как он иногда замирал на месте, а когда снова начинал двигаться, казалось, что его железными мускулами управляла какая-то машина. Должно быть, со смертью Джеймса Веллингтона умерла моя юность и рассыпались в прах романтические грезы, еще жившие в моей душе. Его смерть заставила меня увидеть себя таким, каков я был на самом деле,— честолюбивым эгоистом, которому помогали многие, но который сам никому никогда не помог. Это познание самого себя изменило мое отношение к близким мне людям. Я увидел, что Белл — женщина большой души, добрая, щедрая, готовая любому помочь в беде. И в то же время я чувствовал, что не только нищета толкнула ее на панель, нет, ей нужно было внимание многих мужчин. Белл любила меня

потому, что ей хотелось стать порядочной женщиной, но плоть и душу ее обуревали страстные желания, и я не знал, чего от нее ждать в будущем. А Булла представлялся мне человеком, много повидавшим, которого закалили долгие годы тяжкого труда. Он нашел тихую пристань и довольствовался тем, что имел. Он мог себе позволить помогать другим, потому что обеими ногами крепко стоял на земле, и не было ничего, что могло бы его подкосить.

И еще я понял, что я ничуть не лучше того белого человека, по чьей вине погиб мой отец. Я мог бы предостеречь Веллингтона, но я заколебался — ведь алмазы текли рекой. Я знал, что так поступил тот белый, и то же самое сделал я, но совесть не мучила меня, как его. Я бы не стал бродить по побережью, разыскивая жену и детей Веллингтона: через месяц-другой я и не вспомню о них. Будь его семья тут, рядом, я бы в порыве раскаяния отдал им все, что имел, но я всю жизнь плыл по течению и редко оглядывался назад. Я спрашивал себя: «Кто же из нас лучше — я или белый?» — и не находил ответа.

■

Без веселья Белл было невмоготу — она начинала тосковать, как птица в клетке. Я мог подолгу оставаться наедине с собою, она не терпела одиночества. Ей хотелось, чтобы вокруг нее все время толпились мужчины и женщины, чтоб не смолкали болтовня и смех. Когда мы оставались вдвоем, я чувствовал, что ею овладевает беспокойство, меня это злило, и атмосфера накалялась. Все воскресенье мы пробыли одни, я сидел на веранде и читал. Белл то и дело выходила из комнаты и поглядывала на тропинку — не идет ли кто.

— Сколько ты заработал, Акула? — спросила она, и по тону Белл я понял, что она ищет ссоры.

— Больше пятидесяти тысяч.

— Я могла бы заработать здесь такие деньги за полгода.

Я понимал, что надо смолчать, но слова сами сорвались с языка.

— Как гулящая девка? Ты, вроде, говорила мне, что покончила с прошлым.

— Если ты еще хоть раз скажешь такое слово, я уйду из твоего дома.

— Какое слово?

— Сам знаешь какое. Можешь прикидываться дурачком, да только меня тебе не провести.

— Дурачком! Так, по-твоему, я дурак?

Я разозлился, и мне уже было все равно, чем кончится наша ссора.

— Ты, Акула, невесть что городишь!

— Я сказал, что ты гуляла, и это правда.

— Говорю тебе в последний раз, Арон Смарт... или как там тебя еще, в последний раз,— тихо произнесла Белл, и боль, прозвучавшая в ее словах, проняла меня.

— Прости меня, королева. Я не хотел тебя обидеть. Ты нужна мне. Неужели ты не понимаешь? Только ты одна можешь заставить меня быть человеком, только с тобой я не боюсь заглянуть себе в душу и не рвусь к деньгам...

— Говори себе, говори! Все это пустая болтовня! Я тебе ближе всех, и я чувствую, что ты, Акула, уже не тот. Раньше ты только и знал, что твердил мне о любви, а теперь отворачиваешься от меня, иной раз тебе и смотреть на меня тошно. Я думаю...

— Не говори так, Белл. Выслушай меня...

— Нет, Акула, я должна высказать все, что накопилось на сердце. Мы как-то толковали о тебе с Буллой, и он говорит: «Меняется он,

растет, а ты ждешь, чтоб и его жизнь обломала, как всех?» Но я, Акула, старею.

В ее словах была доля правды, хотя Белл, как всякая женщина, умела делать из мухи слона. Она тяжело опустилась на стул и уже тише продолжала:

— Лучше бы мне связать свою судьбу с человеком постарше. Молодые, вроде тебя, с головой, набитой книжками, живут в другом мире. Настанет время, и мне, Акула, придется решать, и один бог знает, что я надумаю.

— Да я же люблю тебя, Белл. Я умру, если ты меня бросишь. Ты мне нужна, Белл. Я люблю тебя.

Я опустился перед ней на колени и обнял ее. Хотел поцеловать, но она отстранилась. Я стиснул ладонями ее лицо и стал жадно целовать — глаза, щеки, она прижала меня к груди и залилась слезами.

— И я люблю тебя. Люблю землю, по которой ты ступаешь.

— На той неделе я устрою большущий пир в честь твоего дня рождения, оповещу всех от Перенонга до Оронопаи. Старателям будет о чем слагать песни.

■

Новые ямы давали баснословную добычу, и весть об этом докатилась до Бартики. Я застолбил участки на обоих берегах Перенонга, и Булла послал Тоника вниз по реке в Камакусу, чтоб успеть зарегистрировать мои заявки, пока в Перенонг, как тучи москитов, не слетелись старатели. Тоник добрался до Камакусы всего на несколько часов раньше Сантоса. Булла на все лады раздувал слухи, что я нахожу алмазы величиной с кокосовый орех. И благодаря легендам о моей удаче торговля его процветала, и в Перенонге жизнь забила ключом. Подобное оживление наблюдалось в поселке только в тот раз, когда мистер Бьючемп привез две сотни своих китайцев. Булла сказал, что так не везло еще никому со времени Пиджена Айленда Брауна, человека, о котором старатели пели в песнях. Он нашел пропасть золота, говорилось в песнях, и сделал себе крышу из золотых соверенов, а стены оклеил пятидолларовыми бумажками, он заворачивал сигары в стодолларовые кредитки, он усыпал дорогу к своему дому золотым песком и выложил ее самородками. Булла прозвал меня Океанской Акулой и стал величать королем алмазов Перенонга, а Галловей сочинил песню:

Наш Акула — царь людей,
В Перенонге его власть.
Чтоб дорогу в Икован
Сделать малость посветлей,
Катит он по ней алмаз.

Я теперь одевался, как король алмазов: носил шелковые рубашки и мягкие фланелевые костюмы, белую широкополую шляпу, шелковый галстук с бриллиантовой булавкой в двадцать каратов, ботинки из замши и змеиной кожи, на каждом пальце у меня сверкал бриллиантовый перстень.

— Смешно мне, как ты выряжаешься перед этими неграми,— сказала как-то Белл, но она разделяла мою сказочную славу и тоже наслаждалась ею.

Сантосу все это было не по душе — ведь старатели, позабыв о нем, моем компаньоне, нарекли королем меня. Накануне дня рождения Белл, когда я вошел в лавку, Булла вспрыгнул на стойку и закричал:

— Выпьем за короля Перенонга!

Мужчины и женщины дружно подняли стаканы и кружки, закричали, затопали в восторге ногами — лавка содрогнулась на высоких сваях.

Сантос, прислонившийся к стойке у ног Буллы, не присоединился к остальным.

— Что же это, Сантос? — сказал я.— Выходит, ты отказываешься выпить за своего товарища?

Я вдруг разгорячился, мне хотелось затеять с ним ссору. С той самой ночи, когда он танцевал с Белл, ревность жгла мою душу.

— За кого хочу, за того и пью.

— Не слишком-то задирай передо мной нос, приятель. Скоро же ты все забыл. Я-то знавал тебя, когда ты еще крутил баранку за двадцать долларов в месяц.

— Ты бы лучше сам не забывал, что был у доктора на побегушках и попал к нему из какой-то паршивой деревушки.

— Я привез тебя сюда, приятель, когда у тебя за душой ни гроша не было.

— Ну, с таким липовым королем, как ты, далеко уедешь!

Вокруг нас собралась толпа, кто был за меня, кто за Сантоса, мужчины и женщины начали ссориться между собой.

— Уж тебе ли, Сантос, не знать про липовых королей! — крикнул я, и толпа захохотала.

Подошел Булла и оттолкнул меня в сторону.

— Ты не прав, Акула, и я за тебя не вступлюсь. Сам затеваешь ссору.— Он оттеснил меня к дальнему концу стойки и прошептал: — Не сейчас, дружище. Не открывай свои карты.

Ссора испортила мне весь вечер, и я здорово напился. Позже, когда пришла Белл, я взобрался на стол и крикнул во весь голос:

— Завтра — день рождения королевы! Ждем всех к себе! Приходите пораньше, да на пустой желудок — будет пир на весь мир!

В субботу двери нашего дома открылись для всех с самого раннего утра. Старатели, отправляясь на свои участки, заходили к нам и приносили подарки — виски, ром, деньги, золото, алмазы — и пропускали стаканчик-другой. На праздник съехались держатели заявок, явился даже кое-кто из Камакусы, и мы с Буллой целый день просидели с ними на веранде, потягивая вино и развлекаясь разговорами. Тоник и Вуди Сэм сметали с потолка паутину, пауков, скорпионов и осиные гнезда. Тоник поймал на тростниковой крыше змею. Он схватил ее чуть пониже головы, она обвилась вокруг его руки, тогда он вынес ее из дому и отпустил. Белл развесила в комнатах гирлянды из орхидей и лесных цветов, а бамбуковые шторы украсила цветами бальзовых деревьев, огромными кистями азалий, дикими маргаритками и листьями кротона. Вуди отнес ящики с вином к ручью и спустил их, обмотав лианами, на самое дно, чтобы вино было холодным. Несколько женщин пришли помогать Белл. Они без умолку смеялись и судачили, пока жарили на раскаленных камнях мясо, пекли пресные лепешки, варили в громадных котлах рис и кроликов в остром соусе.

Держатели заявок были люди уже в годах, как Булла, все они или знавали моего отца, или хотя бы слыхали о нем. Удобно расположившись в плетеных креслах, они пили без передышки, словно задавшись целью исчерпать все наши запасы. Эзекиль, рослый рыжий детина, был знаменитым игроком в крикет, он даже сравнял около Оронопаи холм, чтобы устроить крикетное поле.

— А ты, Акула, играешь в крикет? — спросил он меня.— Твой-то отец уж как лихо играл, мяч у него перелетал через эбеновое дерево.

— Я когда-то играл в лапту — пальмовыми ветками и плодами балаты,— ответил я.

— До начала дождей я должен пригласить вас всех на матч в Оронопаи. Ты, Булла, по-прежнему играешь?

— И ты еще спрашиваешь, Зик? В прошлый раз, когда я был у тебя, я подавал мяч раз двадцать кряду, пока судья не стал плутовать.

— Цены на золото падают,— заметил Бенсон.

Ему не хотелось ввязываться в спор любителей крикета — Булла и Зик враждовали на этой почве уже не один год. Бенсон был толстый смуглый мужчина. Лысина у него загорела, но лицо осталось бледным, а на загривке торчал большой жировик.

— Привалило тебе счастье,— сказал он мне.— Я слыхал, ты гребешь алмазы лопатой.

— У счастья, Бен, два лица. Одно смеется с тобой, а другое над тобой,— ответил я.

— Ты, Акула, рассуждаешь как старик,— заметил Джо Скотлэнд. Некогда он преподавал в школе и до сих пор одевался, как учитель: носил белый тиковый костюм с галстуком.

— Он у нас прочитал пропасть книг,— сказал Булла, никогда не упускавший случая похвастаться моей ученостью.

— Если бы я не бросил школы, я бы сейчас уже был школьным наставником,— заметил Скотти.

— Скотти, друг, какой уж из тебя наставник, ты слишком любишь баб и вино,— сказал Зик, и разговор перешел на другое.

Говорили о ценах на золото и алмазы в Джорджтауне, о новых золотоносных жилах у бразильской границы, где старатели находили за день столько самородков, что и не унести, о несчастье у водопада Туматумари, где у капитана Пайя сломался мотор и он потонул вместе с сорока пятью пассажирами.

Где бы ни собрались старатели, разговор всегда кончался рассказами о каком-нибудь страшном происшествии в джунглях. Вот и сейчас Бен допил залпом вино и откашлялся.

— Вы, конечно, все знаете Тенгара? — спросил он нас таким тоном, словно речь шла о короле английском или о Пиджене Айленде Брауне. Но никто из нас и слыхом не слыхал про этого Тенгара.

Булла знал, что стоит Бену завести рассказ, его уже ничем не остановишь, и попытался переменить тему:

— Что-то я весь день не вижу Сантоса.

— Сегодня утром он принес королеве подарок и сказал, что должен пойти в лагерь приготовиться к празднику,— ответил я.

Бен откашлялся погромче и продолжал:

— Так вот, этот Тенгар пришел ко мне в Оронопаи и работал на меня месяца два. И однажды он рассказал мне такое, что у меня глаза на лоб полезли и волосы встали дыбом.

— Да у тебя, Бен, и волос уж не осталось,— вставил Зик.

— Волосы не только на голове растут... Так вот, говорю я, и рассказывает мне этот Тенгар: работал он, значит, неподалеку от горы Аризы, он и с ним товарищ. Всякий знает, возле гор этих такая чащоба — человеку меж деревьев не протиснуться. Тенгар и этот другой работали, значит, у реки, и все, бывало, видят, как на другом берегу то вдруг появятся индейцы, то исчезнут. Вот товарищу Тенгара и покажись это чудным. Пойду, говорит, посмотрю, что там такое. Перебрался он средь бела дня на тот берег и как в воду канул. Тенгар отправился за ним. Порыскал в чаще туда-сюда, покуда не попалась ему тропа, он и двинулся по ней на запад и наконец добрался до хижины. И что же он, по-вашему, братцы, увидел? У него прямо сердце захолонуло. Лежит на полу человек, и не человек даже, а скелет, Тенгар только и признал товарища, что по башмакам да шляпе — муравьи начисто его обглодали. Тенгар осмотрел дом со всех сторон: он же знал, что кто-то напал на человека, а потом уж наползли муравьи. Обошел это он вокруг хижины и нашел во дворе до черта могильных холмов — много народу, должно,

схоронили там. Ночь застигла его, и, чтоб не тащиться в такую даль в темноте обратно, он решил заночевать в хижине и разузнать, что в ней творится. Вот уселся он, фонарь и ружье наготове...

— Храбрец,— вставил Скотлэнд.

— Говорю вам, этот Тенгар не боялся ни бога, ни черта,— продолжал Бен.— Вот ждал он, уши навострил, как пес на охоте, да только вдруг задремал, и тут ему что-то с крыши на самую макушку хлоп — черный мохнатый паук, да такой огромный, что обхватил лапищами ему все лицо до самой шеи. Тенгар попробовал стряхнуть паука, но тот вцепился в него, как клещ. А Тенгар понимает: уж коли такой укусит, значит конец. Тогда он выхватил нож да как полоснет паука — чуть сам себе не снял скальп. Осветил фонарем потолок и видит — сидит второй паук, первому, значит, пара, и такой же громадный. Тенгар застрелил его, а хижину сжег. А индейцы, видно, приносили в той хижине жертвы паукам, вот и разыскивают теперь Тенгара по всем джунглям.

Стемнело, и держатели заявок, перед тем как идти готовиться к торжеству, выпили по последней кружке. Булла договорился, чтобы Тоник и Вуди по очереди сторожили лавку. Он дал им свое немецкое ружье и велел смотреть в оба — ведь на золото и алмазы, спрятанные у него в лавке, можно купить половину земли, что тянется между Моравванной и Акареем.

Четыре керосиновые лампы в тот вечер осветили наш холм и обступивший его лес. Первыми пожаловали женщины, платья их были сшиты лучшими портнихами Джорджтауна, и каждая надела столько бриллиантов, что руки и шея у нее казались облепленными светлячками. Женщины щеголяли вечерними туалетами из шелка и атласа, на головах у некоторых красовались золотые тиары. Все они родились в трущобах Джорджтауна или в приморских деревушках, но куда было до них прославленным куртизанкам, о которых я читал. В городе они лучшими своими клиентами считали белых — матросов или мелких чиновников, но старатели против тех были королями — им ничего не стоило отдать несколько тысяч долларов за одну ночь наслаждения.

Попозже стали собираться разодетые в пух и прах мужчины. Они вырядились в сногсшибательные шелковые, атласные и тончайшие батистовые рубашки, надели костюмы из мягкой фланели, украшенные алмазами пояса и двухцветные ботинки. Держатели заявок повязали вокруг шеи шелковые шарфы и вкололи в них столько алмазных булавок, что на шарфах получились переплетающиеся сердечки.

Белл появилась, когда праздник уже начался. Она была в белом, усыпанном блестками платье и в золотистых туфельках. Ожерелье обвивало полумесяцем ее шею, и бриллиант в сто каратов горел белым огнем на темной бархатистой коже. На возвышении, сооруженном из покрытых красной материей ящиков, сидели музыканты, с гирляндами из тигровых орхидей на плечах. Женщины расхаживали среди стоявших группами мужчин, показывая свои наряды, но тех больше интересовало то, что находилось под роскошными тканями, они отпускали соленые шуточки и торопились сговориться о цене. Перед тем как заиграла музыка, Булла вскочил на возвышение и воздел руки, призывая к тишине.

— Леди и джентльмены! — весело крикнул он.— Нынче великая ночь для всех нас. Не думал я, что доживу до такого счастья. Мы собрались здесь, чтобы справить день рождения королевы Перенонга!

Гости закричали, затопали ногами, и Булла снова поднял руки. Рубашка на нем расстегнулась до самого пояса, замшевые штаны плотно облегали ягодицы, бедра и икры.

— Леди и джентльмены,— продолжал он,— королева всем нам принесла удачу, и про Перенонг снова поют в песнях. «Булла,— сказала она мне, как только появилась здесь,— Булла,— сказала она,— я

всем нутром чую удачу». И вот тогда-то в руки Океанской Акулы посыпались алмазы, и нынче деньги уже без счета текут из рук в руки. А теперь, леди и джентльмены, мы попросим саму королеву подняться сюда.

— Скажи речь, королева, скажи речь! — кричали гости, пока Булла помогал Белл взобраться на помост.

— Леди и джентльмены,— проговорила она низким, дрожащим от волнения голосом,— мой любимый, которого зовут Океанской Акулой, он умеет говорить речи, а я скажу только одно: будьте счастливы, веселитесь, наслаждайтесь жизнью, потому что завтра... Кто знает, что будет завтра, да и не все ли равно?

Словно оглушительный рев водопада во время дождей, грохнули аплодисменты, и не успели они стихнуть, как заиграла музыка, и мы предались безудержному яростному веселью. В полночь Сантос стал уговаривать Белл спеть. Он весь горел, хвастал своим богатством, плясал, целовал женщин.

— Давайте упросим королеву спеть! — крикнул он и прыгнул на помост.

Старатели затопали ногами и одобрительно загалдели. Белл вышла на середину комнаты и запела «Марчиту», только гитара и флейта вторили ей. Гости смолкли. Я знал, она пела для меня одного. Ее песня напомнила мне мою жизнь на побережье, напомнила, как лунными ночами я сидел на ступеньках хижины и слушал: негромко ухали совы, бился о берег прибой, лаяли собаки, плакали дети, приглушенно разносились неторопливые голоса. Песня кончилась, и опять все как ошалели, веселье забушевало с новой силой. Старатели бросились качать Белл, и Булла, обливаясь пьяными слезами, завопил:

— Только нынче ночью узрел я ангела! Спой, королева, спой для меня, и я отдам тебе всю лавку, всю, до последнего гвоздя!

Я подал знак музыкантам, они смолкли, и я поднялся на помост.

— Леди и джентльмены! — крикнул я, и мне показалось, что я вот-вот взлечу к потолку.— Вот, леди и джентльмены, один из моих подарков королеве.— И я показал на четыре ящика шампанского, стоявших около помоста. Толпа расступилась и пропустила Белл.

— Принесите сюда ванну! — сказала она.

Вуди исполнил приказ, и тогда она, выскользнув из платья, сбросила туфли и вошла в ванну. Один из музыкантов за моей спиной пробормотал:

— Купанье в тысячу долларов.

Дикие крики вырывались из домика, становились все громче, отдавались эхом в лесах и смешивались со звоном и грохотом водопада Трав.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Булла разбудил меня, когда голова моя еще была тяжелой от сна и винных паров.

— Акула, сынок, проснись, проснись же! — шептал он.

Я протер глаза и убедился, что не сплю.

— Не буди королеву. Набрось что-нибудь на себя да выйди ко мне.

— Что стряслось, Булла?

— Ш-ш! — он прижал палец к губам.

Я спустил с кровати одну ногу, и Белл застонала во сне. Переждав, пока она успокоится, я осторожно выбрался из постели. На холодном утреннем воздухе у меня зуб на зуб не попадал.

— Как же ты, Булла, вошел? Двери были заперты.

— В окно влез. Дело, брат, дрянь, и ни одна душа не должна об этом знать, даже королева.

Булла спускался по тропинке впереди меня, голос его звучал глухо, и весь он как-то поник.

— Да скажи ты мне, ради бога, что случилось?

— Кто-то стукнул Тоника по голове и ограбил лавку.

— Ты шутишь, Булла. Тут такого не бывает.

Он повернулся ко мне, в ярости сжимая и разжимая кулаки.

— А я говорю тебе, сынок, бывает. Тоник лежит, как неживой, в моей постели, а какой-то мерзкий, блудливый пес очистил мой железный сундук.

— Тот, где лежали мои алмазы?

— Твои, и мои, и всех остальных.

— Ты был в нашем лагере?

— Не все сразу, сынок. Ты умеешь лечить, так посмотри сперва Тоника.

Когда на Тоника обрушился удар, он, должно быть, повернул голову — не то бы ему раскроили череп.

Я притронулся к опухоли повыше виска, и Тоник, застонав, открыл глаза.

— У него небольшое сотрясение мозга,— сказал я Булле.— Не давайте ему спать.

Я положил больного повыше, спустился к ручью и набрал среди камышей пиявок. Когда я вернулся, Булла громко разговаривал с Тоником и уговаривал его не спать. Я поставил на опухоль пиявки, и немного погодя Тоник сказал:

— Это Сантос и еще один.

— Сантос? Ты уверен?

— Да. Это он меня ударил. Я видел, как они оба взбирались по задней лестнице, а потом в глазах у меня потемнело.

Мне все стало ясно. Сантос и дядя Ричард сделали первый ход. Они готовились давно, и наш праздник оказался для них удобным случаем. На дворе было темно, но уже медленно занимался рассвет. И сейчас эти двое уходили все дальше и дальше, унося в поясах сотни тысяч долларов. Всего пять часов назад я мог позволить себе купить шампанского для купания — и вдруг стал нищим. Я смотрел на Буллу, снова чувствуя себя совсем маленьким.

— Надо сообщить в полицию, в Камакусу.

— В полицию? Еще чего! У них в полиции одни городские, да хоть бы они и знали джунгли, я им не верю,— отрывисто бросил Булла.— Мы сами пойдем за ними. Если кто тебя ограбил, ты должен с ним рассчитаться сам — таков закон джунглей.

— Если у них хорошая лодка и человек, который знает реку, они успеют миновать Бартику, прежде чем мы двинемся с места.

— С такой кучей алмазов в руках матери родной не доверишься. Лодка Ричарда Долли еще у причала, значит, они решили обойти стороной Камакусу и держат путь на Куюни. Ты подлечишь Тоника, и мы по горячим следам пойдем за ними. У них будет двенадцать часов форы. Я же говорил тебе, Тоник знает джунгли не хуже любого индейца.

Уверенность Буллы подбодрила меня, но сомнения продолжали грызть душу.

— Лес этот велик, как океан. Все может случиться. Одно я знаю — алмазы мои уплыли, и не народится еще новая луна, как те двое станут мотать мои денежки да смеяться надо мной.

Булла хлопнул меня по плечу.

— Послушай, Акула. Мне, чтоб добыть эти деньги, пришлось работать подальше и потяжелее твоего. Отцу твоему еще не приглянулась твоя мамаша, а я уже потел тут, в алмазных копях Перенонга, и я говорю тебе: в джунглях можно убить человека, но обокрасть старателя — нельзя. Послушайся моего совета, совета Буллы Дэниелса. Веди себя так, будто ничего не случилось, ни словечком не обмолвись королеве. Я, как всегда, открою лавку, а после полудня скажу, что мы, мол, собираемся поохотиться. Всем известно, как я люблю охоту, ни у кого это не вызовет подозрений, а что касается Сантоса, то мы распустим слух, будто он отправился погулять в Камакусу. Приходи ко мне в полдень, пропусти стаканчик-другой и заведи веселый разговор. Вели своим ребятам отдохнуть до твоего возвращения и скажи, что уплатишь по семи долларов за каждый день простоя. А я скажу, что Тоник хватил лишнего и свалился с лестницы.

— Ладно, Булла. Я тебе доверяю.

Я прибинтовал пиявки к голове Тоника, дал ему выпить горячего бульона и коньяка.

— Он, капитан, напал на меня из-за угла. Я не...

— Ладно, Тоник. Акула знает докторское дело, он в два счета тебя подлатает.

Я вышел на яркий утренний свет. Поднимаясь по тропинке к нашему домику, я еще раз отчетливо представил себе весь ужас своего положения. Так внезапно превратиться из короля в нищего! Я приходил в отчаяние при мысли, что получить алмазы назад мне никогда не удастся и придется все начинать сначала, а участок мой уже почти выработан. В лучшем случае вырученных денег хватит на покупку нового участка. Уж лучше думать об этом, чем рассчитывать поймать Сантоса и дядю Ричарда. Правда, Булла уверен в успехе, но как можно сейчас... вряд ли у нас это получится. За Перенонгом раскинулся целый континент — непроходимые леса, реки, горы, саванны. Эти двое могут либо перейти бразильскую или венесуэльскую границу, либо преспокойно удрать, продвигаясь на северо-восток, к побережью, а там наймут лодку и махнут на острова.

Когда я вернулся домой, Белл, слава богу, еще спала, и у меня было время немного прийти в себя. Она спала, положив руку под щеку. Что будет с нею? Вернется ли она к прежней жизни? Я даже не был уверен, что она не мечтает вырваться из золоченой клетки.

— Белл! — тихонько позвал я и коснулся ее щеки.— Белл!

Открыв глаза, она продолжала лежать, не шевелясь.

— Ты, верно, проголодался, а я все валяюсь. Который час?

— Восемь, но я не голоден. Я только пришел сказать тебе, что мы с Буллой и Тоником отправляемся в Куюни поохотиться и присмотреть новый участок.

— Тащиться в такую даль искать новый участок? Мало, что ли, тебе твоих денег?

— Да знаешь, Белл, надо ведь и отложить что-нибудь на черный день.

— А в лавке кто останется?

— Вуди.

— Скажи Булле, что я помогу: не охотница я сидеть сложа руки. Я бы отправилась с вами, да боюсь помешать.

— В лесу много ядовитых змей. Лучше оставайся и помоги Вуди.

Белл скорчила гримаску.

— Не выношу змей. Одна индианка у нас в деревне рассказывала, как однажды большущий удав забрался к ней в хижину, пока она спала, и высосал у нее из груди молоко. С тех пор у меня все нутро переворачивается, как вспомню о змеях.

— Знаешь, Тоник вчера ночью свалился с лестницы, и на голове у него теперь громадная шишка.

— Как же он пойдет с вами в такую даль?

— Не беда, я его подлечу на скорую руку.

— Когда вы отправляетесь?

— После полудня.

— Будь осторожен. Я видела дурной сон. Не помню про что, помню только, что сон нехороший.

Она села в постели, обхватив руками колени, и испытующе посмотрела на меня.

— Ты чем-то расстроен, Акула. Что случилось?

— Ничего, милая, ничего. Просто выпил лишнего и рано поднялся.

— Береги себя, мальчик. Помни, что ты мне дороже всего на свете.

— Хорошо, Белл.

Когда я вернулся в лавку, Тоник уже расхаживал по комнате. Забинтованный, он походил на обезьянку с белой мордочкой.

— Я готов, капитан! — сказал он и криво улыбнулся.

— Тебе надо еще часа два полежать спокойно.

— Ты слыхал, что он говорит? — напустился Булла на Тоника, все еще кружившего по комнате. Тот с обиженным видом присел на кровать.

— У тебя, Тоник, крепкая черепушка. Такой удар свалил бы и буйвола.

— В нем смешалась кровь индейцев и черных рабов,— сказал Булла,— получилось крепко.

— По-твоему, Тоник, мы их найдем?

— Это уж точно, капитан. Им надо перевалить через холмы и пересечь болото. Мы же двинемся наперерез, и я не я буду, если мы не столкнемся с ними нос к носу.

— Я уже все обмозговал,— сказал Булла и, прикрыв рукой глаза, посмотрел из окна на солнце.— До холмов отсюда миль десять. Положим, они вышли в три часа ночи, значит, до холмов добрались к полудню. Эти двое постараются поскорее перебраться через холмы, но только одолеют Хэмнаджей — последний холм,— так и выдохнутся, а если и не выдохнутся, идти через болото ночью все равно нельзя. Да ко всему прочему в краях этих водятся страшные анаконды; когда дует ветер, их можно издали услыхать, они храпят, как люди. За болотом протекает река, она пробивается через сланцы, там-то, думается мне, мы и сойдемся с этими молодчиками.

— Хорошо бы вышло по-твоему, Булла.

— А если змея заглотит кого-нибудь из них, она станет самой богатой змеей в джунглях,— сострил Тоник.

— Эк тебя прорвало,— заметил Булла.— Давно не слыхал я от тебя столько слов за раз. Видно, удар по голове развязал тебе язык.

— Сроду не видал больного с такой громадной шишкой на голове и с таким запасом бодрости,— сказал я.

— Ты когда-нибудь пробовал жевать автомобильную шину? — спросил меня Булла.

— Зубы у меня крепкие. Оттого меня и прозвали Акулой.

— Пока не догоним этих субчиков, питаться будем одними сухарями с водой. Идти надо быстро, налегке, а охотиться будем только на людей,— предупредил Булла.

Я присел у стойки и потолковал немного с Вуди и Галловеем. Попросил их присмотреть до моего возвращения за участком. Мы болтали и потягивали вино, пока не пришла Белл. Нелегко мне было скрывать свою тревогу под маской безразличия.

— Пора,— сказал Булла, появившись из задней комнаты в полном снаряжении.

Мы стояли на лестнице, готовые тронуться в путь.

— Идете вы налегке,— заметила Белл. Она сидела на нижней ступеньке, лицо ее выражало тревогу.

Я затягивал вещевой мешок, потом принялся осматривать ружье и даже не взглянул на Белл.

— Ничего не поделаешь, королева,— сказал Тоник.— Идти-то нам далеко.

— Чует мое сердце, Булла, что-то вы от меня скрываете. Случилось неладное? Скажи мне, что?

Глаза их встретились, но доброе черное лицо Буллы ничего не выдало. Он стоял спокойно, слегка подавшись вперед под тяжестью поклажи. Широченные плечи и короткая талия делали его похожим на перевернутый треугольник, и казалось, будто ноги вовсе и не его. Мне подумалось, что он вот-вот проговорится, но он только сказал:

— Ведь ты, королева, знаешь, в чем дело. Идем искать новый участок. Ты, может, думаешь, у Акулы и так денег куры не клюют, а взгляни-ка ты на меня: всю жизнь зарабатываю и все коплю, коплю. Если деньги сразу в голову не ударят, сумеешь устоять, тогда они пойдут тебе впрок. Редко это, правда, случается. Тридцать пять лет с хвостиком живу я в джунглях, и изо всех здешних старожилов одного меня господь наградил хозяйством. Поначалу и я сорил деньгами, но настал день, и я сказал себе: «Знаешь, приятель, хватит валять дурака, отложи-ка лучше немного деньжат да купи лавку, и денежки потекут тебе в руки хоть медленно, да верно». Вот так-то и начал я потихоньку копить по шиллингу, по доллару. Надеюсь, вы с Акулой хорошо будете жить, нужно только, чтобы он и про завтрашний день не забывал. Вспомни, что случилось с его отцом!

— Все знаю, Булла, да только сердце мое чует беду: моего хозяина я знаю и знаю, что на душе у него сегодня неспокойно.

— Ну, нам пора, королева,— сказал Булла, вынимая из кармана массивные золотые часы.— До рассвета надо пройти двадцать миль.

— Побереги его, Булла: смотри, чтобы с ним чего не случилось. Прошлой ночью я видела плохой сон и до сих пор не могу успокоиться.

— Что уж ты, Белл, будто я маленький...

— То-ник, мы гото-вы! — крикнул Булла.

— Все в порядке, хозяин!

— Тогда пошли!

Мы обогнули холм и перешли вброд реку выше водопада Трав. Высоко над нами яркие солнечные лучи пронзали листву. В лесном сумраке нас обступали заросли гринхарта и эбеновых деревьев. Земля была красная, как канны. Пробираясь по извилистой тропке, мы внезапно пересекали островки солнечного света — там, где его пропускали упавшие деревья. Бабочки с радужными крыльями казались светившимися в полумраке фонариками. Дальше лес стал еще темнее, и тропка во многих местах совсем заросла. Красная земля сменилась белым, а потом и коричневым песком. Тоник шел, как индеец, быстрым, скользящим шагом. Изредка на нашем пути попадались дикие ананасы и гигантские азалии. Сквозь просвет в зеленой крыше я увидел в небе звезду и только тогда понял, что настала ночь. Мы следовали друг за другом по пятам, и я не знал, где рождались звуки, не отставшие от нас,— был ли то ветер, или наше дыхание, или тихо поскрипывал под ногами песок.

— Это — царство змей,— сказал Тоник, тьма проглотила его слова, и я с трудом их расслышал.

«Словно идешь по дну глубокой реки,— подумалось мне.— Тьма давит, ложится на плечи, и всякий раз, как ее разрезаешь, отбрасываешь в сторону, она смыкается за спиной». Вопли красных ревунов за-

глушали гуденье насекомых, к ним присоединились тинаму и маленькие обезьянки. Пара глаз, ярких, как огонь, вспыхнула перед нами. Булла включил карманный фонарь, свет выхватил из тьмы забинтованную голову Тоника и в пятнадцати ярдах от него — тапира. Тапир бросился в кусты, и Тоник метнул копье. Оно скользнуло по толстой коже зверя и, дрожа, вонзилось в ствол дерева.

— Его только пуля возьмет,— сказал Булла.

— Не кинься он в сторону, я бы угодил ему промеж лопаток,— сказал Тоник.

— И что тогда?

— А то, хозяин, что мы несколько дней ели бы свежее мясо.

— Добавь двадцать фунтов мяса к своей поклаже, да фунта два в живот — и можешь распрощаться с алмазами. Ну, как голова, не болит?

— Все в порядке, хозяин.

— Если плохо, ты лучше скажи, а то на холмах потруднее будет.

— Голова, хозяин, в порядке.

Я думал о Сантосе и дяде Ричарде. Мне нужно было думать о чем-то реальном, потому что лес и тьму наполняли таинственные грустные звуки. «Спят, наверно, сейчас оба,— размышлял я,— не могут они так долго выдержать без сна. Спят где-нибудь в лесу или среди песчаных холмов, крепко прижимая к себе алмазы, а усталый мозг их и во сне туманят мечты о богатстве. Они знают, что мы бросимся за ними в погоню, и весь долгий путь им не даст ни минуты покоя мысль — убежать, скрыться». Думая о беглецах, я все-таки больше ненавидел дядю Ричарда. Ведь он — брат моей матери, мы родные по крови и могли бы жить с ним душа в душу. Это он предал меня, он, а не Сантос, потому что Сантос легко поддавался любому влиянию. Я всем сердцем ненавидел дядю Ричарда и знал, что он платит мне тем же. Я представлял себе, как загорелся он злобой, услыхав, что я разбогател. Вот и пришло для него время отыграться.

— Знаю, знаю, какая дума не дает тебе покоя,— сказал Булла.— О деньгах жалеешь.

— Да нет, Булла, не о деньгах. С этой потерей я уже кое-как примирился. Не беда, если даже мне придется начать все сначала. Но годы прошли, а я по-прежнему ненавижу этого человека и теперь уж, конечно, сквитаюсь с ним.

— В семьях и не такое еще бывает. Кровь ведь погуще вина.

— Много лет я не видел его, но знаю, он — как хамелеон: может принять любой цвет и вид.

— Ты говорил мне, что твоя бабушка прокляла его, а проклятья стариков — все равно что удар меча.

Мы все шли по тропе, когда занялся рассвет. Лес поредел, и туман был такой густой, что я понял: до воды уже недалеко.

— Я чую большую змею,— сказал Тоник.

Мы замерли на месте, а он стал принюхиваться и рыскать там и сям, вглядываясь в туман. Потом подал нам сигнал, и мы осторожно двинулись вперед. Анаконда, свернувшись кольцом, лежала меж корней бразильского ореха, и, если бы она не храпела, как человек, трудно было бы отличить ее от корней.

— Она сожрала что-то, вон как раздуло живот,— сказал Тоник.

Голова анаконды, высоко приподнятая над туловищем, была плоская и широкая, а глаза светились, как подернутый дымкой кварц. Я снял с плеча ружье и вставил бесшумный патрон.

— Не трогай ее,— сказал Булла.— Хорошего мало, если самец будет преследовать нас всю дорогу.

— Теперь до болота уж рукой подать,— сказал Тоник, и в голосе его мне послышалась усталость.

Булла, наверно, тоже это заметил и сказал:

— Вот доберемся до болота и передохнем. Давненько не ходил я в такую даль.— Он вытер лоб и стал обмахиваться подолом рубахи.— Прямо обливаюсь потом. А ты слыхал когда про эти места? — спросил он меня.

— Слыхать-то слыхал. Вуди рассказывал, как ему однажды пришлось пробираться здесь.

— Не очень-то весело, друг, идти по этим дебрям. Я думаю, бог сотворил их такими, чтобы смирить человека. У тех, кого мы преследуем, переход займет много времени, можешь не сомневаться. За болотом — холмы, а дальше — река Безымянная. И назвали ее так потому, что, когда человек перевалит через эти холмы и доберется до реки, он от усталости уже не может запомнить никакого другого названия. Тоник знает кратчайший путь, солнце еще не сядет, а мы уже будем поджидать их на берегу реки.

Мы добрались до болота и сбросили с себя поклажу. Тоник вытянулся на песке и закрыл глаза. Я так долго тащил вещевой мешок, что, скинув его, не смог сразу выпрямиться — тело само подавалось вперед, словно на спину все еще давила тяжесть. Я отыскал кошениль, разрезал пополам лист, приложил его к опухоли и забинтовал юноше голову. Булла стоял и наблюдал за нами, наморщив лоб, в глазах его сквозило беспокойство.

— Плоховат он,— сказал Булла.

— Ему надо часа два отдохнуть. По-моему, у него жар.

— Как самочувствие, мальчик?

— Голова, хозяин, немножко тяжелая, да я чуть вздремну, и все пройдет,— отвечал Тоник, лицо у него стало землистого цвета. Он облизнул губы и тихонько застонал. Мы с Буллой отошли в сторону и остановились у самого болота. Меня одолевал сон, глаза болели, словно их запорошило песком. Булла вытащил фляжку, отхлебнул и передал мне.

— По-твоему, Акула, он выдержит?

— Не знаю. Знаю только, что он скорее свалится замертво, чем признается, что не может идти дальше.

— Мне, Акула, мальчишка этот очень дорог. Я не пожертвую им ради каких-то двух-трех алмазов. Он у меня живет уже лет пятнадцать, я к нему привык. Если ему станет хуже, тебе, Акула, придется идти дальше одному.

Я ничего не ответил — идти одному к реке Безымянной было страшно — и оглядел болото. Из черной тины вздымались белые песчаные холмы, казавшиеся гигантским черепом. Мы вернулись к тому месту, где оставили Тоника, и вдруг Булла, схватив меня за руку, показал на что-то. Меньше чем в десяти ярдах от юноши вниз по дереву скользила змея.

— Тоник! Опасность! — крикнули мы в один голос.

Юноша сел и схватился за голову. Завидев змею, он сделал молниеносное движение — я даже не успел разглядеть, когда он раскрыл свой складной нож. Покрытое блестящей чешуей тело змеи напряглось, готовясь к прыжку. Тоник отступил в сторону и вонзил ей в спину нож. Колотя хвостом, змея подняла облако пыли, все тело ее судорожно извивалось.

— Молодая анаконда,— сказал Тоник, когда мы подошли ближе.

— Я уж думал, тебе конец,— сказал Булла, разглядывая пятна крови на песке.

— Пора бы тебе знать, хозяин, не родилась еще та змея, которая меня одолеет.

Солнце стояло высоко, когда мы двинулись в путь, с трудом пробираясь по болоту, и серая дымка не давала возможности определить рас-

стояние. Мы добрались до холмов, и Тоник до тех пор рыскал вокруг, пока не отыскал на песке следы обоих беглецов.

— Следы глубокие, шли с трудом,— сказал он.— Устали, верно, после долгого перехода.

— Видно, они пошли кружным путем,— сказал Булла.

— Тогда им придется переправиться еще через одно болото, похуже этого,— заметил Тоник.

С вершины первого холма мы увидели заросли гигантских деревьев: какараловых, эбеновых, амаратовых. Бабочки и туканы ярко вспыхивали в пробивавшихся сквозь листву лучах солнца и снова исчезали в сумраке громадных крон. Сквозь плотную крышу из ветвей и листьев не проникало даже легчайшего дыхания ветра. Солнце стояло прямо над головой, тишина пригибала нас к земле. Булла забеспокоился и, взобравшись на высокое какараловое дерево, стал оглядывать окрестность. Мы с надеждой смотрели на него — вдруг он подаст знак, что увидел беглецов, но он спустился и сказал:

— Нигде даже листок не шелохнется.

Мы двинулись дальше. Холмы вздымались полого, но спуск был крутым и утомительным. Тоник стал отставать, мы сделали привал, чтобы передохнуть и напиться чаю.

— Плохо выглядит Тоник,— сказал Булла, а я заметил на повязке темное пятно. Я снял бинт и промыл рану лизолом.

— Как, дружище, голова? — спросил я.

Тоник стиснул зубы и ничего не ответил, и едва я перебинтовал ему голову, как он потерял сознание. Впрочем, очнулся он быстро и стал бодриться.

— Просто я устал немного.

— Мы остаемся тут! — решил Булла.

— Да ничего, хозяин, я дойду. До Безымянной всего четыре часа пути, честное слово, она течет сразу за этими холмами.

Он встал, пошатнулся и прислонился к дереву. Ноги не держали больного. Булла осторожно подхватил его.

— Дай нам, Акула, бинтов и что можешь из еды. Я останусь с мальчишкой тут.

И я понял, что Булла не сделает больше ни шагу — пропадай хоть все наши алмазы.

— Я пойду дальше один,— сказал я. Во взгляде Буллы я прочел осуждение и постарался перед ним оправдаться.— Ведь для меня, Булла, дело не только в алмазах. Мне нужно посчитаться с ними обоими. Сантос был мне другом, мы были с ним близки, как родные братья, и я бы ничего для него не пожалел. Что же до Ричарда Долли, то этот человек отравлял мне жизнь с того самого дня, как я увидел свет. Ненависть не стихает в моем сердце, и пусть мне страшно, я все равно пойду за ними.

Воцарилось молчание. Молчали не холмы и леса, окружавшие нас,— молчали наши сердца. Я злился на Тоника — ведь угораздило же его занемочь — и досадовал на Буллу: мои красивые слова не обманули его, он понял, что ради горсти алмазов я готов пожертвовать жизнью друга.

— Не огорчайся,— сказал Булла.— Жизнь, друг, еще многому тебя научит — в диких зверей превращают людей эти джунгли, и потом надо ломать себя, чтоб снова стать человеком. А теперь лучше иди. Постарайся засветло добраться до Безымянной.

— Иди прямо,— сказал Тоник,— как выйдешь на берег реки, увидишь два больших эбеновых дерева. Спрячься там и жди.

Я оставил им половину своих припасов, прочистил и смазал ружье и двинулся в путь. Они смотрели мне вслед, но я не оглянулся. А когда отошел подальше, откуда им меня уже не было видно, пустился бежать.

Я то и дело поглядывал на небо, и мне казалось, что верхушки деревьев все ближе и ближе подбираются к солнцу. Я волновался и, надеясь раньше Сантоса и дяди Ричарда добраться до реки Безымянной, испытывал какую-то необычную радость. Каждый раз, достигнув вершины холма, я рассчитывал увидеть внизу реку. Постепенно я перешел на ровный шаг, нож мерно ударял по бедру, и от этих глухих ударов чудилось, будто кто-то преследует меня по пятам. Раза два я невольно обернулся, но потом сообразил, что это нервы у меня сдают, и рассмеялся. Я представил себе, как Булла хлопочет над Тоником — точь-в-точь курица над хворым цыпленком. Он сказал, что сделает шалаш и будет выхаживать мальчика, пока я не вернусь. Потом я представил себе, как Белл сидит в лавке и разговаривает со старателями. Они предлагают ей деньги, а она потешается над ними. Я вспоминал, какими были наши отношения последние несколько месяцев. Что-то новое, похожее на ненависть, возникло между нами. Я злился, что как-то завишу от нее. Она словно высосала кусочек моего «я», и теперь во мне чего-то недоставало. «Я как орхидея,— проносилось в голове,— вечно липну к кому-то и в конце концов уже не могу высвободиться и жить сам по себе. Так бывало всегда, еще в Махайке. А вот погоня за Сантосом и дядей Ричардом — мой первый самостоятельный важный поступок».

Добравшись до середины холма, я наконец услышал шум воды и прибавил шагу. Карабкаясь по склону, я крепко сжимал вещевой мешок, чтобы в нем ничего не гремело. Внизу, ярдах в ста от меня, теперь виднелся черный, неторопливо катившийся поток. Сообразив, что через час-полтора уже стемнеет, я внимательно оглядел все кругом, но Сантоса и дяди Ричарда не обнаружил. В мелком месте спокойно переходили реку олень и тапир, но когда в ветвях склонившегося над водою эбенового дерева закричали маруди, они повернули вспять и поднялись по отлогому берегу. Я подошел к дереву, но животные уже исчезли. Убедившись, что поблизости нет змей, я спрятался за его корнями. Солнце стремительно надвигалось на вершины деревьев. Я знал: если эти двое не появятся до наступления темноты, вряд ли мне удастся поймать их без помощи Тоника. Провизии у меня в обрез — не хватит даже на лишний день пути, а у них еды вдосталь. К тому же Булла говорил, что в Куюни ведет с полдюжины троп, и кто знает, по какой пойдут эти двое. Если они переправятся через реку, мне останется только одно: добраться раньше них до Бартики — иными словами, проделать трехдневный путь до Куюни с однодневным запасом пищи. И даже там, в Куюни, пройдет несколько дней, пока я отыщу лагерь старателей и найду лодку. Вдруг раздалось хриплое, предостерегающее карканье маруди, я услышал голоса взбиравшихся на холм людей и мгновение спустя увидел Сантоса и дядю Ричарда. Солнце скользнуло за деревья, но было еще светло. У меня гора с плеч свалилась, когда я увидел их, грязных и усталых, и едва не расхохотался. После отъезда из Махайки я не встречался с дядей и теперь удивился — он был все такой же.

— Там за рекой, приятель, место открытое! И недели не пройдет, как мы доберемся до города.— На лице дяди играла кривая усмешка, как тогда ночью, в хижине бабушки.

Сантос боязливо озирался по сторонам.

— Давай лучше сейчас переправимся через реку,— предложил он.

— Да чего ты боишься? Крылья, что ли, у них выросли? Мы так мчались всю дорогу, теперь нас, брат, разве что птица догонит.

Дядя говорил, как человек, хорошо знающий джунгли. Он держался гораздо увереннее Сантоса, хотя последний после изнурительного перехода, видимо, устал меньше. Я выждал, покуда расстояние между нами сократилось до тридцати футов. Каждый из беглецов нес ружье и большой мешок.

— Ричард! — крикнул я, держа ружье наизготовке.

Они замерли, и Сантос обернулся, недоумевая, откуда раздался крик. Ричард от неожиданности разинул рот, но, когда я вышел из-за дерева, быстро взял себя в руки и заулыбался.

— Ха, да это ты, племянничек! Давненько мы не видались.

— Ни с места! — крикнул я, беря обоих на мушку.

— А где же, племянник, твои дружки?

— Долго я с вами разговаривать не намерен. Бросайте ружья и алмазы. Я знаю, алмазы у вас в поясах. Живо! — И я выстрелил — пуля взрыла песок между ними.

Сантос повиновался, но дядя отбросил только ружье и крикнул:

— Иди сюда, племянник, да сам сними с меня свои алмазы.

— Лучше не серди меня, Ричард Долли!

Я поднял брошенный Сантосом пояс с алмазами. Сумерки сгущались, но я не спускал глаз со своих врагов. Я старался открыть на ощупь кармашки пояса, когда Ричард вдруг швырнул свой мешок и стремглав кинулся к реке. Он бежал, петляя из стороны в сторону. Я выстрелил, но слишком низко — пуля угодила ему в правое бедро. Он споткнулся, едва не упал, но выпрямился и бросился в воду. Плавал он хорошо и быстро направился к противоположному берегу, разрезая спокойную гладь реки. Впереди была река, позади — Сантос, а я стоял в нерешительности: я не хотел убивать дядю. Вдруг до меня донесся отчаянный крик. Ричард крикнул еще раз, еще и заколотил по воде руками.

— Рыба-людоед схватила его! — не своим голосом заорал Сантос.

В последний раз услышали мы безумный, сдавленный вопль. Вода вокруг Ричарда вскипела белой пеной, рыба-людоед метнулась в сторону, но тотчас же вернулась к своей жертве.

— Ты убил его! Убил! О господи,— зарыдал Сантос, раскачиваясь из стороны в сторону.

Внезапно спустилась ночь, река снова была спокойна. Сантос метался по берегу, плакал, стонал, в отчаянии ломал руки. Я знал, что все это комедия, и внимательно следил за ним. И все же теперь, когда мы остались с ним одни, при свете звезд, в моем сердце уже не было ненависти. Я знал только, что попал в беду. Я при свидетеле убил Ричарда Долли и подлежал суду за убийство. Я развел костер и присел у огня. Жалобные стоны Сантоса нестерпимо раздражали меня. А он не унимался. Мне не верилось, что дядя погиб, хотя все случилось у меня на глазах и я знал, что над ним тяготело проклятие бабушки. Мысли вихрем проносились у меня в голове. Сантос сел на песок, он бормотал себе что-то под нос, а потом опять начинал скулить. При свете костра я разглядел алмазы — Сантос надул своего партнера и взял более ценные камни. Наверно, дядя не знал, что алмазы с трещинками ценятся дороже. Сантос забрал себе алмазов тысячи на две каратов. Меня донимала одна мысль: убить Сантоса и бросить труп в реку, тогда я могу сказать, что рыба-людоед у меня на глазах сожрала их обоих. Я спустил предохранитель и прицелился Сантосу в висок. Глаза у него были как у раненого зверя. Он смотрел на меня, но меня не видел, и я понял, что от криков Ричарда он лишился рассудка. Я опустил ружье — убить его я мог только в порыве гнева — и снова присел у костра. Мне вдруг стало жутко: передо мной сидел сумасшедший, а за спиной притаился призрак погибшего. Надо как можно скорее вернуться в долину, где меня ждут Булла с Тоником. Я расскажу обо всем Булле, и мне станет легче.

— Пошли! — сказал я Сантосу.— Бери мешок покойного.— Сантос продолжал что-то бормотать, не отрывая глаз от реки.— Пошли! — крикнул я еще раз. Он поднял мешок и пошел впереди меня неверным шагом, как пьяный. Дядино ружье я бросил в реку и взял ружье Сантоса.

Буллу и Тоника мы отыскали около полуночи. В пути Сантос не проронил ни слова. Завидев Буллу, он бросился наутек, но я догнал и вернул его.

— В недобрый час покинули мы Перенонг,— сказал Булла.

Сантос схватил нож и бросился на нас, Булла отпрыгнул в сторону и сбил его с ног. Мы связали Сантоса и положили подальше от костра.

Тоник бредил, он не понимал, что происходит. Я рассказал Булле, как все получилось.

— Твое счастье, что он рехнулся,— сказал Булла, показав на Сантоса.— Никто ему теперь не поверит.

В эту ночь я не сомкнул глаз, два раза вставал и оттаскивал Сантоса от костра — он все старался подползти поближе к огню. На заре мы сделали носилки для Тоника. Мы несли юношу, а Сантос, понурившись, шел впереди. Весь день он не доставлял нам хлопот, только не хотел ничего есть, но вечером снова разбушевался, и мы связали его. Целый день ушел на то, чтобы перебраться через болото. Жар у Тоника спал, и он ни за что не хотел, чтоб мы несли его на носилках.

— Я хорошо себя чувствую, капитан,— сказал он мне.— Лечишь ты здорово.

Мы отдыхали, пока солнце не поостыло, но, когда двинулись в путь, болезнь окончательно свалила Сантоса. Я просидел возле него всю ночь — он бредил, кричал. Булла и Тоник спали и не видели, как метался Сантос, а я сидел и раздумывал — отчего так внезапно поразило его безумие. Я вспомнил, как он приехал за мной в Махайку. Тогда он был щеголеватым, славным парнем, любил приударить за красивыми девушками, был мастер рассказывать всякие истории. Отныне я знал: тот день, когда первый алмаз зажег огонь в глазах Сантоса, был для него роковым. Я выманил Сантоса из привычного круга, замыкавшего его беспечное существование, и тайный ритм, проникающий в сердце каждого крестьянина из земли, на которой он родился, ритм его жизни вконец разладился.

Утром мы услышали голоса и выстрелы — Вуди и другие старатели разыскивали нас.

— Что приключилось с нашим Сантосом? — спросил Вуди.

— Он помешался, как мартышка от невыносимой жажды,— ответил Булла и, видя, что все уставились на забинтованную голову Тоника, добавил: — С мальчишкой стряслась беда. Неудачный вышел поход.

— Королева сказала, что чует неладное: всю ночь, говорит, снилась мне кровь,— и послала нас за вами,— объяснил Вуди.

— Как завела она свою песню, мы было давай смеяться над ней,— добавил другой,— а она знай свое: «Чует мое сердце, попали они в беду». И не отстала, пока мы не тронулись в путь.

Лежавший на носилках Сантос вращал глазами и старался разорвать веревки, которыми мы скрутили его.

— Крепко прихватило парня,— сказал один из старателей.

Около водопада Трав нас поджидала толпа старателей и женщин; увидев на носилках Сантоса, они забросали нас вопросами — все говорили разом.

— Неужто стряслась беда? Господи помилуй! Что это с беднягой Сантосом? Только позавчера он сиял, как бриллиант! Что же это с ним такое?

Белл протиснулась сквозь толпу и бросилась ко мне, она смеялась и плакала.

— Ты цел? С тобой ничего не случилось? Господи, и замучили же меня сны! Мне даже приснилось, будто сама земля плакала кровавыми слезами.— Я крепко обнял Белл и на этот раз не обратил внимания на ее чудные слова.

В толпе выкрикивали забористые шутки:

— Ну, королева, раз уж воротился хозяин, заговорят пружины на твоей кровати...

— Придется тебе, Акула, нынче ночью поработать.

— Так вот, ребятки, теперь-то, когда уж все позади, хорошо вернуться домой. Думалось мне, что никакая беда мне не страшна, а за недолгий наш путь столько бед повидал, сколько во весь свой век не видывал,— сказал Булла.

— Пойдем, промочите сперва горло, а потом уж расскажете,— предложила Белл.

— Выпить можно. Видит бог, от этой прогулки все нутро у меня пересохло,— ответил Булла.

Я наблюдал за Буллой, когда мы подходили к лавке. Это был старик, возвращавшийся к своему очагу. Он медленно взбирался по ступеням, но не потому, что устал, ему хотелось насладиться ощущением досок под ногами. Войдя в лавку, он грузно опустился на свой стул красного дерева за стойкой. Окинул взглядом полки, и я понял, что он может с точностью до полпинты сказать, сколько было продано в его отсутствие вина. Булла оглядел даже потолочные балки и все заметил — тут появилась новая паутина, а там — осиные гнезда.

— Угощаю всех! — так Булла всегда после отлучки вступал в свои хозяйские права.

Мы заперли Сантоса в комнате Буллы, совесть мучила меня — ведь я обращался с больным, как с животным, но я не знал, как поступить с ним иначе.

— Так что же, Булла, стряслось на самом-то деле? — спросил Вуди.

— Тяжко вспоминать об этом, Вуди. Господь покарал грешников, а мы вернулись живы-здоровы.

— Аминь! — подхватили старатели, залпом осушая свои кружки.

— Пошли, Акула, — сказала Белл,— тебе уж впору веки спичками подпирать.

Взбираясь на холм, приятно было снова услышать пение неугомонных зеленых лягушек и уханье совы. Белл обиделась на то, что я все скрыл от нее. Мне хотелось поскорее открыть ей свою тайну. Мы уселись на веранде нашего домика, и я без утайки рассказал ей о Сантосе, о дяде Ричарде и украденных алмазах. Когда я кончил, она сказала:

— Ты, значит, не доверяешь мне, Акула? Боишься, что выдам твою тайну?

— Я бы все, все рассказал тебе, родная, но я боялся, как это вдруг взять да и сказать тебе, что я — нищий.

— Сказал бы ты мне все, и я была бы спокойна, а так я места себе не находила.

— Никогда больше ничего от тебя не утаю, Белл. Стоит мне что-нибудь утаить, и меня сразу подстерегает несчастье. А знаешь, что мне в те минуты казалось самым страшным? То, что я сижу здесь со своими алмазами и ни разу даже не съездил в Джорджтаун, где можно посорить деньгами.

— Словом, ты хочешь, чтоб мы отправились в большой город.

— Вот выработаю свой участок, тогда и тронемся.

— Я, Акула, люблю город. Люблю шумную городскую жизнь, но тебе, по-моему, туда еще рановато. Ты сначала реши, как хочешь жить дальше, где хочешь жить, какая работа тебе по душе...

— Работа? Смеешься ты, что ли? С такой кучей денег зачем мне работать?

— Негры слишком привыкли к тяжелой работе, чтоб так вот вдруг взять и начать лентяйничать. Только белые умеют, не работая, жить спокойно да степенно.

— Я, Белл, хочу купить какое-нибудь дело, и дом купить, и чтобы вокруг него было столько земли, что даже орел, пролетая у самого солнца, не мог бы окинуть взглядом мои владения. И еще я куплю машину, с блестящими фарами, как у того белого, и экипаж с шестеркой лошадей. Уж я, Белл, постараюсь — неграм будет о чем петь в песнях.

— Ты, видно, собираешься свалять большого дурака. Неужто ты не знаешь, что чем выше взбираешься на дерево, тем легче ломаются под тобою ветки?

— Ну почему, скажи на милость, стоит мне о чем-нибудь заговорить, ты всякий раз наступаешь мне на горло? Люди часто просто так языком чешут... Вот и я отвожу душу, болтая о роскошной жизни. Я мечтал о ней еще мальчишкой, а с тобой делюсь потому, что ты мне близка.

— Я все это знаю, Акула, а все-таки ты что-то замыслил, и эта мальчишеская болтовня меня тревожит.

— Послушай, Белл, вот я добыл эти деньги. И ты, и Булла, и все остальные говорите, что мне, мол, повезло, а я думаю по-другому. Разум мой подсказал мне отправиться сюда, и я нашел алмазы... одним разум подсказывает верно, другим — нет...

— Да ну тебя! Надоело мне. Полный день разговоры...

— Зачем ты затеваешь ссору, Белл?

— Затем, что ты просто хочешь испортить мне настроение. Знаю я, что ты сделаешь. Поедешь в город, промотаешь там свои денежки, а потом воротишься в джунгли снова пытать счастье. Будешь, как другие искатели алмазов, уходить и возвращаться, покуда не покатятся твои кости по дну реки к морю. Ты из другого теста, но если не поостережешься, станешь таким же. А я? Что будет со мной? Сидеть да глядеть, как ты меняешься на глазах, как стареешь, а все строишь из себя молодого?..

— С ума ты сошла, Белл! Я заведу на побережье небольшое дело, женюсь на тебе, осяду...

— Нет, Акула, никогда не пойду я за тебя замуж, хоть и люблю тебя без памяти, хоть сердце у меня разрывается на части, как подумаю, что придется тебя покинуть. Но такова уж воля господня — всякий человек как постелит, так и поспит.

Она ушла в дом, и я слышал, как она ходит по спальне, собираясь лечь. Все еще ухала сова, и где-то вдали пела тинаму. Я посидел немного на веранде, наблюдая, как загораются на тропинке, словно упавшие звезды, глаза пауков-птицеедов.

— Спать сегодня не собираешься?

Я бросил в пауков сигарету и пошел к Белл.

■

Рассвет занялся душный, густые дождевые облака громоздились на небе, еще не пробегал утренний ветерок. Солнце, показавшись на минутку, снова пряталось, водопад Трав рокотал так гулко, что я понял: в верховьях реки уже пошли дожди. Глаза Белл опухли от сна, у рта залегла недовольная складка.

— Который час? — спросила она, прищурившись, и выгнулась всем телом — только локти и пятки ее касались кровати.

— Да не больше шести, еще совсем не жарко.

Ночью я вспотел, и теперь простыни липли к телу. Белл неторопливо встала.

— Господи, какое душное утро!

— Верно, скоро польют дожди.

— Вот в такое утро хочется назад в Джорджтаун. Уж больно темны эти джунгли, наполненные туманом и непонятными звуками.

— Не ты ли сама только вчера говорила, что нам надо пожить тут подольше? Реши же ты, бога ради, чего тебе хочется! Остаться тут или ехать в Джорджтаун?

— По мне, так лучше отправиться в Джорджтаун, сам знаешь.

— Через дня два придет «Смуглянка» капитана Родиуса, мы живо соберем свои монатки и двинемся в путь.

— Я позову с нами Буллу.

— Как хочешь.

Белл причесывалась, стоя перед маленьким зеркальцем, густые круто вьющиеся волосы упорно сопротивлялись стальной гребенке, от напряжения мускулы на руках у нее танцевали.

— Ну, поди ко мне! — позвал я. Она притворилась, что не слышит. Я подбежал и обнял ее. Лаская ее, я все крепче к ней прижимался, и пение птицы за окном, слышавшееся совсем рядом, вдруг отодвинулось куда-то далеко-далеко.

— Капитан, ты дома? — раздался голос Тоника, и я услышал, что он пытается открыть наружную дверь. Я встал и поспешно оделся.

— Случилось что-то неладное,— сказала Белл, села в кровати и обхватила руками колени.

— Иду, Тоник, иду. Дверь заперта.— Я нашел его на веранде. В громадной шляпе, рубахе и брюках, некогда принадлежавших Булле, он выглядел очень комично.

— Что стряслось, Тоник? Чего ты поднял меня в такую рань?

— Хозяин послал меня рассказать тебе, какая беда приключилась сегодня ночью...

— Погоди, я сейчас оденусь,— крикнула Белл, — я тоже хочу знать.

Тоник сел на плетеный стул и подождал, пока не вышла, оправляя платье и приглаживая волосы, Белл.

— Вчера вечером стряслась беда с Сантосом!

— Господи помилуй! Вот не везет парню! Бедняга Сантос!

— Утром я проснулся, смотрю, а его в комнате нет, я сразу пошел по следу вокруг холма, а как добрался до реки — вижу, он лежит в камышах.

— Бедняга! — вздохнула Белл.— Верно, ему с больной головы почудилось, что река зовет его, вот он и бросился в воду.

— Сильно его попортило, Тоник?

— Нет, капитан. Такой же, как раньше, до болезни, живот только вздулся. И рыбы его не тронули.

— А ну-ка съешьте чего-нибудь,— приказала Белл. — На пустой желудок не следует глядеть на мертвеца!

— Мне, королева, сегодня на еду и смотреть тошно,— сказал Тоник.

— И мне, Белл, тоже.

— А ну-ка идите оба в дом да садитесь за стол. Сегодня мне не перечить!

Мы повиновались, и, пока Белл колола в кухне дрова для плиты, я сказал Тонику:

— Сантос предал меня, да все равно, мир праху его. Было в нем и хорошее. Когда-то я считал его за брата родного: тогда я еще молод был и глуп, и он не раз помогал мне выпутываться из разных историй.

— А как плясал! Он плясал со мной в ту ночь и кружился быстрее ветра, — перебила меня Белл.

После завтрака мы пошли в лавку. Тело Сантоса лежало на досках под домом, рядом стоял Булла и курил свою глиняную трубку.

— Больно уж много народу призвал к себе господь из нашего поселка за последнее время, — сказал он.

Я посмотрел в застывшее лицо покойника — рот перекосился, глаза уставились в одну точку.

— И надо же было, чтобы Сантос лишился рассудка и так глупо погиб! — закричал я, глядя на хмурое небо и деревья, гнувшиеся под крепчавшим ветром.

Белл и Тоник смотрели на меня так, словно я сам потерял рассудок, Булла невозмутимо курил трубку.

— Дьявол своего не упустит,— проговорил он.— Одно я знаю наверняка: Сантос ушел в лес долгой ночи и встретит там Джо Смарта, и А Лина, и Тенгара, и Речного Тома, и много-много других старателей, с которыми Булла Дэниелс, бывало, смеялся, и болтал, и пил вино, но ни Сантос, ни кто другой никогда не вернется.

Пришлось обойтись без погребального обряда. Надо было поскорее схоронить Сантоса, и после похорон всем так взгрустнулось, что в лавке у Буллы пошла гулянка. Один старатель из Оронопаи высыпал на стойку горсть алмазов. Глаза у женщин загорелись, у мужчин пересохло в горле.

— Нет у меня настроения веселиться,— сказала Белл.— Пойду, пожалуй, домой укладываться. Ты идешь, Акула?

— Расстроила меня, Белл, вся эта штука, хочу залить тоску вином.

— Приходи пораньше. Не люблю я сидеть там, на этом холме, одна, когда в лесу вокруг воет всякое зверье.

Я проводил ее до дому и вернулся к горластым, разбушевавшимся кутилам.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Мы уехали из Перенонга воскресным утром. Последние несколько недель не переставая лил дождь, и Мазаруни вздулась. Но в воскресенье утро выдалось чистое, безоблачное, и солнце играло на темной быстрой воде. «Смуглянка» капитана Родиуса стояла у причала, и все население поселка высыпало на берег проводить нас.

Белл не пришлось долго уговаривать Буллу ехать с нами. Булла сразу согласился, сказав, что хочет показать Тонику городскую жизнь, чтобы потом, когда мальчик вырастет и отправится в Джорджтаун, он не потерял головы. Широкоплечий, коренастый капитан Родиус стоял на корме и, с вожделением поглядывая на женщин, хвастал, что расправится с ними, когда вернется в Перенонг. Джон Пай, гребец, расставив ноги, стоял на носу около планшира, и казалось, простоял он так всю свою жизнь. Долговязый Пай был негр с длинной шеей и маленькой головой, когда он говорил, гулкий голос его словно вылетал из пещеры. Мы с Белл заняли на пароходе свои места и поджидали Буллу с Тоником. Небо было бледно-голубое, деревья застыли в полном безветрии. Орел парил под солнцем, подкарауливая летевших в саванну уток и цапель. Судно вздрагивало, словно олень, готовый обратиться в бегство. Оно еще не очень глубоко осело в воду, потому что на борту находилось всего восемь пассажиров да с полдюжины тюков и жестяных ящиков.

— Давай, давай, Булла! — закричал Родиус.

Булла шел к нам не спеша, точно старался запомнить, как приятно ступать по влажной земле и как хороша молодая трава, усыпанная желтыми маргаритками.

— Присматривай тут за всем, Вуди, а в случае надобности — шли телеграмму,— наказывал он.

— Не беспокойся, хозяин. Вуди Сэм справится.

Прибежал из лавки Тоник, и, когда он вместе с Буллой взошел на борт, Родиус крикнул:

— Отчаливай, Джон Пай!

«Смуглянка» рванулась вперед. Старатели запели под гитару прощальную песню. Стрельба и крики заглушили шум машины. Я глядел

назад, на отвесный берег, изогнувшийся меж рекой и ручьем, словно горб бизона, глядел на лавку, на мужчин, на женщин, махавших нам вслед, и думал, что никогда больше сюда не вернусь. Солнце вплотную придвинулось к лесу, река ловила и множила его отражения в бесчисленных водоворотах, вскипавших за кормой судна. Стая бакланов, до того тяжелых, что они с трудом держались в воздухе, летела впереди нас, едва не касаясь воды крыльями.

— Так и будут лететь впереди до самой Камакусы,— сказал Родиус.

Едва «Смуглянка» миновала поворот реки, как Джон Пай гаркнул:

— Завал впереди!

Капитан с силой повернул румпель, и мы двинулись к тенистому берегу, где крепко пахло прелыми листьями. Оказалось, поперек реки упало эбеновое дерево. Часть ствола выступала над водой, и лианы, опутавшие ветви, плавали, будто волосы утопленницы. Мы подошли к дереву, выключив мотор, винт повис в воздухе. Родиус привязал к корням дерева динамитную шашку, наше суденышко поднялось немного вверх по течению. Мы подожгли запал и стали ждать. Взрывом ствол расщепило, и течение унесло обломки. Когда мы проплывали мимо, лианы все еще тянулись по воде. Я вернулся на свое место. Булла и Белл болтали с другими пассажирами, обсуждали смерть Сантоса, толковали о том, найдет ли кто в Перенонге после дождей золото или алмазы. Тоник сидел на носу возле Джона Пая. В мешочках, пришитых к моему поясу, лежали алмазы тысячи на три каратов. Я прикинул, что в деньгах это составит около шестидесяти тысяч долларов — можно купить всю Махайку, да еще останется. Три тысячи долларов я послал жене Сантоса, по тысяче — брату Кристоферу и тетушке Мур. Я представил себе, как в деревне появляется почтальон и приносит письмо, в котором сказано, что брату Кристоферу и тетушке Мур надо ехать в Джорджтаун и получить на почте деньги. Они примутся обсуждать письмо с учителем, с лавочником Гонзалесом, пройдет несколько часов, и о нем узнает вся деревня, в скором времени новость разнесется по побережью, и тогда в Махайку начнут стекаться невесть откуда взявшиеся родственники и станут выкладывать старикам свои горести и заботы.

Миновав Эпинг-крик, мы остановились в Инаку взять пассажиров. До самой Камакусы везде повторялось одно и то же — на причалах собиралась толпа, люди приветствовали нас и шумно желали счастливого пути. В Камакусе полиция проверила выданные нам разрешения на горные работы и осмотрела багаж: не везем ли мы незарегистрированные алмазы. Булла поговорил с дежурным, и тот отвел нас к сержанту. Заключенные, половшие и рыхлившие грядки маниоки, побросали работу и с любопытством разглядывали нас. Дежурный постучал в дверь грубо сколоченного деревянного строения, оттуда послышался сердитый голос:

— Ну что там еще?

— Какой-то мистер Дэниелс хочет вас видеть, сержант.

— Булла Дэниелс?

— Ну да, это я.

— Заходи, Булла!

Сержант сидел за столом и писал. Посмотрев на нас сквозь очки в железной оправе, он осторожно отложил перо и встал.

— Эге, Булла, чего же это ты не известил меня, что приезжаешь? Путешествуешь себе как простой старатель!

— Я, Писака, еду в город со своим другом Акулой. Это сын Джо Смарта. Твой отец, Акула, и Писака были большими друзьями, частенько играли в крикет.

— Слыхал я, слыхал про Акулу, короля алмазов. Надеюсь, мальчик, ты умеешь беречь денежки получше, чем Джо Смарт?

— А это Белл, подружка Акулы, а это — мой Тоник.

— Слыхал про королеву, слыхал. Рад познакомиться с вами,— сказал сержант, жадно оглядывая Белл с головы до ног. Он был высок ростом и держался подчеркнуто прямо. Следы бурно прожитой жизни только начинали проступать на его продолговатом породистом лице.— Садитесь! Вот сюда! Ты, Булла, с каким делом ко мне?

— Плохие у меня вести. Приехал доложить тебе о двух покойниках: Джордже Сантосе и Ричарде Долли...

Сержант перевел взгляд с Буллы на меня. Мне стоило большого труда не выдать себя, но Булла продолжал как ни в чем не бывало. Он коротко рассказал, при каких обстоятельствах умер Сантос, а когда очередь дошла до меня, я сделал заявление о смерти Ричарда Долли, утаив, что ранил его перед тем, как он попытался переплыть реку Безымянную. Сержант записал рассказанное нами. Он знал Буллу не первый год и понимал, что тот хочет уладить это дело со столичной полицией, не впутывая никого лишнего.

— По закону, когда делаются такие заявления, кроме меня, должен присутствовать свидетель,— заметил сержант.

— Да, не успел тебе сказать, Писака: твой родственник из Перенонга просил меня передать тебе на хранение триста долларов.

Комнатушка содрогнулась от хохота сержанта — смех гулко ударил в стену, словно по ней забарабанил кулаками обезумевший узник.

— Ладно, Булла. Попрошу тут одного молоденького чиновника подписать потом бумагу. Ему хочется поскорее выдвинуться, и я ему посодействую.

— Так, стало быть, с этим делом покончено?

— Да, дружище. И самое хорошее, что покойники уже ничего не скажут.

Он подошел к двери, распахнул ее и подозвал молодого чиновника.

— Принеси-ка из кладовки рома, того, самого лучшего,— приказал он и, повернувшись к Булле, добавил: — Давненько мы с тобой не болтали.

— Давненько, Писака,— ты у меня уже с год как не был.

— Сам знаешь, дружище, как время идет. Старатели то и дело отличаются. Вчера вот в Оронопаи передрались из-за девки. Слово за слово, пустили в ход кулаки, потом ножи, ну, одного и уложили на месте. Пришлось послать двоих людей разыскивать убийцу.

— И зачем вам ловить беднягу? Сгоряча убил, теперь, верно, сам жалеет,— сказала Белл.

— Жалостью, королева, человека не воскресишь, и, коли все будут рассуждать, как ты, я останусь без работы.

Чиновник принес четыре бутылки рому и кружки. Сержант налил себе полную кружку.

— За королеву, за сына Джо Смарта, за тебя, Булла, и за твоего мальчишку! А пошлет судьба на вас беду, так засмейтесь ей в лицо и скажите: «Было времечко, пожил я всласть. Всего отведал на своем веку». Коль сможешь так сказать, значит, и тужить не о чем.

Когда Родиус прислал за нами, мы уже прикончили две бутылки и взялись за третью.

Из Камакусы мы вышли под вечер и пробыли в пути всю ночь. Пассажиры спали, закутавшись в одеяла: выпала роса и сильно похолодало. Я не мог уснуть, сидел, прижавшись ухом к борту, и слушал реку. Родиус стоял поблизости, и силуэт его напоминал спиленный ствол дерева.

— Слышишь голоса? — спросил он.

— Какие голоса?

— Голоса реки, брат, этой реки. Когда строили Вавилонскую башню, и тогда небось не говорило столько людей разом. Как настанет ночь, так все утопленники и говорят разом.— Родиус медленно цедил слова, не сводя глаз с тени Джона Пая, стоявшего на носу судна.— Под водой есть люди добрые, есть и злые, а я так часто плаваю вверх и вниз по реке, что знаю их всех до единого. Плаваю при ярких звездах, и когда луна висит низко-низко, и в такую густую темь, что сквозь нее и не плюнешь. Добрые люди говорят: «Родиус, Родиус, остерегайся всесильных богов; Кусевайо застыл, как каменный, на своем громадном стуле. Обходи подальше скалу, где живут водяные, своими руками утянут они тебя в пучину. Будь осторожен возле Топоко, зеленый дух тихих заводей засосет тебя в водоворот. Не оплошай у водопада Зеркального, в это время года он требует жертвы, жадно караулит тебя глубина». Злые же говорят: «Иди к нам, Родиус! Иди к нам! Грустно, как флейта, запоют у нас твои косточки! Иди же, Родиус, гладко дно реки, мы докатим глаза твои до самой Махари». Слышишь ты их? Слышишь?

Я припал ухом к планширу, но услышал лишь неразборчивый лепет волн; усевшись поудобнее, я стал смотреть, как пляшет в водоворотах свет звезд, и уснул.

Проснулся я, когда «Смуглянка» причалила в Топоко. В густом тумане едва различались очертания склонившихся над водой деревьев, и слышался плеск воды. Утренний ветер завивал и скручивал туман, как шелковистые волосы. Пассажиры сходили на берег, громыхая котелками и ведрами, я слышал, как они, шурша сухими опавшими листьями, готовили себе завтрак. Я разбудил Белл, она спала, положив голову на плечо Буллы; проснувшись, она забормотала что-то, протерла глаза и спросила, где мы.

Расправляя онемевшие ноги, мы сошли на берег.

— Господи, скорей бы уж конец этому путешествию,— сказала Белл.

Мы позавтракали, присев на корточки на влажной земле. Туман рассеялся, засверкало солнце. Тоник подружился с Джоном Паем и без устали твердил, что хочет сделаться капитаном речного судна. Джон Пай встал около планшира, широко расставив ноги, и обратился к пассажирам:

— Тем, кто эту реку не знает, советую: как подойдет судно к водопаду, молчать, всем молчать, кроме капитана. Дружно взяться за весла и, когда капитан крикнет, грести что есть мочи. Коли хотите знать, отчего я вам так говорю, или если думаете, что я вас пугаю, так гляньте вон на те кресты пониже Топоко.

«Смуглянку» подхватило течением. Казалось, мы стоим, а скалы и деревья несутся мимо нас. Сквозь легкую дымку облаков я видел голубое небо. Джон Пай с силой работал большим веслом — вправо, влево, вправо, влево,— и судно, лавируя, проносилось мимо скал. Я смотрел, как направлял движение «Смуглянки» Родиус. Он резко поворачивал румпель вправо, потом медленно вел к центру и резко брал влево. Черные глаза его были прищурены, крепкое мускулистое тело напряжено. Каждая секунда победы над рекой приносила ему наслаждение. Родиус развернул судно боком, и мы взяли первый порог.

— Гребите, ради всего святого! — заорал он, и все мы, как один, заработали веслами, спасаясь от бешеных водоворотов и подводных течений. Внезапно Белл разразилась безумным смехом.

— Заткни свою черную глотку! — рявкнул Пай.

Белл зажала руками рот и сидела так, вздрагивая всем телом, покуда мы не проскочили третий порог.

— Ничего, королева,— сказал Булла.— От этой реки каждый теряет рассудок.

За Топоко начиналась тихая заводь Моребизи, в ее неподвижной глади отражалось небо, деревья и даже капли росы на листьях. В глубине этого безмолвного омута вода вертела, крутила и шлифовала камушки, рисуя на скалах лики каких-то божеств. Пороги один за другим оставались позади — Туреси, Итаки, Попекаи, наконец мы миновали узкое темное ущелье Трамвей-хоул, проплыли Махари. В полдень мы вознесли хвалу Кусевайо, каменному богу, который сидел на вырубленном в скале троне, безглазый и недоступный. Когда «Смуглянка» проносилась мимо него, мы сняли шляпы.

■

Звезды и светлячки явились приветствовать нас той ночью, а мы сидели в плетеных креслах на балконе гостиницы в Бартике, потягивая ром и болтая с Родиусом и Джоном Паем. Город притих. Большинство старателей, стремясь до начала дождей попасть в Джорджтаун, уже проехали через Бартику. С балкона гостиницы виднелись заросли осоки, а за ними черная река Эссекибо кралась, словно тать в нощи, к морю.

— Что ты, Акула, собираешься делать с такой кучей денег? — спросил Родиус.

— Не знаю. Я и не думаю об этом. Пока что деньги эти, как упавшее дерево, легли мне поперек жизни.

— Покупай, дружище, вещи серьезные,— сказал Булла, помешивая ром пальцем,— такие вещи покупай, что б, коли туго придется, можно было продать,— дом, например, землю, их не так-то легко отнять у человека

— Акула не хуже других разобьет себе лоб о дерево,— вставила Белл.

— Ну и ладно, пусть я разобью себе лоб, не мешайте мне только, бога ради, и не лезьте со своими советами.

— И меня иной раз подмывало попытать счастья на золоте да алмазах,— сказал Родиус.— Перевожу я старателей по реке и часто слышу, где лучшие места для заявок. Да только я себя знаю — голова у меня не очень-то крепкая, дай мне побольше денег, я сейчас же обленюсь, тут и крышка Родиусу. Вот и выбросил я эти мыслишки из головы, буду водить свое судно вверх и вниз по реке, пока не помру или не пойду ко дну.— Он пропустил стаканчик на дорогу и встал.— Завтра на заре отплываем в Куюни, так что мне пора проститься с вами.

— Спокойной ночи, капитан!

— Счастливого плаванья, чтоб не налететь вам на скалу.

— Не надорвись там в Перенонге с девчонками!

— Идешь, Джон Пай? — спросил Родиус, и гребец, встрепенувшись, последовал за своим капитаном.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Оборванная босоногая толпа собралась у входа на пристань поглазеть на негра, который нашел свое Эльдорадо. Джорджтаун был невелик, и слухи распространялись по городу, как огонь по сухой траве. Богатых старателей считали здесь легендарными героями. В период золотой и алмазной лихорадки они вырывались из далеких приисковых поселков, горластые и безрассудные, бурно веселились, швыряли деньги направо и

налево и вскоре, промотав все до нитки, возвращались в джунгли и саванны.

Едва я ступил на пристань, как на меня упал отблеск славы моих предшественников, тех, о ком жители побережья слагали песни. Я собирался скромно устроиться с Белл, тратить деньги с умом, купить участок земли и обрабатывать его, но все ждали от старателей совершенно определенных поступков, и я поймал себя на том, что мне не хочется обмануть ожиданий толпы.

Мы пожили немного в заведении Эльзы, а спустя несколько недель я решил купить большой дом в хорошем районе города. Эльза представила меня своему поверенному, метису по имени де Фрейтас. Не успели мы пожать друг другу руки и войти в его контору, как он обрушил на меня поток слов. Он трещал без умолку, будто вырос среди пернатых.

— У меня, мистер Смарт, есть на примете как раз то, что вам требуется. Человеку с вашим положением нужен большой дом, старый дом, не из этого новомодного барахла, на которое снаружи заглядишься, а внутри не повернешься. Тот, что я присмотрел для вас, принадлежал одному англичанину.

Разговаривая, он то и дело поправлял на своем мясистом носу очки.

— Дом, мистер Смарт, прекрасный. Я бы и сам его купил, да у меня нет таких сумм...

— Каких сумм, мистер де Фрейтас?

— Не удивляйтесь, мистер Смарт, дом продается почти даром, да я-то человек бедный.

Я взглянул на де Фрейтаса — лицо его лоснилось, тусклые хитрые глазки прятались за стеклами очков, круглое брюшко выпирало из-под костюма. Едва не расхохотавшись, я все же серьезно сказал:

— Хотелось бы посмотреть этот дом.

— Сейчас соображу.— Он уставился в потолок, шея его походила на растянутую гармошку.— В четыре часа вас устроит?

— Прекрасно,— ответил я, прислушиваясь к треску пишущих машинок в соседней комнате.

— Я зайду за вами к Эльзе в четыре.

— Вы не возражаете, если я прихвачу кое-кого из моих друзей?

— Ничуть, мистер Смарт. Пожалуйста.

Возвратившись в дом Эльзы, я нашел Белл и Буллу в гостиной. Они сказали, что Тихоход, муж Эльзы, взял Тоника в гавань посмотреть на английский военный корабль. Как хозяйке заведения, Эльзе часто приходилось ложиться только под утро, поэтому спала она до середины дня. Это была нервная португалка лет сорока пяти. Кожа обтягивала ее острые кости, рыжие крашеные волосы были собраны на затылке в узел. Черные глаза блестели, но казались какими-то маслянистыми. Разговаривая, она то и дело хватала собеседника за руку. Девушка принесла Эльзе кофейник с черным кофе, и она налила себе немного в деревянную чашечку.

— Виделся ты с де Фрейтасом?— спросила она.

— Да. Он покажет мне сегодня дом.

— Он пройдоха, держи с ним ухо востро.

— А может, Акула, повременишь немного? Прежде чем покупать большой дом, лучше реши сначала, чем займешься вообще,— сказал Булла, и я понял, что они говорили об этом в мое отсутствие.

Меня злило то, что Булла хотел все делать осторожно, с оглядкой. Белл ничего не сказала, но на лице у нее было написано, что она согласна с Буллой.

— Жизнь у меня только одна, и я проживу ее, как моей душе угодно, а другие пусть думают, что хотят.

— Вижу, Акула, что обижаешься на мои слова, ты мне как сын родной, оттого я и говорю.

— Да, ты желаешь мне добра, только я еще должен во многом разобраться. Знаешь, всякий раз, как приезжаю в этот город, так будто впервые его вижу, и всякий раз мне приходится во всем заново разбираться, ко всему привыкать. Каких только планов я не строил, пока жил в джунглях. И то собирался сделать, и это, а сейчас, когда я здесь, все эти планы кажутся мне никуда не годными. Белл уговаривает меня поселиться в деревне, а я хочу узнать, как живут в городах. Я никогда не жил в городе, только бывал проездом.

— Дай бог, чтобы ты не проклял тот день, когда приехал сюда,— сказала Белл.

Тут в комнату ввалились Тоник с Тихоходом и стали рассказывать про военный корабль с большущими пушками и про то, как белые матросы чистят медь и драят палубу.

— Ну, сегодня девочки подработают,— заметила Эльза.

— Я, пожалуй, заранее отберу себе девчонку,— сказал Булла.— Не допущу, чтоб белые матросы нас вовсе без баб оставили.

Попозже приехал в машине со своим шофером де Фрейтас и повез нас смотреть дом в Куинстауне. Дом был большой, светлый и походил на дом доктора в Эклсе. Сад окружала живая изгородь из кенафа. У ворот росли два дерева-сиротки, а около дома высился густой корявый фламбоян, заслонявший веранду от послеобеденного солнца.

— Ну как, мистер Смарт, нравится?— спросил де Фрейтас.

— Для человека без семьи он как будто великоват.

— Ну, это вы с королевой в два счета можете поправить,— сказал Булла.

Я заметил, что соседи наблюдают за нами, выглядывая из-за жалюзи. А Белл сказала:

— Вот они какие, эти жители Джорджтауна, стоят себе и глазеют: хотят знать, какой такой негр купит дом белого человека. У них одно занятие — совать нос в чужие дела.

Я вошел в дом, и сердце мое исполнилось гордости. Я, негр из захолустной деревеньки, могу, если пожелаю, поселиться в доме, некогда принадлежавшем важной персоне. Это горделивое чувство сильнее всего другого побуждало меня купить дом. Булла и Белл, осматривая комнаты, казались испуганными, я понимал их страх, мне и самому было немного не по себе. Они ходили осторожно и говорили шепотом, я же нарочно говорил громко и топал по дощатому полу. Все мы чувствовали присутствие белого. Он жил в этом доме, а потом уехал, но после него остался какой-то странный дух, и поэтому мы вели себя так, точно бывший хозяин мог слышать каждое наше слово.

— Сколько хотят за этот дом, мистер де Фрейтас?— спросил Булла, и, как только он заговорил о деле, голос его зазвучал уверенно.

— Превосходная усадьба. Вы видели газон и теннисную площадку за домом?

— Так сколько же? Не старайтесь и не расхваливайте зря.

— Семь тысяч.

— Крыша у него золотая, что ли?

— В таком доме хоть королю жить... лучший в районе... соседи превосходные...

— До соседей никому нет дела,— сказала Белл.— Уплатить за дом они не помогут, вон — уставились, таращат глаза из окон, ничего себе превосходные...

Мы стояли посреди гостиной. Булла начал не спеша обходить ком-

нату вдоль стен. Через каждые два шага он простукивал каблуком пол, крепко ударял кулаком в стену, и мы чувствовали, как вздрагивает дом.

— Три тысячи пятьсот и ни пенни больше,— сказал Булла.

Я понял, что де Фрейтас и Булла достойные противники, и предоставил им торговаться.

— Имейте же совесть! Живите сами и другим жить давайте.

— А я эту поговорку иначе знаю,— отвечал Булла.— Убирайтесь сами и другим жить не мешайте.

— Мистер...

— Дэниелс...

— Трудный вы человек, мистер Дэниелс.

— Верно. Трудно было выбиваться в люди,— сказал Булла, и мне показалось, что живот поверенного дрогнул.

— Давайте уж четыре, мистер Дэниелс.

— Три пятьсот, больше не можем. Деньги на Акулу не с неба свалились. Он работал как вол.

Де Фрейтас поправил очки, несколько раз кашлянул и умоляюще посмотрел на нас.

Булла, задумчиво глядя в потолок, сказал:

— Вон там пятно, должно быть, крыша протекает.

— Ладно. Мистер Смарт получит этот дом за три тысячи пятьсот долларов.

— Вот теперь вы говорите дело,— заключил Булла.— Большего этот дом не стоит.

■

Гостиную мы обставили скромно, но в ней чувствовалось что-то вольное, первобытное. Мебель я выбирал сам. Де Фрейтас попытался было сбыть мне кое-что из вещей, принадлежавших англичанину: громоздкие столы, буфеты, шкафы и стулья красного дерева,— но я отказался. Духу белого было довольно места в спальнях, где остались громадные гардеробы и кровати под балдахинами. Хоть одна комната должна была соответствовать моему вкусу. Когда я впервые вошел в гостиную, она походила на сумрачный берег, усыпанный обломками деревьев, так в ней было тяжко, мрачно. Словно этот белый боялся ярких красок и солнечного света и превратил свой дом в темную пещеру, где хорошо прятаться. Я распахнул настежь двери и окна, чтоб изгнать мрачные раздумья, оставленные белым в этой комнате, и впустил в нее солнце и буйные краски сада. Позвал плотника, который соскреб с пола верхний темный слой, и теперь естественный красновато-коричневый цвет крэбвуда прекрасно гармонировал с бледно-голубыми стенами. Стулья, столы, шкафчики были из леопардового дерева, и темно-коричневые пятна на светло-желтом фоне казались живыми. В довершение всего я постелил на полу оцелотовые и обезьяньи шкуры, а выцветшие бамбуковые шторы, отделявшие гостиную от веранды, украсил пестрыми перьями тукана.

Старая мебель в нашей спальне первое время очень пугала Белл, а когда я предложил продать ее, она сказала, что это может принести нам несчастье. Но однажды утром Белл вскочила с постели, как ужаленная. Она распахнула окна и стала поносить белого человека.

— Этой ночью я не сомкнула глаз,— сказала она.— Всю ночь призрак белого бродил по дому, его тень упала на сетку от москитов, он смотрел на нас с тобой и качал головой. Я знаю, злой дух его живет в этом гардеробе.

— Я предлагал тебе выкинуть его.

— И отчего ты не построил себе новый дом?

— Почему, если что не так, ты всегда винишь меня?

— Пойду сегодня и разыщу колдуна, чтоб он изгнал из дома дух этого белого.

— Все колдуны — жулики,— сказал я, но в глубине души подумал, что это неплохая мысль, и не стал отговаривать Белл.

Стоя у окна, она внезапно заговорила о другом:

— Вон та соседка следит за каждым мои шагом, а как увидит меня, прячется. Пусть лучше оставит меня в покое, а не то я возьму да и выложу ей все, что о ней думаю.

Вид у нее был такой, словно она готова была хоть сейчас выполнить свою угрозу, и я поспешил успокоить ее.

— Я говорил тебе, что получил весточку от тетушки Мур и брата Кристофера?

— Нет, ничего не говорил, да и когда тебе было — ты все бегаешь и покупаешь то одно, то другое.

— Они благодарят за деньги, пишут, что никак не могли поверить, что я разбогател, пока не прочитали обо мне в газетах. Тетушка Мур, конечно, читать не умеет, ей все брат Кристофер пересказал. Я хочу послать за ними, пускай приедут, поживут у нас. Тебе они, Белл, понравятся, и Булла с Тоником наверняка с ними поладят.

— Пошли за ними, Акула. Хорошо бы они пожили тут с нами. Тогда ты не натворишь глупостей. Вот гляжу я, занимаешься ты делами, и все будто идет ничего, а стоит появиться чужому — и ты начинаешь из себя что-то корчить, прямо дурак дураком. Отчего ты не держишься просто? Ты ведь деревенский и сам чернее черного, и что хорошо для белых и метисов, тебе не годится.

— Ты, Белл, когда-нибудь доведешь меня до беды своей болтовней.

Я вдруг страшно разозлился... Белл была мне нужна. С первых же шагов по болотистой почве родной деревни она накрепко срослась с землей, и душа ее не принимала фальшивых богов. Я же, напротив, хватался то за одно, то за другое и менялся, как хамелеон, в зависимости от обстановки. В джунглях я был старателем, очутившись в городе, разыгрывал из себя горожанина. Из всех людей только Белл и Булле удалось ворваться в тесный круг моей фантазии и повергнуть в прах моих кумиров. Правда, Булла обычно щадил мои чувства. Но Белл так люто ненавидела всякую фальшь, даже самую незначительную, что часто, не раздумывая, ругала меня и лишь потом понимала, что этим только растравляет мои раны. Нелегко было ей взять в толк, что я не могу жить без своих фантазий и что деньги сделали мои мечты еще смелей.

Белл подошла ко мне, села рядышком и вдруг стала такой нежной, как могут быть нежными только очень волевые, очень здоровые люди.

— Прости, Акула, я сделала тебе больно, но я люблю тебя и не могу равнодушно смотреть, как ты сам роешь себе яму.

Мы сидели с Буллой на веранде и видели, как Белл прошла по дорожке к воротам.

— Куда это королева собралась в такую жару?— спросил Булла.

— Хочет нанять колдуна, чтоб изгнал из дома дух белого человека; сегодня ночью жаловалась, что ей здесь не спится.

— Дай бог ей найти хорошего.

— Он, кажется, из Суринама, верно, хороший.

— Когда я был мальчишкой,— начал Булла,— в нашей деревне жил колдун из Суринама. Случилось одной индианке узнать, что муж ей изменяет, она взяла да и зарезала его. Колдуна нашего звали Дорн, он к этой женщине был неравнодушен и сказал, что напустит на судью пор-

чу, чтобы вызволить ее. Начали разбирать дело, а судья был престрогий. Едва только все стало оборачиваться против индианки, как судья захворал и в скорости отдал богу душу. Ну, сам понимаешь, новый судья уж побоялся искушать судьбу — отпустил ее, как птицу, на все четыре стороны. Прошло немного времени, и она вышла за Дорна.

Палящее солнце заливало белую, как мел, улицу за воротами и траву газонов, нежно-зеленую рано поутру и блекнувшую днем, когда над ней дрожало знойное марево. В траве кувыркались голые черные ребятишки, прибежавшие из узких проулков, стиснутых большими домами; дети кричали и смеялись, и моя соседка, загадочная особа, всегда выглядывавшая из-за штор, велела кухарке прогнать детей. Молодая веселая кухарка вышла на улицу, подбоченилась и принялась бранить ребят:

— Да как же вам, негодники, не совестно бегать в чем мать родила перед благородными людьми!

Но в голосе ее слышался смех, и глаза весело стреляли по сторонам. Ребята поняли, что кухарку прислала сердитая хозяйка. Мальчики постарше, разглядев за шторой женскую тень, подбежали к дому, и золотистые струи мочи ударили по окну. Тень исчезла.

— Сейчас же иди домой, Клайсис!— послышалось из окна, и кухарка, сделав строгое лицо, вернулась в дом.

— Идите сюда, малыши. Я вам что-то скажу,— подозвал Булла мальчишек поменьше.

Маленькое черное существо отделилось от кучки детей и с опаской вошло в ворота, другие застыли на месте, ожидая, что будет. Малыш замер на нижней ступеньке. Был он до того черен, что темной ночью только по белкам глаз можно было бы догадаться о его присутствии.

— Подойди поближе, дружок. Тут тебя никто не укусит,— сказал Булла.

Ребенок поднялся по ступеням, и я распахнул перед ним дверь. В больших глазах мальчика я прочел страх и пожалел, что Булла позвал его. Двадцать пять лет назад я сам был таким вот, как это пузатое черное пугало из грязных лачуг, окружавших богатые особняки и все-таки бесконечно от них далеких. Лишь когда береговой бриз доносит до больших домов зловонье смрадных трущоб, богачи с неудовольствием вспоминают о своих соседях-бедняках.

— Как тебя звать?

— Лион, хозяин.

— Кто твоя мать?

— Маму зовут Бесс, она стирает белье...— От страха малыш расплакался.

— Все в порядке, дружок. Никто тебя обижать не собирается,— сказал Булла.— Вот тебе монетка, купи себе чего-нибудь.

Мальчик схватил полкроны и опрометью бросился к воротам. Мы смотрели ему вслед: вот он подбежал к приятелям, мальчишки попробовали монету на зуб и умчались прочь. Я снова сел в кресло, а Булла, беспокойно расхаживая по веранде, сказал:

— Нехорошее это дело — жить в особняке, отгородившись от всего мира. Я тут прямо как в силках.

То же самое чувствовал и я, но старался скрыть это.

— А мне тут начинает нравиться. Понемногу я втягиваюсь в городскую жизнь. Так приятно иной раз пройтись по базару, смешаться с толпой, плыть в потоке разгоряченных людей, быть муравьем среди муравьев.

— Ты говоришь так мудрено, мне и не понять. По мне, город хорош ненадолго, тут, конечно, и в бильярд можно поиграть, и на игру в крикет поглядеть, а как ночь настанет — в каждом заведении полно живо-

го товара, выбирай любую. Но жить в городе подолгу мне невмоготу. Месяц-другой еще куда ни шло, а там уж и в джунгли тянет.

— Между прочим, Булла, куда запропастился Тоник? Я его со вчерашнего дня не видел.

— Я и сам поджидаю, когда он объявится. Уж я покажу ему, кто тут в доме старший.

— Городская жизнь ударила ему в голову. Придется тебе отпустить поводья и дать ему волю.

— Веревку я ему дам, чтоб он удавился! Каждый божий день только и знает, что денег просить. Не успеет поутру свои косые глаза продрать и уж заводит: «Булла, я хочу то купить да се купить», «Булла, мне охота туда сходить да сюда заглянуть». А дашь денег, так он пропадает, пока все не спустит.

— Вот и он, легок на помине! — воскликнул я, показывая на подъездную дорожку.

По ней шел Тоник в ухарски сдвинутой набекрень мягкой шляпе, в ярко-красной рубашке, в брюках из плотного шелка и двухцветных ботинках; в его походке было что-то крадущееся, как у жителя лесов, и нахально развинченное, как у портовых шалопаев.

Булла не спеша отстегнул свой широкий ремень и, как кошка, подкрался к входной двери. Едва Тоник переступил порог, как Булла схватил его за руку. Вся лихость мигом слетела с Тоника, он испугался и стал вырываться.

— Говорил я тебе, не смей шляться по ночам! — гремел Булла, ремень хлестал по спине и ногам юноши, но Тоник даже не вскрикнул. Его молчание еще больше разозлило Буллу.— Я тебе покажу, кто тут старший! Столько лет растил я тебя, а теперь ты, молокосос, путаешься с какими-то грязными бабами!

— Капитан! — завопил Тоник, и Булла, придя в себя, ошеломленно уставился на него.— Теперь, капитан, я больше не могу у тебя оставаться. Я встретил девушку, она любит меня, и я все время провожу с ней. Клянусь, не вру, убей меня бог, не вру!

— Ах вот как! Что ж ты не приведешь ее сюда? Коли она девушка хорошая, никто и слова не скажет.

Булла знал, что Тоник лжет, но сделал вид, будто верит ему. Четырнадцать лет учил он мальчишку слушаться и уважать старших, и вот теперь все его усилия пошли прахом, он не желал этому верить и хотел спасти положение, употребив единственное средство, которое знал,— силу. Он отшвырнул Тоника и подошел ко мне. Я никогда не видел Буллу таким растерянным. У меня даже защемило сердце, столько боли было в его глазах.

— Послушай, Булла,— сказал я,— беда твоя в том, что у тебя слишком доброе сердце. Раз мальчишка хочет — отпусти его, он потом пожалеет, но все равно отпусти.

— Обидел он меня, Акула, так уж обидел... Смотри, как за два месяца парень может перемениться. Господи, как вспомню, каким он был хорошим да спокойным в Перенонге и что с ним теперь сталось, просто не верится...

Тоник улизнул в кухню, Булла пошел за ним, и я услышал, как он сказал:

— В Перенонг можешь не возвращаться. Только, раз уж ты решил остаться в городе, надо тебе чему-нибудь обучиться, механиком стать или, скажем, плотником, потому как случись что с тобой — беда ли придет или черные дни настанут,— ни одна живая душа о тебе не позаботится.

Под вечер вернулась с колдуном Белл. Когда я сказал ей, что Тоник

ушел из дому, она забыла про призрак белого человека и принялась утешать Буллу.

— Мальчишка этот — настоящий змееныш, и хорошо, что он сейчас убрался, не то потом мы с ним беды не расхлебали бы. И бывают же такие коварные люди! Чего только ты для него, Булла, не делал! Лучше отца родного был...

Колдун уселся поудобнее и взял сигарету из пачки Буллы. Он поставил на подлокотник кресла маленький черный ящик и откинулся назад. И хотя черное плоское лицо его казалось спокойным, хитрые глазки проворно бегали по сторонам. Я не знал, был ли он хорошим колдуном, но держался он так непринужденно, что я готов был в него уверовать. Булла и Белл тоже глядели на него с уважением.

— Давайте начнем, мистер Мало, если вы готовы,— сказала Белл.

Колдун смял пальцами сигарету, поднялся и взял свой черный ящик. Зная, что мы следим за каждым его движением, он тем не менее оставался спокойным.

— Мне надо несколько раз обойти весь дом, чтобы почувствовать место,— сказал Мало, и, когда я предложил проводить его, он ответил, что должен сделать это в полном одиночестве.

Он открыл черный ящик и вытащил оттуда матерчатый мешок; когда он его встряхнул, нам показалось, что там загремели кости. Обходя комнату за комнатой, колдун в каждом углу гремел костями. Проделывал он это с серьезностью священника, который кропит паству святой водой, и, когда он проследовал через коридор в кухню, мы остались стоять на месте, завороженные его черной магией. Что-то магическое было в самом этом человеке, в его плавных движениях, в том, как его черное лицо словно бы растворялось в темных углах комнаты, оставляя только две светящиеся точки — глаза. Мы слышали, как он прокрался кошачьим шагом по комнате над нами и тотчас же, вернувшись в гостиную, стал осторожно запирать свой черный ящик. Он ничего не сказал, но нам было ясно, что он изловил дух белого человека. Мне даже показалось, что я слышу в ящике какое-то трепыханье.

— Дело сделано,— сказал Мало, и волшебство сразу рассеялось: он намекал, что ему пора идти и он ждет, чтобы с ним расплатились.

— Так сколько, по-вашему, я вам должна? — спросила Белл.

— Мы договорились за пять долларов, но работы оказалось больше, чем я думал, изловить дух белого труднее, чем дух черного, поэтому с вас причитается восемь.

Я видел, как Мало пожирал глазами обстановку, ковры, натертый пол, и решил про себя: пусть он великий колдун, но прежде всего он хороший делец.

— Я дам вам семь долларов, ни цента больше,— сказала Белл с такой злостью, что я понял: она уже больше не верит этому Мало и сердится, что ее надули, сердится больше на себя, чем на него.

Колдун быстро сообразил, что настроение изменилось, взял семь долларов и ушел.

— Ну и ловкач же этот негр,— сказал Булла и захохотал так громко, что Мало, верно, услышал его, да только смех этот был невеселый.— Ловкач, сукин сын!

Но о визите Мало нам жалеть не пришлось: Белл сказала, что в доме теперь стало как-то легче, и вскоре мы почувствовали, что гнетущая атмосфера, наполнявшая комнаты, как будто исчезла. Наши немногочисленные гости тоже обратили на это внимание.

■

Булла расхаживал по натертому полу, обходя островки ковров, Белл хлопотала и гремела посудой в чистой, свежевыкрашенной кухне.

где на белых деревянных полках стояли новехонькие горшки и кастрюли. Даже дым от большой железной плиты шел чистый, голубой и пах свежестью. Морской бриз вздымал его над карликовым манговым деревцем и хлебным деревом, широко раскинувшим свои большие темно-зеленые листья. Я сидел в гостиной, и через окно мне было видно, как улетает дым к высокому забору, тянувшемуся за теннисной площадкой. Площадка сильно заросла — с тех пор, как уехал белый, никто за нею не ухаживал. Я откинулся в кресле и слушал, как грохочут на улице повозки, как зовет свою подружку спрятавшийся в ветвях фламбояна кискади. Мне вспомнилось, как мальчишкой я убил из рогатки такую птицу и поднял еще теплый комочек коричневых и желтых перьев, не чувствуя ни малейшего сострадания к подружке убитого самца, жалобно кричавшей средь листвы у меня над головой. Я ушел с мертвой птицей, а вторая все летела за мной, и тогда я убил ее тоже и принес обеих тетушке Мур, но она отказалась их варить, сказав, что в голове у этих птиц водятся черви.

— Я вот думаю, надо бы мне съездить в Махайку навестить стариков,— сказал я.

— Надо, Акула, надо,— отозвался Булла.— Много добра они тебе сделали.

— А еще лучше послать за ними, пусть приедут, поживут у меня месяц-другой.

— Думаешь, им это будет по душе?

— А ты думаешь — нет? — Я смотрел, как Булла, не останавливаясь, ходит из угла в угол.

— Если старикам хорошо в деревне, зачем срывать их с места и тащить сюда — в шумный город, в этот дом? Ты их только растревожишь, и больше ничего. Посмотри на меня. Я давно знаю этот город и все равно, как попадаю в него, мучаюсь, словно тигр на горячем песке, и каждую ночь слышу шум реки, а проснусь поутру — ничего нет: ни аромата росы, ни крика обезьян...

— Да мы же, Булла, еще только устраиваемся. Вот подожди, заживем по-настоящему.

— Чудна́я какая-то стоит погода, то светит солнце, а то вдруг сразу дождь польет,— сказал Булла, и я понял: он переменил разговор, жалея, что рассказал мне о своей тоске по Перенонгу.

Дождь забарабанил по цинковой крыше, и я подошел к окну посмотреть, как падают капли на розы, на канны, на цветы фламбояна.

Булла ушел в кухню, и до меня донеслись голоса и смех его и Белл...

— Пойдем, королева, составишь мне компанию,— говорил Булла.— Не годится двум мужчинам сидеть день-деньской нос к носу да смотреть друг на друга.

— Ох, уходи-ка ты лучше, Булла Дэниелс, со своими сладкими разговорами. Страшно подумать, что грозит девушкам, когда ты в городе.

— Девушки, королева, не для меня. Я еще покуда могу уплатить свой доллар в заведении Эльзы, лучшего мне и не надо. В этом Джорджтауне и не такие, как я, ломали себе шею, обжегшись на хорошеньких девушках. Я люблю товар настоящий, плачу за него, получаю удовольствие — и дело с концом, до другого раза.

— Послушать тебя, так ты будто овощи покупаешь на базаре.

— Так оно и есть, королева, бабы да еда — разницы никакой.

— Белл,— сказал я, входя в кухню.— Белл, я найму кухарку и горничную, не годится тебе все время париться у плиты.

— Кухарку и горничную! Что же, скажи на милость, я-то буду делать?

— А мы с тобой станем путешествовать. Нечего нам сидеть, запершись в четырех стенах, мы, слава богу, не нищие.

— Все это, Акула, хорошо, да только не хочу я сидеть сложа руки, будто какая белая. Попотеешь — не умрешь, только бы пот не скапливался внутри. Не понимаешь? Ты мне муж, и я хочу, чтобы ты был счастлив в нашем доме. Последнее время ты все что-то придумываешь: и машину-то хочешь купить, и нарядов-то всяких, и ездить-то по разным местам. И что только с тобой творится! Я родилась и выросла негритянкой, и не к чему мне забывать, откуда я родом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Панчо был первым, кто по-настоящему посвятил меня в жизнь города. Я встретил его в тот день, когда отправился покупать машину. Он стоял около большого гаража и болтал с кучкой бездельников. Гараж находился неподалеку от Тайгер-бея, одного из районов Джорджтауна, где обитали старатели, сводники, проститутки и матросы. Завидев меня, Панчо оставил своих друзей и направился ко мне.

— Давненько хотелось мне встретиться с тобой, Океанская Акула,— сказал он так просто, по-приятельски, что мне показалось, будто мы с ним уже встречались.

— Лицо твое мне знакомо, только я тебя что-то не припоминаю,— ответил я.

Панчо, жевавший черный корень шалфея, выплюнул свою жвачку и басовито расхохотался. Он был почти на голову ниже меня, но хорошо сложен и ходил скользящей походкой, как житель лесов.

— Меня зовут Панчо,— сказал он, протянув крепкую руку, и я заметил, что ладонь у него розовая, а пальцы — короткие и тупые. Казалось, Панчо, выныривая из котла, в котором смешались разные расы, ошпарил себе лицо, и теперь, глядя на его кирпично-красную кожу, невозможно было определить, какая в нем намешана кровь. Каштановые волосы его курчавились, как овечья шерсть, раскосые глаза все время щурились, словно его слепило солнце. Я пожал ему руку и решил, что он вернется к своим приятелям, но он и не думал отходить от меня.

— Ты похож на жителя лесов,— сказал я, чувствуя, что, начав разговор, скорее узнаю, чего он от меня хочет.

— Я, капитан, родился в лесу, а вырос вон там,— он махнул в сторону Тайгер-бея.

— Я хочу купить себе машину и вот пришел сюда.

— Знаю, капитан. Потому я и окликнул тебя, ведь о машинах я знаю больше, чем индиец о своем радже. Я уже поработал в шоферах у двух белых и одного мулата, а как прослышал, что ты в городе, сразу сказал себе: «Океанская Акула обязательно купит машину, и ты, Панчо, будешь его возить». Вот я, капитан, и поджидаю тебя уже второй месяц.

— Да я и не знаю еще, куплю ли. Просто пришел посмотреть.

— Ты, капитан, должен иметь машину, негры ждут, что ты развернешься вовсю, а если ты будешь ходить пешком, так они тебя засмеют и станут говорить, что ты жадина.

— Пускай говорят, что хотят. Они мне, что ли, помогали добывать алмазы?

Я купил машину, и Панчо нанялся ко мне шофером. Он был из тех, кто постоянно подстрекает вас на что-нибудь, да так ловко, что вы воображаете, будто именно вам пришла в голову эта мысль. Я привел Панчо в дом, и Булла с Белл внимательно оглядели его. На их недовер-

чивые взгляды Панчо ответил смехом. Для них он был как бы частью машины. Булла и Белл ворчали, говорили, что я сорю деньгами и веду себя как белый, но новая сверкающая громадина вызывала у них невольное чувство гордости. Раза два я заставал их за странным занятием: уставившись на радиатор, они жадно рассматривали свои искаженные отражения. И мне вспомнилось, как деревенские ребятишки обступали машину доктора Рама. Панчо хорошо водил машину, по-видимому, разбирался в ее устройстве и этим завоевал уважение Буллы и моей Белл. Если бы не этот форд с большими металлическими фарами и блестящим радиатором, Панчо не удалось бы так легко стать своим человеком у нас в доме. С утра до вечера он протирал машину, включал мотор и с серьезным видом знатока прислушивался к его гудению, либо выезжал за ворота и въезжал обратно. Притомившись, он надвигал на глаза свою новенькую шоферскую кепку и, развалясь на кожаном сиденье, засыпал. По договору Панчо должен был ухаживать за садом и лужайками, но прошло несколько недель, и Белл наняла садовника-индейца: ведь нельзя же, чтобы в глазах соседей Панчо унижал себя такой работой! После обеда Панчо катал нас вдоль старинной, построенной голландцами дамбы, тянувшейся далеко за городом. Тут можно было сигналить вовсю и с шиком обгонять пешеходов. Панчо раструбил по всему городу, что у нас самая большая, самая шикарная машина на всем шоссе, и, когда мы победоносно проносились мимо, пешеходы иной раз дружелюбно улыбались нам и приветствовали веселыми криками. В моих глазах машина олицетворяла все внезапно свалившееся на меня богатство. Вскоре я уже сам сидел за рулем, а Панчо, жарко дыша мне в ухо, выкрикивал, что́ надо делать. Новая эта игрушка совершенно захватила меня, по ночам мне снилось, будто на меня летит бесконечная кирпично-красная дорога, деревья, люди, животные проносятся мимо, и я мчусь через бескрайнюю саванну. А иногда во сне машина перелетала через дамбу и срезала прибрежные камыши, а в небо взмывали стаи птиц, они пищали, галдели, пронзительно кричали.

Теперь я все реже и реже проводил время с Белл и Буллой — мы с Панчо разъезжали по всему городу, заходили в бары и рестораны просто для того, чтоб люди видели, как мы вылезаем из машины и садимся в нее. Булла и Белл ничего мне не говорили, но я знал: по их мнению, я вел себя как дурак. Как-то раз Белл намекнула, что ей надоело напоминать мне о моем намерении послать за братом Кристофером и тетушкой Мур. Я успокоил ее, говоря, что пошлю за стариками на будущей неделе, но мне было не до того — слишком весело проводил я время, разъезжая по злачным местам, в костюмах, сшитых лучшими портными, и швыряя деньгами направо и налево, словно они жгли мне руки. Вскоре я понял, что для жителей Джорджтауна цвет кожи — не главное, был бы человек богат. Если ты соришь деньгами, будь ты хоть чернее сажи, с тобою обращаются, как с белым. Стоило мне вытащить пачку банкнот, как глаза у окружающих загорались и скалились в улыбке зубы — этих белых зубов было больше, чем гальки на морском берегу. Я поместил свои деньги в Королевский банк, и однажды, когда я пришел разменять чек, ко мне вышел сам управляющий банком, белый. Он пожал мне руку и, называя меня мистером Смартом, рассыпался в любезностях, что преисполнило меня гордостью, и я еще долго потом этим хвастался.

Однажды после обеда я поехал прокатиться, Панчо сидел рядом, надвинув на глаза кепку. Ему все еще было худо после рома и виски, выпитых накануне, и от морского бриза становилось все хуже. Я ехал по Влиссинген-роуд, обгоняя машины, повозки, пешеходов. Люди тащились, словно ноги их были налиты свинцом: за день палящее солнце

выпило из них все силы, и теперь, когда посвежело и тени стали длинными-предлинными, они возвращались домой, в свои хижины и лачуги, чтобы подремать над дымком от тлеющих углей под неумолчный звон москитов. Возле дамбы слышался грохот прибоя, город остался далеко позади. Я поставил машину под фламбояном. Трава подступала к самой дороге, и дамба извивалась вдоль нее, словно гигантская каменная змея. Подальше буйно разрослись мангровые и корридовые деревья, мне было слышно, как море плескалось между корнями. По другую сторону дороги тянулась саванна, там и сям виднелись хижины, похожие на насыпные холмики, в которых выжигают древесный уголь. Город и деревня жили бок о бок, и все же это были разные миры. От Махайки до Джорджтауна было всего двадцать миль, но в детстве для меня, мальчишки, это было все равно что две тысячи.

— Хочешь пройтись, Панчо? — спросил я.

— Нет, капитан. Спасибо. Я останусь в машине. После вчерашней выпивки голова, как пивной котел.

Я пошел вдоль дамбы, мимо крепко обнявшихся парочек, глядевших в сторону моря. В Джорджтауне люди всегда смотрят в сторону моря, обратившись спиной к континенту, покрытому лесами и болотами. Я видел, как кроншнепы, альбатросы и морские гуси низко летят над желтой пеной, которую швырял на илистый берег прибой. Солнце клонилось к закату, и альбатросы подняли тревожный пронзительный крик, им вторили морские гуси. В сторонке, сгорбившись, сидел какой-то негр и смотрел вдаль. Когда я подошел ближе, он обернулся и заговорил со мной.

— Уже сами водите.— Он кивнул в сторону моей машины. Голос его звучал сухо, буднично, слова будто ножом сострогивали с языка незнакомца.— Раза два я видел вас в баре Напие, а де Фрейтас сказал мне, что продал вам дом.

Была в этом человеке какая-то скованность, словно внутрь ему попал клейкий ком, который он никак не мог выплюнуть. Его манера слегка наклонять голову и пришлепывать во время разговора толстыми губами кого-то мне напоминала, но я не мог вспомнить, кого именно.

— Я пройдусь с вами, если вы не возражаете. Меня зовут Кендал, Джордж Кендал.

— Ничего не имею против,— отвечал я.

Собеседник мой был крепкого сложения. Я всегда замечаю, как человек встает на ноги, и по этому сужу, кто передо мной — горожанин, деревенский или житель лесов. Кендал поднялся, как крестьянин, привыкший подолгу сидеть на корточках, перепахивать топи и болота, носить на спине тяжести, но говорил он по-городскому. Сначала мы шли молча, потом я спросил:

— Вы, мистер Кендал, из этих краев?

— Зовите меня Джордж.

— Хорошо, Джордж.

— Я с островов,— сказал он.— Приехал сюда мальчишкой после смерти родителей и вырос у родственника.

— Хоть и неловко спрашивать, а все-таки — чем вы занимаетесь?

— Я юрист.

— Я мог бы догадаться, ведь вы сказали, что де Фрейтас вам друг.

— Как вам тут нравится, Арон?

— Раньше мне не приходилось жить в городе, и я пока что устраиваюсь.

— Кто-то, Арон, должен ввести вас в подобающее общество, в барах и кабачках вы только попусту тратите время.

— Говорят, в этом городе нет ходу неграм.

— Голодранцам, конечно, нет,— отвечал он.— Но посмотрите хоть

на меня, сумел же я выйти в люди. Пять лет назад приехал из Англии, а теперь у меня солидная практика, и я член муниципалитета.

— Вы великий делец,— заметил я; в ответ он как-то натянуто рассмеялся и сказал:

— Держитесь меня, Арон, и я покажу вам, что может сделать негр с такими деньгами, какие, говорят, есть у вас. Чем вы заняты сегодня вечером?

Я вспомнил, что обещал свозить Белл и Буллу к Эльзе, и не сразу ответил.

— А что?

— У меня сегодня соберется несколько человек — мои друзья. Отчего бы и вам не прийти?

Я хотел сказать, что охотно пришел бы к нему со своей подругой и лучшим другом, но я знал, что он не может принять их в своем доме. Ему, конечно, было известно, что они живут со мной: в Джорджтауне каждый знал всю подноготную других.

— Когда мне прийти?

— Приходите к половине девятого. Я живу в Брикдэме, мой дом рядом со зданием суда, спросите любого, и вам покажут.

— А в чем прикажете явиться?

— Обыкновенный пиджачный костюм.— Он оглядел меня с головы до ног.— Двухцветных ботинок надевать не надо.

Я понял, что предаю Белл и Буллу, и вдруг разозлился на самого себя.

— Черт побери, кого это может интересовать, какие на мне ботинки?

— Вообще-то, Арон, вы достаточно богаты, чтобы носить что вам угодно, но вы спросили моего совета, и я вам его дал.

Солнце быстро спряталось за горизонт — словно нырнул в реку красноголовый дятел. Возвращаясь к машине, я все раздумывал: зачем я понадобился этому Кендалу? Он не походил на тех, кто заводит друзей просто так, дружбы ради. В глубине души я догадывался, что он подбирается к моим деньгам, но мне казалось, что им конца не будет, и решил рискнуть.

— Разрешите подвезти вас? — спросил я.

— Спасибо, моя машина стоит чуть подальше вашей.

— Ты его знаешь? — спросил я Панчо, когда мы двинулись в путь.

— Кто не знает, капитан, адвоката Кендала. Он ездил в Англию учиться, а как воротился, такое запел, что только держись. Все-то он хотел переделать: и белых-то на место поставить, и беднякам-то помочь, так что в конце концов слава о нем пошла по всему городу и он начал загребать деньги лопатами. И чем больше загребал, тем мягче становились его речи... А нынче он уж как все — обделывает свои делишки, да пьет, да детей на стороне плодит.

— Тебе он, Панчо, не по душе?

— Господи, да кто я такой, капитан, чтобы судить богачей. Я человек маленький.

— Вечером свезешь меня к нему.

— Всех, капитан?

— Нет, меня одного.

Панчо умолк, словно и на его совесть легло бремя моего предательства.

— Ты, Панчо, может, считаешь меня дураком, но у меня в душе тоже свой задор есть. Сколько работал, сколько горя хлебнул — и все один, никто мне не помогал.

— Да я, капитан, ничего не говорю.

— Нет, ты скажи, что ты обо мне думаешь! Скажи, что я предал тех, кто мне дороже всех на свете. Ну, говори же, говори!

— Как постелешь, так и поспишь! Не мне в этом разбираться.

Мы пересекали островки мрака, перемежавшиеся пятнами света от уличных фонарей. На тротуарах мужчины играли в кости и громко спорили; уличные проповедники занимали свои места у фонарных столбов; после целого дня работы в городе тащились к себе в деревню мулы и ослики, а в тележках, сгорбившись, дремали возницы; лаяли собаки; в Куинстауне сверкали огнями особняки, медленно проезжая мимо них, мы слышали звон стаканов, смех и приглушенные голоса.

Когда мы вернулись домой, Белл и Булла уже сидели за столом и ужинали.

— А я не стала тебя ждать,— сказала Белл.— Ты ведь теперь все делаешь не вовремя. Приходишь и уходишь неизвестно когда и куда.

— Мы катались вдоль дамбы, потом я немного прошелся пешком и встретил некоего Кендала. Мы с ним разговорились, и я оглянуться не успел, как солнце село и зажглись звезды.

— Ты говоришь об адвокате Кендале? — спросил Булла.

— Да. Ты его знаешь?

— Слыхал я про него. Я обо всех узнаю у Эльзы. В таком месте больше новостей узнаешь, чем в любой газете. Говорят, он ловкач и пройдоха. Откуда он взялся, никто не знает, но ему было бы нипочем и мать родную пустить по миру.

— Никогда-то негр доброго слова про своего брата негра не скажет, только и знают, что поливать друг друга грязью.

— Кто кого поливает грязью, не знаю, а вот многое из того, что слышишь у Эльзы,— сущая правда, это уж как бог свят,— сказала Белл.— А про этого Кендала я слыхала такое, что не доверилась бы ему ни за что на свете.

— Ты пойдешь с нами к Эльзе? — спросил Булла.

— Я отвезу вас, но остаться у нее не смогу.

— Да что это с тобой, Акула? Отчего ты стал нам совсем как чужой? — спросила Белл. Под ее взглядом я опустил глаза в тарелку, кусок застрял у меня в горле.— Как приехали мы в город, так я тебе, кроме как в постели, и не нужна стала. И говоришь ты теперь иначе, и ведешь себя не как прежде: вырядишься в пух и прах и закатишься невесть куда, а со мной и с Буллой обращаешься как с чужими.

Солонина с рисом, которую я жевал, вдруг заскрипела у меня на зубах, точно зола, я бросился к кухонному окну и все выплюнул. Панчо уже кончил мыть машину и поднимался по ступенькам.

— Что случилось, капитан?

Не ответив ему, я бросился на второй этаж. Белл поднялась за мной следом — я лежал ничком на кровати.

— Не сердись, Акула, что я так с тобой при людях, да только нет у меня возможности поговорить с тобой с глазу на глаз. В этом городе белых ты губишь себя, Акула, а когда мы с тобой как чужие, я не могу тебе помочь.

— Прости меня, Белл, прости мне все. Завтра же пошлю Панчо за тетушкой Мур и братом Кристофером, а на той неделе поеду и разыщу доктора Рама: может, он захочет открыть вместе со мной аптеку.

— Отчего ты не хочешь съездить за стариками сам?

— Не хочется мне, Белл. Не знаю почему, только не могу я ехать сейчас в Махайку, уж очень далеко отошел я от них.

— Ну что ж, пошли за ними Панчо.

Эту ночь я провел с Белл. Я старался слиться с ней, удержать ее

трепет, ее любовь — так цепляется за скалу тот, кого несет течением к водопаду.

Утром меня разбудил крик разносчицы фруктов, звонкий, веселый. Я встал и выглянул в окно — внизу стояла негритянка с корзиной на голове и распевала:

— Купите манго, и персиковых орехов, и сапотов, и...

Я спустился вниз. Булла ходил в гостиной из угла в угол, глаза у него припухли, как после бессонной ночи.

— Я рад, что вы с королевой решили все начать сначала,— сказал он, с трудом выговаривая слова, так он был взволнован.

Я спустился вниз, но образ Белл, нагой и черной, продолжал стоять перед глазами: пятно полуночного мрака на белых простынях; я недоумевал — откуда эта четкость воспоминания? Казалось, страсть моя к Белл сгорела дотла, и я пресытился ее телом. Булла остановился и посмотрел на меня долгим взглядом — от блеска его глаз мне стало не по себе. Чем он огорчен, спросил я себя, и тут меня осенило: он любит Белл, давно любит. Когда вдруг заметишь что-то, годами лежавшее у тебя под самым носом, начинаешь припоминать и понимать многое из того, что случалось прежде. Наверно, я считал всех нас людьми слишком близкими друг другу, а потому у меня не возникало даже подозрения, что Булла, ставший для меня отцом, мог полюбить мою возлюбленную. Я знал — стоит мне заговорить, и он узнает, что я обо всем догадался, поэтому я очень обрадовался, когда в комнату вошел Панчо и сказал:

— Хозяин, адвокат Кендал прислал мальчишку сказать, что ему надо срочно повидаться с вами сегодня утром, до полудня он будет у себя в конторе.

— Где, Панчо, этот мальчишка?

— Во дворе, около машины.

— Я сейчас к нему выйду.

В спешке я чуть не уронил большую фарфоровую вазу, которую Белл поставила в углу гостиной; ваза была темно-синяя, больше метра высотой, и я никак не мог понять, для чего Белл ее купила, но последнее время она пристрастилась покупать всевозможные безделушки, наверно, чтобы в комнатах не было так пусто. Я послал Кендалу записку, в которой сообщал, что приду к нему сразу после завтрака.

К вечеру Панчо привез брата Кристофера и тетушку Мур. Оба были до того старенькие и дряхлые, что душа болела, на них глядя. Старые глаза их испытующе впились в меня. Большой дом нисколько их не заинтересовал, они смотрели на одного меня, и с первых же минут нашей встречи я понял, что не стал таким, каким они надеялись меня увидеть, и, конечно, пожалел, что послал за ними. Они очень быстро сошлись с Буллой, Белл и Панчо, я же оставался для них чужим. Говорили они со мной, как с мальчишкой, которого знавали в Махайке, а не как со взрослым человеком, потерявшим себя в большом, далеком от их деревни мире. А ведь я и послал-то за ними в надежде, что они одобрят мою теперешнюю жизнь. Мне хотелось, чтобы старики благословили все то, чего я достиг, но они не дали мне благословения. Брат Кристофер сильно похудел, поседел и весь скрючился, как лиана. На тетушке Мур бег времени отразился меньше. Лицо ее, все в морщинах, напоминало контурную карту предгорий Мазаруни, во рту осталось несколько передних зубов, но спина по-прежнему была прямой, походка уверенной и старые глаза, как и раньше, хитро поблескивали в сетке морщин.

— Тебе, Арон, небось и невдомек, как часто просила я господа бога продлить мои дни, чтоб еще хоть раз взглянуть на тебя,— говорила она.

— Мы, сынок, так часто тебя вспоминали, что уши у тебя, верно, все время горели,— перебивал ее брат Кристофер.

Мы говорили о минувшем, а Белл, Булла и Панчо слушали. Тетушка Мур вспоминала, что я когда-то сделал или сказал,— ничего этого я уже не помнил, а брат Кристофер говорил про бабушку и дедушку. Говорил он не торопясь, взвешивая каждое слово, и в его рассказе мои старики оживали. Он хотел показать мне, какими настоящими людьми они были. То, что я разбогател, не имело бы для них никакого значения. Они ценили человека только за его труд, а выкапывать из земли золото да алмазы — занятие для лентяев. Если б я служил за определенную плату у какого-нибудь белого или мулата, либо сам завел какое-нибудь скромное дело, тогда бы старики мои порадовались.

— Хорошие люди, богобоязненные люди были твоя бабушка и твой дедушка,— говорил брат Кристофер, откинувшись в кресле и громко посасывая свою глиняную трубку.— Дедушка выращивал самые большие ямсы, во всей Махайке ни у кого таких не было. Сердце радовалось, когда он грузил свой урожай на тележку, чтоб везти на базар к реке. Иные ямсы бывали побольше бычьей головы. К старости он стал плохо видеть, а прежде, бывало, слава о нем шла по всему побережью—он мог с одного выстрела сбить колибри с верхушки кокосовой пальмы.

Тетушка Мур перебила брата Кристофера. Слышала она неважно и, уловив несколько слов, подумала, что он говорит про Гонзалеса, сына лавочника.

— Этот парень в Англию ездил, а все ж таки воротился и взял жену из своей деревни.

— Вы так ничего и не слыхали о моей матери? — спросил я брата Кристофера.

Он вынул изо рта трубку и кивнул.

— Она повредилась рассудком. Твой отец Джо Смарт, царство ему небесное, был человек веселый, шумный, но плохой семьянин, мама же твоя была, как нежная орхидея, и не нашлось ствола, вокруг которого она смогла бы обвиться.

Переезд утомил стариков, и разговор мало-помалу замер. Брат Кристофер посасывал свою трубку, тетушка Мур дремала. За окном гудела пчела, соседский пес лаял на прохожих. И в первый раз, с тех пор как мы поселились в этом большом особняке, я почувствовал, что это мой дом. Громкий стук в дверь разбудил тетушку Мур, и Панчо пошел узнать, кто пришел. Он быстро вернулся и прошептал мне на ухо:

— Это адвокат Кендал. Он хочет поговорить с тобой.

Кендал ждал на ступенях лестницы.

— Я спешу и входить не буду, старина. Но я специально зашел напомнить, что сегодня у меня ужин в вашу честь, и вы непременно должны на нем быть. Это будет, так сказать, ваш первый выход в свет.

— Хорошо. Я приду около половины девятого. И на сей раз вам незачем говорить мне, что следует надеть: сегодня я получил от портного новый костюм.

— Кто там у вас? — спросил он, понизив голос.

— Да так, старики из деревни приехали.

— Значит, увидимся вечером.

— В половине девятого.

— Кто это приходил? — спросила Белл, когда я, проводив Джорджа до ворот, вернулся в гостиную.

— Мой приятель, адвокат, я говорил тебе про него.

— Чего ж это он не вошел? Видно, мы для такой важной птицы не компания?

— Он торопился, Белл.

Белл надулась и выбежала из комнаты, а немного погодя я услышал, как она гремит кастрюлями в кухне.

— Мне что-то знаком его голос,— заметила тетушка Мур.— Говорил он тихо, да только я уже слышала его раньше.

— Тебе, тетушка, любой голос кажется знакомым,— сказал брат Кристофер.— То ты говоришь, что стала туга на ухо, то вдруг все голоса узнаешь. Таким старикам, как мы с тобой, слышатся отзвуки голосов прошлого, вот и вся разгадка.

Я предложил тетушке Мур поселиться в комнате, где спали мы с Белл, но она сказала, что эта комната слишком велика для нее, и мы поместили ее в маленькой спальне над кухней. Уходя, я слышал, как она бормотала:

— Надо поскорее возвращаться домой. Куда уж мне на старости лет к новым местам привыкать.

Я зашел к брату Кристоферу посмотреть, удобно ли ему. Он аккуратно сложил свое платье на стуле возле кровати и теперь разглядывал себя в большом зеркале платяного шкафа.

— Нет, не богоугодное это дело, чтобы людям собственная старость вот так в лицо смотрела! — воскликнул брат Кристофер, а я едва сдержал смех: в красной ночной рубахе и нелепом фланелевом колпаке он был точь-в-точь простофиля из детской сказки. Черное сморщенное лицо его выражало крайнее изумление.

— Этот дом, до того как я купил его, принадлежал белому,— сказал я.

Брат Кристофер пробормотал что-то о причудах белых и присел на краешек кровати.

— Я, мальчик, сильно огорчился, когда услыхал, что ты ушел от доктора и даже на аптекаря не доучился. Доктор потом приезжал к нам, он на тебя обижен — говорит, не за то, что ты ушел, а за то, как ты ушел.

— Уж очень я чувствовал себя связанным. Не мог я оставаться у доктора, брат Кристофер. Знал, что и вы огорчитесь и тетушка Мур, а все равно должен был уйти.

— Ты не торопишься? — спросил брат Кристофер и стал ощупывать сложенное платье, отыскивая свою глиняную трубку.

— У меня еще целый час времени, а потом я уйду.

— Хорошо, тогда присядь. Я расскажу тебе притчу, а когда кончу, не расспрашивай меня ни о чем, потому что смысл этой притчи ты должен постигнуть сам.— Он раскурил трубку.— Присядь тут.— Я повиновался.— Ты больше не читаешь книг? — спросил он.

— С тех пор как я ушел от доктора, у меня не было времени читать.

— Убери-ка этот свет, моим старым глазам больно.

Я снял с крючка керосиновую лампу и повесил ее за дверью на лестнице. Когда я вернулся в комнату, брат Кристофер, поджав под себя ноги, сидел на кровати.

— Я знаю, тебе не терпится поскорее уйти, но выслушай внимательно эту притчу.— Голос его, как прежде, звучал властно, и я опять был маленьким мальчиком, а он — моим учителем.

— Я слышал ее от твоего дедушки, когда сам был мальчонкой. Эта притча из далекой Африки, она живет среди негров, бережно хранимая, словно неугасимый огонь, и передается из поколения в поколение. Вот слушай. В давно прошедшие времена жили на свете странные люди. Им нипочем было привязать себе камень к ногам и ждать, пока господь освободит их от него. Жили они у подножия горы, похожей на женскую грудь, вершина ее — сосок — всегда скрывалась в облаках. Избранный народ этот долго жил под сенью горы, но пришло ему время выбрать вождя. Собрались они вместе и порешили: пусть самые сильные из племени поднимутся на гору, а тот, кто взберется выше всех, пусть принесет что-нибудь в доказательство того, что узрел чудеса, которые вершатся

на горе,— тогда он станет вождем. Самые сильные двинулись в путь, вскоре те, что были послабее телом и духом, остались далеко позади, остальные подымались все выше и выше, покуда один юноша не забрался выше всех. Он спустился с горы, держа что-то в руке, а когда пришел на деревенскую площадь, столпившийся народ увидел, что он принес цветок невиданной красоты и яркости, и глаза каждого, взглянувшего на цветок, загорались восторгом. Юношу избрали вождем, и от того, что он даровал людям понимание красоты, по соизволению господнему, он долго правил ими, и люди эти научились создавать вещи, подобные чудесному цветку,— яркие и прекрасные. А когда вождь скончался, сильнейшие из племени снова двинулись в путь, и один из юношей взобрался выше, чем первый вождь, и, спустившись с горы, рассказал о чудесах, которые видел,— о блеске, славе и великолепии,— а когда разжал кулак, чтоб показать обступившим его людям, что он принес, на его ладони сверкал камень, невиданно прекрасный и сияющий. Люди передавали его из рук в руки, ощупывая его края, его гладкую поверхность. Юношу избрали вождем, а найденный им камень поведал людям секрет — как затачивать зубья плуга, и острие ножа, и другие орудия. Быстро летело время, покуда правил этот вождь, ибо каждый был занят работой, и земли, возделанные племенем, раскинулись далеко-далеко — до самого берега реки, которая неслась вниз с горы, упиравшейся в небо. А когда вождь скончался, в третий раз отправились самые сильные на гору, и был среди них ясноглазый юноша со взглядом пророка, и он забрался так высоко, что заблудился в тумане, окутывавшем сосок горы. Когда все остальные вернулись в деревню, люди стали спрашивать:

— Где же ясноглазый юноша со взглядом пророка?

Отвечали сильнейшие:

— Он исчез в тумане, и мы боимся за него, но ни у кого из нас недостало сил последовать за ним.

Люди ждали и ждали и каждый день посылали дозорного высматривать юношу, но он все не шел. Всходило солнце, всходила луна, и длинными делались тени, а юноша не возвращался, но надежда не умирала в сердцах соплеменников, они не падали духом и твердили одно:

— Он должен вернуться к нам.

И однажды, когда солнце жгло немилосердно и даже легчайший ветерок не пробегал по траве, женщина, полоскавшая в реке белье, увидела, что кто-то спускается с горы. Радостным своим криком она пробудила от полуденного сна всю деревню, и люди увидели сквозь горячее марево какую-то тень, а когда, приблизившись, тень превратилась в человека, кто-то крикнул:

— Он! Он вернулся!

Человек бегом спускался с горы, подняв над головою стиснутый кулак, но, достигнув деревни, он пробежал мимо ожидавшей его толпы, словно не видя ее, и промчался бы дальше, если б не споткнулся о колоду и не упал. Толпа обступила его, а он недвижимо лежал лицом вниз, сжимая кулак. Кто-то осмелел и разжал ему пальцы, чтобы узнать, что держит он в руке. И люди вокруг ахнули: рука была пуста, в ней не было никакого чуда. Люди засыпали юношу вопросами, но он не отвечал; едва дыша, он лежал там, где упал. Одна из женщин сбегала за маслом и смазала ему раны, тогда юноша открыл глаза и обратил свое лицо к людям.

— Что случилось с тобою, брат? — спросили они его, и он рассказал, что дошел до страны тумана и взобрался еще выше, на самую вершину горы, и тут господь внезапно послал на землю что-то мягкое и белое, наподобие дождя, но это не были дождевые капли, потому что падали они медленно-медленно, как листья в безветренный день. Белые хлопья порхали, кружились, некоторые опускались на голову, и на плечи, и на

ладони — он старался их поймать, и, когда ему это удавалось, они сначала были холодны, как вода горного родника, а потом жгли, как огонь. Он наловил их целую пригоршню и крепко зажал в кулаке. С этими невиданными блестками, сверкавшими на солнце, как драгоценные камни, он стал спускаться с горы, но чем ниже он спускался, тем меньше их оставалось у него в руке, на полпути они вовсе исчезли, и он принес с собою лишь воспоминание о них. Пророческий свет горел в его глазах, и он говорил людям, что держал в руке божий дар, но лучший божий дар никому видеть не дано... Народ поверил юноше и избрал его своим вождем...

— Никогда в жизни не слыхал такой притчи, брат Кристофер,— сказал я.

— Поразмысли над ней,— отвечал старик, он устроился поудобнее и приготовился спать.

— Спокойной ночи, брат Кристофер! Спите спокойно!

— Спокойной ночи, сынок!

Я пошел в свою комнату переодеваться, голова у меня шла кругом. мысли путались.

■

Я принял душ, надел новый костюм из светло-серого твида и спустился вниз. Белл и Булла все еще сидели за столом. Свет из гостиной, просачиваясь сквозь бамбуковые шторы, едва освещал их темные лица. Я не взглянул им в глаза, но почувствовал: Белл знает, что Булла любит ее. И я разозлился на Буллу, словно он меня предал. Я ревновал Белл, хотя любовь наша кончилась. Они оба молчали, потому что без слов понимали друг друга, и этого я не мог вынести.

— Я иду к Кендалу, он устраивает ужин в мою честь,— сказал я, надеясь, что это разозлит Белл и она мне ответит, но ни она, ни Булла не сказали ни слова, и я выбежал, хлопнув дверью.

Панчо поджидал меня за рулем, мотор был запущен.

— Что, капитан, сказала королева? — спросил он.

— Ничего не сказала.

— Плохо дело, хозяин, если женщина ничего не говорит.

— Знаю, друг.

— Раз уж не уйти от объяснений, накачайся-ка ты сегодня ромом. Повеселись всласть, забудь обо всех напастях, а утречком, как выйдешь на холодок, снова почувствуешь себя королем.

Около дома Кендала стояло много машин и колясок. Выйдя из машины на подъездную дорожку, я услышал, как какой-то кучер спросил Панчо:

— Это твой хозяин — Океанская Акула, король алмазов, да?

— Он самый. У него столько алмазов, что можно из них башню сложить. Ему плевое дело купить гостей адвоката со всеми потрохами.

Я постучал, дверь мне открыл Кендал.

— Входите,— пригласил он.— Мои гости горят нетерпением познакомиться с вами.

Я вошел и заметил, что мебель в доме массивная, громоздкая. Столы, стулья, шкафы и диваны напоминали обстановку, оставленную в моем доме белым. Мне невольно пришло в голову, что Джордж в своем собственном доме выглядит посторонним, когда же он представил меня своей жене, впечатление это усилилось. Миссис Кендал оказалась темнокожей толстухой, она без умолку болтала, каждым словом давая мне понять, что для меня великая честь быть гостем в ее доме.

— Рад познакомиться с вами, миссис Кендал,— сказал я, стиснув ее рыхлую руку, словно хотел испробовать ее силу.

Она поморщилась и выдернула руку, но продолжала болтать:

— Мы так много о вас слышали, мистер Смарт. Весь город только о вас и говорит, я немедленно заявила Джорджу: «Ты должен привести к нам этого мистера Смарта, мне безразлично, что подумают об этом другие». Не правда ли, Джордж? — спросила она, обернувшись к мужу с самодовольной улыбкой, которая ясно сказала мне: эта женщина обожает собственную персону.

— Я представлю Арона гостям, дорогая,— сказал Джордж.— Не забывай про свои больные вены.

Патефон играл «Марчиту», и несколько пар танцевали. Стол был сервирован à la fourchette *, и гости стояли маленькими группами, смеясь и болтая; было очевидно, что все тут давно знают друг друга и потому чувствуют себя непринужденно. Я пожимал руки направо и налево, из всей компании, кроме Джорджа, я знал одного де Фрейтаса. Он был здесь с женой — плоскогрудой, хрупкой и какой-то бескровной португалкой. Де Фрейтас хотел показать всем и каждому, что мы с ним — друзья, он носился со мной, как обезьяна со своим больным хвостом, и без умолку трещал: «Послушайте, Арон, да знаете ли, Арон...»

Наконец Джордж пришел мне на помощь.

— Вы играете в карты? — спросил он, отводя меня в сторону, но я с трудом расслышал его вопрос, так как прислушивался к кипевшему вокруг нас разговору — о выборах в муниципалитет, о скачках, о проведенном в Англии отпуске, о приемах у губернатора. После бесхитростных откровенных разговоров старателей, после чистосердечного смеха Буллы и Белл и их звонких простых речей эта светская болтовня меня ошеломила.

— Я бы с удовольствием выпил чего-нибудь,— сказал я, и Джордж провел меня к буфету.

— Ты, Арон, ни словом ни с кем не перемолвился,— заметил он.

— Не представилось случая. Мне бы многое хотелось сказать, да слушая других, я вижу, что речи мои будут совсем некстати.

— Да ты им расскажи о себе. Это же сборище интеллектуальных кастратов, непосредственность — вот единственное, что еще может оживить их.

— Это ты такой речистый, Джордж. Где мне за тобой угнаться. У тебя язык здорово подвешен.

Я смотрел, как он выпил залпом полстакана виски. Он пил весь вечер, и глаза его покраснели и увлажнились. Несколько пар кружились в танце, мы подошли поближе и стали глядеть на танцующих.

— Лучше ты расскажи мне о себе, Джордж,— попросил я.— Каждый раз я слышу про тебя самое разное.

— Я просто-напросто человек дела и всегда был таким, знал, чего хочу, и своего добился.

— Странно, но мне все время кажется, что мы встречались раньше...

Однако он перебил меня:

— Я хочу познакомить тебя вон с той девушкой. Такая, как она, могла бы стать украшением твоего большого дома. Не беда, если в голове у нее пусто.

Он подвел меня к девушке. Ее звали Берил Томпсон. Глаза у нее были живые, ясные, кожа темно-золотистая.

— Берил будет интересно послушать о твоей жизни в джунглях,— сказал Кендал, и молодые люди, окружавшие девушку, отошли в сторону.— Присмотрите за ним, он у нас робкий.

---

* Для еды стоя.

— Я тоже робкая,— сказала она и отвела взгляд так быстро, словно птица промелькнула в солнечном луче.

От волнения я говорил без умолку. А когда рассказал, как кто-то из старателей, впервые услышав крики красных ревунов, свалился от страха с дерева, она рассмеялась, показав белые зубы, и глаза у нее шаловливо забегали.

— Однако вы сами ничего мне о себе не рассказали,— заметил я.

— Мне и нечего рассказывать, право, нечего, со мной еще никогда ничего не случалось.

— Мне бы хотелось встретиться с вами завтра,— сказал я.

— Хорошо.— Она согласилась так быстро, что я удивился и почувствовал себя польщенным, но, взглянув на нее, понял, что в своем девическом неведении Берил даже не понимает, как она хороша и как я жажду обладать ею.

— Встретимся в половине шестого,— предложил я.

К нам направлялся Джордж, и Берил сказала:

— Я живу на Релей-стрит, дом пять.

Гости уже начали расходиться, когда к ней подошел угрюмый молодой человек.

— Берил, ваша мать рассердится на меня, если я не отвезу вас вовремя домой.

— Мне пора, мистер Смарт. С вашей стороны, мистер Кендал, было очень любезно пригласить меня.— Она говорила, как школьница, отвечающая заученный урок.

Я пожал безвольную руку Берил и посмотрел ей вслед.

— Сколько ей лет, Джордж?

— Двадцать. Самая пора. Она расскажет о тебе своей матери, и старая сука так тебя опутает, что ты никакими силами не разделаешься с девчонкой. Мать у нее негритянка, но вышла замуж за англичанина, у которого сначала жила в прислугах. Он оставил ей небольшой капиталец, но она все равно продаст девочку тому, кто даст больше.

— Послушать тебя, так все очень просто.

— С деньгами все просто.

— Ну, мне пора, Джордж.

— Погоди, дружище. С приятелями моими сейчас не поговоришь — нализались до потери сознания. Ты заметил, как они на тебя глядят? Все они до единого тебя ненавидят, так же как белые ненавидят их. Им твои деньги покоя не дают. Но пока монета у тебя есть, они будут ползать перед тобой на брюхе, а когда денежки твои уплывут, перестанут с тобой здороваться. Послушай, Арон, моего совета: пока дела идут хорошо, заставь их целовать себе задницу, попользуйся всласть их бабами, ты можешь купить любую из них, а когда настанет час расплаты, ты еще посмеешься...

— Господи, Джордж, как же ты их ненавидишь!

Я поболтал с ним еще немного, допил свое вино и стал прощаться.

— Приходи завтра вечером, сыграем в бридж или в покер. Ты ведь говорил, что играешь в карты?

— В джунглях иной раз случалось.

Миссис Кендал, когда я подошел к ней прощаться, отвела меня в сторонку.

— Вы нравитесь Джорджу,— сказала она, — и я надеюсь, господь наставит вас, и вы благотворно повлияете на мужа.— Поискав глазами Джорджа, она обнаружила его около буфета.— Сегодня в него опять вселился бес. О чем вы говорили?

— Да, собственно, ни о чем, просто болтали.

— Когда на него такое находит, он силится осрамить меня перед людьми, даже нехорошими словами обзывает. Господи, это сущий крест,

у самого Иисуса он не был тяжелее! — Она все еще не отпускала мою руку, словно хотела этим прикосновением вызвать во мне сочувствие.— Вы ведь поможете, вы постараетесь спасти брата во Христе, поможете?

Я пробормотал что-то в ответ и высвободил руку. Панчо расхаживал по дорожке перед домом.

— По-моему, на домашнем фронте у нас, капитан, не все благополучно.

— Что ты хочешь сказать?

— Да я, хозяин, часа два назад проезжал мимо нашего дома, похоже, Булла и Белл собрались уезжать.

— Ты не врешь?

— Провалиться мне на этом месте!

— Признаться, я давно этого ожидал.

Когда мы приехали, они еще были дома, у Буллы вид был растерянный, Белл смотрела вызывающе.

— Сегодня на рассвете мы с королевой уезжаем в Перенонг,— сказал Булла, встал и посмотрел мне прямо в глаза, словно бросая вызов. Панчо, стоявший в темном углу около дверей, громко откашлялся.

— Ты уходишь от меня, Булла? — я боялся его, боялся его силы. Я не просто уважал мощь его широченных плечей и кулаков, но Булла давно защищал меня и поддерживал, и от одной только мысли, что он вдруг станет моим врагом, я чувствовал себя одиноким и беспомощным. Случись что — и у меня не оставалось никого, кроме Панчо: брат Кристофер и тетушка Мур были слишком стары.

— И ты еще, Акула, спрашиваешь, ухожу ли я от тебя? Ты, который обращался со мной в этом доме, как со слугой! Булла Дэниелс слишком стар, друг мой, чтобы позволить мальчишкам смотреть на него свысока. Как ты обращался с королевой — это ваше с ней дело, я этого не касаюсь, я говорю о себе. Я любил тебя, мальчик, как родного сына, ни разу не пожелал я тебе зла и всей душой хотел, чтобы из тебя вышел человек. Учили тебя получше, чем нас с твоим отцом, и господь послал тебе удачу, да только ты стал на плохую дорожку. Блеск роскоши и льстивые речи слишком легко кружат тебе голову. Я знаю, ты вырос без матери, но у тебя были верные, близкие друзья, и королева, что там ни говори, была тебе хорошей подругой.

Мне нечего было ответить ему, Белл тоже молчала, но я знал: она никогда не простит меня.

— Я провожу тебя, Булла,— наконец выговорил я, все еще надеясь, что, даже потеряв его уважение, смогу сохранить хоть какую-то крупицу наших прежних отношений.

— Лучше не надо, Акула, это поймут неправильно.

■

Было три часа утра, но мне не спалось. Комната Панчо находилась на первом этаже, рядом с гаражом, и, заслышав шум мотора, он вышел на улицу.

— Я, капитан, поеду с тобой, я знал, что ты куда-нибудь еще поедешь, очень уж на душе у тебя тяжело.

Он уселся рядом со мной, и мы поехали к Эльзе. Поодаль от двери мы заметили Тихохода, сидевшего в своем уголке. Он заковылял к нам, расплывшись в улыбке, от которой вокруг его большого рта образовались глубокие складки.

— Океанская Акула! Провалиться мне на этом месте, если это не наш герой. По всему городу только про тебя и говорят, я даже подумал, что, может, ты теперь такой важный, что с нами и компанию водить не захочешь.

— Брось, Тихоход, постыдился бы!

Он сложил ладони рупором и, стараясь перекричать оркестр, игравший затасканный фокс, позвал:

— Эльза, Эль-за! Иди-ка посмотри, кто у нас тут!

— Акула, ты! Давненько же я тебя не видела.— Эльза спустилась на несколько ступенек и перегнулась через перила.— А, Панчо, ты, видно, заделался заправским шофером!

— Жить-то надо, Эльза.

— Твое заведение, кажется, процветает,— заметил я.

— Прошлой ночью пришло несколько кораблей,— пояснила Эльза,— и у нас полно матросов. Беда с этими английскими моряками — за душой ни гроша, а после них всех девочек приходится посылать к врачу.

— Это Мэри,— сказала Эльза, заметив, что я смотрю на женщину, которая пела в сопровождении джаза.— Голосок у нее нежный, как у воркующей голубки.

— «Черные глаза у моего верного возлюбленного»,— пела Мэри ватаге пьяных матросов и их шоколадных партнерш.

— А ну, негритенок, сыграй мне что-нибудь зажигательное,— закричал какой-то матрос, и худенький скучный саксофонист заулыбался.

Мэри пела, забыв обо всем на свете, хотя вряд ли кто слушал ее. Когда она кончила, я увидел, как Панчо помог ей спуститься с эстрады, и они исчезли на втором этаже. Молоденький матрос с мальчишеским лицом, огрубевшим от яркого солнца и пьянства, обнял Эльзу, она оттолкнула его, но при этом игриво хлопнула по плечу. Мы потягивали из своих стаканов, слушали музыку и смотрели на танцующих матросов. Ноги у них переплетались, как корни мангов, и невозможно было разобрать, где — чьи.

— Я знаю, королева уходит от тебя и уезжает в Перенонг с Буллой,— сказала Эльза.— Так оно, пожалуй, лучше.

— Да, так оно лучше,— согласился я.

— А знаешь, ты ведь никогда ее толком и не понимал. Думаешь, ради денег пошла она к нам? Не нужны ей деньги, просто хотелось иметь побольше поклонников. Ей нравится крутить мужчинами как вздумается. Да и какой женщине это не нравится? Они с Буллой хорошая пара: он уже стареет и будет держаться в сторонке, старатели могут пялиться на Белл сколько угодно, и он не станет ревновать. У Буллы голова крепко сидит на плечах, его ничем не проймешь.

— Я, Эльза, никогда Белл в этом не подозревал. Бывало, что-то такое покажется, да я и не додумывал до конца. Схожу, пожалуй, кликну Панчо — хочу пойти на пристань проводить их.

— Приходи, Акула, еще. При твоей-то роскошной жизни недолго и забыть старых друзей.

Мы мчались по пустынным улицам, тревожа спавших на тротуарах нищих. Они так громко ругались нам вслед, что разбуженные их криками горожане распахивали окна и выплескивали на головы бродягам ночные горшки. Мы смешались с толпой у входа на пристань и ждали, пока Булла и Белл, смеясь и болтая, не поднялись по сходням. Солнце взошло над манграми в устье реки, и чайки устремились вниз за вспыхнувшими на воде огоньками.

— Ну вот, капитан, и уехал твой друг,— сказал Панчо.

Я не успел даже ответить ему, как в нескольких шагах от нас заметил Тоника.

— Эй, Тоник! — закричал я.

Он обернулся и, увидев меня, спрятался за женщиной с корзиной на голове, я бросился к нему, но его уже и след простыл.

— Кто это, капитан? — спросил Панчо.

— Мальчишка один, любимец Буллы, его засосала городская жизнь.

— А, это Тоник. Я о нем слышал.

Когда мы возвращались к машине, я вдруг ощутил страшную усталость. Мне очень не хотелось встречаться с тетушкой Мур и братом Кристофером — опять пойдут бесконечные расспросы, и я надеялся проскользнуть мимо них, но, когда мы ставили машину в гараж, в гостиной послышались их шаркающие шаги.

— Ты, Панчо, поднимись наверх, а я лягу в твоей комнате. Мне сейчас неохота с ними встречаться.

— О'кей, капитан. Я скажу им, что ты остался у адвоката и придешь попозже.

Когда я проснулся, голова у меня с похмелья гудела. По косо падавшим лучам солнца я понял, что уже далеко за полдень. Тетушка Мур мыла в кухне посуду, и до меня донеслись ее слова:

— Чтоб мальчик да оставил нас одних на целый день в доме белого человека? Господи, как дети-то меняются. Наш Арон сроду бы этого не сделал. Не дай бог, с ним что стряслось. А как по-вашему, брат Кристофер, с ним не случилось несчастья?

— Всегда-то тебе, тетушка, мерещатся разные напасти. Не волнуйся, никуда он не денется.

— Я ни от кого доброго слова не слышала про этого его дружка адвоката, ох, попал наш Арон в плохую компанию. Надо мне поговорить с ним...

— Не стоит, тетушка. С тех пор как господь послал ему эти деньги, он и знать никого не хочет...

Выйдя на задний двор, я подставил голову под кран и, когда мне стало лучше, вернулся в дом. Тетушка Мур принялась отчитывать меня, но я и не пытался оправдаться. Брат Кристофер не сводил с меня укоризненного взгляда, а тетушка все больше входила в раж.

Не успел я подумать, что пора одеваться для встречи с Берил, как явился Кендал. На нем была черная вельветовая куртка, белый галстук, полосатые брюки и кожаные ботинки. Куртка была коротковата, а брюки сзади, казалось, вот-вот лопнут.

— Я слыхал, твои друзья уехали,— сказал он.

— Лучше скажи, Джордж, чего ты не слыхал.

— А что это за старики живут у тебя?

— Заходи познакомься с ними,— предложил я, но он в нерешительности нервно постукивал ногой по порогу.— Да заходи же! — я прошел вперед.

Брат Кристофер первым увидел Джорджа и так стиснул подлокотники кресла, что пальцы у него побелели.

— Кто там? — спросила тетушка Мур.

— Это, тетушка, мой друг, адвокат. Он зашел поздороваться с вами.

— Здравствуйте, сэр. Подойдите поближе — дайте посмотреть на вас.— Подавшись вперед, она склонила голову набок, чтобы разглядеть Джорджа своим единственным зрячим глазом.

Стоило мне увидеть Джорджа Кендала и тетушку Мур рядом, как я сразу понял, почему в нашу первую встречу лицо его показалось мне знакомым: Джордж был ее сыном. Еще мальчонкой он убежал из Махайки и не подавал о себе вестей.

— Как вы назвались-то? — дрожащим голосом переспросила тетушка Мур и откинулась на спинку стула.

— Джордж Кендал,— громко проговорил он, а брат Кристофер спокойно заметил:

— Простите, пожалуйста, но вы очень похожи на одного человека, которого мы знали много лет назад.

На секунду мне показалось, что в лице Джорджа что-то дрогнуло, он вскинул голову и так стиснул зубы, что на скулах вздулись тугие желваки. Я попытался представить себе, чего стоило ему стать адвокатом. Это был тот самый Смельчак, который отшагал двадцать миль, чтобы добраться из Махайки до города, и по пути потерял себя. В своем воображении он стал другим человеком и большую часть своей сознательной жизни прожил в уверенности, что никогда и не был другим. Придя ко мне в дом, он уже знал, что у меня живет его мать. Теперь он вернулся, чтобы проверить: кто же в конце концов настоящий — этот придуманный Джордж Кендал или Смельчак, давным-давно покинувший Махайку.

— Я мальчишкой приехал с островов,— сказал Джордж и расхохотался, словно сама мысль о том, что он мог быть кем-то другим, была ему смешна.

Тетушка Мур знала правду, но не выдала сына.

— Много я про тебя всякого слыхала, адвокат Кендал,— начала она так, будто какая-то неведомая сила вырывала слова из ее груди.— Говорят, даже белые боятся попасться тебе на зубок.

Джордж отрывисто засмеялся, потом вдруг повернулся и бросился вон из комнаты. Я пошел за ним, но Джордж уже вскочил в машину и помчался так, словно его преследовал тигр. Панчо, стоявший на нижней ступеньке лестницы, говорил мне что-то, но я не мог ничего разобрать — тетушка Мур выла в голос, как воют крестьянки по покойнику.

Попозже я заехал к Кендалу. На мой стук дверь отворила горничная. Жены Кендала не было дома, и хозяин сидел один в своей просторной гостиной. Он сидел за ломберным столиком в светло-сером костюме и раскладывал пасьянс.

— Заходи, Арон. Мне надо поговорить с тобой об одном деле. Жены дома нет.

Я был зол на него, и не потому, что он предал свою мать, отбросил ее, как шелуху, а потому, что меня страшило это предательство. Я видел, что и сам иду по стопам Кендала.

— Ты мог хотя бы обнять ее...

— Мне надо поговорить с тобой о деле.— Кендал сверлил меня своими темными глазами; замкнувшийся в себе, он и сейчас не хотел раскрыться передо мной.

— Господи Иисусе, да у тебя, видно, совсем нет сердца! — воскликнул я.

Он отвернулся и снова взялся за пасьянс.

— Сядь, Арон, и выпей,— сказал он, и мне стало ясно, что он укрылся за неприступной стеной, которую воздвигло его воображение.

Горничная внесла на подносе хрустальный графин с ромом, ведерко со льдом и бокалы.

— О каком же деле ты собираешься говорить со мной, Джордж?

— Это длинная история, но, когда я кончу, ты поймешь, о чем идет речь.— Он сидел на краешке стула, приподняв плечи, наклонив голову. И я больше не сомневался: с Джорджа Кендала можно соскоблить хоть сто адвокатов, до Смельчака все равно не добраться.— Дело вот в чем,— продолжал он.— Белые, которые правят нами, сильны и богаты, нам же остается только мечтать. Некоторые из нас, моя жена, например, тащат на себе тяжкий груз религии, другие, вроде нас с тобой, живут воображением.— Он подкреплял свои слова жестами, то и дело показывая мясистые ладони.— Все мы еще рабы, все до единого, но самое забавное, что мы же сами и надсмотрщики. Белый человек — как тигровая орхидея — красуется где-то наверху, высасывает из нас соки.

никогда не пуская своих корней в грязи — он все привозит себе из Англии. Он без устали пьет из нас кровь, но так далек от нас, что мы этого не замечаем. Большинство из нас барахтается в грязи, стараясь счистить ее с ног, но слишком многие пытаются это сделать, и получается как с пойманными крабами — если не может вырваться один, значит, и никто не вырвется. Ты когда-нибудь видел, как стараются выбраться из бочки крабы? Вот так и мы.

Меня захватили не столько его слова, сколько то, как он говорил: каждое слово дышало страстью, мясистое плоское лицо его походило на дьявольскую маску, глаза горели огнем.

— У меня есть проект, большой проект. Раньше я бушевал и поносил белых, но, побывав в Англии, понял, что белому человеку только это и нужно,— ведь покуда мы бушуем и обвиняем во всем его, белого, мы признаем себя рабами. Если бы я, например, в своих бедах вздумал винить тебя, это значило бы, что у меня нет собственной воли, что я — всего-навсего негритенок на арене цирка, покорно подпрыгивающий, когда ты щелкаешь бичом. Пока белый человек не позволит нам считать, что в большинстве наших несчастий повинны либо мы сами, либо господь бог, до тех пор мы останемся рабами, сколько бы ни принималось законов об отмене рабства.

— И как же ты, Джордж, собираешься все это изменить?

— Нам нужны большие деньги — и не просто богатство ради богатства,— деньги дадут нам уверенность. Не нашему теперешнему поколению — мы-то все равно никогда не узнаем, что мы такое, мы — люди конченные, но нашим детям...

Он замолчал и налил себе из графина.

— Мне хочется всласть пожить самому, дети меня не заботят.

— Ну, силы мужской в нас еще хоть отбавляй, и мы можем наплодить их. Я, друг, годами вынашивал свой проект, и как раз сейчас подвернулось кое-что подходящее — продается лесопильный завод Вайтинга. И мы с де Фрейтасом первыми претендуем на него. Нам надо собрать сто тысяч. Если ты вложишь тридцать пять — сорок тысяч, в твоих руках будет самый большой пакет акций; я и де Фрейтас наберем по пятнадцати тысяч каждый, на недостающую сумму получим закладную. Понимаешь, в этом месяце мы с де Фрейтасом выставляем свои кандидатуры на выборах в муниципалитет, и если мы оба пройдем, то сможем зацапать себе все муниципальные заказы.

Речи Джорджа были мне не совсем понятны, но звучали они довольно убедительно. Стоило ему раскрыть рот — и он мог в два счета, как ягуар с кроликом, справиться со мной.

— Знаешь, ты столько всего тут наговорил, что так вдруг я не могу тебе ответить. Одно я знаю твердо: де Фрейтас не внушает мне доверия.

Джорджу я верил, несмотря ни на что. Я даже гордился тем, что он проник в высший круг здешнего общества и вел себя так, словно ему принадлежал весь город.

— Мы с тобой, Арон, деревенские парни, а пробиваемся на самый верх. Уж не думаешь ли ты, что я дам кому-нибудь из городских оставить нас с носом?

— Я все обдумаю, Джордж. Это ведь дело рискованное. Если я соглашусь, у меня мало что останется.

— Ты, Арон, не понимаешь, какие это будет иметь последствия. Через десяток лет половина города будет у нас в руках. Имея лесопильный завод, мы получим разрешение на рубку леса — да это же целая империя.

— Когда я должен дать ответ?

— Сейчас соображу. Сегодня у нас среда. В субботу, не позже.

Когда я поднялся, чтобы попрощаться, он уже знал, что я в его руках.

— Я приду с ответом завтра.

Панчо ждал меня в машине.

— Мне нужно на Релей-стрит, и я уже опаздываю,— сказал я. Панчо, припав к рулю, понесся по узким улочкам с такой быстротой, что черные ребятишки, как куры, кидались врассыпную.— Ты слыхал, Панчо, чтобы кто-нибудь разбогател на лесе?

— Знаю, капитан, одного-двух, разбогатеть-то они разбогатели, да ненадолго. Лес — такое дело, на нем быстро наживаешься и скорехонько вылетаешь в трубу.

— До сих пор мне везло. Неужто удача меня оставит?

— Не знаю, капитан, что у тебя на уме, да только адвокат Кендал всегда выходит сухим из воды.

— Что бы там о нем ни говорили, я думаю, Панчо, со мной он жульничать не станет.

— Тебе, капитан, виднее.

— Скажи, Панчо, а что про меня говорят в городе? — спросил я, когда он, перед тем как выехать на главную улицу, немного сбавил скорость.

— Да ты же, капитан, знаешь нас, негров. О своем никто слова доброго не скажет. Говорят, что деньги ты получил колдовством, продал черту душу. А я говорю всем, что ты — человек суровый и скупой, приходится говорить, не то бы они давно налетели, как саранча, денег у тебя занимать. Поговаривают еще, что ты ведешь себя как белый и с неграми водиться не хочешь.

— А семейство Томпсонов ты знаешь?

— Я здесь всех знаю. Старик Томпсон был англичанин, да разожгла в нем кровь негритянка. Эта негритянка родила ему дочь, тогда он забросил всех своих белых друзей и женился на ней, а когда всевышний призвал его к себе, он оставил жене солидное наследство.

Мы остановились около дома Берил. Это было большое трехэтажное здание, от парадного хода к маленькому балкону вела лесенка. Особняк, окруженный некрашеными унылыми домишками, выглядел очень белым и чистым. День клонился к вечеру, большие дома еще озаряло солнце, но к набитым людьми маленьким домишкам уже подбирались вечерние тени, и фигуры сидевших на крылечках мужчин и женщин растворялись в сгущавшемся сумраке. Эта часть города вдавалась клином между рекой и морем, и некогда здесь находился форт, охранявший устье реки. Вдалеке за домом Берил виднелась дозорная башня — все, что осталось от форта. Над башней вились стаи летучих мышей. Я поднялся по ступеням и постучал. Дверь отворила Берил.

— А я думала, вы уже не придете,— сказала она, надув губки.— Входите и познакомьтесь с мамой.

Старая негритянка сидела в качалке в дальнем углу веранды, ее руки спокойно лежали на подлокотниках, и я вдруг вспомнил свою бабушку. Мать Берил, как и некоторые другие мамаши в Джорджтауне, всегда держалась в тени, стараясь поменьше бывать на людях, чтобы ее светлокожая дочь сумела поймать хорошего жениха.

— Это мистер Смарт, мама.

— Ты не из деревни будешь? — спросила старуха, разглядывая меня своими хищными глазами.

— Да, миссис Томпсон, я из Махайки.

— Старый Бьючемп платил за твое обучение, так, что ли?

— Да, миссис Томпсон.

— Когда-то мой муж знавал старого Бьючемпа... Говорят, он так и умер в сумасшедшем доме, в Бербисе, упокой господь его душу, и хоть бы кто на похороны пришел.

— Я, миссис Томпсон, даже не знал, что он умер.

— Господи, какой же ты неблагодарный! — Я было собрался сказать что-нибудь в свое оправдание, но она вдруг добавила резким, птичьим голосом: — Брось ты эту «миссис Томпсон», зови меня просто ма.

— Хорошо, ма.

— Береги Берил, она — мое единственное сокровище.

Мне хотелось поскорее сбежать от старухи, потому что она сидела не шевелясь, и мне от этого становилось не по себе.

Мы проехали мимо дозорной башни и резко свернули на дорогу, тянувшуюся вдоль дамбы. Два мола, один в полумиле от другого, врезались в нараставший прилив, и море в последних лучах солнца вскипало золотистой пеной. Уже стемнело, когда мы миновали Белайр и оставили позади мигающие огни города. Берил больше не дичилась меня, всю дорогу она весело болтала. Ей уже подумалось, что я забыл про свидание, а когда она увидела меня, сердце у нее от радости чуть не выпрыгнуло из груди. Меня возбуждало присутствие этой золотисто-коричневой девушки, она держала меня за руку, ее дыхание щекотало мне ухо. Берил была такая хрупкая и нежная, что я сам казался себе деревенским увальнем. Я заранее знал, что самую большую радость мне доставит возможность появляться с ней на людях и выставлять ее напоказ — как Джордж выставляет напоказ свою смуглую жену. Человеку с черной кожей не добиться успеха, если его собственная чернота не смягчается такой вот шоколадной куклой.

Панчо остановил машину поодаль от дороги в густой роще фламбоянов, выключил мотор и удалился, оставив нас в темноте. Я привлек Берил к себе, она отвечала на мои ласки испуганно, как сквозь сон. Тело ее то судорожно напрягалось, то становилось податливым. Она не сопротивлялась, но я чувствовал: что-то в ней противится моим ласкам. Обладание ею не доставило мне удовольствия, но я испытывал бешеное наслаждение, порабощая ее — ведь если бы деньги не послужили мне лестницей, она бы так и осталась на недосягаемой для меня высоте.

Когда я наконец отпустил ее, она припала ко мне, тихонько всхлипывая. Слишком долго подавлялись в ней страсти — хищная мамаша выжидала случая заключить выгодную сделку. Я подождал, пока она успокоится, потом позвал Панчо. Когда он пришел и увидел Берил, расправлявшую помятое платье, то ничем не выдал своих чувств, но в душе он явно разделял мое торжество. На обратном пути Берил прижалась ко мне, прося обнять ее покрепче.

— По-твоему, Арон, у меня будет ребенок?

— Надеюсь, что нет.

— Но я хочу. Я хочу от тебя ребенка!

— Это детский лепет. С ребенком хлопот не оберешься.

— А мне так хочется. Скажи, ты хоть немножко любишь меня?

— Ты рассуждаешь как маленькая.

— Ты меня презираешь за то, что я быстро уступила?

— Слишком долго держали тебя взаперти, не то бы ты об этом не спрашивала.

— После твоего рассказа о жизни в джунглях я всю ночь не сомкнула глаз. Ты показался мне настоящим героем — не то что наши городские мальчики, с которыми я встречаюсь на вечеринках. Они-то ничего еще в жизни не сделали — сначала учились в колледже, а теперь ходят по гостям.

— Ты слишком молода для меня. Ты витаешь в небесах и не видишь, что делается вокруг.

Я простился с ней у подножия лестницы и смотрел ей вслед, пока она поднималась наверх, одной рукой приглаживая юбку, другой — махая мне. «Встретить бы мне ее раньше,— думал я,— а впрочем, старуха мать и на порог бы меня не пустила: я ведь был чернокожим ничтожеством». Убедившись, что Берил вошла в дом, я медленно вернулся к машине.

— Да на тебе, капитан, лица нет — ты будто родную мать зарезал,— удивился Панчо.

— Да, Панчо, и даже хуже.

— Ну и мягкое же у тебя сердце, капитан! Знал бы ты обо всех делах, что творятся в этом Джорджтауне...

— Я думал об ее матери — ведь она знала, чем все кончится.

— Не говори только, хозяин, что не знаешь, зачем ей это.

■

Тетушка Мур пролежала несколько дней в постели, а поднявшись, почти все время сидела в кухне. Она только и знала, что хныкать и сделалась такой несносной, что, кроме брата Кристофера, никто не мог с ней сладить. Панчо не было известно, что случилось, но он подозревал неладное и всеми силами старался разведать, что произошло. Если бы старики остались подольше, Панчо — мастер все вынюхивать — наверняка бы докопался до истины. Но брат Кристофер настоял, чтобы тетушку Мур отправили восвояси.

— В этой новой для нее обстановке старуха будет все больше тосковать, слишком она стара, и поздно ей уже менять привычки,— говорил он.

Панчо отвез стариков домой. Я не поехал с ними: мне не хотелось снова видеть деревню. Я уже освоился с мыслью, что я горожанин, и мне противно было даже подумать о возвращении в грязную дыру, где я родился.

— Помни, Акула, мою притчу. Придет время, душа твоя восстанет против нее, и ты поймешь тогда, к чему я тебе ее рассказал.

Это были последние слова брата Кристофера.

Они уехали, и пустота большого дома придавила меня, как рухнувшее дерево. В комнатах стало так тихо, что я был не в силах переносить их безмолвную задумчивость. Когда Панчо не бывало дома, я почти все время просиживал на веранде, глядя на пешеходов, на автомобили, повозки, коляски. Днем было всего скучнее — белое солнце, казалось, застывало посреди неба и злобно старалось сжечь землю. А зной приносил с собой духоту и тишь, и даже колеса тележек едва слышно тарахтели по известковым плитам.

У соседей появилась новая кухарка. Казалось, моя соседка меняла кухарок, как меняет белье человек, долго шедший пешком по жаре. После веселой хохотушки, жившей у нее, когда я въехал в дом, их сменилось уже три или четыре. У теперешней кухарки был сын Джошуа. Этот мальчишка день-деньской кувыркался в траве или висел на заборе. Кожа его не выносила прикосновения одежды, и соседка постоянно сокрушалась, что Джошуа разгуливает нагишом под ее окнами.

Как-то днем я поджидал Панчо. Он должен был отвезти меня, Джорджа и де Фрейтаса на лесопильный завод. Внезапно прошел ливень, а когда снова прорвалось солнце, над белой, мощенной известняком улицей заклубился пар.

— Джошуа, куда ты задевал рубашку? — крикнула за зеленой изгородью кухарка.

— Я, мам, оставил ее под домом,— отвечал мальчонка, катаясь в траве и захлебываясь от смеха.

— Да что же это за мальчишка — никак не привыкнет к рубахе! Иди сейчас же в дом, покуда хозяйка опять не заругалась, что ты бегаешь нагишом!

— Я, мам, только играть начал!

— Иди, негодник, сюда, пока я тебе не всыпала!

Розы в моем саду поникли, и широкие желтые жилки на листьях кротона были под цвет оперения кискади, который сидел на фламбояне, услаждая пением свою подружку.

Панчо наконец явился, мы заехали за Джорджем и де Фрейтасом и отправились на лесопилку. Лесопилкой назывался большой сарай, построенный на топком низком берегу реки Демерары. Внутри сарая было темно, но кочегар время от времени отворял дверцу котла, из которого, разгоняя тьму, вырывался язык пламени, и тогда внезапно обнаруживалось, что вокруг, как в муравейнике, кипит работа: мальчики выбирали корзинками опилки из ям, над которыми двигались вверх и вниз гигантские пилы; кочегар, шуровавший в топке, походил на дьявола в аду; вереницами шли женщины, неся на голове корзины со стружками и корой; мастер размахивал руками и силился перекричать вой поперечных пил. Управляющий, маленький желтый человечек, прыгающей походкой подошел к нам, представился и сказал, что давно поджидает нас. Держался он подобострастно и изо всех сил старался понравиться. Он водил нас повсюду, а когда мы пришли на задний двор завода, где рабочий у лебедки направлял бревна к пилам, он показал на плот, лежавший на илистой земле возле быстрого и бурного потока.

— Лесу на пятнадцать тысяч долларов,— с гордостью сказал он.

Тина воняла и хлюпала под ногами, и я заметил, как брезгливо поморщился де Фрейтас.

— Не хотелось бы мне тут работать,— сказал я.

— Да ведь ты станешь владельцем завода. Кто же говорит о работе? — со смешком отвечал де Фрейтас, и смех его резанул меня по сердцу.

За сараем высились горы опилок, дети взбирались на них и скатывались вниз.

— В помещении должно быть больше света,— сказал я управляющему.

— Это стоит денег, а рабочие не жалуются, они привыкли к темноте,— отвечал он.

— Ты, Арон, смотришь на все снизу, с земли, а чем выше, тем оно выглядит приятнее.

— Наш лесопильный завод лучший на этом берегу реки,— сказал управляющий.

— Ну, как? — спросил меня на обратном пути Джордж.

— Сказать по правде, у меня мороз пробежал по коже, едва мы очутились на этом заводе.

— Но ты все-таки войдешь с нами в долю?

— Я ведь обещал!

— Это событие надо отметить, сегодня назовем гостей, а в понедельник поедем на скачки.

— Для скачек ему необходим другой костюм,— сказал де Фрейтас.— Сегодня же закажи у Агарда все, что нужно. Мы наймем коляску с шестеркой белых лошадей.

Я собирался написать Булле и спросить его совета насчет лесопильного завода, но меня завертело в каком-то вихре — я танцевал, пил, играл в карты, ездил кататься с Берил,— и близость со старым другом, казалось, отошла в столь далекое прошлое, что нечего было и пытаться восстановить ее. До того как я явился в Джорджтаун с полным мешочком алмазов, все в моей жизни, например, понятие дня и ночи, было крепко связано с определенным порядком — работа, отдых, а теперь,

когда делать мне было нечего, время превратилось в туманную тропку, и я, спотыкаясь, брел по ней. Один день сливался с другим, и я уже не отличал утра от вечера.

В день скачек я вернулся домой после весело проведенной ночи, принял душ и стал надевать костюм, только что полученный от портного. Я еще не был готов, когда в коляске подъехали Джордж и де Фрейтас. Выглянув в окно, я помахал им рукой. Панчо в цилиндре и сюртуке — он одинаково хорошо чувствовал себя и за рулем и на козлах — управлял шестеркой белых горячих лошадей. Рядом с ним сидел лакей — сморщенный португалец в алой ливрее с медными пуговицами и желтыми, как подсолнух, эполетами. Соседи приникли к опущенным жалюзи, ожидая появления самого богатого негра в городе. Я оглядел себя в большом зеркале. На солнцепеке мне придется нелегко в моем наряде, стоившем четыреста долларов,— фрак, белоснежный, как тигровая орхидея, воротничок, галстук с бриллиантовой булавкой, полосатые брюки, кожаные туфли, трость с серебряным набалдашником, белые перчатки и серый цилиндр — ну прямо портновский манекен с черной физиономией. Чтобы проводить короля алмазов, вокруг коляски собралась толпа — босоногие, пропахшие потом мужчины, женщины, голые ребятишки. Я вышел на подъездную дорожку и замедлил шаг — толпа одобрительно загудела. Лакей ловко, несмотря на свой почтенный возраст, спрыгнул на землю и торжественно распахнул дверцу коляски. Панчо захлопал бичом, толпа восторженно закричала, лошади тронули, с трудом пробиваясь сквозь яркую и плотную, как заросли диких цветов, толпу весело галдевших, хохотавших, толкавшихся зевак. День был праздничный, и все устремились на окраину, к ипподрому. Полдень ожил — блестели темные лица, сверкали на солнце зубы и белки глаз. Мы проезжали мимо актеров в масках — под звуки флейт и барабанов они прыгали, кружились и топтались на месте. По мере нашего приближения к дому Берил на Релей-стрит толпа редела, но шум и веселье по-прежнему переполняли взбудораженный город. Берил вышла разрумянившаяся, с глазами, сверкавшими, как светлячки. На ней было шелковое платье цвета фламинго и изящная шляпка, а когда она спускалась по лестнице, над ней, как портулак, расцвел яркий легкий зонтик. Я вышел из коляски и предложил ей руку. Из соседних домишек тотчас послышались непристойные выкрики подвыпивших обитателей.

Когда мы подъехали к ипподрому, все деревья вокруг были уже унизаны гроздьями безбилетных зрителей, примостившихся на ветвях, и если одна из ветвей подламывалась, сразу несколько мужчин и мальчишек падали прямо в канал, а толпившиеся за воротами зрители разражались хохотом. Высоченный негр полицейский добродушно покрикивал на публику, валом валившую через боковой вход. Перед нами распахнулись ворота главного входа, и лошади пустились рысью к трибуне. Полицейские замерли, и дирижер полицейского оркестра поднял свою палочку. Оркестр заиграл национальный гимн. Лакей португалец ретиво выполнял свои обязанности, обнажая в широкой улыбке желтые зубы. Я вышел из коляски, поклонился и подал руку Берил. На мгновенье ипподром стих — толпа словно затаила дыхание. Музыка внезапно оборвалась, и только мальчишка-барабанщик продолжал выбивать мелкую дробь. Суетливый церемониймейстер выступил вперед и повел нас к нашим местам. Панчо, громко щелкнув бичом над головами лошадей, рассеял очарование. Толпа заговорила сначала чуть слышно, и вдруг разразилась буря возгласов, приветствий, смеха, и я различал, как люди кричали:

— Океанская Акула, король алмазов! Океанская Акула! Океанская Акула!

Я еще раз низко поклонился и сел.

До самого вечера я пребывал в каком-то лихорадочном возбуждении. Повсюду, где бы я ни появлялся, люди приветствовали меня, жали мне руку, угощали вином, пили за мое здоровье, и я исполнял свою роль в этом дешевом цирковом представлении, не соображая, что делаю, что говорю, и только чувствуя все время рядом Берил. Панчо рассказывал мне потом, что с ипподрома мы еще отправились на какое-то празднество и он привез меня домой в бесчувственном состоянии.

■

Как-то раз я сидел на веранде и мечтал о том, как я еду на мчащихся во весь опор рысаках, как меня громко приветствуют толпы, людей, но тут Панчо вернул меня к действительности:

— Капитан, какая-то женщина хочет видеть тебя.

— Кто? Какая еще женщина?

— Назваться она не захотела, но говорит — тебя знает.

— Приведи ее, Панчо.

— Не узнаешь меня, Арон,— проговорила, приближаясь ко мне, незнакомая толстуха с желтушными глазами.

— Что-то не припоминаю,— сказал я.

— Давно это было, много воды утекло с тех пор.— Она села, и ее узкое шелковое платье собралось складками.

— Не помнишь Индру? — Но я видел не ее, а ее мать, тучную, страдающую диабетом женщину, которая люто ненавидела меня, когда я был слугой у доктора Рама.

— Да, много времени прошло, Индра.

— Ты мало изменился, Арон. Все еще молодой.

— Как твой отец?

— Он по-прежнему в Майхони. Знаешь, он столько раз говорил со мной о тебе — его обидел не твой уход, а то, как ты ушел! Я прочла о тебе в газете — там писали, что музыканты полицейского оркестра приняли тебя за губернатора.— Она жадно осматривала мебель, блестящий пол, ковры.— Ты ведь больше не сердишься на меня, Арон? — вдруг спросила она.— Я была молода тогда и глупа.— «Такой же сварливый голос был у ее матери»,— подумалось мне.

— С тех пор, как мы жили в Эклсе, много чего было, Индра.

— Что-нибудь нужно, капитан? — спросил Панчо. Он стоял возле одной из стеклянных дверей, отворявшихся из гостиной на веранду.

— Принеси чего-нибудь выпить,— сказал я, а Индра принялась хохотать — грудь ее колыхалась, по щекам текли слезы. Я понял, что это прорвалось наружу сдерживаемое волнение, и подождал, покуда она успокоится.

— Я пришла к тебе, Арон, просить помощи. В память нашего прошлого. Мой муж попал в нехорошую историю, а отец не хочет помочь ему. У меня пятеро детей, и отец решил оставить все деньги им, а мне он не дает ни пенни.

— Так ты пришла за помощью ко мне? А что ж твои школьные друзья, все эти богачи, с которыми ты водилась?

Она заерзала на плетеном стуле так, что он заскрипел. Боже мой, эта бесформенная, как тыква, женщина — Индра, за которую я когда-то готов был умереть. Я не питал к ней злобы, я понял: жизнь в джунглях избавила меня от горького сознания, что каждый день приближает меня к старости. Останься я в Махайке, я бы замечал бег времени по тем следам, какие он оставляет на окружающих, но в джунглях о человеке судят по его выносливости, по его силе и сообразительности. Слабые там либо умирают, либо возвращаются на побережье. Индра же, глядя на своих пятерых детей, видела, как сама день ото дня стареет.

— Скажи, Арон, сможешь ты дать мне взаймы тысячу долларов? Я прошу не ради моего никчемного мужа, не ради себя самой, а ради детей.

— Но почему ты пришла ко мне?

— Мне больше не к кому обратиться. Мои друзья не из тех, что помогут в беде.

— Если бы мне пришлось плохо, ты б не помогла мне.

— Я сделаю все что угодно, только дай мне эти деньги. Мы можем составить документ. Я верну долг после смерти старика. Он долго не протянет, у него больные почки и слабое сердце.

В ней не осталось ни капли гордости, и я не хотел, чтобы она унижалась еще больше.

— Я дам тебе денег.

— Спасибо, Арон, спасибо, господь воздаст тебе.

Она дотронулась до меня, руки у нее были как влажный мох. Я написал чек и проводил ее до ворот. Ее приход показался мне плохой приметой — я больше не хотел ее видеть.

— Знаешь, капитан, коли каждый начнет приходить со своими бедами к тебе в дом, из этих бед вырастет целая гора. Ведь с этой старой коровы уже ничего не возьмешь.

— Не суй свой нос, Панчо, в чужие дела!

— Ладно, хозяин, твои денежки плакали, не мои.

— Да замолчи ты, бога ради.

■

По утрам Панчо ходил на Стаброкский рынок и покупал для дома провизию и напитки. Я был холостяком и жил один, поэтому Джордж и де Фрейтас каждый вечер являлись ко мне со своими гостями и любовницами. Дом оживал от их пьяной болтовни, смеха, звона стаканов и музыки — они посоветовали мне купить патефон. Панчо никогда не пропускал эти ночные пирушки. В Джорджтауне пьянство было великим уравнителем. Грубый, горластый, невоздержанный на язык Панчо был бы уместнее в каком-нибудь кабачке Тайгер-бея, но он умел пить, мог осушить хоть бочку рому, и это искупало его низкое социальное положение. К тому же во время своих утренних походов на рынок он собирал самые последние сплетни о городской знати, а пропустив стаканчик-другой, становился превосходным рассказчиком.

Я вставал поздно и шел в сад через усыпанные битым стеклом комнаты, где спали незнакомые мне люди с заплывшими глазами. Они храпели, разинув рты, и от них так разило винным перегаром, что нечем было дышать. Это мне скоро надоело. Панчо всегда был готов развезти напившихся гуляк по домам, но некоторые наотрез отказывались уезжать. Берил приходила ко мне каждый вечер, но мать только в особых случаях разрешала ей оставаться позже девяти часов. Старуха знала, что я живу с ее дочерью, но, поскольку мы соблюдали приличия, не вмешивалась. Она рассчитывала женить меня на дочке, а крестьянская хитрость, не раз проверенная жизнью, подсказывала ей, что влечение к женщине может укорениться и стать такой же непреоборимой потребностью, как тяга к наркотикам. Она знала: раз уж близость женщины выжгла рубец в сердце мужчины, он не сможет долго спать в постели один. Берил постоянно клялась, что останется на ночь, но всякий раз уходила, страшась материнского гнева. Она охотно отдавалась мне. Она была легкомысленной девушкой с горячей кровью, и, хотя ее с детства обучали притворству и напускной стыдливости, инстинкт подсказывал ей, как лучше использовать свое смуглое красивое тело. Мне нравилось, когда она была рядом, с нею мне было хорошо. Она без умолку болтала

о нарядах, о вечеринках, о своих друзьях, ее слова входили мне в одно ухо и выходили в другое. И все же под этим щебетаньем скрывалась кошачья хитрость. Как ни странно, Берил разбиралась в людях лучше, чем я, и порой мне казалось, что и обо мне она знает больше, чем я бы того хотел. Джорджа и де Фрейтаса она недолюбливала и все время твердила, что они что-то против меня замышляют. Мне часто приходила в голову мысль жениться на ней, особенно в те вечера, когда Джордж и де Фрейтас не приезжали ко мне, а Панчо отправлялся в Тайгер-бей к своим друзьям. В такие минуты я чувствовал себя чужим в этом городе, и мне хотелось иметь в своем доме человека, которому я мог бы полностью довериться и который оградил бы меня от белых известковых джунглей, начинавшихся сразу за воротами сада. Но женитьба так и не состоялась, потому что после приступов тоскливого одиночества я начинал напропалую кутить и сорить деньгами.

Чтобы заняться чем-нибудь днем, я стал ездить на лесопильный завод. Моя доля доходов от него составляла около пятисот долларов в месяц, когда же я говорил Джорджу, что должен получать больше, у него всегда находилось множество отговорок — то рабочие потребовали прибавки, то пришлось ремонтировать машины. Моим компаньонам не нравилось, когда я бывал на заводе без них, но я заявил, что у них есть свои конторы, Панчо ходит к друзьям в Тайгер-бей, а я не могу день за днем встречаться только с собственной черной физиономией, отражающейся в зеркалах пустого дома под звуки патефона, без конца играющего одни и те же мотивы, которые преследуют меня даже во сне.

Мне нравилось обходить завод и смотреть, как кочегар, обливаясь потом, бросает в котел поленья, как рабочие волокут по берегу реки бревна, как старик Олдридж, с руками, словно крабьи клешни, стругает доски и делает в них пазы, как приходят и уходят покупатели, суетятся, с карандашом за ухом, контролеры и приказчики и ходит вприпрыжку управляющий в похожей на палатку соломенной шляпе на голове. Огонь питал машины, и они, казалось, жили самостоятельной жизнью — тяжело стучали, шипели, стонали, и шум их странным образом вторил мучившей меня тоске. Я встречался с очень многими людьми и потому никого по-настоящему не знал. Джордж и де Фрейтас приезжали ко мне, брали меня куда-нибудь с собой, и частенько, когда они напивались до бесчувствия, я развозил их по домам. Миссис Кендал всегда встречала меня в дверях с таким видом, будто я во всем виноват. Однажды, когда гости миссис Кендал еще не успели разойтись, я доставил пьяного Джорджа к самому парадному. Было темно, и я подождал, пока на его громкий стук откроют дверь. Джордж вошел в дом, послышались какие-то крики, возня, а через некоторое время я увидел, как Джордж проследовал через гостиную — он был в чем мать родила. А миссис де Фрейтас всегда безропотно принимала бесчувственное тело супруга и ни разу ничего мне не сказала.

■

Однажды утром я раньше обычного отправился на завод. Прошли дожди, все канавы и водостоки в городе были переполнены, и ребятишки пускали в грязной воде бумажные кораблики. Солнце играло в прятки с дождевыми тучами. Мне хотелось добраться до завода, пока не хлынул дождь. Накануне Панчо укатил куда-то в машине и еще не вернулся. Я знал, что он явится к завтраку с покрасневшими глазами, весь пропахший винным перегаром, и будет придумывать сотни оправданий. Старик Олдридж грелся на солнышке у заводских ворот. Был он высокий, сутулый, длиннорукий. Его темно-коричневое лицо, словно вырезанное из эбенового дерева, бороздили глубокие, как долотом вы-

сеченные, морщины. Он был уличным проповедником, и по ночам я часто видел его на рыночной площади под большим фламбояном. На земле горел карбидовый фонарь, у ног Олдриджа спала дворняжка, а он бросал хриплые проклятья в толпу своих прихожан — нищих и шулеров, которых это только развлекало. На заводе Олдридж держался очень независимо, другие рабочие, видимо, уважали его, да и желтолицый управляющий тоже. И если ему вдруг посреди работы хотелось погреться на солнышке, никто не возражал.

— Здравствуй, капитан,— бросил он, прежде чем я успел открыть рот.

Я удивился — обычно я приветствовал его первым, а он неохотно отвечал мне.

— Здравствуй, Олдридж.— Я понял, что он хочет поговорить со мной и только пережидает, пока выедут из ворот подводы и повозки, доверху груженные досками и планками.

— Нынче ночью я видел плохой сон, капитан.

На заводе было около восьмидесяти рабочих, я со многими из них разговаривал, но мало кого знал по имени, и никто не привлекал меня больше, чем этот молчаливый старик. Сейчас, взглянув на него, я понял почему: он пришел из деревни, и ему, как и мне, было в городе не по себе. В нем жила неукротимая гордость деревенского старейшины и уверенность человека, привыкшего воевать с засухой и наводнениями, человека, который оставит после себя след на земле.

— Что за сон, Олдридж?

— Огонь и кровь снились мне, капитан.

— Сон плохой. Бабушка, бывало, говорила мне, что огонь означает смерть, а кровь — слезы.

— Смотри в оба, капитан, да берегись друзей своих больше, чем врагов.— Он круто повернулся и зашагал прочь.

В небольшой конторе служащие, завидев меня, погрузились в изучение счетных книг, подошел управляющий и стал рассказывать, как прошлой ночью от причала оторвался плот.

— На пять тысяч долларов древесины, и буксир только утром отправился за ним. Будем надеяться, что нам повезет и плот поймают.

Я оставил управляющего и взобрался на площадку, где стояла лебедка. Река вздулась, и я слышал, как плескалась о крепкие сваи вода. Снова полил дождь — косыми, светлыми полосами; дождевые струи разбивались о мелкие волны. Меня удивляло, что накануне у меня не состоялась встреча с Джорджем и де Фрейтасом. Вечером они не зашли ко мне, и я отправился их разыскивать — заезжал в жокейский клуб, в игорный дом Фанг-ке-Фанга, заглянул к Эльзе, но тщетно. Шум дождя, барабанившего по цинковой крыше, напоминал шум водопада Трав в Перенонге. Я смотрел, как Олдридж запускает доски в поперечную пилу. Он, конечно, знал о моих компаньонах то, что следовало бы знать мне, но, когда я попытался заговорить с ним, буркнул в ответ что-то невнятное и даже не удостоил меня взглядом.

Я подождал немного, не перестанет ли дождь, потом кликнул извозчика и поехал домой. Панчо еще не возвращался, в доме было пусто и сыро, казалось, в нем не живут уже много лет. Я решил пойти поискать Панчо. Наверно, болтается по кабачкам и увеселительным заведениям Тайгер-бея. Будет теперь трещать языком и пить, пока вконец не одуреет. Дождь прекратился, и заходящее солнце зажгло золотом придорожные канавы и бесчисленные лужи. «Нет, не пойду за Панчо»,— решил я и уселся на веранде. Я твердо знал: сегодня должно что-то случиться. Накануне мне приснилось, что к бабушке в Махайку приехал Христофор Колумб. Бабушка приготовила для него угощение из бататов, риса и бобов, но только мы собрались сесть за стол, как Колумб

пожаловался, что у него язва желудка, бабушка нарезала ему тоненькими кусочками жареное мясо, но не успели мы приступить к еде, как я проснулся.

На дорожке послышались чьи-то быстрые шаги. Ко мне спешила Берил. Она шла, высоко закинув голову, поджав губы, и я понял, что она чем-то расстроена. Берил вошла и села; три-четыре раза пришлось мне спросить ее, что случилось, прежде чем она заговорила:

— Мама требует, чтобы мы больше не встречались.

— Но почему вдруг? Видимо, что-то случилось...

— Со вчерашнего дня много чего случилось...— Берил закрыла лицо руками и заплакала.— Говорила я тебе: не доверяйся им! Все время говорила, да ты и слушать не хотел!

— Успокойся, милая. Скажи мне, в чем дело! — Я опустился на колени и обнял ее за плечи.— Ну, успокойся же, голубка!

— Я уже с месяц как догадалась, но не говорила тебе, а вчера пошла к врачу, и он сказал, что у меня будет ребенок.

— Ну и чего же огорчаться? Ты знаешь, я тебя не брошу. Я ведь не дикий зверь.

— Не ребенок пугает меня... Ты еще не слышал новость, о которой знает весь город!

— Какая еще новость? Да говори же и перестань реветь, как маленькая!

— Твои компаньоны, Кендал и де Фрейтас, объявили себя банкротами — у них большие долги за эту лесопилку, и тебе придется за них расплачиваться. Какая у тебя там доля?

— Одна треть, но завод работает, я был там сегодня.

— Господи, какой же ты глупый, Арон! — Она вытерла слезы и сжала ладонями мое лицо.— Как же ты дал им так себя околпачить? Сейчас расскажу. Мама обо всем разузнала: Кендал и де Фрейтас записали на тебя пятьдесят два процента акций, чтобы в случае катастрофы ответственность пала на тебя одного... белый потому и продал лесопилку, что она совсем обветшала, никто даже не соглашался ее страховать...

— Но они уверяли меня, что завод застрахован.

— Господи, до чего же ты глуп! Видел ты документы?

— Нет. Они каждый раз обещали показать их мне, но так и не показали.

— Эти бандиты одурачили тебя. Сами ни гроша не вложили в этот завод, прикарманили часть денег, которые ты им дал, да еще получили семьдесят пять процентов по закладным...

— Откуда ты-то все знаешь?

— От мамы. Она хоть и неграмотная, но в делах разбирается превосходно. Ей все уже известно, и, когда я сказала, что у меня будет ребенок, она запретила мне выходить за тебя. Нельзя, говорит, идти за негра, у которого и гроша ломаного нет за душой. Она сказала еще, что теперь ты нищий, да к тому же и дурак! И что, если бы ты женился на мне в свое время, она бы теперь помогла тебе выпутаться из беды... Арон, Арон, она хочет разлучить нас, а я люблю тебя и хочу ребенка!

Так вот на что намекал старик Олдридж! И как это я поверил Джорджу, я, своими глазами видевший, что он предал родную мать? Мне везло, но все же деньги достались мне нелегко. Добывать алмазы— тяжкий труд. Свой участок в Перенонге я щедро полил потом, и работал я на нем, не щадя сил. Теперь я стал старше, и сил у меня поубавилось. Эти горькие мысли вихрем проносились в моем мозгу, и я совсем забыл про Берил. Она снова заплакала, и я мысленно обругал себя эгоистом. В конце концов, только она одна любила меня и была мне верна.

— Твоя мать не может помешать нам пожениться, милая.

— Она, Арон, поклялась, что помешает. Она говорит, что я должна избавиться от ребенка, и она уже все устроила.

— Останься у меня. Не возвращайся домой, иначе ты не устоишь перед ней.

Я шагал из угла в угол по гостиной, Берил, сжавшись в комочек, сидела на стуле. Я не хотел верить тому, что она мне рассказала, хотя в душе знал, что все это правда. Я не мог понять, не мог сразу охватить умом, чем грозит мне нищета. Я разбогател на алмазах и полагал, что моим деньгам конца не будет, сколько бы я ни транжирил. В сущности, для меня деньги никогда не имели значения — как и для моего отца. Я не относился к ним с уважением, как Джордж или мистер Бьючемп, оттого что по натуре не был стяжателем. Обладание ими доставляло мне чувственную радость, вроде той, которую дарила мне Берил. Мне надо было поскорей удостовериться в правдивости ее слов; расхаживая по дому, я еще верил, что, может, произойдет чудо, которое спасет меня.

Панчо вернулся домой с постной физиономией.

— Я услышал, капитан, что случилось, и бросился домой. Слухи быстрее ветра облетели город. Выходит, капитан, нам придется продать машину?

— Слыхал ли ты что-нибудь об этих мерзавцах? — спросила Берил.

— Слыхал, что вчера вечером, мисс Берил, они сели на пароход и отправились на острова отдохнуть, пока тут все не утрясется.

— А что, Панчо, говорят про меня в городе?

— Никто, хозяин, не винит адвоката Кендала и его дружка, винят тебя. Негры, капитан, всегда так.

— Меня? Но ведь никто меня даже толком не знает...

— Знают, капитан. Делать-то нечего, вот день-деньской и перемывают косточки — чем выше заберется мартышка, тем больше она у всех на виду.

— Что ты думаешь теперь делать, Арон? — спросила Берил.

Вопрос ее был мне неприятен: я не хотел задумываться над своим будущим. Не то чтобы я растерялся, нет, но я чувствовал бы себя лучше, будь сейчас рядом со мной Булла, потому что в городе мне все время чудилось, что я сражаюсь с ветром, я не видел, против чего борюсь, и не знал, как одолеть эти невидимые силы. В деревне или в джунглях человек спокон веков боролся с природой за свою жизнь, в городе он на каждом шагу сталкивался со всевозможными условностями, с законами, которые гласили одно, а означали совсем другое, с администрацией, подобной телу без сердца, потому что это сердце вырвали и схоронили под ворохом бумаг. Я все ходил и ходил по комнате, слушая, как тарахтели по улице телеги. Потом остановился и выглянул в окно — на оглоблях тележек, запряженных осликами, покачивались фонари, после дождя везде стояли желтоватые лужи. Как раз напротив моего дома фонарщик, прислонив лестницу к уличному фонарю, дотронулся до него светящейся точкой, фонарь вспыхнул, и свет заблестел на влажных листьях деревьев. Городские собаки принялись лаять и выть на луну, проглянувшую сквозь тонкие перистые облака, петухи прочищали глотки, готовясь кукарекать всю ночь напролет. Справа и слева по улице в домах зажигались огни, сгущая тени и высвечивая все, что еще не просохло,— листья, траву, высокие стертые ступеньки парадного крыльца. Не один месяц я прожил на этой улице Джорджтауна, и все же я остался ей более чужим, чем много лет назад, когда бабушка впервые привезла меня в город.

— Что же ты собираешься делать, Арон? — снова и снова спрашивала меня Берил со слезами в голосе.

— Не знаю, девочка, не знаю.

— Распродай все, капитан, да возвращайся в джунгли,— сказал Панчо.— Я поеду с тобой.

— Ты не можешь уехать и бросить меня, Арон. Каждый раз, как я ухожу от тебя, у меня сердце готово выпрыгнуть из груди. Ты можешь найти работу, снова стать аптекарем...

— Дай мне все обдумать, Берил... Я найму адвоката...

— К адвокату сейчас кинуться, все равно что ходить от Понтия к Пилату, капитан.

— Ты должен, Арон, сказать мне, что ты собираешься делать. Я не могу ждать до завтра. Вечером я должна вернуться к маме, и если я буду знать, что ты хочешь меня, хочешь, чтобы мы поженились и у нас была семья, тогда я не стану ее слушать, что бы она ни говорила, а со временем она поймет, что я была права... Только не дай мне так уйти, Арон, умоляю тебя!

— Оставайся, Берил, со мной. Не ходи туда! Чует мое сердце, что главная беда еще впереди, а если мы будем вместе — ты, я и Панчо,— мы справимся с ней.

— Я должна идти, Арон. По лицу твоему вижу — ты меня не любишь. Ты всегда будешь любить одного себя. Я все надеялась и верила, что, когда голова твоя перестанет кружиться от успехов, ты полюбишь меня. Ты помог мне стать взрослой, Арон. Как-то раз ты сказал, что я витаю в облаках. Но теперь я спустилась на землю, и мне страшно. Тебя удивляет, что я говорю так, да? Мама еще больше дивится перемене, которая произошла со мной.

— От твоих слов, Берил, я чувствую себя ничтожеством и не знаю, как ответить тебе, Одна половина моей души рвется к тебе, а другая кричит: «Беги, Акула! Беги, мальчик, пока не поздно!» Потому что всегда, завидев надвигающуюся беду, я убегал. Ни разу в жизни не встретил я несчастье лицом к лицу — ведь я знал, что страна наша велика и много есть мест, куда можно убежать, где спрятаться... Но убегаю-то я лишь от самого себя и даже теперь не в силах остановиться для встречи с собственным «я», от которого убегаю. Я знаю, что должен сделать. Должен упереться ногами в землю, оглянуться и посмотреть в глаза этим людям, которые будут издеваться надо мной и смешивать меня с грязью за то, что двое городских провели меня... Я должен защитить тебя и ребенка... но все это одни слова. Знаешь ли ты, почему постигло меня несчастье? Знаешь, Берил?

— Не казни себя, Арон!

— Я должен сказать тебе, первый раз в жизни открываю я свою душу другому человеку... Я всегда это знал, но ты помогла мне ясно увидеть, что за всю мою жизнь я никогда *не действовал,* с малых лет со мной все только *случалось,* а сейчас я мог бы действовать, я знаю, что надо делать, но не знаю как.

Берил встала, расправила юбку, и я понял: если я дам ей уйти, между нами все кончено — мать, эта беспощадная старуха, будет пилить ее днем и ночью, заставит избавиться от ребенка, попреками и бранью принудит ее смотреть на мир так, как это нужно ей, старухе. Берил тоже все это понимала и немного помедлила.

— Мне надо идти,— устало сказала она, и скоро я услышал, как Панчо завел мотор, чтобы отвезти ее домой.

■

Надо было без промедления уезжать из Джорджтауна. Панчо советовал все бросить и сматываться. Но я остался, чтобы испить горечь поражения. Я поехал на лесопильный завод, и управляющий обошелся со мной холодно, как с посторонним, а когда я спросил про старика

Олдриджа, мне сказали, что он ушел и никто не знает — куда. Я отправился к Джорджу Кендалу, и жена его захлопнула дверь перед моим носом. Эльза и Тихоход остались моими единственными друзьями. Все прочие, не здороваясь, проходили мимо, а те, что шумно приветствовали меня на скачках, теперь презрительно отворачивались. Я все больше убеждался, что по-настоящему никогда и не жил в Джорджтауне. Я только занимал один сезон большой городской дом, как занимает лесное логово зверь, чтобы потом уйти. Каждый день на меня, как листья во время сильного ветра, сыпались письма. И в каждом конверте я находил счета, но одно письмо пришло от тетушки Мур и брата Кристофера. Они писали, что у них еще есть деньги из присланных мною и чтоб я возвращался домой и занялся аптекой брата Кристофера, но этого я не хотел.

У меня остался только автомобиль да пустая скорлупа дома. Большую часть обстановки Панчо свез к Эльзе, на случай если бы пришли описывать мое имущество. Едва комнаты опустели, как вернулся дух белого и стал бродить по ним. Ему не терпелось изгнать пришельцев.

Однажды утром я сидел на ковре посреди гостиной, когда раздался стук в дверь.

— Войдите! — я даже не обернулся.

— Арон! — в дверях стоял Булла.

Мы посмотрели друг на друга через пустую комнату. Булла постарел. Волосы тронула седина, усталые глаза глядели печально, морщины на лице стали глубже. Но грудь по-прежнему была богатырской и голос громким.

— Говорят, с тобой стряслась беда,— начал он.

— Кто говорит?

— Панчо прислал телеграмму. Истинные друзья не отступаются от человека из-за того, что он разорился. Что-то не похож ты на прежнего Акулу — сидишь как в рот воды набрал. Не скажешь даже, что рад мне!

— Я рад тебе, Булла,— проговорил я. У меня не было сил поднять на него глаза: я знал — он увидит двух Смартов, отца и сына.

— Кто тут с тобой живет?

— Только Панчо, он пошел на рынок. Все остальные, называвшиеся друзьями, и подойти-то ко мне боятся.

Булла оглядел голые стены столовой, и взгляд его снова обратился на меня.

— Я на тебя не сержусь, Акула, я зол на самого себя. Нельзя было мне уезжать и бросать тут тебя одного.

— Ты сделал все, что мог, Булла.

Пришел Панчо с корзиной фруктов и овощей.

— Ага, капитан, наконец-то. Я знал, что ты приедешь.

Панчо умел так слиться с окружающими людьми, что о нем уже никто не думал как о самостоятельной личности. Я и принимал его таким, как он есть, но теперь рядом с Буллой почувствовал нечто иное: удивительно, до чего они были несхожи. Панчо был легок на подъем, и ему было хорошо. Булла же был неподвижен, как скала над водопадом Трав. И это заставляло думать, что он не передвигается с места на место, а торжественно перемещает в пространстве свое тело.

— Ну, что тут у тебя, дружище? — спросил Булла, и снова передо мной был деловой человек, толкующий о прибылях и убытках.

Я показал на валявшиеся в углу письма.

— Ничего хорошего, Булла. Столько долгов, что как подумаю — голова кругом идет.

Булла сгреб письма и рассовал их по карманам.

— Теперь за это возьмется Булла Дэниелс,— заявил он.

— Черт возьми, по такому случаю надо выпить, капитан! — воскликнул Панчо, извлек из корзины бутылку рому и пустил ее вкруговую.

Мы сидели на полу и вспоминали Перенонг, старателей, моего погибшего отца. О Белл никто не сказал ни слова, хотя все мы думали о ней. Потом я рассказал Булле про Берил и про то, как мать девушки запретила ей встречаться со мной, когда я разорился.

— Была б она настоящей женщиной, так уж знала бы, что делать, будь ее мать хоть злее самого дракона,— сказал Булла.

— Она, Булла, хорошая девочка, но разве ей совладать со старой ведьмой?

— Ну, раз ты так считаешь, пойди да повидайся с ней. Пристрелить тебя там не пристрелят, а если и захлопнут перед носом дверь, так нос все равно цел останется.

— Хорошо, Булла. Пойдем со мной.

— Ладно, пойду. Уж я не оставлю в беде девчонку, у которой будет от тебя ребенок.

Мы отправились на Релей-стрит поздно вечером. Шел дождь, вода струилась по стеклам окон, по ставням, и казалось, что город отражается в тусклом зеркале. Панчо ехал медленно, сильно наклонившись вперед: в провалах темноты между редкими уличными фонарями трудно было разобрать, где дорога, а где трава. Я был рад дождю и темноте, потому что улицы были безлюдны и никто не тыкал в меня пальцем, говоря: «Вот едет Океанская Акула. У него была пропасть денег, а теперь он гол как сокол». Когда мы остановились возле дома Берил, я подумал, что ее матери нет дома: качалка на веранде была пуста. В верхнем этаже светилось окно, и черная тень временами заслоняла желтый свет.

— Интересно взглянуть, что за девушка эта Берил,— сказал Булла.— Иди. Или боишься того, что натворил?

Мы поднялись по ступенькам, и я постучал. Ответа не было, я постучал снова, громче, и мы долго стояли под дождем, пока ма Томпсон не открыла нам дверь.

— Чего вам, мистер Смарт? — спросила она, освещая фонарем наши лица.

— Я хочу повидать Берил,— отвечал я.— А это мой друг Булла Дэниелс, он пришел со мной.

— Мало вы еще обидели мою Берил, господин хороший, мало вам, что вы ее имя в грязи вываляли? Ему, видите ли, мало, что девушка с ним ребенка нагуляла, так он еще беспокоить людей пришел. Да знаете, что я вам скажу...

— Успокойтесь, миссис Томпсон, я называю вас миссис оттого, что вы старая и мы с вами прежде не встречались. Вы слыхали, что сказал этот молодой человек. Он просто хочет повидать вашу дочь, только и всего, он все мне рассказал и, судя по этому, имеет право ее повидать. Если это дом, а не тюрьма, почему бы ему и не повидать девушку?

Вены на жилистой шее ма Томпсон вздулись, словно под кожей у нее дышали ящерицы.

— Если оба вы немедленно не уберетесь из моего дома, я позову полицейского.

— Ну и зови! — крикнул я и кинулся в дом.

— Воротись! Воротись! Куда ты?

— Берил! — звал я.— Берил!

Ответа не было. Я бросился на второй этаж, туда, где горел свет. Послышались шаркающие шаги и тихий стон. Дверь была открыта, и я вбежал в комнату. Какая-то старуха в шляпке, похожей на смятую орхидею, метнулась в угол. Берил лежала на кровати под балдахином. Громадные глаза смотрели в одну точку, пожелтевшее лицо осунулось. Я прикоснулся к ней — рука ее пылала. Она была в агонии и не узнала

меня. На лестнице раздались шаги и громкий голос Буллы. Я взглянул на притаившуюся в углу старуху, хотя уже все понял: они пытались избавить Берил от ребенка, и случилось неладное.

— Не глядите так на меня, мистер. Я — бедная старуха, мне надо чем-то кормиться. Я не виновата, пожалейте меня! С девочкой все шло хорошо, а потом что-то стряслось, и теперь ей может помочь один господь бог! Клянусь вам, не моя это вина, не моя, не моя!

В комнату вошел Булла, за ним семенила ма Томпсон. Он взглянул на Берил, и по его лицу я понял, что она умирает. Ма Томпсон больше уже не владела собой, слезы катились по ее черному морщинистому лицу. Ей было все равно — тут мы или нет, она, казалось, не замечала нас. В доме стояла жуткая тишина — дождь перестал барабанить по цинковой крыше. Издалека доносился приглушенный лай собак и кукареканье петухов. Ма Томпсон медленно ходила по комнате, скрестив руки на груди и раскачиваясь из стороны в сторону. Смерть настигла Берил и, как дуновение ветерка, прошла сквозь ее тело. Берил не сопротивлялась, как те, кто прежде умирал у меня на глазах. Я вспомнил, как однажды Вуди Сэм сказал мне, что нет слова, чтобы обозначить смерть лодочника. Когда лодочник тонет в реке, про него говорят, что он ушел. То же случилось и с Берил — она соскользнула в реку вечной ночи. Странно, но в разгар этой трагедии я не поддался порыву и не заплакал от жалости к себе, не кинулся к умершей и не зарыдал в голос. Нет, мои чувства приспособились к чувствам Буллы. Заплачь он, и я заплакал бы тоже. Начни он богохульствовать или проклинать ма Томпсон и неведомые злые силы, похитившие молодую жизнь Берил, я вторил бы его проклятьям. Но он, старый добрый человек, слишком много повидал на своем веку и ничему больше не удивлялся.

Ма Томпсон закрыла Берил глаза и положила на них две монетки, а старуха в шляпке, похожей на смятую орхидею, собрала свои инструменты и сунула их в потертую кожаную сумку.

— Я уж говорила вам, ма Томпсон, неприятностей никому не будет. Мой друг доктор подпишет бумажку, и вы спокойно сможете схоронить свое дитя,— сказала старуха.

Она первой нарушила долгую тишину, и меня испугало, как сухо и обыденно звучал ее голос. Ма Томпсон вышла из комнаты. Казалось, она продирается сквозь густую паутину. Смятая орхидея пробормотала что-то о деньгах и пошла за ма Томпсон.

— Лучше нам теперь уйти,— сказал Булла, взял меня за руку и увел прочь.

Мы прошли мимо ма Томпсон, сидевшей в своей качалке.

— Если я могу чем-нибудь помочь, ма Томпсон...— начал было я, но от взгляда ее старых глаз слова застряли у меня в горле.

Она смотрела себе в душу, и я понял: до самой смерти будет она видеть Берил живой и светлой, похожей на цветок в лучах утреннего солнца. Слезы текли по щекам старухи, исчезали в глубоких морщинах и снова появлялись где-то под подбородком. Она раскачивалась вперед и назад, обхватив руками свою увядшую грудь, словно баюкала ребенка, потом вдруг остановила качалку и закричала:

— Берил! Берил! Сколько раз говорить тебе, чтобы ты не водилась с этой черной уличной ребятней! Сейчас же иди в дом! Ты слышишь, Берил. На солнце ты почернеешь, дочка!

Мы оставили ее сидеть на веранде и потихоньку ушли.

■

Булла занялся устройством моих дел и в скором времени все уладил. У меня осталось только то, что было на мне, зато я чувствовал себя свободным и был счастлив, как никогда в жизни. И я понял, почему

старатели всегда приезжают в город, проматывают деньги и возвращаются в джунгли. Их взор привык к просторам саванны и сумеркам, таившимся среди гигантских деревьев в джунглях, они умеют преодолевать быстрое течение рек и обгонять солнце — днем и ночью, в дождь и в жару. В городе им было тесно, он не давал им того, к чему их тянуло. Ряды домов и путаница улиц сверкали манящими огнями празднеств, и старатели время от времени являлись сюда повеселиться; подобно птицам, залетающим в усыпанную алмазами росы паутину, они запутывались, но потом вырывались на волю.

Мы переехали к Эльзе и заняли пустовавшую комнату. Панчо прихватил с собой клаксон и каждое утро до блеска начищал его. Я написал Индре, прося ее вернуть мне долг, но ответа не получил. Булла дал мне денег на покупку провизии и снаряжения для поездки в Куюни, на золотые прииски, и вот мы снова расстались с Джорджтауном и отправились в Бартику.

Я распрощался с Буллой на следующую ночь после нашего приезда в Бартику. Он стоял на корме плоскодонного речного пароходика, кричал и махал рукой, пока в темноте не осталось ничего, кроме его голоса да пыхтения машины. Он возвращался к Белл. Он не сказал про нее ни слова, но я понимал, что она украсила его жизнь. Не любовь была ему нужна, а женщина, способная пробудить в нем отголоски юности, и именно Белл могла это сделать. Жизнь Буллы слагалась из привычек, мыслей, действий, вырабатывавшихся годами. Я бы возненавидел оковы дисциплины, которые накладывает подобный образ жизни, но завидовал ясности, которая была за это наградой. Буллу можно было скрести острым обломком скалы, и все равно ничто бы не содрало с него покрова спокойствия.

Мы с Панчо устроились на пристани возле своих тюков и ящиков. На рассвете судно капитана Родиуса выходило в Куюни, а теперь он и Джон Пай, гребец, старались прикончить запас рома на «Смуглянке».

— Ты, капитан, хорошо переносишь удары судьбы,— сказал Панчо, поудобнее устраиваясь на сложенном брезенте.— Словно и не жалеешь ни о чем.

— Я обо всем жалею, Панчо, жалею о Берил и о Булле, о потраченных попусту времени и деньгах, да что толку! Господи, да если ты меня спросишь, чего я теперь хочу, я отвечу, что только одного — опять разбогатеть.

Я лег на спину и стал глядеть на звезды и прислушиваться к пьяным выкрикам, долетавшим из города, а вода под нами лизала сваи, и казалось, что это шуршит женская юбка. Панчо быстро уснул, но ко мне сон не шел. Я вспомнил притчу брата Кристофера и попытался приложить ее к себе, но не смог. Я встал и пошел к холму Слез, потом вернулся обратно, рассвет застал меня сидящим на каком-то тюке, широко раскрытыми глазами я глядел на реку.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Было еще раннее утро, но солнце светило ярко. Ветерок сдул туман с реки. Темная вода ниже порогов Камария злобно бросалась на скалы, будто хотела сорвать их: пусть себе катятся до самого моря. Это были ворота, ведущие к золотым приискам в Куюни. Я смотрел на быстрое течение, и оттого, что я совсем недавно покинул кишащий людьми город, скалы принимали очертания человеческих фигур, они представлялись мне то карликами, то великанами, то ползающими младенцами, женщинами и мужчинами, и порой казалось, что не река кричит и шипит, а эти уродливые создания.

— А ну-ка подсоби! — крикнул капитан Родиус, и Джон Пай бросил мне тяжелый канат. Я поймал его.

В нашей партии было трое старателей, которых я знал по Перенонгу,— Вуди Сэм, Барнс и Англичанин. Увидев меня, они ничуть не удивились. Так же как Родиус и Джон Пай, они верили, что я вернусь, и если бы я обосновался в Джорджтауне и стал солидным горожанином, почувствовали бы себя обманутыми. Когда человек наживается на золоте и алмазах, никто и не ждет, что он удержит деньги. Эти трое перекочевывали из одного лагеря в другой. Вуди торговал в лавке, и Булла, вернувшийся в Перенонг без Тоника, попробовал соблазнить старого старателя небольшой долей в своем деле, но Вуди не сиделось на месте. В душе он был бродягой, и оседлая жизнь была для него невыносима.

— Все это окаянное городское винище теперь пóтом выйдет из нас,— сказал Панчо, когда мы принялись волочить через пороги пятитонную «Смуглянку».

Двенадцать человек тянули за канаты, и судно медленно двигалось против течения, вспенивая носом воду.

Солнце стояло уже высоко над деревьями, я давно не чувствовал его на своей голой спине и потому запел:

Гора поет у Аризы,
Река царит в Камарии,
Солнце прыгнет,
И река дрогнет,
И человек на реке поет:
— О бог, Царь-Солнце,
Пусть мне поется,
Пусть легче живется...
О бог, Царь-Солнце,
Пусть мне поется,
Пусть легче живется,
Пусть мое счастье надо мной не смеется.

И остальные подхватывали хором:

О бог, Царь-Солнце,
Пусть мне поется,
Пусть легче живется,
Пусть мое счастье надо мной не смеется.

С песней работалось легче, и вскоре мы добрались до зеркальной стены водопада, который нужно было обходить по суше. Мы снова вытащили «Смуглянку» из воды и волоком на катках потащили ее. Скалы раскалились так, что я чувствовал, как пахнут горелым подошвы моих парусиновых туфель. Панчо и Вуди сушили тюки и ящики, которые мы выгрузили в том месте, где кончался волок и где нам предстояло заночевать. Оба они здорово работали, и мне было стыдно, что меня измотала жара и тяжкий труд. Голова кружилась от усталости, и мне уже казалось, что движутся не люди, а скалы. Речные мухи впивались в распухшие веки, перед глазами вертелись красные круги. На суше «Смуглянка» являла собой жалкое зрелище, она кренилась, скользила и шаталась на катках. В полдень, когда мы сделали перерыв, чтобы отдохнуть, я осмотрелся. Мне всегда требовалось немало времени, чтобы осознать, что я на новом месте,— ведь в жизни моей столько всего случалось: не успевал я осмыслить одно, как уже накатывалось другое. И происходило это потому, что для меня то, что я видел, значило гораздо меньше, чем то, что я ощущал. Мне необходимо было всем существом почувствовать место — так летучая мышь чувствует темноту,— и только тогда я обретал покой. Все случившееся в Джорджтауне уже отошло от меня — я не привязался душой ни к большому дому, ни к машине, ни к длинным улицам. Напротив, тут, в джунглях, я ожил. Расплавленное белое солнце, висев-

шее в необъятном небе, гигантские деревья, под сенью которых в полдень не дохнет ветерок, орхидеи и кричаще яркие цветы на лицах скал, грохот реки — все заставляло кровь быстрее бежать по жилам и сердце радостно биться. Я стоял в тени, обливаясь потом, и вдруг до конца понял, что вернулся в джунгли.

На закате мы кончили работать и оставили «Смуглянку» на катках. Я повесил гамак и с наслаждением вытянулся, а Панчо и Вуди разожгли костер. Родиус все расхаживал по берегу — должно быть, никак не мог свыкнуться с тем, что под ногами у него твердая земля. Я видел верхнюю половину солнца, садившегося за деревьями, и на секунду оно стало похоже на дикого зверя, который припал к земле, выгнул спину и изготовился снова прыгнуть в небо. Наступила ночь и затушила последние краски, горевшие в небе и на реке.

— Обед готов, капитан! — крикнул Панчо.

Мы все вместе уселись вокруг костра и поели, запивая еду чаем из больших эмалированных кружек.

— Расскажи, Акула, что с тобой было с тех пор, как мы расстались,— попросил Родиус, ковыряя в зубах страшной черной колючкой,— я слыхал разное, тут говорили одно, там — другое, да ты сам знаешь, как любят негры приврать.

Англичанин, перебирая басы своей гитары, запел высоким приятным голосом:

Наш Акула — царь людей,
В Перенонге его власть...

И кто-то из старателей заметил:

— Высоко ты взлетел, знатно пожил, тряхнул деньгами, да и воротился назад. Все мы так.

— Ты что, навсегда сюда вернулся? — спросил Ракton Дэниел.

— Да разве кто возвращается сюда навсегда? — заметил Вуди.— Однако джунгли крепко держат человека, держат — и баста.

Два дня волочили мы по берегу «Смуглянку», а когда она снова погрузилась в воду, то вся задрожала, словно ей не терпелось кинуться в реку и мчаться до самой Вариди. На заре мы приготовились к дальнейшему путешествию, свернули канаты и уложили на место груз. Работая, всем приходилось топать ногами и стряхивать пробиравшую до костей сырость. Туман, лениво клубясь, поднимался со скал, будто дым невидимых костров, и, когда солнце согрело нас, пошли разговоры, смех. Родиус и Джон Пай добродушно выкрикивали слова команды. Панчо встал чуть свет и отправился поохотиться; когда я готовил завтрак, он принес кабана.

— Раздобыл свежего мяса, капитан, хватит до самой Ариму,— сказал он, улыбнувшись.

Панчо всегда радовался мелочам, которых другие и не замечали. Порой он напоминал мне Сантоса, только не было в нем ни злости, ни зависти. Когда он был трезв, лучшего товарища нельзя было и пожелать. Неделя проходила за неделей, и я понял, что в городе никогда по-настоящему не знал Панчо. Стоило нам покинуть Бартику, как он сразу разительно переменился, стал как-то живее и в то же время спокойнее. Ритм жизни джунглей был для него словно барабан для танцора. Он сбросил с себя городское платье, покрылся бронзовым загаром, и сразу стало видно, что он — житель лесных просторов, напористый и вольный, стремительный и сильный, как горный поток.

— Живее! Копаетесь, как старые шлюхи на крестинах! — крикнул Родиус. Мы весело заняли свои места, и «Смуглянка» поползла вверх по реке.

— Доберись-ка к вечеру до Аравака! — сказал Родиус, обращаясь к «Смуглянке», и мы поплыли мимо отвесных скал, покрытых мхом,

за который цеплялись виноградные лозы; на темно-зеленом фоне там и сям горели яркие пятна орхидей и других цветов.

■

Мы расположились лагерем там, где речушка Аравак впадает в Куюни, Родиус же поплыл дальше, вверх по реке, к Икована. Вуди Сэм, Англичанин и Рактон Дэниел объединились в одну партию со мной и с Панчо. Они сказали, что у меня счастливая рука на алмазы и золото. Земли Аравака густо поросли лесом, деревья нависали над притоком Куюни и ветви купались в спокойной реке. После полудня зеленый массив леса, подступавшего к самой воде, расцвечивался яркими пятнами — появлялись белые и розовые журавли и цапли, иссиня-черные зимородки и коричневые ханнакуасы. То одна, то другая птица ныряла за рыбой, ломая зеркальную гладь воды. Участки в этом районе давно не разрабатывались, и прежняя росчисть заросла подлеском и высокими, тянувшимися к солнцу деревьями.

На рассвете того дня, когда мы приступили к работе, я, стоя под деревом, точил топор, остальные осматривали участок и измеряли расстояние до речки. Ветер доносил их голоса. Вуди рассказывал, как много лет назад он разрабатывал золотоносную жилу около Матопе, в миле отсюда, а Англичанин, который был на побережье резальщиком тростника, хвастал, как он соблазнил жену белого надсмотрщика. Историю эту я слышал не раз, еще в Перенонге, но с тех пор он присочинил много новых красочных подробностей. По-видимому, историю с женой надсмотрщика он считал единственным важным событием в своей жизни.

— Стало быть, есть в тебе кое-что, от чего и белая женщина не откажется? — спросил Дэниел.— По мне, так на Ромео ты не больно похож.

Старатели захохотали. Они были жителями лесов и недолюбливали хвастунов с побережья.

— А то как же! Спросил бы ты эту белую.

— Не родись красивым, а родись счастливым,— сказал Вуди.

С моего места, хотя я стоял в темноте, было видно, как играют на реке солнечные блики. Кругом буйствовала и умирала тропическая природа, и вдруг мне представилось, что я в склепе и стараюсь прорубить отверстие, чтобы выйти из него.

Много недель строили мы хижины и покрывали их листьями пальм, как муравьи, трудясь над громадными деревьями от зари до зари. Местность кишела змеями, и по ночам, чтобы эти твари не заползали в хижины, мы выставляли за линией сторожевых костров плошки со сгущенным молоком.

Утомительная работа и тяжелый сон притупили воспоминания о прошлом. Каждый день я работал до седьмого пота, мечтать или сожалеть о чем-то было некогда. И если Панчо заводил разговор о Джорджтауне или Вуди — о Перенонге, места эти казались мне далекими-предалекими, с трудом верилось, что я когда-то жил там.

Как-то утром Вуди изловил молодую змею и размозжил ей голову о ствол дерева. Он безошибочно чуял змей по запаху. Вечером после работы мы купались в заводи пониже водопада Матопа, где вода была чистая и прохладная и не водились ни рыба-людоед, ни электрические угри. Стояла засуха, и широкая полоса воды, падавшая со скалы, походила на громадное зеркальное окно, за которым виднелись пещеры — обиталища скворцов и летучих мышей.

Трудно было ожидать, что пять человек смогут долгое время прожить без ссор близ сумрачного Аравака. Здесь на всех давила какая-то тяжесть, бывало засмеешься — и сразу станет как-то не по себе.

Каждое утро Панчо отправлялся на охоту и редко возвращался с пустыми руками. Иногда я ходил с ним собирать мед с больших чашечек цветов бальзовых деревьев. За медом надо было ходить очень рано, потому что целые полчища обезьян спускались с верхушек деревьев, срывали цветы и, точно из кубков, пили из них мед. Мне нравилось смотреть, как в безветренные дни Панчо стоял в чаще неподвижно, словно ствол дерева, и подманивал кроликов, индюков, маруди. Он знал язык всех обитателей леса и разговаривал с ними, как с людьми. Настреляв поутру дичи, он, возвращаясь в лагерь, распевал песни или хвастал своими охотничьими успехами. Панчо считал лес за Матопскими порогами своим личным охотничьим угодьем и однажды, завидев там Англичанина с ружьем, взорвался, как кипящий котел.

— Ты ничего не чуешь, капитан? — спросил он, и его свирепый тон удивил меня: я ни разу не видел Панчо сердитым.

Англичанин, хрустя ветками, шел к нам, огромный, черный.

— Чтоб ноги твоей тут не было! — заорал Панчо, шея у него вздулась, тело, готовое к прыжку, напряглось.

— Да ты что, приятель? На откуп взял этот лес, что ли? — спросил Англичанин.

— Ты, видно, давно по шее не получал?

— По шее? Вот я тебе сейчас...

— Уходи лучше!

— Ладно, ладно, приятель. И с чего это ты так раскипятился?

— Нечего тебе здесь делать, и все тут! Я своей добычей делюсь со всеми, а коли еще хоть раз увижу тебя тут с ружьем, я от тебя мокрого места не оставлю.

— Будет тебе! — сказал я.— Не слышно даже пения тинаму — так вы оба разлаялись.— Я обнял Панчо за плечи. Он утихомирился.

— А я думал, ты и вправду сердишься,— сказал Англичанин и скорчил такую уморительную рожу, что мы оба прыснули.

Вырубив подлесок, мы принялись валить вокруг хижин большие деревья. Работа эта была тяжелая, и через несколько дней мне пришлось ее временно прекратить — на ладонях вздулись пузыри. Вуди удивительно ловко действовал топором, и, вонзая его в ствол дерева, явно наслаждался своей силой и умением.

— Шевелись! — кричал он при этом.— Ну и молодежь пошла нынче! Вам эта работенка не по плечу.— Когда он рубил, мускулы его ходили ходуном. Он был невелик ростом, широкоплеч, с короткими ногами, голова у него была маленькая, шея — толстая.

— Ну и здорово у тебя, старик, получается! — однажды сказал я, наблюдая, как он орудует топором.

Вуди остановился, отер со лба пот старой шляпой, похожей на перевернутое гнездо, сплюнул.

— В моих жилах течет кровь рабов, капитан, а в груди бьется большое сердце.

— Старик крепок, как железное дерево,— сказал Дэниел. Долговязый и молчаливый, он имел обыкновение чему-то внезапно смеяться, и тогда смеялось все — глаза, рот, бесчисленные морщинки, испещрявшие его лицо.

— Я еще и потому хорошо сохранился, что не треплю свое тело, как вы, молодые,— сказал Вуди.

— Брось сказки рассказывать,— отвечал Дэниел.— Говорят, ты иной раз и тут умеешь хорошо поработать.

Большие деревья, падая, увлекали за собой десятки деревьев поменьше, небо над нами становилось все шире, и настроение у всех поднималось. По ночам звезды висели низко. Дэниел наигрывал на гитаре, а Англичанин пел песни. Мы вырвались из сумрачного склепа под кро-

нами гигантских деревьев и праздновали победу. Когда деревья падали, животные спасались бегством, кто не успевал скрыться — погибал. Однажды я увидел трехпалого ленивца, и рядом с ним — мертвого детеныша. У животного был перебит хребет, и нежные глаза его с укором смотрели на меня из глубоких глазниц. Они напомнили мне глаза страдающего ребенка. Я взял ружье и пристрелил искалеченного зверька.

Тишина в Куюни всегда наводила на мысль, что под землей таятся неистовые силы и никто не знает, каким образом дадут они о себе знать. Как-то после полудня солнце закрыла туча, похожая на тюк хлопка, который окунули в чернила. Варакабрасы в лесной чаще разразились тревожными криками.

— Не нравится мне эта туча,— сказал Вуди.— Если я хоть немного знаю Куюни, то она предвещает ураган.

Мы продолжали работать, наблюдая, как разрастается черная туча, покуда она не закрыла все небо. Ветер тронул деревья, гладь реки дрогнула и пошла рябью.

— Не зевай! Дер-жи-ись! — нараспев протянул Дэниел, мы побросали топоры и кинулись к середине росчисти.

Ветер все крепчал и внезапно с ревом прорвался сквозь лес, срезая, как тростинки, гигантские деревья — эбеновые, амаратовые, гринхарты. Кругом раздавался треск, грохот, земля дрожала у нас под ногами. Только хвост урагана задел наш лагерь, но все крыши посрывало и изодрало в клочья, мы ничком лежали на земле, спасаясь от ударов. Все произошло в мгновение ока, и, когда снова проглянуло солнце и рассеялись тучи, мне показалось, что я видел сон наяву. Но ураган проложил в джунглях просеку в милю длиной и сотню ярдов шириной, и после него нас несколько дней одолевали рассерженные муравьи.

— Еще два-три денька — и охотиться будет не на кого,— сказал Панчо.— Все живое попряталось.

— Что уж об охоте жалеть, скажи спасибо господу богу, что тебя-то пожалел,— заметил Вуди.

В эту ночь я лежал в гамаке и смотрел сквозь поврежденную ураганом крышу на звезды. Вуди улегся в соседнем гамаке, а Дэниел, Панчо и Англичанин играли в карты.

— Ты никогда и не вспомянешь про наше житье в Перенонге,— сказал Вуди, и я понял, что ему хочется поговорить о Булле и Белл. Ему давно этого хотелось, с самого нашего приезда в Аравак, да все не представлялось удобного случая.

— Жизнь, Вуди, идет своим чередом, что было, то прошло. Теперь уж ничего не изменишь.

— Когда Булла вернулся в Перенонг с королевой, я от удивления чуть не упал, верно говорят: седина в бороду, а бес — в ребро. Одному богу известно, как это Булла в его годы решил связаться с женщиной. Но он не дурак — хоть и дает ей волю, да крепко держит вожжи в руках, и она знает: хвостом может вертеть сколько угодно, да только с оглядкой: Булла как разозлится — ну, сущий тигр. Послушал бы ты, капитан, что болтали в Перенонге. Все как один говорили, что ты заключил с Буллой сделку и продал ему королеву. Ведь негры могут облить грязью всякого, кто, по-ихнему, слишком уж процветает.

— Булла мне друг и всегда им останется. Никакой женщине не встать между нами.

— Знаешь, с тех пор как они вместе, она с каждым днем молодеет, а у него волосы становятся все белее и белее.

— Одно, Вуди, я знаю наверняка — я не вернусь больше в Перенонг, это место принесло слишком много несчастья и мне, и моему отцу.

■

Мы соорудили рудопромывный желоб и подвели его к шахте. Потом, запрудив неглубокий ручей, прорыли два канала — один в направлении шахты, другой от шахты к реке, пониже плотины.

Приятно было снова видеть, как вгрызаются в песок и гравий лопаты, под их ударами из скал летят искры. Вуди, Дэниел и Англичанин работали в шахте, а мы с Панчо на промывке. Мы смотрели, как текла по канавкам желоба жидкая грязь. Перед каждой канавкой был положен шарик ртути, чтобы улавливать из породы золото. Мы же то и дело выбрасывали из желоба камни и ветви, мешавшие потоку породы.

Золото мы нашли на второй день работы. Я схватил первый самородок, потер его о скалу, поднял к солнцу и закричал:

— Золото! Золото!

Все сбежались ко мне, самородок переходил из рук в руки.

— Ей-богу, капитан, сроду не видал такого везучего человека, как ты! — сказал Вуди.— Может, теперь-то наконец съезжу повидаться со своими.

— Я тебя, Вуди, десять лет знаю,— сказал Дэниел,— и с тех пор как мы с тобой повстречались, ты всегда об этом говоришь.

— Ну а теперь уж поеду, клянусь небом и рекой!

Мы разбили над шахтой бутылку рому и, мечтая о горах самородков, вернулись к работе. Хорошо, что мы находились вдали от большого лагеря золотоискателей: в сорока милях к востоку — Икован, а в тридцати милях вниз по реке — Камария. Я знал, что старатели долго не удержатся в Араваке, сколько бы золота им ни удалось добыть. Самородки и жестянки, полные золотого песка, жгли им руки. Но в течение двух месяцев, до начала дождей, я смело мог на них рассчитывать.

■

Родиус прибыл в Аравак вскоре после первых дождей. Золото мы находили постоянно, но понемногу, и жизнь в конце концов вошла в привычную колею — работа и сон. Панчо с Англичанином несколько раз затевали ссоры, и, слушая их перебранку, я понимал, что под грубыми словами скрывалась потребность отвести душу и что оба получали от этого удовольствие. Родиус, часто проворачивавший на стороне кое-какие делишки, продал старателям за непомерную цену несколько галлонов спирту, поэтому всю дорогу от нашего лагеря до Икована все были пьяны.

Икован был небольшим грязным поселком, с покосившимися хижинами и вытоптанной травой. Солнце жгло, только когда оно стояло прямо над головой: высокие деревья, окружавшие хижины и дворы, большую часть дня закрывали их густой тенью.

Моя доля добытого золота составляла около пятисот унций, я долго торговался с Амаганом, владельцем лавки в Иковане, и наконец продал их ему за пять тысяч долларов. Не знаю, почему я проторчал в этой грязной дыре больше двух лет, когда с этими деньгами мог отправиться куда угодно, но если уж человек решил пройти сквозь чистилище, его и мать родная не остановит. В течение этих двух лет моя жизнь была совершенно бессмысленной. Возможно, мне надо было так пожить, чтоб в конце концов понять, кто же я, собственно, такой и чего мне надо. Два года, прожитых в Иковане, распадались на разрозненные отрезки времени, бессмысленные, не связанные друг с другом. Неизменными оставались только голоса Панчо, Вуди и Дэниела — голоса, пытавшиеся спасти меня от самого себя: Панчо — потому, что был мне действительно предан, другие — потому, что узнавали во мне самих себя и не могли вынести этого зрелища...

Хенни Боу-Воу была самой безобразной женщиной на реке, начиная от Рораимы, что у красных скал, и до Ореалы, Померуна и Акараи, но стоило ей появиться, как вокруг, словно патока, начинало растекаться сладострастье — густое, липкое, горьковато-сладкое.

Большой Мейси жил в хижине за лавкой Амагана. Больше всего на свете он любил поесть, выпить и погулять с женщинами. Поэтому жизнь старателя вполне его устраивала. Месяца два Хенни была моей подругой. Мы встретились в лавке, призывный взгляд Хенни устремился на меня, и с тех пор она меня не отпускала. Большому Мейси, прибывшему из Бартики, Хенни очень приглянулась, и он предложил мне разыграть ее в кости. У толстого здоровенного Мейси была такая блестящая лысина, что казалось, он каждое утро полировал ее, а потом перчил и еще подсаливал. Он сидел напротив меня, привалившись к столу своим большим животом. От керосиновой лампы воздух в хижине стал сухим и горячим, и я слышал, как Мейси втягивал его в себя своими лошадиными ноздрями. Хенни устроилась поодаль на ящике, в руке у нее была бутылка рому. В маленькой хижине было чадно, и запах, исходивший от Хенни, мешался с винными парами, Мейси шлепнул на стол пачку в четыреста долларов, я ответил тем же. Хенни улыбнулась и состроила нам глазки, страшная, как смертный грех. Мейси встряхнул в маленьком деревянном стаканчике кости, они загремели. Хенни поднесла нам по кружке рому. Она знала, что мы играем на нее, и была польщена.

Семерка считалась счастливым числом.

— Двадцать долларов, что не положишь на стол семерку! — подзадоривал я Мейси.

— Ставлю сорок! — крикнул он громким веселым голосом.

Пачка моих долларов стала таять, и Мейси сгреб выигрыш, хохоча и поддразнивая меня.

— Давай, Акула! Играй как следует! Это мужская игра, так кому же играть, как не тебе!

— Ставлю свои последние пятьдесят пять!

— Идет,— отвечал он, навалился на стол и двинул его на меня.— Идет, принимаю вызов!

Внезапно Хенни сбросила платье, уселась около Мейси. Ей хотелось, чтобы я выиграл, а Мейси проиграл.

— Пошли, миленький,— сказала она, и я сгреб выигрыш, а Мейси глухо расхохотался.

— Ты мне еще достанешься, Хенни. Можешь быть покойна. Ему ты надолго не нужна.

Панчо и три других моих ангела-хранителя поджидали меня в темноте.

— И чего ты, капитан, тратишь время с этой старой сукой?

— Господи, как же может опуститься человек! Подумать только, что это он, Океанская Акула, которого мы знавали в Перенонге!

— Брось ты, капитан, эту старую каргу!

— Убирайтесь! — заорал я.— Отвяжитесь от меня ради бога.

Я продолжал жить с Хенни, даже когда она уже стала казаться мне противной, как болотная змея. Однажды ночью я ввалился в нашу маленькую хижину, где она ждала меня в постели; охваченный внезапным порывом гнева, я сгреб ее в охапку и вышвырнул за дверь.

— Ты, Акула, рехнулся! Рехнулся! — взвыла она, и я еще долго слышал, как она всхлипывала за дверью.

Когда я утром проснулся, глаза мои застилал туман, непроницаемый, как повязка. Стена передо мной покачнулась, выпрямилась и снова встала на место. Я протянул руку, думая, что Хенни рядом, но ее там не оказалось.

— Хенни! — позвал я.— Хенни!

Кто-то плакал за дверью. Я выпрыгнул из постели, распахнул дверь, и Хенни укоризненно посмотрела на меня красными воспаленными глазами. Я поднял ее, внес в хижину, стал растирать ее закоченевшее тело и ласкал, как маленькую, до тех пор, пока она не уснула.

Хенни ушла к Мейси, и я до сих пор слышу раскаты его сочного смеха.

В самый разгар одной из наших пьянок, когда Амаган поносил меня, говоря, что я разоряю его лавку, мне встретилась Лиса Мейбл. Эта метиска была сама нежность, пока не выпускала коготки. Мы прожили с ней несколько месяцев, а потом она приревновала меня к Мадмус, моей второй подружке. Но Мейбл была доступна, как придорожная дыня, Мадмус же была как спелый плод на верхушке дерева. Как-то я пошел к Мадмус по залитой лунным светом тропке, москиты и совы пели мне песнь любви, тени были черны, и там, где плясали светлячки, проступали темно-синие островки. Я лежал рядом с Мадмус, ее теплое дыхание и скользящий ритм ее тела погружали меня в сладострастную реку ночи. Мейбл распахнула дверь и оторвала нас друг от друга. Обе они, позабыв обо мне, как два оцелота, вцепились друг в друга — они царапались, визжали, кусались. Соседи слышали крики, вой и всхлипывания женщин.

Очень соблазнительна была Мадмус, и я тянулся к ней снова и снова. Парис, ее прежний любовник, явился с верховьев реки и застал ее с Матабом, красавчиком с побережья. Мадмус и Матаб были на реке в плавучем домике, и Парис обрушился на них, как демон. Они прыгнули в воду и вплавь бросились от него, но он в лодке погнался за ними. Он раскроил Мадмус череп охотничьим ножом, у Матаба же одна рука оказалась наполовину отрезанной. Картина гибели Мадмус преследовала меня, пока из Бартики не приехала Прелестная. Она была темнокожа, с большим ртом и черными глазами, которые ни на чем долго не задерживались. Я дарил ей шелка и драгоценности, и она была благодарна мне.

— Оставь ты, капитан, этих проклятых шлюх!

— Ну, хозяин, совсем уж ты докатился!

— Ты что, заразиться хочешь, что ли? — хором твердили мои ангелы-хранители.

Прелестная обманывала меня, но я не знал этого, пока однажды в полночь не услышал, как кто-то барабанит в дверь и орет:

— Отвори, Прелестная! Я пристрелю твоего любовника!

Я выскользнул из постели и направился к заднему окну, но Прелестная прыгнула как кошка, выхватила нож и преградила мне дорогу.

— Еще один шаг, и я скошу тебя, как травинку! — произнесла она, и я замер, беззащитный, между мужчиной с ружьем и женщиной с ножом в руке. Коварная улыбка скользнула по лицу Прелестной. Стук в дверь усилился, хижина содрогалась на высоких сваях.

— Отвори, или я буду стрелять, пока не впустишь!

Прелестная, видя, что бежать я не собираюсь, распахнула дверь.

— Хорошо, мистер Заки! Сперва застрелишь меня! Ну же, коли ты мужчина — стреляй!

Наступила долгая пауза, потом Заки заговорил, и в голосе его уже не было гнева:

— Ах, Прелестная, я же люблю тебя. И почему ты так со мной обходишься? — Слова его перешли в рыдания, и какая-то птица запела свою ночную песню.

Мои ангелы-хранители разработали план, как увезти меня из Икована. Они напоили меня до бесчувствия и сволокли на «Смуглянку», а когда я проснулся, все еще не протрезвев,— мы уже подплывали к Ариму.

— Ну, как ты, капитан? — спросил Панчо.

— Где Вуди?

— Он и другие остались там — еще не все спустили.

— Здорово, Акула! — закричал Родиус.— Я уж думал, тебе крышка; ты так пил в Иковане, что я забеспокоился. В последний раз, когда я был в Перенонге, я сказал Булле, чтобы он приехал и вытащил тебя, пока не поздно. Булла уже совсем было собрался, да тут рассердилась королева: мол, что посеешь, то и пожнешь — все мы так. Ты же знаешь, Акула, как она тебя любила.

— Все они, Родиус, любили меня. Как помру — будут плясать на моей могиле, пока не сравняют ее с землей. И зачем вам понадобилось увозить меня из Икована — и тебе, и Панчо, и кто там еще это затеял?

— А я скажу зачем. Булла послал меня за тобой. Он хотел сам приехать, да не на кого лавку оставить.

— Как же мог он приехать за мной, когда Белл еще с ним?

— Ты что, не слыхал разве?

— Чего не слыхал?

— Да что королева бросила старика, вернулась в Джорджтаун и взялась за старое.

— А как же Булла?

— Я всего не знаю. Только думается, Булла решил, что все к лучшему,— уж по глазам ее видать было, что королеве не сидится на месте. Знаю, капитан, ты когда-то любил королеву, но только я всего на своем веку перевидал, шлюха — она и есть шлюха и всегда ею останется. Вот какие дела.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Я вернулся в Перенонг. «Смуглянка» подошла к пристани у крутого обрыва, и я увидел Буллу, спускавшегося по лестнице мне навстречу. День клонился к вечеру, туканы и журавли слетались на ночлег к высоким деревьям за холмом. Все было по-прежнему, только трава вокруг лавки выросла по пояс — после отъезда Тоника некому было косить ее.

— Рад тебя видеть, Акула! Я уже думал, ты совсем не приедешь.

В голосе Буллы я услышал нотки горького одиночества. То было непостижимое одиночество человека, который всегда делал добро другим и которого всегда предавали. Мы обнялись, и я почувствовал, что никогда больше не захочу расстаться с Буллой.

— Пошли, Панчо,— сказал я.— Теперь мы, мальчик, дома.

Панчо улыбнулся и взвалил на плечи тюк с нашими пожитками.

— По такому случаю надо бы выпить,— сказал Родиус.— Пока мы добирались до Камакусы, в горле у меня совсем пересохло.

Булла захохотал, словно у него гора с плеч свалилась.

— Ну, пойдем, чего ждете,— сказал он.

Джон Пай пришвартовал «Смуглянку», и мы поднялись по извилистой тропинке к лавке.

— Как идут дела? — поинтересовался Родиус. Он тут же привалился к стойке и стал большими глотками пить ром.

— Сам видишь,— отвечал Булла, обведя рукой пустую лавку.— Дело не больно-то процветает.— Он уселся на свой высокий табурет, отхлебнул из кружки, сначала пополоскал рот вином, потом проглотил его, и я увидел, как сильно он постарел за эти два года, что мы не виделись. Глаза глубоко запали, и черная кожа приобрела сероватый оттенок, будто он напудрился пеплом.

— Знаешь ты Китченера? — вдруг спросил он Родиуса.

— Рубена Китченера? Того долговязого, что ходит будто не на своих ногах?

— Того самого. Когда господь бог распределял уродство, он, похоже, цапнул самый большой кусок.

— Знаю я этого парня, Булла. Насчет красоты ему не повезло.

— Он мне делает всякие пакости, и я рад, что вернулся Акула. Стар я уже становлюсь и не могу постоять за себя, как прежде.

— Не говори так, Булла. Задора в тебе, как в бойцовом петухе,— перебил его я.

— Этот Китченер месяц назад открыл в Оронопаи лавку и уже показал коготки. Не беда, что он у меня помаленьку торговлю перебивает, беда, что он пытается захватить участок повыше водопада Трав, а Бэнер Бэгерт поручил мне за этим участком присматривать.

— И как же это случилось? — спросил Панчо.

— Погоди, сейчас расскажу. Все началось, когда королева еще жила у меня, Китч ее обхаживал и так, и эдак и выведал у нее, что золота на этом участке пропасть. Вдобавок, с тех пор как ушел Писака, новый сержант поддерживает этого разбойника.

Я глядел на усталого брюзгливого Буллу и не мог поверить, что предо мной тот самый человек, который примчался в Джорджтаун выручать меня. Мне стало грустно, и в то же время я радовался, что впервые мог что-то сделать для него. Ведь раньше я смотрел на него снизу вверх, он был моей опорой и защитой.

— Мы с Панчо можем хоть сейчас приступить к разработке участка, и если этот мистер Китченер объявится, ему придется иметь дело со всеми нами.

— Вот ты и опять прежний, Акула! Нет, вы только послушайте, как он говорит! — воскликнул Родиус.

Впервые я испытал, что значит вернуться домой. С тех пор как я покинул Махайку, жизнь моя, словно лиана, вилась сквозь джунгли времени, без конца и без начала, а теперь пустила корни в красной земле и песчанике Перенонга.

После отъезда Белл Булла покинул домик на холме, и за это время виноград и ползучие растения со всех сторон оплели его, а посреди дома выросло дерево, которое тянулось к солнцу, покуда не подняло крышу. И теперь она сидела на его ветвях, как шляпа. Несколько постоянных клиентов остались верны Булле и каждый вечер приходили в лавку выпить, поболтать и выпросить кое-что в долг. Человек не замечает перемены в себе, пока не увидит отражения этой перемены в глазах других. Так и я понял, что стал взрослым, увидев, как сидит и смотрит на меня Булла, улыбаясь своим мыслям.

Мы с Панчо поселились в комнате Тоника за лавкой, и по ночам я часами без сна лежал в постели, вспоминая свое детство в Махайке, жизнь у доктора Рама, первое путешествие в Перенонг вместе с Сантосом, встречу с Белл, дешевую славу, которую я вкусил в Джорджтауне, беспробудный кошмар Икована. Те, кто участвовал во всем этом, говорили со мной и шли со мной рядом, снова и снова предавали меня и смеялись надо мной, и смех их разносился по всем рекам, по которым мне довелось плавать.

Мы начали работать на участке Бэгерта за водопадом Трав. В период дождей река вышла из берегов, а когда вода спала, остался слой глины в два фута толщиной, он затвердел на солнце и растрескался. Нам понадобилось два месяца, чтобы вырыть шахту и водосток, который, поскольку река непрерывно мелела, нам то и дело приходилось углублять. Расширив шахту, мы стали копать вглубь, пробиваясь сквозь твердые наносные слои глины и гравия, пока не добрались наконец до скалы. На дне шахты было тихо — мы работали только вдвоем с Панчо, и каждый удар лопаты отдавался, как раскат грома. Мы не могли прорубить скалу и поэтому пошли горизонтально по ее поверхности. Работали

мы, согнувшись в три погибели, стоило лишь слегка выпрямиться, как гравием сдирало со спины кожу. Мы насыпали гравий в ящики и по очереди вытаскивали их из тьмы на свет ко входу в шахту. Каждый раз, выбираясь наружу, я уносил с собой темноту, она обволакивала глаза, липла к телу, покуда солнце не сжигало ее. В первый день гравий дал целую унцию золота, и при виде его я так взволновался, что нарушил долгое молчание.

— Слушай, Панчо,— сказал я,— теперь-то я знаю, что мне делать с деньгами, которые выручу, и никто не выманит их у меня, никто. Я куплю в Махайке землю, кусок земли, тянущийся от моря до леса, и стану выращивать кокосовые пальмы, рис и овощи. Я — деревенский парень и знаю землю, как знал ее мой дед, всю жизнь боровшийся с ней...

— Да ведь ты, капитан, не можешь бросить Буллу.

— Я думал об этом, он стареет и становится все слабее, и я смогу уговорить его. Я возьму Буллу с собой, и у него с тетушкой Мур и братом Кристофером только и будет заботы, что сидеть да по-стариковски болтать.

По вечерам в лавке бывало тихо, разве что Персиваль, рыбак, напьется зелья, которое он варил из хины с маниокой. Как-то раз Панчо отведал этой настойки, и ему пришлось прыгнуть в реку, чтобы охладиться. Он говорил потом, что в нутро ему словно осы впились. Иной раз заходил сыграть в покер Мюррей, молодой держатель заявки близ Оронопаи. Булла не любил Мюррея, подозревая, что он друг Китча и шпионит за нами. Я попробовал пригласить Мюррея к нам работать, но он, едва взглянув на шахту, заявил, что делать деньги можно более легким способом.

Погода продолжала стоять сухая, и мы удлинили шахту. Теперь, чтобы добраться с ящиком гравия до выхода, требовалось четверть часа. Нам приходилось жечь свечи, и, когда мы продвигались вперед, громадные уродливые тени плясали по стенам. Я не отрывал глаз от золотой жилы и работал как одержимый. Грязь запекалась на теле, налипала на веки, забивала ноздри, и, когда я сморкался, глухое эхо звенело вокруг и, помедлив, сливалось с ударами кирки Панчо. Мне было интересно — о чем он думал? Сам я думал всегда о разном: то мне виделась Белл, как она стоит в кухне нашего дома в Джорджтауне, расставив ноги и подбоченясь; то на меня смотрел, склонив голову набок, Тоник; то предо мной сидел в своем кресле брат Кристофер, глядел на реку Махайку и рассказывал мне о кругосветном путешествии Дрейка; я вспоминал ту ночь, когда бабушка прокляла дядю Ричарда; вспоминал, как просила у меня ребенка Берил; как доктор Рам смотрел на муравьев, сбегавшихся к ночному горшку его жены; как рассказывал мне Сантос про распятого Джордана — но при этом меня никогда не покидало чувство, что тут, неподалеку от золотой жилы, работает во мраке мой отец с двумя сотнями китайцев, а мистер Бьючемп расхаживает у входа в шахту. В темноте шахты я мог перебирать в памяти обрывки прошлого, и история моей жизни продолжалась.

Вскоре мы с Панчо решили, что незачем возвращаться каждый день в лавку, устроились лагерем около шахты и по ночам сидели у костра. Долгое безмолвие в темноте шахты нагоняло на Панчо уныние, и каждый вечер он молчал, глядя в огонь,— ни веселого смеха, ни шуток, ни охотничьих рассказов. Панчо был наполовину индеец, наполовину негр. И те и другие были жителями лесов, но первые умели внимать задумчивой тишине лесных сумерек, вторые же прятали свою грусть за веселым смехом. Наблюдая вечерами за Панчо, я понял, что́ нас связывает. Впервые мы встретились как хозяин со слугой, и он продолжал считать меня хозяином, потому что чувствовал потребность кому-то служить.

Однажды вечером я увидел, что он сидит у костра, как каменное изваяние, и пожалел его жесткой жалостью человека, чья воля подчинила себе волю другого.

— Панчо,— позвал я, но он продолжал смотреть в огонь, словно боясь, что если наши глаза встретятся, то он себя выдаст, выдаст свою потребность жить моей жизнью.— Расскажи мне про свое детство в верховьях Демерары.

— Мне иной раз кажется, капитан, что чернота в шахте соскребла у меня с языка все слова. Я ношу эту тьму в животе и не могу от нее избавиться. Сказать по правде, хозяин, мне в этой тьме-тьмущей страшно, ты работаешь, будто за тобой по пятам тигр гонится, а мне так только одного хочется — выдрать из себя эту темнотищу.

— Брось, чего ты разворчался. К началу дождей мы наберем целую жестянку золота. Дважды мне везло, это мой третий, последний ход. Если я сейчас промажу, другой такой случай уже не представится.

— Не золото, капитан, меня тревожит. Темнота. Не люблю я ее, она заползает в душу и не дает покоя.

— Если, дружище, в темноте есть золотоносная грязь, значит, нам придется жить в ней и работать. Англичане вон из какой дали едут сюда добывать алмазы и золото, так отчего же не делать этого нам?

— Им, капитан, это идет впрок; глаза белых давно разгорелись на золото, они пожирают это золото что твой рис, а в общем-то, что оно такое — желтая пыль и желтые камушки. Моя мать была индианкой, и на золото у нее никогда глаза не разгорались, и у людей из ее племени тоже. Если бы не ты, капитан, я бы оставил это золото там, где оно родилось, во чреве земли. Я люблю охотиться, люблю ловить рыбу, люблю целыми днями пропадать в джунглях, а другой раз хорошо и в город завернуть — поболтать и выпить с приятелями. Были бы все люди, как я, так золото и алмазы лежали бы там, где уродились, потому что, когда берешь их из земли и ничего взамен не кладешь, земля и река требуют жертвы.

— Раньше, Панчо, ты никогда так не говорил.

— Это, капитан, темнота меня гложет и заставляет задумываться, а я задумываться не охотник, мне по душе жизнь, похожая на горный ручей, где вода быстра, да не глубока.

— Так что ж ты предлагаешь, Панчо?

— Давай, капитан, передохнем немного от этой темнотищи. Давай на денек-другой прогуляемся на Сульфа Розу.

— Ладно, я согласен.

■

Мы отправились в сторону Сульфа Розы, когда солнце еще с трудом пробивалось сквозь утренний туман. Я позвал с нами Буллу, но он отказался — мол, стар становится, тяжело ему в его годы проделать такой большой переход сквозь джунгли. Мы шли налегке, и я с трудом поспевал за Панчо, он скользил впереди меня, как оцелот, быстро, пригнувшись. Когда солнце покрыло пятнами теней подножие леса, мы уже добрались до краснозема. День был жаркий, сухой, и только птицы да обезьяны, прыгая с ветки на ветку, шевелили листву.

— Хорошая погода, капитан. Люблю, когда земля под ногами твердая и сухая,— сказал Панчо, и я заметил, что к нему вернулась прежняя веселость.

Кролик стрелой перелетел через тропу у нас под носом, и Панчо исчез. Оглянувшись, я увидел, что он прижался к стволу дерева и подает мне знаки — не двигаться.

— Кто-то преследует этого кролика,—прошептал Панчо и, приложив к губам край листа, несколько раз коротко, резко свистнул. В двадцати

шагах от нас из высокой травы вышел ягуар и осмотрелся вокруг зелеными злыми глазами. Мы выстрелили одновременно, громадная кошка подпрыгнула и мертвой упала к нашим ногам, сразу уменьшившись раза в два. Я вонзил в ягуара нож, а Панчо держал ружье наготове, и когда убедился, что зверь мертв, опустился подле него на колени и погладил пятнистую шкуру, словно сожалея о гибели этого существа, яркого, как цветок, и быстрого, как ветер. Он мастерски освежевал ягуара, вырвал клыки и вырезал сердце, чтобы потом зажарить.

— Давай спорить, что я разыщу этого кролика,— сказал он, ушел и через несколько минут вернулся, держа за лапки мертвого кролика.

— Я не слышал выстрела,— сказал я.

— Я нашел его в дупле мертвым от страха, раз уж он глянул громадной кошке в глаза, его песенка спета.

Когда взошла полная луна, мы продолжали свой путь. Нам хотелось запастись свежим мясом, а в полнолуние охота всегда бывала удачна. Голубой свет косыми полосами падал на землю, сгущая тени, и поблескивал на голых плечах Панчо.

— В этих краях водятся змеи, наверняка встретим парочку-другую, они любят лунный свет,— сказал Панчо.

Ухала сова, и высоко над нами пел свадебную песню тинаму.

— Гляди! — сказал я и вытянул руку, но Панчо уже увидел сам: в островке лунного света, обвив друг друга, замерли, вытянувшись вверх, две змеи.

— Самцы борются,— сказал Панчо.— Самка, должно быть, наблюдает издали. Сейчас время свадеб.

Но змеи даже и не боролись, скорее, они танцевали — сворачиваясь и разворачиваясь, то отстранялись, то льнули одна к другой.

— Так они будут бороться много дней,— продолжал Панчо,— в этой борьбе оба самца часто погибают, а самка остается тут же, рядом, и смотрит, чтобы никто не потревожил ее мертвых возлюбленных, иной же раз она и сама умирает с горя.

Мы оставили змей бороться и двинулись дальше; время шло, и лунный свет становился ярче, а шаги наши звучали громче, когда мы ступали по сухим листьям, куда не проникала роса. Все обитатели леса давно уже уснули, только какая-то сова продолжала ухать. Мы подстрелили пару журавлей и двух кабанов. На обратном пути мы снова встретили змей, они все еще танцевали. Самка подползла ближе и лежала неподалеку от соперников, свернувшись кольцом, точь-в-точь кусок намокшего каната.

В лунном свете лес стал каким-то заколдованным миром. Над тропинкой, словно звезды, висели в паутине капли росы, воздух был напоен ароматом цветов, запахом дикого шалфея и белой акации.

В лагерь мы вернулись на рассвете, и я проспал до полудня. А проснувшись, увидел, что мой гамак промок от пота. Панчо и Мюррей играли в карты под большим деревом. Мюррей заметил, что я пошевельнулся, и крикнул:

— Эге-гей, капитан проснулся!

Я не отвечал, продолжая смотреть, как блестят в лучах солнца водяные мушки, вившиеся вокруг меня. Игроки подошли ко мне, я встал, расшевелил костер, набрал в большой железный чайник воды из ручья и повесил его над огнем.

— Чайку что-то захотелось,— сказал я.

— Да и я не прочь смыть пылищу, налипшую у меня в глотке,— сказал Мюррей.

— Видел ты сегодня Буллу? — спросил я.

— Загорает около лавки.

— Хозяин,— обратился ко мне Панчо, стоя рядом со мной, и я по-

думал, что даже на отдыхе с лица его не сходило охотничье выражение — он все время был начеку и прислушивался.— Хозяин, Мюррей говорит, что хочет работать с нами, он все обдумал, и, если мы дадим ему справедливую долю, он тоже будет вытаскивать гравий.

— Что это ты, Мюррей, вдруг надумал? — спросил я.

— Да так, Акула, участок мой уже выработан, а картами да болтовней сыт не будешь.

— Работенка, приятель, не из легких — пойди-ка взгляни на шахту.

— Я тяжелой работы не боюсь.

— Сколько же ты хочешь?

— Я не начинал с вами вместе, а потому хватит и одной шестой.

— Я дам тебе ответ завтра,— сказал я.

Мы не спеша попивали чай, ворошили костер и смотрели, как постепенно скрывается за деревьями солнце. Закаты в Перенонге казались концом света. Все в лесу ждало наступления темноты, и только когда она, быстро вытесняя сумерки, опускалась, начинали петь тинаму и ночные пчелы, а на пылающем небосклоне танцевали стаи летучих мышей, покуда ночь не накрывала все своими черными крыльями.

— Я приду завтра на рассвете,— сказал Мюррей, допив свой чай.

— Что ты на это скажешь? — спросил Панчо, едва замерли вдали шаги Мюррея.

— Мне это не по душе, Панчо. Очень уж он дружит с Китченером, и, верно, они вдвоем что-то задумали. Я Китченера в глаза не видел, но Булла говорит, что доверять ему нельзя.

— Все же, капитан, лишняя пара рук может вон сколько вытащить гравия, а дожди уже на носу. Да и я против лишнего человека ничего бы не имел — ведь ты иной раз за весь день рта не раскроешь.

— Я возьму его, Панчо, но глаз с него не спущу.

— Ты, хозяин, никому уж больше не веришь...

— С этим золотом, брат, даже родной матери верить перестанешь.

Вечером я заглянул в лавку и допоздна пил и болтал с Буллой. Дела его пошли в гору, как только стало известно, что я опять напал на золотую жилу. Булла долго разговаривал со мной.

— Я рад, что ты взялся за ум,— сказал он,— тебе еще идти да идти вперед, но ты уже многого добился. Ты становишься мужчиной, и нынче тебя уж никто не обведет вокруг пальца, как тогда в Джорджтауне этот Кендал и его дружок-португалец с кислой рожей. Только смотри, не сделайся чересчур жестоким и жадным. Зачем тебе это? Погляди на меня. Ведь у меня и деньги есть и имущество, а кому я все оставлю? Кроме тебя, у меня никого нет.

Наутро мы все трое спустились в шахту. Мюррей явился спозаранку, он знал, что я не могу не взять его. Я понял, что в наше отсутствие он наведывался на шахту и, когда увидел, как много мы уже сделали, решил, что ничего не потеряет, присоединившись к нам. Мы зажгли свечи и поползли вглубь. Капли воды блестели на стенах и падали мне на голую спину.

— Ну и здорово же у вас тут,— сказал Мюррей,— один водопромывный желоб чего стоит, на десятерых хватило бы.

— Говорил я тебе, мы с капитаном дело знаем,— отозвался Панчо.

Мюррей и Панчо без умолку болтали, а я был рад снова оставаться в темноте, чувствовать, как липнет к лицу и телу глина, стягивает кожу, делает ее твердой. Я рыл в шахте, вырабатывая золотоносную жилу, а Панчо с Мюрреем вытаскивали наружу гравий и промывали его. Я чувствовал, что они заключили против меня союз, и Панчо пошел на это в знак протеста против обуявшей меня страсти к золоту. Я прислушивался к далекому голосу Мюррея, отдававшемуся в шахте, и к ответам Панчо. Мюррей распространялся о девчонке, которую он оставил на побе-

режье, и я вспомнил Индру, и Белл, и Берил, и гулящих женщин в Иковане, временами я бросал работу, ложился ничком на влажный гравий, и холодные капли воды касались моего тела, как пальцы женщины. Мюррей был до того черен, что, когда он приближался ко мне, глаза его блестели из-за ящика с гравием, как у выглянувшей из темной воды рыбы.

Мы добрались до скал и такого плотного пласта гравия, что пришлось делать обводной туннель. Время от времени нам попадались гнилые древесные стволы, но они были мягкие, как картон, и пробиваться сквозь них было нетрудно. Я прошел через слой песка и нашел несколько больших самородков. Работа поглотила меня целиком, и я не слышал криков Панчо и Мюррея. Панчо пробрался ко мне и ударил меня по плечу.

— Ты что, капитан, совсем одурел? Или игру со смертью затеял? Никакие самородки не помогут, коли несколько тонн песка и скал сядут тебе, как шляпа, на макушку.

Я обернулся и отер с лица запекшуюся грязь и песок. Панчо потащил меня назад, и едва мы отползли шагов десять, как свод шахты рухнул, и мы чуть не задохнулись от пыли. Я расхохотался и крикнул:

— Обо мне, друг, не беспокойся. Если сам господь бог заслонит от меня эти самородки, я и его оттолкну...— Мои последние слова, казалось, утонули в пыли.

Когда вечером мы выбрались наверх, я увидел вокруг липы ободок.

— Нам надо удлинить смены. Скоро начнутся дожди.

— Еще удлинить? Больше мы все равно не наработаем. И так обливаемся по́том с утра до ночи. У нас в жилах не пар, а кровь, как у всех.

— А ты, Мюррей, согласен работать подольше?

— Если увеличишь долю.

— Дам еще полдоли.

— Полную долю. Для такой работы нужно быть железным, а мне и так уже легкие песком забило.

— Ладно, получишь полную долю.

— Я буду кончать работу, как всегда,— сказал Панчо, и оттого, что он впервые пошел против меня, я не нашелся что сказать. Будь мы с ним одни,— я бы посмеялся над его отказом, пообещал бы съездить с ним в город — и делу конец, но наши пререкания с удовольствием слушал Мюррей, и я понял, что должен утвердить свою власть.

Едва мы добрались до лагеря, как Панчо и Мюррей растянулись в гамаках, а я присел у костра. Башмаки мои промокли от росы, я снял их и так близко пододвинул к огню, что они задымились.

— Панчо,— начал я,— подойди-ка ко мне, я должен тебе кое-что сказать.

Он пожал плечами, и я увидел, как под рубашкой вздулись мускулы.

— Мы, капитан, устали, нет сил шевельнуться.— Я пошел к нему и нечаянно толкнул гамак Мюррея.

— Полегче!— крикнул Мюррей.

— А ты не суйся не в свое дело,— отрезал я.

Панчо сел в гамаке, уставившись на меня своими темными глазами и, видимо, прикидывая, чего можно от меня ожидать. Я дал ему в зубы, а он даже не пытался защищаться. Я ударил его еще раз и еще, пока он не повалился назад, разинув рот. Я вылил ему на голову ведро воды, он пришел в себя и стал отплевываться.

— Ладно,— сказал он.— Ладно. Буду работать дольше.

В это самое время появился Булла, он увидел, как сплевывал кровь Панчо, увидел мое лицо и сказал:

— Я уж думал, вы — взрослые, да, видать, ошибся, до сих пор ведете себя, как мальчишки.

— Капитан наш распсиховался, ему и слова сказать нельзя,— проговорил Панчо.

— В своих делах сами разбирайтесь. Одно скажу тебе, Акула, золото, за которым ты гонишься, и до тебя многих прикончило. Все золото Перенонга тебе не вырыть, рой хоть до второго пришествия.

— Я пробуду, Булла, в этой шахте до первых дождей. Ты ведь знаешь, как трудно остановиться, когда слитки сами лезут в руки.

— Дело твое, только верь мне — ты играешь с огнем... Не нравится мне это подземелье, я и Джо Смарту это говорил, а теперь говорю тебе.

— Хорошо бы выпить,— сказал Мюррей,— болтаете тут без толку.

Булла, Мюррей и я пошли в лавку, а Панчо, сердитый и расстроенный, остался в своем гамаке.

— Ты обидел Панчо,— сказал Булла.

Мне стало стыдно, я хотел вернуться в лагерь и поговорить с Панчо, но я знал, что он долго не выдержит одиночества и непременно присоединится к нам. В лавке началась веселая гулянка. В Перенонге было много старателей из Оронопаи, они привезли с собой женщин. Женщины эти с началом периода дождей приезжали из Бартики — это было самое удобное время, чтобы порастрясти кошельки старателей. Булла разливал вино, разнимал драчунов, то и дело появлялся из задней комнаты с бутылками в руках и под мышкой, с неизменной добродушной улыбкой на лице. Около полуночи явились, будто никогда и не уезжали из Перенонга, Вуди Сэм, Дэниел и Англичанин, и Вуди занял свое место за стойкой рядом с Буллой. Женщинам предлагали крупные суммы, хотя, на мой взгляд, платить было, собственно, не за что. Гулянье продолжалось до самого утра, а когда мы с Мюрреем, спотыкаясь, добрались до нашего лагеря, Панчо там не оказалось. Он ушел со всеми своими пожитками. Мы вернулись в лавку и стали всех расспрашивать, не видал ли кто его,— нет, никто не видал. Булла сидел на крыльце и смотрел на восход солнца. Он и его лавка были неотделимы друг от друга, как пот и кожа. Нельзя было понять, что он за человек, Булла, не увидев заведения, построенного им в лесной глуши.

— Я скажу тебе, отчего ушел Панчо,— начал он, неторопливо раскуривая свою глиняную трубку.— После вашего похода в Сульфа Розу он заскучал по лесу. Странная штука с этими жителями лесов вроде Панчо или Тоника, им либо город подавай, либо непроходимые джунгли. Да и на что такому, как Панчо, деньги? Деньги ему подрезают крылья. Так вот я и говорю, затосковал он по джунглям, а тут еще ты обидел его, он собрал свои пожитки да и махнул в лес.

— Мне его будет очень не хватать, Булла. Я воображал, что Панчо меня никогда не покинет, а он взял да и ушел. Не везет мне с молодыми парнями вроде меня.

Я оставил Буллу грезить в голубом облаке табачного дыма и вернулся с Мюрреем в шахту. Все время мне казалось, что я вот-вот увижу на стенах пляшущую тень Панчо и услышу отзвук его голоса. Мюррей приползал за ящиками гравия, и промежутки между его уходом и появлением казались мне длиннее обычного. Впервые с тех пор, как я начал работать под землей, мне страстно захотелось выбраться из темноты, почувствовать, как бьет в глаза солнце, захотелось, чтобы оно выжгло тяжесть этого мрака, сжимавшего мне виски.

— Капитан, ветер прорывается в шахту, это дурной знак. Пока я добрался к тебе, он три раза задувал свечу.

Я продолжал вгрызаться в золотоносную жилу, надеясь, что, на наше счастье, дожди немного запоздают, и раздумывал, удастся ли мне уговорить Буллу продать свое заведение и поехать со мной в Махайку. Когда я возвратился в Перенонг, это казалось мне проще простого. Булла выглядел таким старым и одиноким, но в последнее время он все чаще поговаривал о том, что навек останется в Перенонге и кости его будут покоиться на холме под большим эбеновым деревом. Я не знал, на самом

ли деле он этого хотел или только по-стариковски думал о смерти задолго до ее прихода.

— Какое там небо? — спросил я Мюррея, когда он вернулся ко мне.

— Небо синее, ни облачка не видать.

Позади меня горело пятнадцать свечей, и пламя их напоминало пятна на орхидее «тигровая борода». Я смотрел на них, и на душе у меня становилось спокойнее.

Я думал о Панчо, понимая, что видел до сих пор лишь проблеск его подлинной души. Кендал и Белл, дядя Ричард и Сантос были ясны мне. Выросшие в деревне, на земле, они, покинув деревню, потеряли себя, а Панчо из любых обстоятельств мог выйти целым и невредимым. Он был рожден кочевником, и, куда бы он ни шел, вся его жизнь была при нем, он умел передвигаться с места на место, не оставляя следов.

Я услышал, как Мюррей кричит что-то у входа в шахту, и, обернувшись, увидел, что все свечи, кроме одной, погасли, но и пламя этой последней кренилось, словно от ветра. И тут же я почувствовал, что спину мне щекочет песок. Бросившись наземь, извиваясь, как змея, я пополз к свече, но не успел схватить ее, как порыв ветра погасил огонек. До меня донесся крик Мюррея:

— Скорее, Акула! О господи, скорее же!

Послышался глухой удар, и пыль взвилась так, что мне пришлось зажмуриться и зажать нос рукой. Вдруг я ощутил сокрушительный удар по ногам. Я лежал лицом вниз и не мог шевельнуться.

— Акула! О господи, Акула!— кричал Мюррей, голос его ударялся о стены, и эхо разносило его по шахте. Онемение в ногах ползло от коленей к бедрам, я это ясно чувствовал. Потом острая боль пронзила все мое тело, и я потерял сознание.

Когда я очнулся, солнце било мне прямо в глаза, я хотел пошевелиться, но боль стремглав кинулась от коленей вверх и зубами впилась мне в хребет. Я слышал голоса — Буллы, Вуди и Дэниела. Какую-то секунду они звучали четко, я различал их, потом они смешались, стали далекими-далекими и неразличимыми. Булла опустился около меня на колени и положил мне на лоб свою толстую сухую ладонь.

— Мальчик мой, сегодня у меня, старого, чуть сердце не оборвалось.

— Что случилось, Булла?

— Тебя здорово зашибло, Акула, придется везти тебя на побережье.

Мне все стало ясно, и не от его слов — от боли. Она вдруг разлилась по всему телу. Я попытался перевернуться, но чьи-то сильные руки прижали меня к земле.

— Я хочу знать, что случилось. Скажите мне все!

— Тебе переломило ноги пониже колен, и одну пришлось отрезать.

— Поднимите меня, я хочу видеть!

И я увидел, как впереди нас двигалось за деревьями солнце. Родиус кричал что-то Джону Паю, Булла склонился надо мной и сказал: — А ты молодчина,— и закрепил вокруг меня брезент. Я закрыл глаза и стал слушать реку. Мне вспомнилась ночь и слова Родиуса о голосах, доносящихся из глубины реки. Я вслушивался всем существом, но слышал один-единственный голос, голос брата Кристофера,— он рассказывал мне притчу о человеке, который поднялся на вершину горы, и все повторял последние слова:

— А когда они разжали ему кулак, в нем ничего не оказалось, и они все спрашивали: «Как же так, ты вернулся и не принес нам никакого чуда? Как же так?.. Как же так?..»

ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ

СТИХИ ИЗ РАЗНЫХ СБОРНИКОВ

БЫСТРАЯ МОЛОДОСТЬ ЧУВСТВ

(К 75-летию со дня рождения Унгаретти)

Лето 1962 года. И к полуночи не остыли раскаленные за день неистовым зноем белые камни Афин. Марево зноя и пыли словно навсегда повисло над городом, где в первые дни июня уже пожелтели, засохли цветы и травы.

В автобусе, который покинул город ранним утром и теперь пропетлял за день свыше четырехсот километров по крутым, серпантином вьющимся среди греческих гор дорогам,— участники сессии Совета Европейского сообщества писателей, на этот раз созванной в Афинах.

Придется признать — всем нам, мечтавшим в эти минуты лишь о гостиничной койке, стало немного и совестно и завидно, когда мы услышали бодрый, звонкий, молодой голос нашего почти семидесятипятилетнего президента Джузеппе Унгаретти: «Спать в такую ночь?! Ни за что! Те, кто помоложе, едут со мной на Акрополь... Акрополь нужно видеть при свете луны. Там, у подножия горы, лучшие в Афинах таверны!»

Сегодня, когда Европейское сообщество писателей торжественно чествует своего президента и в дни его семидесятипятилетнего юбилея отмечает более чем полвека его поэтической деятельности, нам, знающим Унгаретти, работающим с ним совместно последние годы, трудно сочетать столь почтенные даты с обликом человека, которому поэзия словно дарует вторую молодость.

Невольно вспоминаешь строки самого поэта:

И все же, и все же воскликну:
Быстрая молодость чувств...
Не уходи, со мной останься!

Впервые мы встретились с Унгаретти в римском Палаццо Браски, где состоялась первая, нелегкая и все же оказавшаяся столь важной для всех последующих контактов встреча итальянских и советских поэтов. Мы и тогда отметили сердечность, подлинное радушие, с какими нас встретил председательствовавший на этой встрече маститый итальянский поэт Унгаретти, вице-президент Общества дружбы с Советским Союзом.

Год спустя в Неаполе на Учредительном конгрессе Европейского сообщества писателей мы слышали вдохновенную речь Унгаретти, который призывал писателей к сплоченности, к единению, к осознанию своей важной роли в современном мире. С той поры дела и судьбы нашей первой в истории европейских литератур писательской ассоциации тесно связаны с именем Унгаретти, поэта подлинно европейского звучания, который в самом начале своего литературного труда в тяжелые для своей родины годы выступил против провинциальной ограниченности итальянской литературы того времени.

Когда скончался основатель Сообщества и первый его президент Джанбаттиста Анджолетти, писатели двадцати трех стран Европы с редким единодушием увидели в Джузеппе Унгаретти достойного преемника.

В марте 1962 года собравшийся во Флоренции конгресс Сообщества единогласно избрал Унгаретти президентом. Немного времени прошло с тех пор. Но сегодня мы рады отметить и деятельное участие Унгаретти во всех начинаниях Сообщества, и то высокое чувство общественной ответственности, которое им было проявлено. Особенно остро мы ощутили это в тяжелые для всего мира дни кубинского кризиса. В те дни Сообщество в четкой и недвусмысленной форме поддержало инициативу, направленную на сохранение мира, на устранение угрозы чудовищной истребительной войны. Позиция Сообщества отражена в принятой по инициативе Джузеппе Унгаретти телеграмме к Бертрану Расселу.

...Более чем полвека поэтического труда, полвека нелегких поисков поэтической истины на путях, нередко далеких от нашего понимания искусства... Сблизившись в самом начале своей литературной деятельности с влиятельной группой флорентийского журнала «Воче» (основана в 1908 году Прецолини), Унгаретти выступил решительным противником укоренившихся тогда в итальянской литературе условностей; он был с самого начала врагом бряцавшей громкими словами риторики д'аннунцианства, для него всегда были неприемлемы слащавость, сентиментальность и рассудочность эпигонов Пасколи. Но столь же чуждо было ему и псевдоноваторство итальянских футуристов. Унгаретти порой называют поэтом скорее французской, нежели итальянской школы. Влияние Верлена и Рембо на все его творчество несомненно. И тем не менее есть в не столь уж отдаленной по времени итальянской традиции поэт, который, по нашему убеждению, близок Унгаретти. Этот поэт — Джакомо Леопарди, стихи которого сегодня в Италии звучат современней иных написанных после него.

Риторическому краснобайству многих своих предшественников и современников Унгаретти противопоставил подлинное ощущение трагедийности мира, в столь высокой степени присущее Леопарди. С самого начала большого пути в поэзии для Унгаретти важнее всего были непосредственность поэтического восприятия, полнота эмоциональной искренности, близость образа — слова к поэтическому переживанию, хотя порой именно эти черты его творчества, возведенные в некий абсолют, приводили поэта к чуждой нам фрагментарности, к герметической замкнутости стиха.

Один из лучших исследователей творчества Унгаретти критик Альфредо Гарджуло писал о первых годах творчества поэта: «Глубоко было стремление к новой форме непосредственности, и это стремление удивительным образом выразили стихи молодого Унгаретти. Непосредственность, приближенность к жизни — никто не мог бы требовать большего от отраженной человечности его стихов...»

Разумеется, эти краткие заметки не претендуют ни в малейшей степени на анализ сложного пути, пройденного большим итальянским поэтом. И все же хочется сказать, что Унгаретти как никто сумел пронести до дней своего семидесятипятилетия верность собственному поэтическому темпераменту, эмоциональную свежесть и непосредственность своего столь музыкального и в основе своей глубоко человечного стиха.

М. Бажан
Г. Брейтбурд

Братья

Из какого полка вы
братья?

Дрожащее слово
в ночи

Новорожденный лист

В мучительном воздухе
невольный бунт
человека свидетеля собственной
хрупкости

Братья

Ясное небо

После такого
тумана
одна
за другою
появляются
звезды

Вдыхаю
прохладу
открывшую взгляду
цвет
неба

Себя ощущаю
блуждающим
образом

Вовлеченным
в бессмертный круговорот

Солдаты

Чувствуешь себя
как на осенних
деревьях
листья

Памяти Мухаммеда Шеаба

Его звали
Мухáммед Шеаб

Потомок
эмиров кочевников
решился на самоубийство
потому что лишился
родины

Ему нравилась Франция
и он изменил имя

Он был Марселем
но не был французом
хотя не умел
жить
в шатре
где внимают напеву
Корана
смакуя кофе

И еще не умел
отрешиться
от песни
своего одиночества

Я проводил его
вместе с хозяйкой гостиницы
где мы жили
в Париже
в номере 5 на рю де Карм
в увядшем покатом переулке

Он покоится
на кладбище Иври
в пригороде
где каждый день
как день
беспорядочной ярмарки

И может один я
знаю еще
что жил Мухаммед Шеаб

Покой

Грозди созрели, поле распахано,

Гора отделяется от облаков.

На зеркала запыленные лета
Тень опустилась,

Сквозь пальцы неловкие
Виден их свет прозрачный
И дальний.

Вместе с ласточками улетает
Последняя мука.

Ночь

Все распростерлось, ослабло, смешалось —
Свистки отправленных поездов.
Больше свидетелей нет, и вот выступает
И мой неподдельный лик, усталый
и разочарованный.

Не кричите больше

Перестаньте убивать убитых,
Не кричите больше, не кричите,
Если вы услышать их хотите,
Если вы хотите пережить их.

Голоса их еле уловимы,
Больше не шумят они, как травы,
Поднимающиеся счастливо
Там, где не ступает человек.

Навеки

Без нетерпения мечтам предамся —
Уйду в работу,
Которой никогда конца не будет,
И постепенно на вершине
Твоих оживших рук
Возникнут снова благотворные ладони,
В их ущельях
Зажгутся вновь возникшие глаза,
И неожиданно воскреснешь вся,
И станет вновь моим проводником
Твой голос.
Мы видимся навеки.

Перевод с итальянского ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

АТАНАС НАКОВСКИЙ

Мария против Пиралкова

РОМАН

Перевод с болгарского Н. САТАРОВА

5

На плотину Мария и Пиралков поехали в машине Стоимена Добрева. Неожиданное внимание бывшего студента польстило профессору. Однако он решил, что иначе и быть не могло: Стоимен уважал его, был ему благодарен за заботы — разве этого не достаточно, чтобы любезно предоставить профессору машину? Жест Добрева блестяще подтверждал впечатление, с каким Пиралков в тот день вышел из кабинета: Стоимен не хотел придавать трещинам в плотине особого значения, а они так или иначе касались и его... Предоставляя профессору свой автомобиль, Добрев этим как бы напоминал учителю, что тот должен быть осторожным.

Мысль взять с собой Марию пришла Пиралкову, когда он собрался навестить ее и нашел усталой и апатичной. Двигалась она машинально, смеялась невпопад, и профессор подумал, как сильно за одно только лето сдала эта женщина. Зная, что нервное состояние иногда объясняется критическим возрастом, он успокоился. Вечером, накануне отъезда, Пиралков невольно вспомнил о Марии. То ли от угрызений совести, то ли в силу излишней предосторожности, он решил взять ее с собой.

Они выехали ранним утром. На шоссе еще не было большого движения: в этот час лишь изредка попадались грузовики, спешившие в Софию. Машина неслась навстречу солнцу. Асфальт вдали блестел, словно политый водой. Деревья в тени возле дороги выглядели печальными, и только на освещенных солнцем местах их листья отливали веселым золотисто-зеленым блеском. Прозрачность воздуха и безоблачное небо предвещали душный и жаркий день. Когда машина пересекла реку Искыр, открылась голая, высохшая, почти желто-кофейного цвета равнина. Лишенная соков, свершившая свое дело земля была пуста и мертва. Мария почти физически ощущала эту пустоту. Она подумала, что ведь осень уже давно наступила.

Мария закрыла глаза и постаралась представить себе водохранилище, куда они ехали. Плотина возвышалась в лощине, окруженная

Окончание. Начало см. в № 1.

низкими зелеными холмами. Когда-то Мария провела там весенние месяцы, но сейчас не могла припомнить ничего, кроме горьковатого запаха распускающихся фруктовых деревьев. Она вздохнула и посмотрела на Пиралкова. Профессор молча и неподвижно сидел рядом с шофером; как всегда, он был тщательно подстрижен, в рубашке с ослепительно белым воротничком,— весь его вид, даже со спины, говорил о бодрости и свежести. Словно почувствовав взгляд Марии, Пиралков обернулся и, улыбаясь, сказал:

— Хорошо едем! Если бы выехали чуть раньше, обогнали бы поезд.

— Не все ли равно? — равнодушно отозвалась Мария.— Раньше десяти вряд ли сможем начать.

— Это так,— согласился профессор,— но меня захватило что-то вроде спортивного азарта.

— Можем попробовать, — предложил шофер. — Хотя поезд здорово нас опередил.

— Я пошутил, — рассмеялся профессор.— Слишком я стар, чтобы быть рабом страстей!..

Он повернулся, положил обе руки на спинку сиденья и, опустив подбородок на скрещенные пальцы — удобное положение для долгого разговора,— озабоченно спросил:

— Ты тоже еще не получила письма?

Мария промолчала.

— Такова уж наша молодежь — невнимательна! — вздохнул Пиралков.— Но это не столь важно...

«А что же важно?» — подумала Мария.

— Пусть отдохнут как следует, а все остальное... Удел всех родителей — волноваться и мучиться, в то время как дети их радуются и веселятся. Но, признаться, я предпочитаю, чтобы так было всегда. Ты представляешь себе, что́ бы мы делали, если бы было иначе?

— Что ты имеешь в виду? — забеспокоилась Мария.— Что плохого может с ними случиться?

— В принципе — ничего. Что может угрожать двум молодым людям, уехавшим в отпуск?.. Не беда, если похудеют, пополнеют или простудятся! Существуют другие тревоги — необъяснимые, которые налетают внезапно и в конце концов сводятся к вопросу: что я сделал для своих детей? Всем ли я для них пожертвовал?

Пиралков покачал головой. Машина вошла в тенистый зеленый тоннель перед Вакарелской возвышенностью, и лицо его потемнело.

— Не знаю, как ты,— продолжал он,— но я, думая о Росице, всегда вижу ее, как это ни странно, одновременно девчушкой с косичками и женщиной... Можно поднять стекло? — спросил он водителя и, нахмурившись, потер шею.— Самое интересное, что наши воспоминания о ранних годах наших детей тесно переплетаются с мечтами об их будущем.

Мария невольно вспомнила свое детство. Оно стояло перед ней таким живым и ярким, словно и не было этих лет, отделявших ее от того времени. Неужели она жила так мало? Неужели жизнь ее состоит только из детства и нынешнего бесконечного мгновения, исполненного страха смерти?

Она взглянула на профессора. Его важное лицо казалось ласковым, и только горькие складки у рта выдавали угнетенность и тревогу. С холма, на который, огибая гору, поднялась машина, виднелась стремительно бегущая навстречу дорога, а на ней — спускающаяся вниз телега и белеющие на фоне синего неба платки женщин.

— Я не хочу сказать, что наши дети ничего не достигли,— вздохнул профессор. — Дай бог каждому молодому человеку стать таким, как Георгий! Это лучший из моих сотрудников: он аккуратен, исполнителен

и, что самое важное, талантлив. Однако я постоянно ощущаю какую-то вину, которая коренится глубоко в моей душе; меня терзают неясные предчувствия, и их источник не в детях, а во мне самом... Может быть, в моих поступках... В бессознательном страхе, который присущ каждому человеку. А может быть, и в чувстве долга перед детьми. Ты не задумывалась над тем, что свой долг родителям мы возвращаем своим детям?

— Не знаю,— ответила Мария.— Мне это не приходило в голову.

— А я думаю об этом часто и потом задаю себе вопрос: что я для них сделал?

— Это верно! — вмешался шофер.— И я иногда так говорю.

— Правда? — Лицо профессора осветилось улыбкой.— А такой вопрос всегда ведет к самоосуждению. Ради детей я могу пожертвовать всем...

Он снова повернулся к Марии. Та опустила голову, почувствовав, что, если будет и дальше глядеть ему в глаза, профессор угадает ее настроение.

— А, в сущности, осуждение самого себя — перманентное проявление родительской совести! — возбужденно говорил профессор.— Отсюда и неясные предчувствия, и бессознательный страх, и чувство виновности — все...

Пиралков изъяснялся не столько словами, сколько взглядами и подкупающими улыбками. Выражение его лица непрерывно менялось, а в интонации голоса вкрадывались нотки, искажавшие или даже уничтожавшие смысл произносимых слов. Все это утомляло и тревожило Марию, напоминало об их первой встрече, и она пыталась думать о другом. Пиралков продолжал говорить — легко, с профессорским искусством и ловкостью, его приятный голос осаждал Марию со всех сторон, ей казалось, что она погружается в какую-то трясину.

Профессор не лгал: он вообще всегда мыслил логично и никогда не ошибался. Не ошибался и сейчас — нельзя сказать, что жизнь их детей не удалась. Правда, они вели несколько бездумный образ жизни, в чем-то, быть может, жили слишком по-современному, но были счастливы. Пиралков любил Георгия, как родного сына. Кто не знал хорошо их семью, мог подумать, что Росица ему не дочь, а сноха. Чего же желать большего? И сама Мария не могла пожаловаться на профессора: он был к ней внимателен, постоянно дарил цветы и при этом помнил, что она любит розы. Георгий работал у него в институте и был лучшим сотрудником — точным, исполнительным, а главное — способным. Пиралков первым открыл в нем способности. Разве этого мало?

Потом Мария снова вспомнила о смерти, и все ей стало безразлично,— жаль было только Георгия. Она больше не боялась, что Пиралков может прочесть ее мысли. Красивое лицо профессора казалось скучным. Он улыбался, и голос его звучал все так же приятно, но Мария понимала, что ему надоело разговаривать. Голос Пиралкова с годами не менялся, изменились глаза, побелели волосы, но голос остался тем же. Рука Марии онемела. Мария ощутила вдруг больничный запах и подумала, что Георгий еще ничего не знает... Затем до нее донеслось шуршание покрышек по асфальту, на повороте водитель засигналил, и Мария невольно представила себе их машину, длинную и синюю, и их, ее и профессора, которые сидят рядом и скрывают друг от друга свои мысли...

С шоссе свернули на проселочную дорогу, ведущую к плотине. Не успели проехать и пяти километров, как вдруг машину застопорило. Шофер откинул капот, покопался в моторе и, подняв испачканное маслом лицо, уныло произнес:

— Долго придется чинить!

Профессор Пиралков улыбнулся, разостлал на камне газету, уселся и весело сказал:

— Что же делать, подождем! Здесь красиво...

Ему казалось: будь он один, он сумел бы выйти из положения — можно и пешком дойти, но куда денешься с Марией? И Пиралков пожалел, что связался с нею.

После жухлых полей горы, покрытые низким дубовым леском, выглядели неестественно зелеными. Где-то глубоко внизу шумела невидимая река. Почти через одинаковые промежутки из-за поворота выскакивали грузовики; поднимая облака пыли и гремя кузовами, они мчались вниз — к главному шоссе. Некоторые водители притормаживали и спрашивали, нужна ли помощь.

— Едем на станцию за цементом! На обратном пути возьмем вас! — успокаивали они.

Первый из них вернулся только через полтора часа. Он спрыгнул на землю, сунул голову под капот машины, но вскоре выпрямился и безнадежно махнул рукой. Профессор любезно спросил, может ли водитель подвезти их к плотине.

— Только одного! — резко ответил тот. — Товарищ может сесть! — кивнул он в сторону Марии.

— Верно! Подъем большой, а машина с грузом, — с кислой улыбкой согласился профессор. — Ну, Мария, передай привет Новакову и скажи, что я иду пешком.

Прибывшие поездом члены комиссии тоже задержались; все вместе собрались в кабинете директора только к обеду и просидели в самый зной около двух часов. Профессор тер лоб и задавал вопросы, которые только благодаря его авторитету не казались бессмысленными. Мария смотрела на его лицо и думала о шофере грузовика — по дороге тот рассказал, что у него этой ночью родился сын. Парень с нетерпением ожидал конца работы, чтобы отпраздновать рождение ребенка; он, правда, и сейчас выглядел уже хмельным от счастья. Водитель был очень возбужден и порой даже стыдился своей радости: понимал, что неудобно говорить только о себе и поэтому спросил Марию, что привело ее к водохранилищу.

— А тот пожилой товарищ, что ехал с вами,— кто он вам?

— Почему вы об этом спрашиваете?

— Так... Просто интересуюсь... — уклончиво ответил шофер.— Я как будто его уже где-то видел!

— Мне он никто. Тоже член комиссии.

— Спрашиваю, потому что и его мог взять — места хватило бы на двоих. Но не люблю людей, которые всегда улыбаются. Человек смеется, когда у него радостно на душе. А чему он радуется? Машина повреждена, шофер получит выговор, вы ждете... Извините, товарищ, вы, наверно, его лучше знаете, но мне сегодня не хотелось брать в машину такого человека. Он испортил бы мне настроение!

В комнате было душно, пахло пылью и резиновыми сапогами, людям хотелось спать, а профессор продолжал улыбаться. Шофер угадал: Пиралкову было не до смеха. Еще утром Мария почувствовала — его что-то тревожит и на плотину он едет неохотно. Понять, что с ним, Мария и не пыталась — в душу профессора трудно проникнуть. Между ним и остальными людьми всегда вставала улыбка — одна и та же, но богатая

разнообразными оттенками. Она успокаивала или ласкала, трогала или издевалась. За этой улыбкой скрывались все его мысли и чувства.

Когда жара немного спала, профессор поднялся и повел членов комиссии на объект. Мария не впервые работала вместе с ним и знала, что здесь, как и везде, его окружит сонм почитателей. Большинство инженеров учились у профессора, многие читали его книги и статьи. Обладая прекрасной зрительной памятью, Пиралков отлично запоминал лица, и Мария никогда еще не замечала, чтобы кто-нибудь почувствовал себя обиженным или обойденным вниманием профессора. Он радостно и сердечно пожимал руки, всех внимательно выслушивал, никогда не спорил — соглашался или обещал подумать. А это льстило людям...

Не успела комиссия пройти и двухсот метров, как профессор уже очутился во главе внушительной группы. Он шагал медленно, глубоко дышал и тыкал тростью то в одну, то в другую сторону. Мария шла последней и не слышала, что он говорит. По своему состоянию она понимала — каждую минуту может начаться приступ. Боль никогда не появлялась внезапно, и Мария уже угадывала ее по напряжению, сковывавшему мышцы, по нежеланию что-либо видеть, слышать, по безотчетному страху, сжимавшему сердце. Затем предметы начинали терять свои очертания... Мария, задыхаясь, прислонилась к какому-то столбу. Профессор и все остальные, не заметив этого, ушли дальше. Мария жадно глотнула воздух. Боли еще не было, но Мария знала: чем продолжительнее тело готовится к встрече с ней, тем сильнее и невыносимее она будет.

— Не хочу, чтоб мне было больно! — простонала Мария и тотчас же поняла, что она давно уже мучается и из последних сил держится за столб...

Мария открыла глаза. Накаленный воздух трепетал над горизонтом, и ей показалось, что это вершины холмов чуть заметно пульсируют на фоне выцветшего неба. Потом она заметила испуганное лицо шофера, который подвез ее сегодня, и только тогда до слуха ее донеслось пение. Трое мужчин сидели в тени большого дерева и пели.

— Вам плохо? — спросил шофер.

— Нет, ничего... Здесь воздух намного чище... и солнце греет сильнее... чем в Софии. А я не привыкла... Вы... успели выпить?

Молодой отец смущенно взглянул на бутылку, которую держал в руке.

— Нет... но... Вам нельзя оставаться здесь! Надо прилечь...

Мария погладила столб. Боль уже утихла, но она боялась оторваться от опоры.

— Хотите, я вас отведу к нам?

Мария покачала головой.

— Лучше отведите меня под дерево. Там есть скамейка... А потом выпьем за вашего сына.

Водитель осторожно под руку повел Марию в тень. Люди, что сидели под деревом, встали и с любопытством смотрели на них. Шофер, вероятно, был смущен, но храбро улыбался и даже помахал друзьям бутылкой.

Трое парней перенесли стол с закуской к скамейке, на которую села Мария. Видно, они крепко выпили: их глаза блестели, движения были резкими и неуверенными. На столе стояла очень скромная закуска: две тарелки — одна с крупно нарезанной колбасой, другая — с брынзой и помидорами. Пили они без стаканов: каждый держал в руке по бутылке. Самый высокий — остроносый, с тонкой ниточкой усов и в расстегнутой донизу рубахе — спросил Марию, кто она.

— Мы, товарищ,— сказал он,— маляры и разбираемся в обхожде-

нии... Я и вот этот... А тот,— он указал на водителя,— не нашей профессии! Сейчас дай нам комнату красить — нипочем не возьмемся! А в обращении с людьми разбираемся. Вы вот уважили нашего друга на радостях! Пешо! Беги купи бутылку для товарища!..

Шофер осуждающе взглянул на остроносого, но тот решительно махнул рукой:

— Иди! Если тебе жалко, я заплачу! Денег у меня — одеяло могу из бумажек сшить...

— Пей и молчи! — строго приказал шофер.— Товарищ больна.

— Лучшего лекарства, чем ракия, нет. Она и мертвого поднимет! Одно время тетка Невена — прости господи, раньше времени умерла! — ракией лечила девяносто девять болезней. Если б у меня сын родился, целую бы бочку опрокинул!

Остроносый улыбаясь смотрел на Марию, и она с ужасом подумала, что о бутылке он говорит серьезно.

— Испугались? — неожиданно рассмеялся он.— Вас мы не заставим пить — мы маляры и знаем тонкое обращение! Но другой, кто придет, так легко не отделается. Эй, Младен! — закричал он.— Что проходишь, как по турецкому кладбищу? А ну, иди сюда!..

Позднее Мария подумала, что Младен пришел сюда нарочно, ради нее. А тогда ей показалось, что и он удивлен, застав ее здесь. Его загорелое лицо выглядело усталым, живые глаза смотрели пристально. Они почти мгновенно отражали волновавшие его чувства, и, возможно, поэтому создавалось впечатление, что этот человек постоянно чему-то удивляется.

— Я думал, ты не приехала! — сказал он, подавая руку.— Нигде тебя не видел... И в свите тебя не было! — Глаза его насмешливо блеснули.

Мария не видела Младена целый год, за это время он похудел, но выглядел более здоровым и свежим, чем раньше. Она пожала его теплую руку и улыбнулась.

— Мне сделалось плохо, и я отстала! Сейчас прошло уже, но я хочу еще отдохнуть.

Остроносый парень, до сих пор терпеливо стоявший в стороне, неожиданно раскричался:

— Давай, Младен! Знаешь, это нехорошо с твоей стороны! У человека сын родился.

Младен отстранил бутылку, которую ему протянул парень.

— Потом... Вечером... После работы!

— Это нечестно! — запротестовал остроносый, но Младен взял его под руку и отошел с ним к дереву.

Вид у него был озабоченный. Трое захмелевших, разгоряченных ракией парней с бутылками в руках окружили его и не хотели отпускать. Мария задумалась над характером этого человека. Он слишком замыкался в себе, был наивен, часто ошибался в оценке людей. Она знала, что не следует думать о нем, но при виде его широкой, сутулой спины и по-мальчишески плохо подстриженного затылка невольно вспомнила ту ночь, когда их разделяла одна только стена.

...Тогда она все еще страдала от своего нравственного несовершенства, неспособности легко переносить невзгоды и не могла отыскать к нему пути. Возможно, потому, что знала: это была последняя их ночь под одной крышей. Или потому, что рано или поздно боялась оказаться у двери его комнаты?

— Вы жили за базаром, возле реки! — говорила она Младену.— И были грозой всей округи!

Младен был на семь лет моложе Марии. Она сейчас смутно припоминала грязную улочку, неогороженные дворы и парнишку, который злил соседей, разгуливая по крышам и ломая черепицу. Ей казалось, что и она лазила с ним, хотя ни он, ни его приятели не играли с ней, считая девчонку слишком взрослой. Но так считали тогда... А не позже, когда они встретились вторично!

Это случилось через несколько лет после смерти Ивана. Мария уже училась в политехническом институте. Учение давалось с трудом: она отвыкла от умственной работы. Простые истины, которые молодежь схватывала на лету, усваивались ею с невероятным трудом. Младену негде было жить, а надо было посещать лекции, сдавать экзамены. И Мария предложила ему поселиться у них. Он был самым способным на их курсе, и вдруг отсутствие какой-то комнаты помешало бы ему учиться — нет, этого нельзя было допустить! Однако эта мысль, звучавшая как оправдание, пришла ей на ум значительно позже. Приглашая его, она волновалась, как девушка, а по утрам внимательно вглядывалась в зеркало и на улицах перехватывала взгляды мужчин, радуясь, что все еще молода и привлекательна.

Младен прожил у них четыре года; на четвертый женился, на пятый поссорился с ее сыном.

Мария знала, что воспоминания, которые теперь переполняли ее, навеяны близостью смерти: это она, приближаясь, с каждым шагом оживляла прошедшие дни и ночи, возвращала мечты и разочарования...

— А ты не прозеваешь осмотр трещин? — спросил Младен, подходя к ней.

Видно, инженер не устоял перед настойчивостью парней: от него несло ракией, а в глазах — слишком уж веселых — пряталась странная усмешка. Он вдруг беспричинно расхохотался.

— Едва ли,— ответила Мария.— Но если и опоздаю, нет основания не доверять другим...

Младен иронически взглянул на нее, вынул сигареты и закурил. Мария заметила, что ему не терпится что-то сказать.

— Как только я увидел профессора, сразу вспомнил сказку об ослиных ушах царя Траяна,— сказал Младен.— Как легко было в древние времена! Сегодня простая ивовая дудочка вряд ли справилась бы со сложными техническими задачами и отношениями между людьми.— Он взглянул на Марию и с преувеличенной озабоченностью воскликнул: — Но ты бледна, похудела, под глазами круги! Брось ты эти трещины: все равно Пиралков замажет их и без твоей помощи. Иди-ка отдохни как следует!

— Я тебя не понимаю,— удивилась Мария, и волнение, порожденное воспоминаниями, погасло.

Она смотрела на листья дерева, опаленные зноем и придавленные пылью, слышала песню, которую осипшим голосом пели шофер и его друзья и с горечью думала, что между нею и Младеном всегда было много недосказанного. Наверно, такая уж их судьба: когда-то она скрывала от него любовь, теперь он старается скрыть ничем не оправданную неприязнь.

— И тебя я не понимаю! — покачал головой Младен.— И себя не понимаю... И вообще никого не понимаю!

— Младен, не люблю я, когда говорят загадками.

Инженер пристально посмотрел на нее; глаза его, только что притворно озабоченные, злобно сощурились.

— Какая уж тут загадка? Пришел, увидел и скрыл! Я хотел сказать, что профессор Пиралков имеет полное представление о характере тре-

щин и причинах их возникновения, но вспомнил, что участники этой дискуссии слишком уж неравноправны!

Мария тяжело вздохнула. Младен хотел что-то добавить, но махнул рукой.

— А что делают знакомые в София? Целый год туда не показывался!

— У знакомых все в порядке, но не знаю, равноправны ли мы с тобой, чтобы говорить о них?

Младен измерил ее долгим взглядом, полным презрительного удивления. Он даже чуть наклонился вперед, как бы желая получше разглядеть выражение ее глаз, и Мария снова почувствовала тяжелый запах ракии. На лбу у Младена выступили капли пота, щеки побледнели. Мария отвернулась и увидела рабочих, возвращавшихся с плотины. Люди шли медленно, каждый нес на плече по три длинных стальных сверла. В тот момент, когда они поравнялись с магазином, оттуда вышла молоденькая продавщица и начала убирать парусиновый тент. Она стояла с поднятыми кверху руками; лица девушки не было видно. У нее были узкие плечи и красивые, оголенные выше колен ноги. Продавщица давно уже скатала полотно, но рук не опускала. И было что-то прекрасное и печальное в той забывчивости, с какой она стояла, подставляя взглядам мужчин свою стройную фигурку в простом ситцевом платье. Рабочие остановились и молча любовались ею...

Мария подумала, какими ничтожными бывают те чувства, которые ее порой волнуют. Она уже обернулась к Младену, чтобы сказать ему, что не стоит раздражаться из-за пустяков, но тяжелый, насмешливый взгляд инженера словно ударил ее по лицу.

— Извини,— засмеялся он.— Я не хотел тебя обидеть! — Младен встал и пересел на другую сторону скамейки.— Что поделаешь? — продолжал он.— Живет человек, трудится и незаметно привыкает к тому, что в нем нет ничего особенного, примечательного. Некоторые таким и представляют себе счастье! И вдруг приезжает Пиралков! Приезжает профессор Пиралков! — Младен помахал рукой, как бы приветствуя кого-то.— Приезжает со своей непостижимой добропорядочностью, со всем своим обаянием! Неприметный счастливый человек тронут огромным чувством самокритичности профессора, увлечен и очарован его грандиозными, но бескорыстными планами... И что же?.. Счастливый человек наконец пробуждается и видит, что у него не осталось ничего, кроме одной возможности — злословить! — Инженер с яростью швырнул сигарету на землю и растоптал ее.— Злословить, потому что его считают развратником, начиненным буржуазными пережитками, и — кто знает — может быть, человеком с темным прошлым! Кто же поверит такому человеку?

Младен, словно потеряв власть над собой, дрожал от возбуждения. Он вынул новую сигарету, сел рядом с Марией и резко спросил:

— А ты ни разу не подумала, что тебе не следовало бы ехать с Пиралковым?

Марию уже не радовала эта встреча. Она с горечью чувствовала, что способна возненавидеть Младена. «Каждому кажется, что он хорош. Но рядом с Младеном и я начинаю думать, что не настолько совершенна!» Она вспомнила его покойную жену Венету, потом подумала, что и сама скоро умрет, и грустно усмехнулась. Младен нервно повернулся. На мгновение у Марии мелькнула мысль, что он никогда не разговаривал с ней так, как сегодня, но, увидев его вздрагивающие плечи, она вспомнила о Пиралкове. Присутствие профессора объясняло если не все, то, во всяком случае, многое. Младена раздражало не только появление Пиралкова, но и связанные с ним воспоминания. Он снова и снова переживал все, что случилось с того дня, когда к нему ушла Венета, жена доцента Каракостадинова.

Мария посмотрела на резкий профиль Младена и поняла, что инженер не так уж пьян. Он, правда, выпил лишнее, лицо его все еще было бледным, но пьян он не был. Его просто волновали мысли о Пиралкове. Невольно Мария задумалась, вспомнив о событии, в свое время породившем много разговоров. Она вспоминала о нем с грустью и в то же время, как это ни странно, с облегчением, которого стыдилась, потому что любовь Младена к Венете изменила всю его жизнь. Правда, вначале казалось, что эта история не будет иметь серьезных последствий: посплетничают и успокоятся. Каракостадинов ничего не предпринимал ни против Младена, ни против своей жены, он даже просил не осуждать их. Сам же доцент страдал: ходил бледный, с опухшими глазами; горестная улыбка лишь подчеркивала его благородство. Эти переживания не прошли незамеченными. Измученный вид, исхудавшее лицо и потухший взор — все это по-разному действовало на окружающих. Каракостадинов, видимо, знал, что делает... Марию поведение доцента удивляло, но она невольно начала охладевать к Младену.

В то время Младен работал в институте Пиралкова. После того как жена покинула доцента, профессор не уволил Младена. Через год Венета родила мертвого ребенка и умерла от родов. Доцент напечатал душещипательный некролог и стал носить траур. Он пошел на похороны, стоял там с испитым лицом и блуждающим взором. У Каракостадинова вообще был скорбный вид, словно его от рождения обрекли на душевные муки. В атмосфере страданий он чувствовал себя лучше, мог полнее проявить себя. После похорон доцент показал всему миру, на что способно обманутое, но любящее сердце. Он отпустил бороду и заявил, что в память Венеты всецело отдает себя науке, рвет со всем, что могло бы помешать ему выполнить свой долг перед покойной, а именно: работать над осуществлением ее мечты приносить людям больше счастья и радости и в заключение написал докладную записку против Младена на двадцати восьми листах...

Впоследствии Пиралков уверял, что его тронул страстный призыв Каракостадинова к справедливости. «Несмотря на это, я хочу защитить Младена! — говорил он.— Но как? Научите! Как мне пойти против своего сердца?» Получив докладную записку, профессор решил поставить вопрос о Младене на публичное обсуждение всего коллектива института. Он поступил удивительно демократично: попросил сотрудников письменно изложить свои предложения и подписаться под ними. Он хотел, чтобы каждый был чист перед своей совестью и выразил свое мнение, не считаясь с дружескими чувствами. Однако большая часть сотрудников не одобрила предложения директора и не согласилась с ним.

«Мы знаем Младена не со вчерашнего дня. Болтовня о буржуазной морали — вздор! Почему нас только сейчас должен разжалобить Каракостадинов? Мы разговаривали с Младеном, улыбались Венете и ни разу не сказали: «Вы, Мишев, поступили нечестно!» Почему одни имеют право любить, а другие нет? А желание и чувство Венеты разве ничего не значат?» Так примерно говорили сотрудники. Но их усилия оказались тщетными: они не знали, что за полчаса до обсуждения Младен уже подал заявление об уходе...

Мария понимала, что ей не следует больше говорить с Младеном о Пиралкове, но в этот момент на дороге, ведущей к плотине, показался сам профессор в сопровождении чинной вереницы почитателей. Чтобы не видеть его, Младен опустил голову.

— Представь себе,— сказал он,— такую картину. Мыши пожаловались на кошку, и для расследования на место направили комиссию во главе с кошкой!

— Ты просто озлоблен,— с горечью упрекнула его Мария, но тотчас же поняла, что говорить этого не следовало.

Охваченный гневом, Младен изменился в лице.

— Понятно... озлоблен! — прохрипел он.— Конечно... Если уж не буржуазными пережитками, то хоть злобой объяснить!.. Спасибо тебе! Такого и Пиралков не придумал бы!..

— Не знаю, в чем ты меня подозреваешь, но нам действительно не о чем больше говорить!

— На твоем месте я бы вообще не приезжал сюда! Или ты хочешь сказать, что профессор и твой сын ничего не говорили тебе о причинах появления трещин? — Он смотрел на Марию широко раскрытыми, помутневшими глазами. — И плохо тебе стало тоже случайно?.. Ясно, совесть заговорила...

— Я думала, что обидела тебя, теперь же вижу, что ты и вправду озлоблен! — резко ответила Мария. Она знала причину неприязни Младена, но только не хотела в этом сознаться. Даже когда ей тяжело было видеть его недоброжелательное отношение к ее сыну — он считал Георгия посредственным ученым, занявшим в институте его место только благодаря бесцеремонной поддержке тестя, — Мария объясняла все странностями характера Младена. Она не хотела плохо думать о том, кого любила,— это унизило бы ее. К ней же Младен испытывал неприязненное чувство, потому что она породнилась с Пиралковым. И только! Но неужели этого достаточно, чтобы пробудить такую необузданную слепую злобу, которая заставляет человека не замечать вокруг ничего, кроме дурных намерений и тайных умыслов? И сейчас при виде этого красного, вспотевшего, проникнутого презрением, издевающегося над ней человека, Мария поняла наконец, что зря до сих пор молчала. Сознание, что у нее осталось не так уж много времени, обостряло это чувство. Другие могли ждать: у них впереди были месяцы и годы. У нее же каждый шаг, каждая секунда на счету. Сейчас наступила решительная минута, когда она должна рассказать ему все — и о своей любви, и о той боли, какую ей причиняет его неприязнь к ее сыну, и о том, что порою ей жаль, нет, вернее, не жаль, она испытывает чувство неловкости от того, что Георгий — зять Пиралкова... Но разве Младен не любил Венету и не знал, что такое любовь? И может ли кто-нибудь сердиться на Георгия за то, что он любит Росицу? И на Росицу за то, что она дочь Пиралкова? И, наконец, на Марию за то, что она мать Георгия? «Нет, Младен, твоя озлобленность убивает в твоем сердце нечто большее, ты мучаешь меня, мучаешь себя и делаешься невыносимым...»

Младен продолжал смотреть на Марию и ждал, что она скажет. Мария поняла, что не скажет ему ничего, и сидела, опустив голову. В мыслях все было так ясно и неоспоримо. Но она знала, что многое из ее слов останется неуслышанным и непонятым, потому что она в себе не уверена, а он в состоянии слушать только себя. Но ведь когда-то она любила этого человека!..

— Я не знаю, что ты хочешь сказать, Младен,— тихо произнесла Мария. — И не хочу знать! Твои мысли, наверно, гораздо обиднее намеков... Это не так уж трудно понять! Но, глядя на тебя, я вспоминаю Каракостадинова. Он тоже был озлоблен и искал способ настроить всех против тебя. Те, кто понимал это, не одобряли его поступков. Но Каракостадинов, пожалуй, был умнее: он не возненавидел своих друзей! Больше ничего тебе не скажу!

Младен снова рассмеялся.

— Не люблю слушать об этом клоуне, но ты сказала «друзей»! Существует только три вида людей, в чьих чувствах человек вначале может ошибаться: одни, как крысы, первые покидают корабль; другие наносят удары открыто — они отнюдь не менее подлы, а просто хотят

восстановить репутацию, пострадавшую от дружбы со скомпрометированным человеком; и, наконец, третьи — просто иезуиты... — Младен задохнулся от возмущения, но, овладев собой, с горечью добавил: — Ты права, действительно говорить нам больше не о чем... Прощай!

Когда Мария осталась одна, ей показалось, что снова надвигается приступ боли. Она встала и поспешила на плотину, чтобы посмотреть на трещины. Придя в дирекцию, Мария застала там и Пиралкова, сидевшего за директорским столом.

— Пришла? — улыбнулся он.— Проект заключения мы здесь почти оформили. Общие черты намечены...

Профессор вынул платок и нервным движением вытер шею. Тонкая блестящая кожа его рук была покрыта старческими морщинами. Свет из окна падал косо, и от этого лицо казалось высеченным барельефом. Мария заметила, как Пиралков покраснел, и снова поймала его взгляд — все такой же улыбающийся, но полный напряженного ожидания.

— Почему ты не сядешь? — спросил он.

Тут Мария поняла, что все еще продолжает стоять посреди комнаты, а люди удивленно смотрят то на нее, то на профессора.

Красивое лицо Пиралкова вдруг стало почти уродливым. Марии показалось, что на нем появились два совершенно разных выражения. Он поднялся, чтобы подать ей стул. Все это время она пристально всматривалась в Пиралкова. Профессор выглядел таким же, как всегда, улыбка надежно укрывала его мысли. Однако на мгновение Марии почудилось, что на нее смотрит множество ликов, все таких же улыбающихся и добродушных, но одновременно подстерегающих и расчетливых. Затем она вспомнила дорогу сюда и то раздражение, какое возникло у нее при мысли, что она видит у профессора два лица — одно настоящее, другое — созданное ею самой, ее малодушным желанием жить в спокойствии...

— Садись! — предложил Пиралков, и Мария, поглядев на него вблизи, заметила в его зрачках страх.

«Вспомнила! Сегодня он целый день был взволнован, и ему совсем не хотелось ехать на плотину! Почему?» Мария еще раз взглянула на профессора, тот улыбнулся и снова сел на место. Мария опустилась на стул и закрыла глаза. «...профессор и твой сын ничего не говорили тебе о причинах появления трещин?» Пиралков читал проект заключения комиссии, и голос его опять был приятен и красив. «Не может быть,— подумала она.— Это просто мнительность! Больное воображение! Моя собственная, годами скрываемая недоверчивость к Пиралкову! Он *не может* иметь ничего общего с этими трещинами!»

Затем Мария вспомнила разговор с Младеном и подумала, что́ общего *мог* иметь профессор с трещинами и почему здесь упоминается ее сын? Страх заполз в ее сердце: она знала, что Пиралков способен на все. Но, вспоминая Младена, Мария снова успокаивалась, уверяя себя, что ошибается — Младен пострадал от лицемерия профессора, ненавидит его и сам не знает, что говорит...

Она открыла глаза. Пиралков замолчал. Он ждал, что скажут другие. «Прежде всего, — думала она,— профессор далек от этой стройки. Намек Младена — фантазия. Мне просто давно претит рекламная благонамеренность Пиралкова и его невыносимая улыбка!»

Мария сидела, подперев щеку рукой. Вспыхнувшее в ее душе подозрение казалось необоснованным, возможно, рожденным сочувствием к Младену или сознанием, что профессор слишком уж добродетелен и по-

тому ему нельзя верить. Но она все еще находилась под впечатлением гневных слов Младена и не могла успокоиться. В голову приходили все новые и новые мысли. Она была очень нелестного мнения о профессоре, но думала, что это результат дурного настроения, которое, как уже не раз случалось, скоро пройдет. Она смотрела на красивое лицо и белые волосы Пиралкова, и какое-то запоздалое сознание виновности мучило ее. Заглянуть же поглубже в свою душу не хотелось... А может быть, она просто ошибалась?..

Когда по окончании заседания все вышли на улицу, луна уже поднялась, сады окутала тень, и на многочисленные складки гор опустился молочно-серебристый туман, постепенно сползавший к засыпающему селу. Пиралков и остальные члены комиссии пошли ужинать к директору, а Мария направилась к длинному кирпичному зданию, которое здесь неизвестно почему называли гостиницей. Она приготовила постель и выключила лампу. Свет словно вылился наружу, темное пятно окна заблестело мягким сиянием.

На другой стороне залитой луной площади показался человек. Он медленно брел к гостинице. Тень шла впереди, закрывая лицо прохожего, но походка его была Марии знакома. Посреди площади человек остановился и закурил сигарету. Мария поспешно отпрянула в глубь комнаты. Это Младен пересекал площадь. Некоторое время Мария слышала хруст гравия под его ногами, а когда в комнату проник запах табачного дыма, она поняла, что Младен сел на бетонные ступеньки у входа в гостиницу... По площади проехал запоздалый грузовик, и, когда утих треск мотора, Мария в тишине различила шум реки. Где-то далеко в горах лаяли собаки, в воздухе потянуло влагой, и Марии стало холодно... Младен сидел внизу в двух метрах от окна, дым его сигареты вползал в комнату, и, как раньше, их снова разделяла только одна стена. Однако на этот раз между ними пролегли годы совсем иных дум и чувств, иных воспоминаний и страданий...

6

Мария не могла забыть Ивана, хотя с трудом представляла себе его лицо. Оно словно утратило свои черты, стало нереальным. В ее памяти возник вечер, когда высохшая земля звенела под ногами, в воздухе пахло снегом, и она опиралась на теплую и крепкую руку мужа. Она видела страшные рубцы на его спине — следы нечеловеческих мук. И плакала. Каждый раз, когда она думала об Иване, у нее появлялись мысли и чувства, похожие на предутренний рассеянный свет, и в этом сумраке растворялся образ Ивана, как существа из иного, далекого мира...

Мария хорошо помнила отца, каким он был, когда после ареста Ивана она вернулась домой. Обиженный, он не проронил ни слова за все годы, что Мария с Георгием прожили в его доме. Возможно, он и заговорил бы, но она снова вернулась к мужу. Так отец и умер.

Помнила она и мать — малорослую, добрую и совестливую женщину. Неграмотная, набожная до фанатизма, она верила, что после смерти непременно встретится с тем, кто всю жизнь тиранил и обижал ее, но кого она все-таки любила. Однако наступил день, когда мать сама отрезала пути к этой встрече: она отдала свой голос за коммунистов и тем самым навсегда поссорилась с богом, возле которого ее ожидал муж.

Ради великого стремления людей к справедливости она примирилась со страхом перед вечными муками.

Несколько лет спустя умер последний человек, который связывал Марию с прошлым. В тот год, когда Младен женился на Венете, она получила телеграмму о тяжелой болезни сестры Ивана, сразу же выехала, но поспела уже к похоронам...

Стоял жаркий летний день. Накаленный воздух, казалось, дрожал. Горестный женский плач, приводивший Марию в ужас, несся над деревянными крестами. Все вокруг было серо, выжжено солнцем, и только кладбище пестрело цветами. Мария любила сестру мужа и, вспоминая жизнь покойной, плакала вместе с другими женщинами. Характером сестра Ивана походила на брата и всегда жалела, что не родилась мужчиной. Но за грубой внешностью у нее скрывалось доброе сердце. Она много работала в поле, была любознательна и, несмотря на то что кончила всего три класса, выписывала книги и журналы. За два года до смерти ее выбрали председателем кооперативного хозяйства.

После похорон родственники собрались во дворе на поминки, закусили, поговорили, а на прощание вручили Марии маленькую деревянную шкатулку.

— Иван ее сделал... В ней его бумаги. Покойница хранила их... Теперь это твое!

Мария сунула шкатулку в сумку и только в поезде, вспомнив о ней, открыла маленьким ключиком. Внутри лежали снимки и сложенные листы бумаги. Она узнала почерк Ивана — размашистый, твердый и не очень разборчивый.

Стук колес вдруг усилился: казалось, они тарахтят под самым окном. Чередуясь, быстро замелькали широкие полосы света и тени. Не поднимая головы, Мария догадалась, что поезд идет по мосту. Она вынула письма Ивана к сестре и задумалась, вправе ли вторгаться в мысли и чувства, предназначенные другому. Тревожное любопытство, как при неожиданной, но желанной встрече, одержало верх.... Поезд пролетел мимо накаленного солнцем полустанка. Мария заметила пристальный взгляд низенького человека в красной фуражке; затем поезд с пронзительным свистом влетел в проход между поросшими лесом склонами, и купе залил зеленоватый сумрак.

Было всего три письма, написанных в минуты большого душевного волнения.

«Я не послушался твоего совета и теперь не знаю, стоит ли об этом жалеть! Другие так не поступали, но что из того? В детстве я не испытывал такой нужды, в какой жили мои товарищи, и, в искупление тех лет, должен был стать беспощадным к себе. А сейчас тем более: из страха потерять Марию я малодушно промолчал, не сказал вовремя... Она плакала, но я не сдался! Омытые слезами глаза становятся прозрачными и не могут скрыть переживаний! Кажется, она относилась ко мне с неприязнью, жалела, что мы встретились, но так же, как и я, боялась потерять меня... Я не уступил, но сейчас мне тяжело... Нас связывает только чувство. Оно честно, и любим мы друг друга без принуждения!.. Все может случиться на пути, по которому я иду, если же что-либо произойдет — она будет не причастна и не разделит моей участи. Я верю и себе и ей — так именно и надо жить: только свободный человек может любить по-настоящему сильно! Но почему же мы несчастны? Что с нами? Думаю ночи напролет... Она похудела, осунулась. Недавно, вскоре после нашего разговора, у нее были гости. Она не рассказала, но я дога-

дался: на столе лежал букет увядших цветов, а на стуле — недошитая рубашка. Во сне она разговаривала, вставала с постели, порывалась уйти... Проснувшись, молчала, но встала с темными кругами под глазами. В то утро я понял, как переменился сам: никогда я не был разговорчивым, а после этой ночи и вовсе прошло всякое желание объясняться. Хотелось спросить, что случилось, но слова застревали в горле. И вчера тоже — не проронили ни слова. Смотрим друг на друга и молчим! Глаза у нее такие грустные; взгляну — опускает голову, поправляет платье. Вижу — не сердится, напротив! Боюсь, что ей нечего мне сказать. Неужели так и будем жить? О многом надо поговорить, а мы боимся слов... Вот и сейчас, когда я пишу тебе, понимаю: боимся, что все может всколыхнуться и напомнить о том же... А вернуться к этому нет сил ни у нее, ни у меня. Так хотелось бы повидаться с тобой, но Р. меня не пускает. Ворчит, жалуется, что я даром хлеб ем! Разве даром? Я, кажется, писал тебе, что мы живем в одном дворе с П. Он заигрывал со мной, хотел пойти на мировую. И жену обхаживал, пытался повлиять через нее. Мария одно время бывала у них, а потом перестала. По-видимому, поняла, что это за люди! Сестра, сестра, что мне делать? Заварил кашу, и теперь — ни туда, ни сюда! Неужели я подлец?»

Мария не чувствовала слез, которые текли по ее щекам. Дрожащей рукой она развернула второе письмо.

•

«Все было и прошло — и побои, и тюрьма. Ты знаешь, как я был силен и здоров; что же от меня осталось? Просто невыносимо читать сожаление в глазах людей! Жалеть-то надо не меня — других! В нынешнее время не следовало бы думать о чувствах, а я думаю: мы суровы только на вид, да и то не все. Разве не из любви к людям мы жертвуем собой? Кого больше, чем нас, волнуют чувства? Кто любит всех людей, не может пройти мимо любви к одному человеку, а кто не может полюбить одного человека, не в состоянии полюбить и человечество. И не прав тот, кто захочет доказать противное: он или эгоист, или человек с каменным сердцем. А от каменного сердца хорошего не жди. Сам дьявол не знает, зачем такой человек с нами. Мы тверды, но не бессердечны. У нас стальная воля, но плакать и мы умеем...

Выйдя из тюрьмы, я узнал, что семьи у меня нет. Пока я сидел, жена вернулась к родителям. Две недели отец не пускал ее ко мне! Но она убежала — как и в первый раз. Теперь она со мной, стала еще красивее, но каждый раз, когда я снимаю рубашку и она видит мою исполосованную спину, плачет.

Теперь понимаю, что ошибся,— я и в тюрьме так думал. Свой поступок считал геройством!.. Какое уж тут геройство? И Марию измучил, и сам истерзался. Понимаю, что сглупил, но и сейчас не знаю — было это к лучшему или нет? Может быть, я плохой, злопамятный человек? Мария не навестила меня в тюрьме, и сначала я не сердился, понимал: не пускает отец! Да и обвенчаны мы не были: я ведь сам хотел, чтобы она была свободна и не делила со мной невзгод. Теперь знаю, что и ей было нелегко. В наказание за бегство ко мне отец семь дней держал ее на хлебе и воде, ребенок чуть не умер. Потом запер ее ботинки — чтобы не выходила. Так и вернулась она в тапочках!..

Сейчас мы вместе. Мария заботится обо мне, ведь мое здоровье осталось в тюрьме. Если бы не помощь товарищей, не знаю, как бы мы жили. Они нашли мне легкую работу — в переплетной мастерской. Мария не покладая рук работает дома: стирает, шьет, гладит, а вечерами допоздна сидит со мной — я все не могу уснуть. Хочется спать так, что

сердце ноет, стоит же задремать — в тревоге открываю глаза. Случалось ли с тобой такое — боишься заснуть? Однажды вечером, открыв глаза в третий или четвертый раз, я взглянул на Марию. Ее волосы были залиты мягким светом лампы. На глаза падала тень, лицо же, удивительно спокойное и красивое, словно светилось. У меня на душе стало тяжело. Понимаю, что нас связывает, но я подумал о прошлом, о том времени, когда был в тюрьме. Она не навестила меня, будто я для нее не существовал. Представляешь, о чем я думал, глядя в ее лицо? Ревновал? Нет! Но ее красота всегда будет мне напоминать о том времени и наполнять душу болью, горьким сознанием, будто я что-то упустил!.. Утром мне стало стыдно, но такое душевное состояние повторяется все чаще и чаще. Теперь у нас есть о чем говорить. Мария полностью разделяет мои мысли, она горячий и преданный человек... Позавчера на прогулке мы встретили одного из шпиков, арестовавших меня. Я не заметил его, Мария же сразу узнала, побледнела и до боли вцепилась в мою руку. Прогулка была испорчена, настроение — тоже. Когда вернулись домой, Мария долго молчала, а затем срывающимся голосом сказала, что дальше так жить нельзя...

Понимаю, что она не хотела меня огорчать, знает ведь, как я болен, как меня оберегают, как заботятся обо мне, но невольно я вспомнил о тюрьме, и в глазах у меня потемнело. Я ничего не сказал, только стиснул зубы. Видно, Мария угадала, что происходит со мной, так как виновато заморгала, но было поздно. Я овладел собой, иначе пришлось бы сказать: «Не ты ли забыла обо мне, когда я сидел в тюрьме?» Позднее я решил, что поступил правильно. Разве мог я ее обвинять? Сам же когда-то отказался обвенчаться, желая оградить ее от неприятностей!

Вечером, когда я напрасно пытался уснуть, меня снова начала угнетать ее красота. Красота создана для радости, а меня она мучает! Смотрел я из-под полуопущенных век и думал. И вдруг словно бы начал понимать, в чем кроется причина всего. Хоть я и осуждал свой прежний поступок, мне стало ясно, что тогда я остановился на полпути. Ранил душу Марии и после, боясь потерять ее, не возобновил разговора, не объяснил ей самого главного! Не сделал ее своим товарищем, думал только о самом себе!.. Красота облагораживает человека, перед лицом красоты человек, не давая себе в том отчета, страдает от всего некрасивого, совершенного или допущенного им в мыслях. Своим молчанием, глупой своей боязнью потерять Марию я невольно отстранил ее от участия в борьбе, и мы лишились еще одного бойца; дал возможность Марии совершить проступок и потом долго мучился из-за этого. До сих пор ее красота меня только угнетала, а сейчас я полностью осознал свою вину. Я проявил эгоизм, желая сохранить красоту только для себя, и продолжал быть эгоистом, потому что несправедливо обвинял Марию. В эту ночь я понял сущность угнетавшего меня чувства, красота отталкивала меня, потому что я был недостоин ее...

Утром я поднялся рано: перед работой хотел зайти к одному товарищу. После долгих размышлений решил, что я не вправе так жить дальше. Ты понимаешь мои намерения? Однако по дороге одумался: «Зачем ты пошел? Искать спасения от совести?» И мне стало еще тяжелее. Нужны не глупые переживания и необдуманные поступки, а что-то иное... Видимо, на этих днях придется поговорить с Марией обо всем, о чем я тебе пишу. Но как это сделать? По молчаливости никто ведь не может сравниться с твоим братом. И почему я таким уродился? Столько слов бросаю на ветер, а для самого нужного, самого важного их не нахожу. Теперь ты представляешь, как мы живем; осознав свои ошибки, я не мог не поделиться с тобой...

На этих днях произошло важное событие, которое, думаю, тебя заинтересует: П. наконец-то вспомнил о брате! Вспомнил после стольких

лет! Теперь он не только не скрывает, а даже кичится, что у него когда-то был такой-то и такой-то брат и что он пострадал из-за него и ему подобных! Почуял, что происходит и куда подул ветер! Один умерший в тюрьме товарищ рассказывал о каком-то жулике — контролере из палаты мер и весов, связанном с П. Старая история, я не знаю, насколько она верна: чтобы обвинить человека, даже такого, как П., надо быть абсолютно уверенным!

С сердечным приветом!

Мне так хочется повидать тебя!»

Третье письмо было самым коротким. Это было даже не письмо, а несколько строк, набросанных на листке из записной книжки. На записке стояла дата — Иван написал ее за два дня до смерти. Он умер на одной из конференций, умер в тот момент, когда ему дали слово...

«Сестра, мне плохо, и я скоро умру! Врачи успокаивают, а я знаю, чувствую!.. Как жаль, столько еще хочется увидеть... Нелепо умирать так рано!.. Разве не лучше было умереть перед победой, чем сразу же после нее? Нет, не лучше... Но зачем сразу после победы, когда надо еще столько сделать? Как никогда жалею о своих ошибках! Мария ничего не знает. Когда-нибудь — ты сама решишь когда — расскажи ей все... Прощай!»

Мария снова услышала стук колес, гудки паровоза и всем существом ощутила движение поезда. Слезы текли из ее глаз. Сестра Ивана ничего ей не рассказала: видимо, понимала, как это на нее подействует. Иногда со стороны виднее то, что мы сами упорно годами скрываем от себя. Марию сильно взволновали чувства мужа и беспредельная его честность. Только благодаря случайности письма Ивана попали к ней в руки, и она лишний раз увидела, что была недостойна его. Первые годы после смерти мужа Мария думала, что свято чтит его память: она вступила в партию, начала учиться в политехническом институте... Как она была наивна! Ничем, ничем она не в состоянии искупить свою вину перед ним, человеком, которому не смогла стать другом, чьи желания и стремления не распознала, ослепленная мелочной тревогой о том, что они не обвенчаны.

Мария оправдывала себя тем, что была молода, не знала жизни. Однако такое успокоение было недолгим... она заплакала еще горше и безутешнее, считая, что ее жизнь навсегда утратила прежнюю чистоту. Сердце ее разрывалось при мысли, что прошлого не вернуть и она уже не сможет дать Ивану того, что заслуживал он и его любовь...

Перед тем как лечь, Мария посмотрела в окно. Младен давно ушел. Луна в беззвездном небе стояла высоко, площадь поселка возле водохранилища была залита бледным светом, вершины холмов тонули в ночной мгле. Шум реки усилился. Листья вяза устало опустились. Наступил тот час полуночного покоя, когда мир глух и равнодушен, а у человека в душе поднимается горечь воспоминаний и сожалений обо всем, чего он не успел сделать или упустил...

Мария тяжело вздохнула: ей показалось, что в жизни она была близорука, а может быть, и легкомысленна. Не заметила самого главного, что отличало Ивана от других. Породнилась с Пиралковым и закрыла глаза на его подлость и лицемерие... Но ведь сын ее счастлив? Что может быть для матери дороже? А разве это все?.. Только теперь, перед смертью, Мария поняла — сделанного не вернешь. Не раз насту-

пали такие минуты, когда она горько сожалела о допущенных ошибках, однако это не мешало ей делать новые. Воспоминания о совершенном были тенью прошлого, и чувства, ими пробужденные, тоже принадлежали прошлому... Она умирает, а вместе с ней умрут и они!..

7

Когда Мария вошла в кабинет директора стройки и пристально посмотрела на профессора, он оцепенел при мысли, что сейчас услышит то, чего больше всего боялся. Мария молча села на предложенный стул, и Пиралков почувствовал — она что-то скрывает. Профессор сразу понял, что необходимо поговорить с Младеном, однако решил сделать это только после ужина и нарочно попрощался с директором у входа в ресторан. Остальные члены комиссии встретили на стройке знакомых и друзей и, не собираясь рано ложиться, пошли к ним выпить стаканчик хорошего домашнего вина.

Пиралков шел вдоль здания ресторана, пока глаза его не привыкли к обманчивому лунному свету. Затем повернул направо, поднялся по пологому склону холма и остановился передохнуть. Глубоко внизу у его ног лежала плотина — неподвижная и мертвая, ярко освещенная электрическим светом. Все вокруг тонуло в непроглядном мраке. Профессор, тяжело дыша, пристально всматривался в плотину, и ему почудилось, что бетонная глыба медленно надвигается на него; он почти физически ощутил шероховатость и тяжесть огромных устремленных в небо бетонных блоков. Пиралков понимал, что эта галлюцинация — результат усталости. Однако впечатление было очень сильным, оно приобретало почти символическое значение.

Пиралков пошел дальше. Теперь он легко находил в темноте дорогу. Перед домом Младена профессор заколебался: знакомая слабость словно парализовала руки, и он готов был вернуться. Потом, пересилив себя, постучался, но никто не ответил. Видно, Младена не было или он просто спал. Обратный путь показался профессору более коротким. Неприятный разговор не состоялся, и Пиралков с удовлетворением подумал, что, возможно, его опасения напрасны, но легче от этого не стало. Если Младен сейчас у Марии, добра не жди. Медленно спускаясь, профессор опять остановился, на этот раз спиной к плотине. Еще издали он увидел приближающуюся фигуру. Младен шел от гостиницы. Первым желанием профессора было избежать встречи, и лишь большим усилием воли он заставил себя застыть на месте. Младен заметил его, только когда поравнялся с ним. Инженер окинул профессора небрежным взглядом и прошел мимо, но Пиралков повернулся к нему и тихо спросил:

— Не узнали?

Тот ответил не сразу.

— Узнал, любезный профессор, но иду с работы, хочу спать, и на пустой разговор у меня нет времени!

— Почему вы так говорите? — обиженно протянул Пиралков и с тревогой подумал, что предчувствие не обмануло его.

Младен рассмеялся:

— Хотите знать почему?

Инженер стоял, повернувшись вполоборота, а его освещенное луной лицо казалось бледным и плоским.

— Действительно хотите? — переспросил Младен и пошел дальше, но профессор остановил его.

— Погодите, Мишев! Вы многого не знаете и, как мне кажется, не все понимаете. — Он подошел ближе и настойчиво произнес: — Нам надо поговорить. Непременно, и сейчас же!

Профессор осмотрелся, как бы отыскивая место, где присесть, но земля кругом была ровная и, вероятно, уже влажная от росы. Он вздохнул и заговорил примирительным тоном:

— Несколько месяцев назад я вам объяснил, и вы со мной согласились...

— Нет, дорогой профессор, вы мне ничего не объясняли, а как раскаивающийся грешник просили прощения!

Профессор опустил голову. Младен был не только груб, но и дерзок, он уничтожал всякую границу между дружеской беседой и ссорой.

— Верно, это было так! — немного подумав и пожав плечами, добродушно подтвердил Пиралков.— И теперь я могу повторить: были лица, заинтересованные в вашем увольнении. Знаете, как это сейчас бывает... Но в конечном итоге я признаю свою вину. Мне нужно было сделать все...

Лицо Младена по-прежнему было бледным и открыто враждебным. Профессор вздрогнул: перед ним снова встала оскалившаяся на фоне бесцветного неба громада плотины. Затем он вспомнил взгляд Стоимена, любезную улыбку секретаря, который всегда поднимался ему навстречу и просил не садиться на сквозняке. С гор бесшумно спустился ветер, листья деревьев еще были неподвижны, но по взмокшей шее Пиралкова пробежал холодок...

— Я виноват, — осторожно продолжал профессор.— Однако думаю, что дело можно поправить: недавно пересматривались штаты института.

Младен досадливо махнул рукой. Он тяжело дышал, нетвердо стоя на узкой каменистой тропинке.

— При ваших способностях мало быть производителем работ на стройке! — усмехнулся Пиралков.

— Для меня достаточно!

— Мишев! — воскликнул профессор.— Я искренне хочу уладить возникшее недоразумение и сделал первый шаг! Почему же вам не пойти навстречу?

Младен долго не отвечал, и Пиралков с облегчением подумал, что тот взвешивает его предложение. Профессор еще не представлял себе, как осуществить возвращение Младена в институт, но это беспокоило его меньше, чем мысль о том, не успел ли Младен рассказать все Марии. За последние месяцы Мишев сильно изменился, но ведь его, Пиралкова, предложение было весьма заманчиво. Младен был остер на язык и, как считал Пиралков, злобен, но это вряд ли мешало ему иметь свои мечты и стремления. Профессору показалось, что он мог бы укротить инженера и меньшими обещаниями. Он уже начал сожалеть, что посулил так много, но в этот момент Младен иронически усмехнулся:

— Значит, вы готовы меня вернуть?

— Да! — решительно подтвердил Пиралков.

— А какова цена? — ехидно спросил Младен.

— Я вас не понимаю!

— А я вас отлично понимаю, профессор! — засмеялся Младен.

— Мишев, я самым искренним образом жалею, что вы ушли! — с горечью воскликнул Пиралков, поняв, что и на сей раз Младен будет тверд, как камень.— С вашим уходом институт лишился самого ценного сотрудника. Вы должны вернуться! Ваше будущее — наука, а не производство!

— И за все это требуется только одно,— насмешливо сказал Младен,— никто не должен знать, что вот уже несколько месяцев мы готовим состав бетона по вашему методу. Не так ли?

— Состав бетона не имеет никакого отношения к трещинам! — возразил Пиралков и с тревогой подумал: вот сейчас наступает момент,

когда он узнает, о чем Младен говорил с Марией.— Не понимаю, почему вы говорите о составе бетона?

— Потому что вы это скрыли! — ответил Младен. — А как председатель комиссии должны были рассмотреть все возможные причины.

— Напрасно вы такого мнения обо мне,— сокрушенно вздохнул Пиралков и, не выбирая места, сел у самой тропинки на первый попавшийся камень.— Вы многого не знаете! .

— Нет, профессор, теперь уже знаю все!

Младен сделал шаг вперед, бледность сошла с его лица, и на глаза легла тень.

— Напротив! — попытался прервать его Пиралков, но Младен повысил голос:

— До сих пор я вас слушал, теперь вы помолчите! Когда вы дали мне расчет состава бетона, вы не были уверены в успехе. А при ваших «больших» способностях... Говорю вам — не перебивайте! К сожалению, я тогда был ослеплен поистине невиданным зрелищем: раскаявшийся профессор Пиралков обращается ко мне! И не устоял перед искушением поступить великодушно. Поверил, что среди кучи добродетелей у вас есть и просто человеческие чувства...

— Мишев! — крикнул профессор, вскакивая.— Думайте, что говорите!

— Не горячитесь! — холодно оборвал его Младен.— Мы хорошо знаем друг друга. Вы можете все выслушать при одном-единственном условии: чтоб об этом не узнали люди. Вы подлец, профессор! Пришли ко мне, посыпав голову пеплом, только потому, что вам нужен был человек для испытания вашего расчета в широком масштабе — на большой стройке. При успехе — почет и слава! При неудаче — гробовое молчание! Вы заранее все хорошо рассчитали: такому, как я, никто бы не поверил... К сожалению, я понял это только теперь! Мне бы не поверили, потому что я — ничто, к тому же обижен вами... И было бы нелогично предположить, что известный профессор Пиралков, защитник морали, примерный гражданин, обратился за помощью и советом к человеку с сомнительной репутацией. Не могу только понять, к чему эта комедия? Меня вы не боитесь. Совесть мучить вас не может, так как у таких подлецов, как вы, нет совести!..

Профессор стоял, прижав руку к груди, и не знал, что ответить. Давно уже с ним никто так не разговаривал. Внизу на тропинке послышались шаги, и Младен замолчал. Мимо прошел один из рабочих. Профессор, улыбаясь, ответил на приветствие. Затем, снова взглянув на искаженное неприязнью лицо Младена, с облегчением подумал, что, в сущности, иного исхода он и не ждал. Резкие слова инженера обидели Пиралкова, однако к нему возвращалось спокойствие, в то время как Младена душило сознание собственного бессилия. Он понимал, что, раскрывая тайну, ничего не достигнет и только поставит себя в глупое положение.

— Весьма сожалею, что вы так превратно истолковали некоторые мои слова и поступки,— огорченно сказал профессор,— весьма сожалею.

Он развел руками, как бы говоря: «В этом виноваты вы сами!» Затем повернулся и пошел к гостинице. Младен не шевельнулся. Профессор не испытывал ненависти к нему, но чувствовал неловкость, только теперь поняв, что разговаривать с инженером не следовало. Ушел и Младен. У поворота к площади Пиралков оглянулся. Младена уже не было видно. Все расплывалось в светлой мгле лунной ночи, и только жилки слюды безжизненными глазками поблескивали на камнях. Профессор вспомнил о Марии и тяжело вздохнул. Младен не представлял собой реальной опасности. А вот Мария? От нее все зависело. Лунное

безмолвие вдруг придавило Пиралкова, он пересек площадь, поднялся по лестнице в гостиницу и, расстелив платок, сел на бетонные ступеньки. В двух шагах от него давно уже спала и видела сны Мария... Знает ли она что-нибудь?

Пиралков гордился своей способностью все предугадывать, однако сегодня, встретив взгляд Марии, испугался. Он совсем забыл о ее старой дружбе с Младеном. И если могут не поверить Младену, то ей уж поверят обязательно. Мария принадлежит к тем людям, кому верят все, верят слепо, без проверки и всегда, даже тогда, когда они могут быть не совсем искренни. Мария в этом отношении была полной противоположностью Младену. Рассказал ли ей что-нибудь Младен? О чем говорили ее глаза? Что скрывалось за ее пресловутой сдержанностью? Почему она смотрела так пристально? Эти вопросы оставались без ответа, несмотря на все старание Пиралкова разрешить их. Не помог и бесполезный разговор с Младеном...

От бетона потянуло холодом, профессор встал и прошел в комнату. Чистота постели показалась ему сомнительной, он подозрительно осмотрел узкую простыню, едва прикрывавшую матрац, и понюхал одеяло. Прежде чем лечь, Пиралков закрепил оконные рамы: как-то ночью ветер разбил в его кабинете стекла, и с тех пор он боялся оставлять рамы открытых окон незакрепленными. Полежав неподвижно, профессор приподнялся и оперся на локоть. Откуда-то, очевидно из углов, несло прелью и застоявшимся табачным дымом. Все это раздражало его, напоминало, что он не смыл с себя пыль, и вызывало зуд.

Профессор чувствовал, что не скоро заснет. Разговор с Младеном и убеждение, что тот все рассказал Марии, рождали тревогу, а вместе с ней хорошо знакомое подавленное настроение. Он с горечью думал, что вот так — в каком-то ожидании — прошла вся его жизнь. Пиралков считал, что окружающие его люди лишены самокритики, и это делает их жизнь каким-то непрерывным балансированием на грани компромисса. В сущности, и сама их жизнь была компромиссом: они знали, что умрут, но бессмысленность существования не вызывала желания покончить с собой. Напротив, такая бессмысленность словно порождала энергию, стремление к успеху, жажду власти.

«Что до меня,— думал Пиралков,— то я в лучшем положении, нежели Мария и отнюдь не глупый Младен. Но такое превосходство стоит дорого, отнимая у меня радость жизни. Я знаю, что идея — функция мечты, а реальность — синтез человеческих недостатков, но не могу терпеть скрытных, таящих свои мысли людей: они самое опасное явление в нашем обществе. Младен напрасно меня ненавидит: он не знает, что общество, поверив однажды Каракостадинову, ему-то уже не простит, так как в противном случае должно будет осудить себя! Я же в истории с ним был простым исполнителем!»

Эти, хоть и нерадостные, мысли немного успокаивали. Однако Пиралков знал, что до полного спокойствия далеко: расследование о трещинах в бетоне не ограничится одной комиссией. Возможно, Стоимен и не хотел бы поднимать вокруг этого много шума, но не в его власти отменять комиссии, которые будут следовать одна за другой... И каждый раз профессору придется корчиться под пристальным взглядом скрытной и настойчивой Марии...

В открытое окно вползал влажный и холодный воздух. Профессор зябко натянул на плечи теплое одеяло. Он не отличался крепким здоровьем и легко простужался, а переживаемое волнение отражалось на печени. Не видит ли он все в черном свете именно из-за этой ужасной печени? Пиралков грустно усмехнулся: пессимизм возникал, как следствие отношений, складывающихся между людьми. Он был печальным

следствием мыслей и поступков окружающих и жил там, где умирало доверие. От такого раздумья профессору становилось еще тяжелее, и не только тяжесть, но какая-то отвратительная слабость охватывала все его существо...

8

Угнетенное состояние профессора обычно длилось долгие дни, незаметно окрашивая их в темный, тревожный цвет. На этот раз, когда он вернулся в Софию, день был действительно мрачный, и весь город погрузился в туман. По фасаду старого здания института расползлось огромное влажное пятно, балконные решетки почернели и отливали мутным блеском. Комнаты тонули в том сером унынии, которое ложится на все вокруг и заползает в души людей в пасмурную погоду... Когда профессор вошел в кабинет, ему показалось, что там даже воздух замер в напряженном ожидании. В такие дни всегда что-нибудь случалось, словно судьба предпочитала дождь и свинцово-серое небо.

За профессором в кабинет вошла хорошенькая секретарша и стала докладывать, кто искал с ним встречи в дни отсутствия. Пиралков слушал ее, ему хотелось положить руки на стол, но, несмотря на дождливую погоду, ладони были горячи, и ему неприятно было касаться гладкой поверхности холодного стола.

—...Кривошиев из академии,— перечисляла секретарша, глядя на него светлыми, улыбающимися глазами.— По голосу чувствовалось, что не по служебному вопросу... Двое не пожелали себя назвать... По поручению Добрева — его секретарь...

У молодой девушки были белые зубы, красивые глаза и стройные ноги в новых туфлях. Пиралков опустил голову: в ее улыбке ему почудилось что-то обидное, напоминающее о холодном безразличии людей к чужой скорби.

Когда секретарша ушла, профессор пододвинул телефон и поспешно набрал номер Стоимена. Ответил секретарь: товарищ Добрев накануне выехал в командировку. Пиралков медленно положил трубку. Предчувствие не обмануло его — день не сулил ничего хорошего, отсутствие Стоимена было лишь началом цепи неприятностей.

После доклада секретарши профессор принял нескольких сотрудников. Затем попросил пригласить секретаря партийной организации инженера Стойчева и председателя профсоюзного комитета Петкова. Перед ними стояла важная задача — решить, кого послать за границу для обмена опытом. Требования к кандидату были большие: представлять не только институт, но и болгарскую науку вообще.

Излагая причину вызова, Пиралков задумчиво смотрел на лица сидящих перед ним. Их глаза затуманила легкая тень недовольства. Профессор прекрасно понимал: каждый из них надеялся, что на него падет счастливый жребий. Переступая порог кабинета, они расставались с этой надеждой — неудобно же предлагать самого себя.

— Один человек не в состоянии решить этот вопрос,— закончил Пиралков.— Поэтому очень прошу вас помочь!

— Разрешите закурить?— спросил инженер Петков.

Пиралков попросил секретаршу принести пепельницу.

— Думаю, лучше всего применить метод исключения,— сказал он.

Стойчев недоуменно пожал плечами.

— Прежде всего исключаю себя! — продолжал Пиралков. — Исключаю и Георгия Василева! — Заметив, что Петков собирается возразить, профессор улыбнулся: — В данном случае начальству виднее.

— Почему?— спросил Петков.— Мы все равны.

— Нет, товарищ Петков! Желательно, чтобы кандидат был помо-

ложе и чтобы были исключены подозрения, будто при выборе его сыграли роль какие-либо превходящие соображения.

Петков чуть заметно нахмурился, и Пиралков понял, что эти слова убили в нем последнюю надежду. Профессор с досадой взглянул на блестящее стекло стола, к которому еще не решался прикоснуться, и повернулся к Стойчеву. Тот молчал. Его приятное молодое лицо хранило спокойствие. Он был сдержаннее и самоувереннее Петкова. Глядя на него, Пиралков часто думал, как меняет людей сила, которую порождает занимаемое в обществе место. Еще в прошлом году Стойчев выглядел совсем иначе и ничем не отличался от своих коллег; он никогда бы не осмелился сидеть перед письменным столом директора так спокойно и уверенно.

— Не слишком ли мы торопимся? — наконец проговорил Стойчев.— Столько времени ждали, а сейчас вдруг — за полчаса!

Хоть этот упрек и задел Пиралкова, он невозмутимо сказал:

— Верно! Это моя ошибка. Но вопрос больше откладывать нельзя.

— Тогда продолжим: исключены и мы оба! — произнес Петков. Профессора удивил его спокойный тон.

Большая крестьянская рука представителя профкома смяла окурок в пепельнице. Это не был жест взволнованного человека. Пиралков на миг смутился: он-то думал, что Петков не только не примирился с утратой надежды, но даже проникся к нему неприязнью.

— Такой метод мне не очень нравится,— вмешался Стойчев.— Вместо того чтобы отбирать кандидатов по их достоинствам, мы говорим лишь о недостатках.

— Да!— поспешно согласился Пиралков.— Я вас хорошо понимаю: люди, среди которых мы выбираем, наши коллеги и товарищи! Поэтому-то мы и не должны руководствоваться чувствами! Задание, возлагаемое министерством на кандидата, носит такой характер, что проявление чувств может помешать правильному выбору.

— И все-таки...— упорно настаивал Стойчев.

Пиралков наконец решился дотронуться до стекла, и от прикосновения к гладкой и твердой поверхности ему стало холодно. Стойчев вяло протянул руку и взял из пачки Петкова сигарету. Стойчев был крупный мужчина с неловкими движениями, и Пиралкову пришло в голову, что для секретаря партийной организации он еще слишком молод и наивен. Институту нужен другой человек — гибкий, ловкий, менее спокойный.

— Нет, Стойчев,— поддержал директора Петков.— И я думаю, что путем исключения кандидата выбрать легче! Ведь мы же здесь не чужие!

Пиралков взглянул на плохо выбритое лицо Петкова. Теперь ему показалось, что тот торопится покончить с обсуждением. Стойчев пожал плечами, и председатель профкома назвал фамилии еще нескольких сотрудников, которые по той или иной причине не подходили. Успокоенный, Пиралков снова дотронулся до стекла и осторожно сказал:

— Остаются трое... Один из них инженер Ковачев... Это скромный, талантливый и добросовестный молодой человек. Что вы думаете о нем?

— Ковачев?.. Можно! — кивнул Стойчев.— Подходит...

Петков ничего не сказал. Но, еще не взглянув на него, Пиралков понял, что он будет возражать. Так бывало и раньше: то один, то другой не сразу соглашались с мнением профессора, и он считал это естественным. Люди не одинаковы. Связанные всевозможными обязательствами, они невольно поддавались тем или иным соображениям и ревностно отстаивали свои скрытые намерения. Профессор понимал это, не сердился и терпеливо ждал, пока наконец его мысль не становилась понятной каждому. Он, конечно, мог объяснить Стойчеву, почему он предложил метод исключения, а не подбора: отыскать недостатки легче, нежели признать достоинства.

К сожалению, для большинства людей проще открывать недостатки окружающих. Это печальный факт, но не менее печально и то, что от их института предстояло поехать только одному человеку. И этим человеком непременно должен быть Ковачев. Он не отличался особыми достоинствами, но не вызывал и антипатии. Остановиться на кандидатуре Ковачева можно было, только отбросив около трех четвертей состава института...

Пиралков мог бы объяснить Петкову, почему он настаивает на кандидатуре Ковачева, а не кого-либо другого. Но сделать это было нелегко. Глядя на Петкова, профессор неизвестно почему думал, что рано или поздно тот узнает о связи трещин с расчетом Пиралкова. А тогда... В глубине души он не верил в эту возможность, но все же тревожился, так как от природы был мнителен. Существовали люди, от чьих взглядов у Пиралкова холодела кровь в жилах. Он думал, что хорошо знал их. По его мнению, они были бесчувственны и ограниченны, но течение их скудных мыслей могло сбить с толку самого тонкого наблюдателя. Невзирая на свою ограниченность, эти люди победоносно шествовали и были почти неуязвимы, потому что их маленькие желания легко укладывались в узкие рамки дозволенного. Они были добродетельны и завистливы, как старые девы, и, как старые девы, питали жгучую ненависть к тем, кто замечал их промахи. К такой категории людей Пиралков причислял и Петкова...

Петков снова закурил и неодобрительно покачал головой.

— Ковачев неплохой парень... Но вы же сами говорите... как бы нас после не упрекнули,— Пиралков нетерпеливо заерзал на месте.— Конечно, товарищ профессор, такая опасность существует!

— Да,— с горькой усмешкой согласился Пиралков.— Парень хороший, подходит по всем статьям, но, к сожалению, внук академика Кривошиева.

— Я этого не говорил!— возмутился Петков.

— Мы, разумеется, можем и его исключить,— продолжал Пиралков.— Вы совершенно правы.

— Я не согласен! — запротестовал Стойчев.— Какое имеет значение, что Ковачев внук заместителя председателя академии? Заслуживает он, чтоб его послали? Заслуживает. Добросовестный работник, способный? Другое дело, если найдется более достойный человек!

Профессор ничего не ответил и молча отвернулся к окну. Петков смущенно стал объяснять, что он лично ничего не имеет против кандидатуры Ковачева. Он даже настаивает на том, чтобы послали именно Ковачева! А что касается намека на деда, то он хотел только оградить институт от нежелательных разговоров. Было бы крайне несправедливо отстранить Ковачева только потому, что он внук Кривошиева.

Пиралков нахмурился.

— Я действительно опасаюсь, что подобное решение может породить нездоровые толки. Но раз мы так единодушны, пусть едет Ковачев!

Петков и Стойчев поднялись. Пиралков проводил их до двери и тут, вспомнив, как давно каждый из них надеялся стать счастливым избранником, огорчился, что не может выказать им своих чувств. О таких вещах вообще не принято говорить, к тому же они — его ближайшие помощники — были настолько расстроены, что едва ли поняли бы его правильно. Профессор вернулся к столу и со вздохом уселся в кресло.

Перед обедом, поднимаясь по лестнице академии, Пиралков снова подумал, что день, собственно, только начинается.

Он знал Кривошиева несколько лет, и они были приятелями, хотя академик обращался с ним, как со студентом. Кривошиев был чудако-

ватым. Посещая его, Пиралков всегда возвращался к мысли, что человеческие отношения строятся не столько на взаимном понимании, сколько на терпении, такте и, до некоторой степени, на отказе от личного честолюбия.

Академик Кривошиев принадлежал к числу людей, которых обычно называют «тяжелыми». Отрицательной чертой его характера была странная непоследовательность. Она делала его неуловимым, и это раздражало Пиралкова. Очарованный вначале личностью Кривошиева, ослепленный его ореолом ученого и гражданина, Пиралков впоследствии решил, что академик — счастливец, которому просто повезло в жизни. В молодости он сменил несколько специальностей, пока не стал профессиональным революционером; ему пришлось познакомиться чуть ли не с половиной тюрем страны. Теперь Кривошиев нашел свое место в науке, что, по мнению Пиралкова, меньше всего ему подходило, и покидал свой кабинет, чтобы присутствовать на матчах, часами сидеть у реки из-за какой-нибудь десятисантиметровой форельки, ездить по стройкам и бродить по селам.

Прежде чем выехать, Пиралков по телефону проверил, в академии ли Кривошиев. Однако, войдя в его кабинет, никого не увидел. Очки академика лежали на столе, пальто висело на вешалке, но его самого не было. Профессор вздохнул: академик обещал ждать его. Большие люди могут позволить себе то, чего не полагается делать другим.

— Приветствую!..

Пиралков повернулся и только сейчас заметил открытую балконную дверь. На пороге улыбаясь стоял Кривошиев. В одной руке он держал кожаную хозяйственную сумку, в другой — длинный влажный сверток. Пиралков тоже улыбнулся.

— Видел подобное чудовище?— спросил Кривошиев, входя в комнату и осторожно развертывая бумагу.— Больше четырех килограммов! Чешуйки не меньше трех сантиметров! Такой клюнет — забудешь, как тебя зовут!

Свободной рукой он разостлал на столе газету и любовно положил на нее рыбину. Затем вытер руки, закурил и, с восхищением разглядывая карпа, сказал с завистью:

— К сожалению, никогда не вылавливал ничего похожего! Этого купил в магазине...

Пиралков прикоснулся пальцами к холодному карпу и недоверчиво сказал:

— Не думаю, чтоб такого можно было поймать на удочку. Слишком велик!

— Ничего подобного! В водохранилище встречаются и по семь-восемь килограммов. И, представь себе, есть люди, которые и таких вытаскивают запросто. Но для этого требуется терпение, сноровка и еще кое-что, чего ты не понимаешь и никогда не поймешь. Ты принадлежишь к той счастливой половине человечества, которую волнуют только важные проблемы, на бесполезные занятия у вас времени не остается!

Кривошиев завернул рыбу в газету, положил ее в сумку и снова вынес на балкон.

Пиралков скромно сел на стул. Увлечение академика рыбной ловлей забавляло его, в глубине души он был доволен, что эта страсть ему чужда. Однако, чтоб польстить академику, он задумчиво сказал:

— Почем знать, возможно, ты и прав! Один только раз, давно когда-то, я ходил на рыбную ловлю, но должен признаться, что в последнее время все чаще и чаще испытываю желание отправиться с удочкой к реке...

— Я в воскресенье еду, хочешь со мной?— предложил Кривошиев

— Посмотрим...— уклончиво ответил Пиралков.— Нет у меня удочек и прочей... снасти.

— Ясно! — иронически отрезал академик.— Не поедешь!

— Неизвестно. Если успею снарядиться, придется тебе взять свои слова обратно.

Улыбаясь, он взглянул на младенчески розовое лицо Кривошиева. Академику было семьдесят два года. Его свежему виду, вероятно, способствовали частые прогулки на воздухе, рыбная ловля, а главное — характер. Пиралков подумал, что люди, очевидно, делятся на две категории. Одни, вникающие в самую суть вещей, не всегда имеют основание радоваться, другие до глубокой старости остаются юношески восприимчивыми и восторженными. Кто из них ценнее? На ком базируется истинный прогресс общества?

О Ковачеве Пиралков упомянул в конце беседы, когда Кривошиев надевал пальто. Сделал он это нарочно, чтобы все не выглядело преднамеренным, чтобы избежать благодарности, а главное — чтобы не испытывать чувства неловкости. Академик, словно не расслышав, молча вышел на балкон за сумкой. Такое равнодушие задело Пиралкова. Вернувшись в кабинет, Кривошиев надел очки и сердито спросил:

— Почему остановились на нем? Разве в твоем институте нет других людей?..

— Это не только мое решение!— так же сердито ответил Пиралков.

— Знаю я эти ваши решения!— покраснев, проворчал Кривошиев и стал застегивать пальто.— Измените решение! Вынесите новое!

— Не могу! — отказался Пиралков.— Это обсуждалось с секретарем партийной организации и председателем профкома...

— Все равно! — грубо оборвал Кривошиев.— Ковачеву еще рано ехать. За границу надо послать серьезного ученого. Неужели ты не понимаешь? Если у нас есть еще люди, снисходительно относящиеся к научному багажу этого молодого человека только потому, что он внук заместителя председателя академии,— там, дорогой, это не пройдет! Даже и для твоего института он молод! Ты его взял туда, так уж... И речи быть не может! — В сердцах он бросил сумку на письменный стол и лихорадочно стал шарить по карманам, отыскивая сигареты.

Пиралкову хотелось спросить, зачем же тогда академик звонил ему, но не решился... И хорошо сделал. Кривошиев закурил и с шумом выдохнул струю дыма.

— Послушай! Не хочу верить, но само напрашивается... Вчера я звонил тебе по одному вопросу... Если ты это понял, как... Обижаешь и себя и меня! Знаю, ты скажешь, что я груб и тому подобное... Согласен! — Академик посмотрел Пиралкову в глаза.— Если я ошибаюсь, извини мою старческую мнительность! Меня тревожит будущее этого парня, и я не хочу, чтоб он пошел по пути, который до добра не доведет!

— Не думал, что наше решение вызовет такие упреки и... незаслуженные обвинения,— потемнев от обиды, дрожащим голосом сказал Пиралков.— Не думал! Но решение остается решением, независимо от того, кто и как может его толковать!

— Нечего злиться,— огрызнулся Кривошиев.— Смотрел бы лучше, кого выбираете!

Академик был смущен. Пиралков понимал, что Кривошиев, как и большинство людей, лишенных внешнего лоска, не умеет заглаживать неловкое впечатление от своих слов.

— Я не злюсь! Но сказанное тобой меня очень обидело...

Пиралков засунул руки в карманы пальто и вздохнул, взглянув на дверь. Она была заманчиво близка, чувство возмущения переполняло его,

но сделать этот шаг и доказать академику, что всякое терпение имеет границы, у него не хватило решимости. Вместо того чтобы уйти, он опустил голову и упрямо сказал:

— Решение мы изменить не можем. Считаешь его неправильным, аннулируй!

Кривошиев хмыкнул, но не ответил.

Пиралков знал цену возмущению Кривошиева: каждый поступил бы так на его месте. Однако несдержанный и грубый на язык академик оскорбил профессора — его обругали, как прислугу! Заслужил ли он такое отношение? Пиралков нисколько не сомневался, что Кривошиев звонил ему именно затем, чтобы как-то напомнить о внуке. К чему же сейчас прикидываться невинным ягненком? Профессор хорошо изучил характер и привычки подобных людей. Он считал, что Кривошиев обладает самыми скромными способностями и лишь ореол прошлого прикрывает отсутствие знаний и слабую научную подготовку, что академик живет процентами со своей биографии, но, к сожалению, прошлое было таким богатством, которое не передается по наследству. Желание Кривошиева еще при жизни помочь внуку было естественным и до некоторой степени простительным. Пиралков понимал это, но не мог примириться с грубостью, какую позволил себе академик, чтобы облечь свои намерения в достойную форму.

Пиралков проглотил горькие слова, готовые сорваться с языка, и повторил:

— Аннулируй, если считаешь неправильным!

Он понимал, что Кривошиев не отменит решения. Академик взял брошенную на стол сумку и мрачно посмотрел на Пиралкова:

— Искушаешь?

— Нет! Просто хочу втолковать тебе, что мы не можем жонглировать решениями. Только и всего!

Глядя на разгневанное еще лицо Кривошиева, Пиралков с облегчением думал, что и Мария никогда не пойдет против интересов своего сына.

Успокоившись, он вспомнил о карпе и весело сказал:

— А в воскресенье все-таки поеду с тобой, вот увидишь! Только скажи, где продаются удочки.

Кривошиев пренебрежительно махнул рукой и направился к двери. Улыбающийся Пиралков последовал за ним. Академик все еще хмурился, но это уже не обижало профессора. У него будто камень свалился с плеч. Сердце чуяло, что чем грознее на вид Кривошиев, тем больше возрастает его недовольство самим собой. Недовольство вызовет раскаяние, а раскаяние — это уже бессознательное обещание не остаться в долгу и, кто знает, даже защитить, если понадобится.

Дождь прекратился, но небо было в тучах. Они бесформенной массой повисли над долиной и заволокли половину горы. Синеватые вспышки освещали город. Кривошиев предложил профессору подвезти его, но тот отказался.

— Вот уже целый месяц избегаю ездить, врачи велят как можно больше ходить пешком,— пояснил он.

И как только машина академика скрылась из виду, Пиралков поспешил к остановке троллейбуса.

Беспокойство вновь овладело им, когда он шел по своей улице. После дождя мокрый тротуар был усеян опавшими листьями. Где-то в стороне, над домами, в небе появилась светлая полоска; придавленная низкими тучами, она действовала угнетающе. На улицу выбежали дети; молодая мать толкала коляску, торопясь увезти ребенка от приближающегося

дождя; перед кондитерской весело болтали юноши и девушки. Профессору казалось, что преждевременная осень окрасила все вокруг в желтый цвет. Какой-то голос шептал ему, что преждевременно наступает не только осень... Профессор заторопился. Холодная мокреть и бегущие по небу тучи словно преследовали его. Он передернул плечами, вспомнил отвращение, какое внушало ему холодное стекло на письменном столе, и испугался — не простудился ли на водохранилище? Потом подумал о Марии — он, в сущности, ни на минуту и не забывал о ней,— и уверенность в силе ее материнских чувств поколебалась. Рука его еще ощущала теплое рукопожатие Кривошиева, но профессор вдруг понял, сколь ненадежен его расчет на дружбу с академиком, сколь непрочна всякая дружба...

Как обычно, Елена почувствовала его приближение и бесшумно открыла дверь. Пиралков устало поздоровался, она ответила одним движением губ. Ее зеленые, как у кошки, глаза терпеливо следили за ним, пока он не подошел к вешалке. В холле было теплю. Профессор прошел мимо кресла, в которое обычно садился, и остановился у окна. На улице снова шел дождь. С проводов срывались крупные капли, на деревьях уныло покачивались листья. Даже шум дождя был осенним: весной он звенит радостно и легкомысленно, а сейчас шумит торопливо, тревожно, печально, как бы чувствуя свою обреченность.

— Обед на столе,— равнодушно сказала Елена.

Профессор ничего не ответил, Елена продолжала стоять у двери. Ее присутствие ощущалось по стремлению не шуметь, не двигаться, не улыбаться. Такой Елена могла быть бесконечно долго, с застывшим, как у статуи, лицом и пустыми, холодными глазами.

— Спасибо,— тихо произнес профессор.— Я еще не голоден.

Сильный дождь сбивал с деревьев листья. Профессор повернулся к жене; она стояла на том же месте, в той же позе, как он и представлял. В полумраке она не выглядела постаревшей, но он уже давно перестал гордиться ее красотой.

— Сегодня вечером я свободен,— продолжал Пиралков.— В кино идет новая картина. Говорят — интересная.— Елена неопределенно кивнула. Ее «да» было похоже на «нет», а «нет» почти не отличалось от «да». Но она шевельнулась, и это сразу как бы сократило расстояние между ними.— Целую вечность мы не выходили вместе. А в кино не были с прошлого года.

— Обед остынет, а ты любишь, чтоб голубцы были горячими,— спокойно напомнила жена.

Профессор безнадежно покачал головой, закрыл глаза и вздохнул. Какое значение имеют теперь голубцы!

Когда Елена вышла, Пиралков сел в кресло. Дождь наполнял комнату тягостным шумом. Ладони у профессора снова стали сухими. Он сжимал пальцы в кулаки — тогда он не так остро чувствовал ломоту — и уже не сомневался в том, что простудился: только во время болезни его организм так на все реагировал. Он вытянул усталые ноги. Тело жаждало теплой ванны и свежевыглаженной простыни. Это тоже свидетельствовало о недомогании. Профессор с грустью думал о холодности и слепоте Елены: ее беспокоили голубцы! Потом его мысль обратилась к институту, и неизвестно почему Пиралков вспомнил секретаршу. Хорошенькая девушка работала мало, она скорее являлась украшением института. За последнее время ее поведение вызывало подозрения. Вот и сегодня, в день, казалось бы, совсем не подходящий для любовных свиданий, она опять ушла раньше! Удивительно, женщины охотнее всего влюбляются в дождливые дни. Когда он познакомился с Еленой, тоже шел дождь, а

небо было мрачным и пасмурным... И зачем только люди женятся? В лучшем случае, ради нескольких счастливых месяцев, за которые потом всю жизнь расплачиваются скукой и досадой. И никто этого не может избежать. Общество ревниво, оно сурово расправляется с теми, кто осмеливается жить по велению сердца.

Профессор слышал, как в соседней комнате Елена расставляла тарелки, звенела ложками и вилками. «Волнуется, как бы голубцы не остыли! — подумал Пиралков.— А общество на ее стороне. Оно заботится о том, чтобы неискренность между людьми была узаконена. Обществу важнее голубцы!» Затем профессор с горечью подумал, что неискренность не чужда и ему. Он ведь тоже притворяется счастливым и довольным жизнью. Что же это, из гордости? Лишь бы избежать досадных сожалений? Конечно, из гордости! Но притворство остается притворством.

Он опустил голову, и на него нахлынули воспоминания о далеком, давно потерянном спокойствии, о том счастливом времени, когда еще не надо было притворством защищать свою гордость. Но все это было неуловимо и непрочно, как неуловима и непрочна была сейчас надежда на будущее.

...После обеда Пиралков прошел в кабинет и заказал телефонный разговор с Георгием. Десять минут спустя, подумав, он позвонил на телефонную станцию и отменил заказ. Ему казалось, что он еще не готов к разговору с сыном Марии.

9

Мария спала и не знала, что еще жива... Она спала, а по зеленой траве сада были рассыпаны алые маки. Солнце поднималось с трудом и долго висело, холодное и мертвое, над маревом горизонта, потом сразу зажгло все небо. Загорелись и окна. Только в доме было темно...

Мария лежала с закрытыми глазами; руки и ноги у нее застыли, но она лежала и думала о сыне. Нерадостны были ее мысли. Она вспомнила, как Георгий учился ходить, и не верилось, что когда-нибудь в этом теплом, пухленьком человечке, в этой русой кудрявой головке родятся свои мысли и желания. Он был частью ее самой, у него были глаза матери, и казалось невероятным, чтобы у него не было также и ее мыслей. Эти воспоминания наполняли сердце тоской, ей хотелось плакать. Но слез не было: она могла только думать. И она думала о том, что детские представления о мире неповторимы и человек всю жизнь страдает от несоответствия между ними и реальным миром взрослого. В детстве не было представления о времени, все вокруг было незыблемо — теплое или холодное, розовое или синее, оно имело запах или вкус; жизнь начиналась утром и кончалась вечером. Сейчас она понимала, почему так много воспоминаний детства наполняет душу, обволакивая ее тихой грустью. Мария лежала, тело ее ничего не чувствовало, только сердце сжимала тяжесть. Она давно уже не думала ни об Иване, ни о своей юности: в памяти все начиналось со дня рождения Георгия. Детство сына было и ее детством. Она с горечью сознавала, как оно было коротко, и словно переживала молодость своей матери. Теперь она знала, что встреча со смертью заставляет остро осознать: детство невозвратимо и беспомощно; его невозвратимость напоминает о несбывшихся мечтах, а беспомощность вселяет страх перед будущим.

Затем мысли исчезли, и Мария почувствовала сухость во рту, словно никогда в жизни не пила воды. Она машинально протянула руку, нащупала стакан и уронила его на пол. Звон разбитого стекла выстрелом прокатился по уснувшей комнате, ударяясь о стены, и Мария ожила...

Сердце ее бешено колотилось, и она лежала, скованная страхом только что пережитой во сне смерти. Сияло солнце, где-то в трубах шумела вода, в соседней комнате передавали по радио урок утренней гимнастики, а Мария все еще не могла поверить, что жива...

Вернувшись с плотины, Мария поняла, что примириться со смертью невозможно. Кажущееся спокойствие, с каким она ожидала конца, было, в сущности, новым самообманом. Многие годы смотрела она на картину, где были изображены река и мальчик, и ни разу ей не приходило в голову, что после ее смерти картина останется такой же, только смотреть на нее будут другие. Смерть, подстерегавшая ее перед врачебными кабинетами, теперь переместилась в эту комнату. Было раннее утро, в мутных сумерках дождливого дня весь мир выглядел неприветливым и холодным. Все в комнате напоминало этот мир, который всегда был ей дорог. Она понимала, что жизнь — повторение дней и событий, чувств и ощущений, что красота грязной улицы и весеннего неба одинаковы. Человек принимает это повторение, но не может примириться с его концом. Когда Мария вошла в комнату, у нее подкосились ноги, и она, как была в пальто и с чемоданом в руке, села на кровать и поникла головой.

Кралев пришел позднее. Открывая ему, Мария подумала, что не выдержит и сегодня попросит его больше не приходить. Доктор смущенно поздоровался и, так как она не спешила пригласить его войти, с беспомощным видом стоял на пороге, вымокший и смущенный.

— А я как раз собралась уходить! — сказала Мария, невольно взглянув на пальто, которое забыла снять.

Кралев промолчал. Мария заперла дверь и стала медленно спускаться по лестнице. Своим смиренным видом он то злил Марию — она и без того была достаточно измучена и расстроена,— то вызывал жалость, и она упрекала себя за грубый обман.

На улице не было ни души. Небо опустилось низко и где-то около площади сливалось с землей. Съежившийся от сырости Кралев поднял воротник своего черного дождевика. По-видимому, ему было холодно, потому что он шел каким-то неестественно четким, деревянным шагом. Мария глубже засунула руки в карманы и с той же внезапностью, с какой обманула доктора, тихо произнесла:

— Я вам солгала, Кралев...— У нее не хватило мужества закончить.

Кралев грустно улыбнулся.

— Почему вы ходите без зонтика? Пальто у вас промокло...

Мария покраснела: промокшее пальто выдало ее и без признания.

— Мне так неудобно. Я отнимаю у вас время...— Она явно запуталась — нежелание видеть доктора не имело ничего общего с его временем — и с трудом призналась: — Мне тяжело разговаривать с вами!

Кралев не был удивлен. Только глаза у него стали еще более грустными. Мария подумала, что в душевном состоянии доктора виновата она.

— Очень прошу вас, не поймите меня превратно...

Доктор, ничего не сказав, совсем сгорбился. Его остроносое лицо почти спряталось за воротником дождевика.

— Я вам причинила много огорчений! — воскликнула Мария.

— Наш разговор ни к чему,— наконец проговорил Кралев.— Вы не умеете притворяться, и я ценю вас больше, чем кого-либо из моих знакомых.

Марии снова припомнился день, когда она решила пойти к доктору Кралеву. Не будь того дня, они сейчас не бродили бы под дождем.

— Я тоже хочу быть с вами откровенным. Наш разговор начался при таких обстоятельствах, что мы уже не можем обманывать друг друга...

Кралев сосредоточенно разглядывал мокрый тротуар. Лицо его по-

степенно оживилось, глаза заблестели, и только складки возле рта выдавали смущение и нерешительность.

— Как доктор, я должен заботиться о вас! Вы упорно отказываетесь лечь в больницу... С моей стороны было бы преступлением оставить вас без наблюдения. Однажды я уже допустил непростительное с врачебной точки зрения легкомыслие. Я совсем не хочу упрекать вас... Моя профессия такова, что должна бы научить меня выдержке.

Он снова замолчал.

— Я вам бесконечно обязана! — сказала Мария, но Кралев словно не услышал ее.

— С вами я не должен и не могу быть неискренним. Меня к вам приводит не только долг врача.— Кралев был уже совершенно спокоен, только печален.— Понимаю, иногда вам хочется просить меня не приходить...

Мария покраснела, но не возражала.

— Я вас понимаю, но вашего желания исполнить не могу...— В его голосе вдруг зазвучали металлические нотки, и он неторопливо продолжал: — Незадолго до того как я вас увидел впервые — вы, помнится, пришли ко мне с радикулитом,— у меня умерла жена... Вы мне понравились, но повседневные заботы оттеснили появившееся чувство. Когда вы обратились ко мне вторично, я был уже равнодушен и даже подумал, что мне повезло. Буду совсем откровенен: я был рад, что судьба уберегла меня... Согласен, говорить вам все это — по меньшей мере бестактно!.. Затем я подумал, что меня влечет к вам долг врача. Человек всегда снисходителен к себе и находит тысячи причин для оправдания своих поступков. Стремление оправдать себя почти так же сильно, как инстинкт самосохранения! Но я понял, что оправдывать себя мыслью о том, что мне в данном случае повезло,— отвратительно, подло и недостойно врача и человека. Что происходило со мной дальше, я вам объяснить не в состоянии. Эти переживания не подчиняются моей воле... Я отлично вижу, как вас мучают мои посещения...

Кралев вытер ладонью мокрое от дождя лицо.

— Я уже не молод и до недавнего времени полагал, что вполне владею своими мыслями, чувствами и поступками. В моем возрасте человек знает, что и зачем делает. Или, по крайней мере, предполагает, что знает... Я же не могу объяснить, что со мной происходит. Это не раскаяние, нет! Раскаяние, в большей или меньшей степени, обманчиво, а это полуосознанная попытка человека оградить свое нравственное спокойствие! Иногда мне думается, что объяснение надо искать в вас. Я врач и не раз видел людей, стоящих на пороге смерти. Но самым большим успехом в жизни я не горжусь так, как сознанием, что понял вас! Будь я моложе, я сказал бы, что влюблен. Однако это не любовь,— любовь ничто в сравнении с чувством, какое я питаю к вам! Вы раскрываете передо мной новый смысл жизни, не имеющий ничего общего с ее продолжительностью. Это и не восхищение: оно редко бывает бескорыстным и лишенным надежды обладания. Но как бы ни назвать мое чувство, оно не позволяет мне исполнить ваше желание... перестать заботиться о вас!

Кралев повернулся к Марии, и впервые она увидела румянец на его худых, впалых щеках. Они прошли еще какое-то расстояние. Смущенная и удивленная признанием доктора, Мария молчала. Она уже жалела, что начала этот разговор. Чувства Кралева тронули ее, но он напрасно истязал себя: у нее не было тех качеств, какими он ее наделил. Она была слабой и напуганной смертью, нерешительной и эгоистичной. Но разубеждать его ей не хотелось, и она надеялась только на то, что эта их встреча будет последней...

...Мария опоздала и, войдя в рабочую комнату, встретила сочувственные взгляды сослуживцев. Она надела халат и собиралась сесть на свое место, когда Тонев, самый молодой из сотрудников, поднял голову и смущенно сказал, что Кирилов просил зайти к нему. Мария подозрительно взглянула на Тонева, но он отвернулся. Она поняла, что Тонев, как и все остальные, боится, как бы у нее не было неприятностей за опоздание.

Кирилов ждал ее, хотя и не показал этого. Он раскрыл какую-то папку и указал ей на стул, что не соответствовало ни его характеру, ни привычкам. Решив, что прошло достаточно времени, он отодвинул папку и небрежно спросил Марию, как прошла командировка. Затем, как бы между прочим, сказал, что на работу все-таки опаздывать не следует. Однако и его беспечный тон и строгость были деланными. Кирилов старался не смотреть Марии в глаза; поймав его взгляд, она заметила в нем страх, сожаление и неловкость. Поведение его было необычно, он даже не крутил цепочку вокруг пальца. Вероятно, он заранее обдумал, как вести себя с ней, но не мог скрыть охватившую его неловкость. Так выглядят люди, которым приходится на похоронах утешать близких покойного...

Мария закрыла глаза. Теперь Кирилов каждым своим словом или даже молчанием будет напоминать ей о смерти. И чем добрее будут становиться окружающие люди, тем хуже будет ей самой. Мария глубоко вздохнула. На сердце у нее было тяжело. Скорбь близких — невыносимое бремя, сочувствие их гасит последние искры надежды... Мария вспомнила Кралева и его упорное желание заботиться о ней. Привычный мир словно замкнулся, и она почувствовала, что сойдет с ума, если не найдет место, где сможет хоть немного отдохнуть.

Кирилов улыбнулся, но тень тревоги не сошла с его лица. Он привстал, словно собираясь, если понадобится, ей помочь, и продолжал улыбаться, силясь скрыть беспокойство.

— Несколько дней назад вы мне предложили...— сказала Мария.— Если еще... Если ничто не изменилось, я согласна взять отпуск...

Мария лежала, тело жадно впитывало тепло постели, руки чувствовали мохнатую поверхность одеяла, глаза поглощали дневной свет. Но всего этого было мало. Захотелось пошевелиться — и тело послушалось. Она решила подняться — и, подчиняясь многолетнему навыку, локти задвигались по постели в поисках опоры. Сердце колотилось, дышалось тяжело.

Проснувшись окончательно, Мария вспомнила прошедший день, и у нее появился страх перед тем новым, что готовит наступившее утро. Она оделась и вышла из дому. Влажный воздух приятно холодил тело. Потоки дождя схлынули, от земли поднимался пар. Солнце отражалось в лужах и слепило глаза, по стенам играли веселые блики.

День в доме отдыха начинался поздно: люди приехали сюда пожить спокойно и не спешили вставать. Спешила одна Мария. Взор ее был устремлен в прошлое, и она торопилась, боясь, что не хватит времени повторить в памяти все пережитое...

Вспомнился далекий послеобеденный час в лесу — дул ветер, шумели листья дикой груши. Вспомнилось утро на берегу моря — оно отливало синевой, кричали чайки, пахло солью и рыбой. Мария видела плакучие ивы и кровавое солнце, запутавшееся в ветках; пологую желтую равнину с коричневыми оврагами и пыльными дорогами, с одинокими деревьями и усталыми стадами. В памяти возникали разговоры, она проходила мимо людей, чьи лица ей были знакомы, и душа изнемо-

гала, потому что все это были только крупинки прожитой жизни. Конец прошлого был и концом будущего...

Мария теперь быстро уставала. Сегодня был первый солнечный день, ей хотелось осмотреть всю окрестность, но сил не хватало. Дом отдыха стоял на припеке возле леса. Когда она вернулась, все вокруг окутывала дремота. В комнатах было светло и по-праздничному пусто. Она легла в постель и почувствовала, что сердце снова холодеет от страха...

Еще в поезде Мария поняла, что ни смерть, ни мысли о ней не остались в Софии. Они были ее тенью, и чем поспешнее она убегала от них, тем быстрее они за ней следовали. В тиши дома отдыха смерть казалась еще ближе. Она владела телом и душой Марии, заполняла дни и ночи...

На третий день Мария уложила вещи. Дом отдыха находился далеко от станции. Чемодан погрузили на ослика, который и сюда привез ее нехитрый багаж, и она пошла по траве вдоль покрытой рытвинами дороги. Над сосновым лесом гулял ветер, и верхушки деревьев шумели; внизу было спокойно и тепло. На поворотах перед Марией вставали поля — неподвижные и залитые солнцем, села и дороги, реки и мосты, надежды и планы на будущее. Картины постоянно менялись. Мария вспоминала, что все это уже видела, и думала, что ее возвращение в Софию так же неразумно, как и приезд сюда. Омытое дождем поле сверкало под солнцем. Мария знала, что поле пахнет влажной землей, что скоро появится новая травка. Она тоже когда-то лежала на теплой земле и слушала свист дроздов. И опять ей подумалось, как бессмысленны воспоминания и все, что сделано и что предстоит сделать. На сердце будто лежал камень, и ей хотелось сесть в поезд прежде, чем она расплачется...

10

Пиралков ждал Марию под навесом кинотеатра, думая, что в такой дождь она нигде не задержится и скоро вернется домой. Где-то поблизости жарили пышки, и ему очень хотелось их попробовать, но он знал, как вредно для печени жареное, и с досадой глотал слюну. Напрасно прождав Марию до девяти часов, Пиралков вернулся домой. На следующий день он позвонил у дверей ее квартиры, но на звонок никто не вышел. Профессор вздохнул, спустился вниз и на этот раз стал ждать не возле кино, а перед зеленной лавкой, где какой-то полный краснощекий мужчина складывал пустые ящики из-под фруктов.

Была суббота. К часу дня перекрестки почернели от людей, трамваи шли переполненные. Пиралков не знал, откуда может появиться Мария, и решил прогуливаться по тротуару. Однако все его внимание было устремлено на трамвайную остановку. В два часа он ушел обедать. После обеда вернулся, но Мария так и не появилась.

Ночью небо прояснилось, и воскресный день обещал быть хорошим. Рано утром профессор позвонил Кривошиеву, и немного спустя академик заехал за ним. На водохранилище Пиралков измучился вконец. Ему было скучно. Окрестности были однообразны, желтые холмы и покрытые плешинами рощицы, где дремали ящерицы и змеи, навевали тоску. Вода у берегов была грязная и пахла тиной. Червяки, которых надо было насаживать на крючки голыми руками, вызывали отвращение. Почувствовав, как холодная слизистая тварь извивается между пальцами, профессор вздрогнул.

У воды Кривошиев не только утратил облик академика, но потерял всякий человеческий образ. В длинных резиновых сапогах, доходящих

до бедер, в сдвинутой на затылок кепке и тесной парусиновой куртке он бесшумно носился по берегу, вполголоса ругал лески, катушки, червей, когда же Пиралков пытался что-нибудь сказать, грозно прикладывал палец к губам. Не лучше выглядели и другие рыболовы: сердитые и хмурые, они лишь изредка обменивались короткими фразами:

— Сегодня на хлеб не берет!

— Будет клевать позднее!

— Коллега, у вас леска провисла!

По привычке Пиралков обернулся. Неподалеку сидел милиционер, катал маленькие хлебные шарики и бросал их в воду. Коллега? Милиционер улыбнулся... Коллега!!! Потом к Пиралкову подошел какой-то босой рыболов в черном берете. Он остановился возле профессора и, поглядывая то на его удочку, то на него самого, с сожалением сказал:

— Так вы, коллега, и головастика не поймаете!

Пиралков загадочно усмехнулся:

— Вы так думаете? Я поставил на карпа! Сейчас он берет на червя, хотя еще и не начал клевать.

Человек в берете покачал головой. Пиралков уже понимал, что на рыболовов производит странное впечатление его одежда: среди них он был единственным, кто пришел в обычном костюме. А если ты не похож на других, тебя будут провожать насмешливыми взглядами. Профессор гордо выпрямился. Насмешки этих «коллег» его не трогали.

— Вы, коллега, только попусту теряете время. Забыли продеть леску в кольцо!

Пиралков даже не взглянул на удочку. Он не знал, о каком кольце идет речь. В этот момент за спиной его послышался громкий смех Кривошиева.

— Ну-ка, не задавайся! Не будь ты таким важным, я бы тебе еще утром объяснил... Вытаскивай удочку, я направлю тебе леску. А то до завтра просидишь зря!

Пиралков не пошевелился. Не переставая смеяться, Кривошиев нагнулся, вытащил удочку и наладил ее, как полагается.

— В следующий раз не смейся над рыболовами. Как видишь, их мастерство — дело не простое!

Пиралков долго еще стоял, устремив взгляд на озеро и обиженно поджав губы. Неуважительный тон человека в берете был объясним, но неужели Кривошиев не понимает, что выставлять своего товарища перед другими в смешном виде — сомнительное геройство.

— Клюет! — завопил Кривошиев, схватил удилище, откинулся назад и дрожащей рукой начал наматывать леску на катушку.— Ох, ох!.. Идет!.. Давай, давай... Мы народ хороший! Иди к дедушке! — шептал он, передвигаясь с места на место и не отрывая немигающего взгляда от точки, где леска торчала из воды.

— Вот она! — обрадованно показал рукой Пиралков, но Кривошиев разочарованно фыркнул:

— Хамса! А тянет, словно кит.

Карп был длиной в полметра, и профессор одобрительно произнес:

— Ничего! Я б его наверняка упустил!

Пиралков сам удивился своему примирительному тону, словно извиняться должен был он, а не Кривошиев. Потом профессор вернулся к удочке. Ему очень хотелось поймать карпа покрупнее, чтобы утереть нос академику.

Рыболовы — люди изобретательные. Груз под названием «подъемник» натягивает леску от конца удилища к земле. Когда рыба клюет, «подъемник» подскакивает кверху.

Но «подъемник» Пиралкова не шевелился. В конце концов профессору надоело сидеть на корточках, и он стал все чаще и чаще погляды-

вать на часы. Вначале он и мысли не допускал, что они пробудут здесь дольше, чем час-два, и с вожделением ждал заветной минуты. Когда солнце припекло и воротник рубашки начал стягивать шею, профессор спросил приятеля, не пора ли подумать о возвращении. Кривошиев удивленно посмотрел на него, словно не понимая, о чем идет речь, и сердито сказал:

— Лишь дураки уходят, когда рыба клюет! Поедем вечером!

Пиралков так и ахнул:

— И все время будем здесь?

— А тебе что — не нравится? — насмешливо спросил Кривошиев и наклонился к удочке. Рыба клевала...

До вечера академик поймал еще несколько рыб. Пиралков аплодировал ему, хвалил, однако, в сущности, все стало ему безразлично. Только вспоминая о Марии, он начинал нервно расхаживать по берегу и с досадой посматривал на узкую спину Кривошиева. Погруженный в свое занятие, академик ни разу не спросил Пиралкова, не устал ли и не проголодался ли он, только молча сунул ему в руку кусок хлеба с брынзой. Еще тяжелее Пиралкову стало во второй половине дня: ноги отекли, шею свело, разболелась голова. Профессор все чаще наведывался к Кривошиеву, но тот словно не замечал его. Академик ворчал на рыб, разговаривал с червяками, грозил водохранилищу, и Пиралков с ужасом подумал, что нисколько бы не удивился, увидев этого человека играющим в шарики, в бабки или в чехарду.

— Ну? — спросил Кривошиев. Усталый, довольный и подобревший, он приподнял корзину с рыбой, чтобы поставить ее в багажник.— Как тебе нравится?

— Нравится...— осторожно ответил Пиралков.— Дело мастера боится! Не знал я, что ты такой дока в этом деле.

Несмотря на муки, перенесенные Пиралковым в воскресенье, на следующий день он проснулся бодрым и почти уверенным в том, что сегодня наконец-то встретит Марию. Но прежде всего он позвонил Кривошиеву и озабоченно осведомился, как тот себя чувствует. Академик ответил ему сердечнее и дружелюбнее, чем обычно, и Пиралков просто не поверил, что один так глупо проведенный день мог настолько их сблизить.

Первой в институте он увидел секретаршу. Свежесть и привлекательность девушки были ему приятны; все еще пребывая в хорошем настроении, он шутливо спросил, не хочет ли она и сегодня уйти пораньше. Девушка покраснела и опустила глаза.

— Ничего, ничего! — сказал Пиралков.— Вы же знаете, что в понедельник у нас немного работы.

Позже, когда секретарша действительно сообщила, что уходит, профессор понял свою ошибку и раскаялся: он не имел права быть снисходительным к слабостям подчиненных. Димитровой давно пора выйти замуж, а эти бесконечные свидания, в сущности, ее только портят. О ней некому было позаботиться, и Пиралков, подумав немного, позвонил на городскую телефонную станцию: известно ли им, что работающая в институте такая-то и такая-то гражданка пользуется своим домашним телефоном исключительно для разговоров с поклонниками...

Перед обедом Пиралков позвонил Марии на работу и с удивлением услышал, что она уже несколько дней в отпуске. Профессор сразу же пошел к ней домой, но, как и раньше, не застал ее. Она исчезла! Сначала ему пришло в голову, что Мария избегает его. Вероятно, чувствует, что он придет, и, не желая с ним разговаривать, прячется. Но где? Он еще раз нажал кнопку звонка, подождал и стал медленно спускаться по лестнице.

Пиралков понимал, какую допустил ошибку. Исчезновение Марии бесспорно подтверждало два неприятных для него факта: она знала о его просчете и собиралась что-то предпринять. Откровенный разговор заставил бы ее изменить решение, но он упустил эту возможность. И упустил единственно из-за своего старомодного и наивного стремления быть деликатным. Он боялся, что его слова покажутся грубыми и обидят Марию — она скрывала свое чувство к Младену,— и поэтому хотел, чтобы их встреча выглядела случайной. По той же причине он не позвонил Георгию.

Из раздумья Пиралкова вывел приятный голос Каракостадинова. Профессор увидел, что он идет по бульвару, ведущему к университету. Доцент подал ему свою мягкую, пухлую руку, уверяя, что счастлив и рад встрече.

Перед входом в зоопарк толпились школьники, и шум их голосов раздражал профессора.

— Давайте пройдем дальше,— предложил он.— Если ничего не имеете против.

— С удовольствием, товарищ профессор. Я так рад, что встретил вас...

Каракостадинов, пропустив профессора, ловко пристроился к нему с левой стороны. Затем коснулся руки Пиралкова и, почтительно поддерживая под локоть, завел разговор о его последней статье.

Видимо, доцент не торопился, он проводил профессора до реки. Кругленький и мягонький, он шел мелкими легкими шажками, поглядывая на Пиралкова и болтая без умолку. Порой у него проскальзывали интимные нотки, это не нравилось его начальнику, но он молчал и улыбался. Профессор не верил ни одному слову этого человека. Он знал, что под задумчивой и постной физиономией доцента скрывается натура подлеца, и угрюмо думал, что за почитанием и уважением Каракостадинова, в сущности, таится неприязнь. Доцент любил только себя, всех остальных ненавидел, ненавидел жестоко и обдуманно. Когда-то, чуть ли не расплакавшись на людях, он заставил сослуживцев посочувствовать его беде, а спустя некоторое время вылил ушат грязи на Младена. Что же будет, когда Каракостадинов узнает правду?.. При этой мысли Пиралков вздрогнул: именно каракостадиновы не простят ему! Они первые поднимут на него руку!..

На мосту они попрощались, и Пиралков, встревоженный, пошел домой. Он любил, жалел Георгия, но дольше ждать не мог. Судьба его находилась в руках Марии, и надо было торопиться, иначе эти трещины в бетоне съедят всю его жизнь. Только Георгий способен ему помочь... Мария — мать, и боязнь за сына заставит ее отказаться от своего намерения...

Дома Елена показала ему телеграмму: Росица и Георгий сообщали о своем возвращении. Пиралков радостно вырвал телеграмму из ее рук. Охваченный беспокойством, он и забыл, что отпуск Георгия кончился.

— Соскучился я по ним,— объяснил он жене свою радость.— Мне их не хватало все лето!

Елена промолчала. Ее равнодушие рассердило профессора.

— Иногда и тишина надоедает,— заметил он, но жена молчала. Она была до обидного равнодушна к его волнениям, радостям и тревогам.

Чтобы не расстраиваться больше, Пиралков сказал, что обедать будет позднее, и прошел в свой кабинет. Телеграмма Георгия сняла с него огромную тяжесть, но равнодушие и нечуткость Елены злили его.

В кабинете было сумеречно. Пиралков поднял штору и остановился

возле окна. Напротив, словно вырастая из-за городских крыш, поднималась Витоша, ее контуры четко вырисовывались на фоне ясного неба. Под синеющими неровностями скалистой вершины неподвижной лентой сверкал Боянский водопад. Видимость была такая отчетливая, что гора казалась совсем рядом, и профессор ощутил тоску по этим местам.

Медленными шагами Пиралков подошел к письменному столу, Мария тревожила его, но он надеялся на силу материнской любви и постепенно успокаивался. Как и прежде, он сумеет затаить свои мысли, и выдавать их будет лишь блеск глаз, хорошо переданный художником, изобразившим на портрете еще совсем молодого Пиралкова. Профессор не любил этот портрет, всегда напоминавший ему о прошлом. Он хотел жить без унизительных воспоминаний. Хотел забыть причиненную Иваном обиду, но жизнь часто неумолимо напоминала о ней.

Профессор горько вздохнул и подумал, что, наверно, никому не было легко с его бывшим другом. Пиралков давно уже простил ему, но рана не заживала и все еще болела. Болела потому, что он в свое время любил Ивана...

Иван был добрым человеком, но впоследствии, как полагал Пиралков, замкнутость убила в нем доброту. Иван был смелым. Однажды, когда он лежал возле скалы, по его спине проползла гадюка; он не шелохнулся, а потом весело смеялся. Но смелость его была слепой, думал Пиралков, она всегда была скорее физической, чем душевной. Иван был молчалив, он не понимал, что момент, когда мысли облекаются в слова,— это граница, которую не всегда легко перейти.

Он не понял значения возможности, открывшейся перед Пиралковым,— поехать учиться за границу, хотя бы и на деньги богатого дяди. Не понял потому, что признавал только собственные желания и одобрял собственные мысли. В противном случае он бы не назвал отъезд Пиралкова позорным бегством, не обвинил бы его в капитулянтстве, в том, что Пиралков изменил памяти убитого брата. И не границу, а как бы целую стену воздвиг он тогда своими обвинениями, и эта стена разделила их на всю жизнь. Пиралков несколько раз пытался помириться, но Иван оставался глух.

Пиралков потер лоб. Иван умер, и воспоминания стали ненужными.

Затем он пошел обедать. Елена молча поджидала его. Профессор кивнул ей, сел за стол и взял ложку. «Материнская любовь сильна,— думал он.— Но этого еще недостаточно. Она не должна быть слепой. Должна обладать предвидением, тактом и исключительным чутьем, без которого может принести только страдания...»

13

Еще не услышав звонка, Мария почувствовала, что пришел сын. Она открыла дверь. Георгий взглянул на мать так странно и с такой болью, что она сразу поняла — родители не могут скрыть от детей приближение смерти. Лицо сына загорело, но выглядело усталым, на нем как бы отражались ее страх и ее отчаяние.

Георгий смущенно улыбнулся и поцеловал мать. Она сжала его руку, радуясь, что он снова с ней. Они сели под картиной с рекой и мальчиком, и Мария погладила голову сына; она дрожала, тяжело дышала, слезы катились по щекам.

— Мама! — с ласковым упреком сказал Георгий.— Ничего плохого не случилось.

Она безнадежно покачала головой. Сын еще ничего не знал, он

только догадывался. Георгий был молод, он острей ощущал голод и стужу, материнские же страдания улавливал лишь сердцем. Он нежно обнял мать за плечи и прижался лицом к ее щеке.

Все это время Мария считала дни до возвращения сына, но и боялась встречи с ним. Одиночество угнетало ее, сердце сжималось при мысли, что она может умереть, не повидав его. Сейчас он с ней... Георгий смотрел на мать, все так же смущенно прищурив глаза, подергивая плечом, которое ушиб когда-то в детстве, и горячо просил ее успокоиться. Мария закрыла глаза и увидела сына — маленького, с русыми волосами, курносого, с пухленькими ножками. Возглас «Мама!» вернул ее к действительности, и она с тревогой подумала, что он похудел.

Лицо Георгия почернело от солнца, волосы стали жесткими, вероятно, от морской воды. Губы обветрились и потемнели. На виске билась жилка. Мария прикоснулась к ней. Георгий взял ее руку и поцеловал.

— Не надо плакать, мама!

Мария приникла к груди сына. Он был здесь, рядом, и у нее больше не было сил сдерживаться.

Успокоившись, Мария вытерла рукою слезы:

— Заждалась тебя!

— Напрасно ты тревожилась,— сказал Георгий, и Мария почувствовала в его голосе перемену.— Приляг! Ты устала от слез!

Георгий осторожно помог ей лечь, заботливо укутал и поднялся.

— Странные люди! — неожиданно усмехнулся он.— Сидят дома, волнуются...

Он беззаботно наклонился к ней, спросил, где взять прозрачную миску для воды, и Марию снова поразила перемена в его голосе. Она показала ему на круглую вазу на шкафу. Загадочно улыбаясь, Георгий взял вазу, пошел в кухню и вскоре вернулся. Двумя руками он держал наполненную водой посудину и осторожно ступал, чтобы ничего не расплескать.

— Теперь,— попросил он,— не смотри, пока не скажу!

Открыв глаза, Мария увидела на дне вазы большую раскрытую раковину, над которой плавал пестрый букет искусственных цветов. Косые солнечные лучи, падавшие из окна, пронизывали вазу, и казалось, в воде плавает множество пылинок.

— Интересно, правда? — спросил Георгий.— Покупаешь ракушку и не знаешь, что внутри. Ее створки склеены и открываются в воде! Другие ты потом сама опустишь!..

У него на ладони лежали четыре черные раковины. Он положил их на стол.

— Спасибо за подарок! — поблагодарила Мария.— Но я очень любопытна и хочу посмотреть, что в них! — Мать улыбаясь смотрела на Георгия, но он не соглашался.

— Я их привез тебе! Какой же это подарок, если я их открою?

— Прошу тебя,— сказала Мария,— они же остаются у меня. Не все ли равно, кто их опустит в воду?

Когда раскрылись остальные ракушки и в вазе появились кораблики, моряки и снова цветы, Георгий вытер руки и весело сказал:

— Знаешь, а профессор здорово испугался тебя!

В первый момент Мария не поняла, о чем он говорит.

— Кто? Пиралков?

— Ага! — кивнул Георгий. — Приходил к тебе дважды и, не найдя, решил, что все пропало.

Сердце Марии дрогнуло, хотя она сейчас не могла припомнить, что в последний раз думала о профессоре.

— Если б он увидел тебя сейчас... — с улыбкой продолжал Георгий.— Нет, мама, не хочу тебя обижать, но, право, люди с годами становятся наивными. Столько времени дрожать от страха!.. А если бы я опоздал? Наверно, умерли бы от тревоги? Милая ты моя мама! — он наклонился и погладил ее руку.

— Георгий, я ничего не понимаю.

— Не знаю, что тебе наболтал Младен, но ему же никто не поверит!

Мария сразу вспомнила обозленное лицо Младена, дрожащие руки и искаженные страхом глаза Пиралкова. Исполненная подозрения, она взглянула на сына. Георгий спокойно улыбался.

— Я виделась с Младеном, — сказала Мария,— но не понимаю, о чем ты говоришь.

— Разумеется, я тебя не виню, мама! — воскликнул Георгий. — Но не надо так бояться! Всем известно, что Младен раньше работал у Пиралкова и сейчас хочет ему отомстить! И что общего может быть у профессора с Младеном?

Один из букетиков опустился на дно. Георгий пальцами вытащил его наверх.

— Теперь пойду успокою профессора,— произнес он и взглянул на часы.

— Постой! — остановила его Мария и, когда сын обернулся, почувствовала, что не решается спросить его, потому что боится ответа.

Георгий нетерпеливо засунул руки в карманы, и Мария с грустью подумала, что поняла причину его беспокойства. Она опять вспомнила Пиралкова и его странное лицо, которое умело выглядеть и добродушным, и холодным. Вопрос вот-вот готов был сорваться с ее губ, но задать его она так и не посмела. А Георгий стоял и ждал. Он не понимал, что мать его смертельно больна, страх не терзал его сердце. И Мария с горечью подумала, что душа сына, собственно, всегда была далека от нее... Георгий пожал плечами, а Мария, теряя силы, сказала:

— Погоди немного!

Как встревожило ее то, что крылось за словами сына, она поняла только после его ухода.

Мария провела бессонную ночь. Утром хотела поговорить с сыном по телефону, но ответил профессор. Не в силах разговаривать с ним, она положила трубку. После обеда Мария пошла к институту и на полпути, неподалеку от скверика, встретила сына. Георгий взял ее под руку:

— Пойдем к нам обедать. Профессор очень обрадуется.

— Посидим лучше в садике,— твердо сказала она.— Я хочу тебя кое о чем спросить!

— Ну вот и хорошо, поговорим у нас. Ты и с Росицей давно не виделась.

Мария решительно отказалась. Георгию ничего не оставалось как уступить, и они вошли в сквер. На сыне был новый темно-синий костюм. Новая одежда как будто изменила его лицо: оно выглядело мальчишески самоуверенным, нежным и беспричинно радостным. Не был ли вчерашний разговор плодом ее воображения?

— Послушай, Георгий, — начала Мария, когда они уселись на скамейке. — Вчера я себя плохо чувствовала и слушала тебя невнимательно... Что ты хотел сказать мне?

Георгий пристально посмотрел на нее.

— Ты не так меня поняла, мама, — смутился он.— Конечно, Младен работает на плотине и может говорить с кем захочет.

— Нет, Георгий, я спрашиваю, что могло испугать профессора.

Он облегченно вздохнул и рассмеялся:

— Приблизительно то же, что и тебя! Вы оба наивны! Но он действительно переборщил... Ты, разумеется, не должна на него сердиться!

Иногда он странен, но какой профессор не бывает странным? Пойдем к нам, вы наконец объяснитесь! Не отказывайся, мама! — Он встал и взял ее за руку. — Если не пойдешь, профессор будет вправе думать, что ты поверила Младену! А я не хочу, чтобы два дорогих мне человека относились друг к другу с недоверием.

— Сядь, — дернула его Мария за руку. — Младен мне намекнул на что-то, но я не совсем поняла... Хочу, чтобы ты мне все объяснил. Почему ты постоянно вспоминаешь Младена и почему профессор меня испугался?

Георгий переменился в лице, и краска медленно залила его щеки:

— Ты действительно ничего не знаешь? Младен ничего тебе не говорил?

— Младен не любит профессора, но на это у него есть причины...

— А о расчете?

— О каком расчете? — спросила Мария, и смутное подозрение охватило ее.

Георгий достал сигареты. Он курил мало и обычно избегал делать это при матери.

— Ты, конечно, вправе обижаться, теперь я тебя понимаю... — нерешительно произнес он. — Выходит, профессор не так уж проницателен! В какой-то степени я понимаю и его... Логично, что Младен должен был поставить тебя в известность, что некоторое время состав бетона для плотины готовили по расчету профессора! Расчет ничего общего не имеет с трещинами, но когда человек жаждет мщения...

Марии казалось, что все это она знала давно. Оставалось последнее, самое важное, что пугало ее больше всего.

— Ну а ты? Ты к этому имеешь какое-нибудь отношение? — похолодев, спросила она.

— Мое участие в расчете состава бетона весьма скромное! Идея профессора... Не создавать шума прежде времени и было его желанием.

— Это все правда, Георгий?

— Да, мама... В конце концов мы ведь не знали, что получится. Лабораторные испытания прошли успешно, но надо было проверить в масштабе большого строительства! Тогда профессор вспомнил о Младене. Ты говоришь, у Младена были основания для ненависти. Но это не так: он ведь профессору многим обязан!

Мария некоторое время продолжала смотреть сыну в глаза, тот не переставал улыбаться, и она молча отвернулась.

Расставшись с Георгием, Мария села в трамвай и поехала к вокзалу. Поезд уходил через пятнадцать минут, следующий — только утром. Она постояла перед расписанием, бессмысленно разглядывая сливавшиеся перед глазами красные и черные строчки, купила билет и вышла на перрон.

«А ты ни разу не подумала, что тебе не следовало бы ехать с Пиралковым?» Да, теперь Мария это понимала. Затем она со стыдом вспомнила, какими высокопарными словами попрекнула Младена в неумении ценить друзей. В ее жизни не существовало более позорного момента, чем этот. Ей казалось, что она ни к кому не была так несправедлива, трудно было себе представить, как она теперь посмотрит ему в глаза. Во время остановок поезда она читала названия станций, и ей все больше и больше хотелось вернуться...

Уже смеркалось, когда Мария приехала на плотину. Горы потемнели, а небо было еще светлым. В центре поселка, под репродуктором, стояла молодежь, и Мария спросила, не видел ли кто-нибудь Младена Мишева.

— Он только что вернулся с плотины, — ответил один из парней и,

повернувшись к соседу, сказал: — Ты, Ламбо, ведь уходишь? Проводи товарища к инженеру...

Окно комнаты Младена светилось. Мария постучала. Открыв дверь, он удивленно взглянул на нее, и она тотчас же поняла, что боязнь за Георгия сильнее всего, сильнее стыда и неловкости. Младен был в рубашке, с большим мохнатым полотенцем на шее. Он попросил ее войти и подождать, а сам вышел в соседнюю комнату. Вернулся он с мокрыми, расчесанными волосами, лицо его было озадаченным и недовольным.

Мария чувствовала, что надо говорить откровенно. Не успел Младен сесть, как она бессвязно и многословно стала объяснять цель своего приезда. На миг в глазах Младена вспыхнуло удовлетворение, потом лицо его будто окаменело. Это застывшее лицо смущало Марию, голос ее постепенно слабел, и она со вздохом умолкла. Младен отвернулся и, глядя в сторону, сказал:

— Я тебя обидел. Прощения не прошу потому, что не заслуживаю... Но лучше прекратим разговор. Была комиссия, составили протокол... Хватит!

— Младен, я приехала не за тем, чтобы выслушивать твои извинения...

— Трудно молчать,— прервал он.— Если мы не говорим, то все равно ведь думаем об этом!

— Обижен прежде всего ты! Мне стыдно за мои слова!

— Я тоже тогда наговорил лишнего, мы квиты. Ты ужинала? — неожиданно спросил он.

— Ну не надо же на меня сердиться, Младен!

— Жаль, что мы так давно знакомы! Сержусь я только на себя и жалею, что тогда нагрубил тебе и профессору.— Он рассмеялся, но Мария уловила в его голосе прежнюю грусть.— Я поступил по-мальчишески...

— Нет, ты был прав! — тихо сказала Мария.

— Прав, Мария, только профессор Пиралков! Я уже однажды пострадал и хорошо понял эту истину! И он всегда будет прав, потому что незыблем!

— Но Пиралков это не все. Есть и партия! — воскликнула Мария.

— Партия была и когда меня увольняли,— с горечью произнес он.— И все-таки меня уволили! Партия состоит из людей, а люди могут и бояться, и заблуждаться, а иногда у них могут появляться и иные соображения... Разве Пиралков не член партии? Эх, Мария, разве ты не видишь, сколько у меня седин? — Он вздохнул и поднялся.

— Ты ошибаешься! — возразила Мария.— Партия воплощает самое лучшее, что у нас есть. Плохое — это не ее, это только наше!

— Да, пожалуй, я ошибся. Ошибся, когда здесь была комиссия. Мне было очень тяжело... Но хорошо, если все обойдется на сей раз! Пиралков действует не сразу, но он не прощает! — И Младен нахмурился.

Мария с болью смотрела на него. Он похудел и выглядел по-прежнему озабоченным, но у него были все те же удивленные глаза, то же мужественное лицо. И все-таки сейчас ей казалось странным, что она когда-то любила этого человека. Затем Мария подумала, что ее сыну не грозит никакой опасности. Будет создано еще несколько комиссий, проведено несколько совещаний, но они едва ли изменят положение. Она приехала сюда ради Георгия, а ему ничто не угрожает. Однако это не принесло облегчения. Мария чувствовала себя теперь еще более одинокой, чем раньше, и жалела, что приехала. Она понимала, что эта поездка не останется без последствий, и с грустью думала о сыне.

Мария встала и простилась с Младеном. Уходя, она продолжала думать о Георгии и теперь уже знала, что самое страшное во всей этой

истории — то спокойствие, с каким сын говорил о Пиралкове и его злосчастном расчете.

Когда наконец она вернулась в комнату гостиницы и разделась, начались боли. А может быть, они начались еще в поезде или когда она была у Младена? Мария этого не помнила, она видела только подушку, на которую должна лечь, потом исчезла и подушка, и в комнату опустились мрак и тишина...

Кругом было темно, даже окно, из которого когда-то струилось сияние звездного неба, выглядело черным. В постели было жарко, одеяло стало тяжелым. Мария дышала с трудом, легким не хватало воздуха, он обжигал губы. Биения сердца не было слышно, словно оно совсем исчезло, а там, где когда-то был желудок, кипела смола.

— Мария Василева, почему ты молчишь, почему не отвечаешь?

Мария вздрогнула. Это был ее голос, но в нем не слышалось боли, в то время как внутри все страшно болело. Она прикусила губу, хотела пошевелиться, но постель крепко держала ее.

— Как же все это случилось?

— Не знаю...

— Но ты помнишь, как началось?

— Помню...

— И не забыла тот вечер, когда Георгий вошел к тебе и, ластясь, сказал, что хочет жениться на Росице? Тебе было неприятно! Ты знала девушку, но думала не об этом...

— Да, я думала о другом...

— Ты думала о профессоре Пиралкове, которого хорошо знала. Но в тот момент позвонил сам профессор, пригласил на ужин и поздравил с невесткой... Ты ему не поверила!

— Не поверила...

— Потом ты вышла.

— Потом я вышла. Шел дождь. Но я не села в трамвай, а пошла пешком. Мне нужно было время, чтобы подумать. Я и до того момента думала, но... Думала всю дорогу, промокла до костей и после весь месяц проболела. Пиралковы приняли меня очень радушно. Навстречу вышла вся семья во главе с профессором. С ними был и мой сын Георгий. На душе у меня стало тяжело, но я улыбнулась: это же был день их помолвки! Пиралковы приняли меня очень хорошо, они это умеют. У них просторный и удобный холл, куда профессор приглашал не всякого. Многим приходилось довольствоваться кабинетом. И я впервые переступила порог этого до известной степени исторического для болгарской науки холла. Люди рассказывали, что, когда Пиралкова принимали в политехнический институт, через этот холл прошла чуть ли не половина научного мира. Да, Пиралковы встретили меня очень хорошо, а я так давно никуда не выходила, не бывала среди людей... В их доме все взгляды, улыбки и предметы имели определенное назначение. Напротив меня сел Георгий, но здесь он не выглядел гостем,— гостьей была только я. После ужина мы сидели с профессором в стороне и разговаривали.

— И ты ему поверила!

— Нельзя сказать, чтобы поверила...

— Но как же тогда все могло случиться? Речь идет не о свадьбе Георгия и Росицы, они должны были пожениться, потому что любили друг друга.

— Нельзя сказать, что я ему верила, но мне было приятно его слушать. Он говорил о Георгии. До сих пор о нем говорили соседи, учителя, знакомые... Но они все знали Георгия недостаточно хорошо и иногда относились к нему излишне строго. Случалось, что и Георгий меня

огорчал... Профессора же мне было приятно слушать. Он ведь смотрел на Георгия почти моими глазами!

— Но ты не забыла, что с тобой говорит не кто иной, как профессор?

— Я не забыла, что со мной говорит профессор Пиралков. И после об этом не раз думала. Он не лгал. Георгий действительно одарен. И кроме того, к сожалению, человек всегда предпочитает слушать о себе и о своих близких приятное, полагая, что плохое характерно для других...

— Все это было в день помолвки. А после, через год?.. Ты ведь знала, что молодым не следовало жить в семье профессора?

— Я многое знала! Но иногда наше мнение о других объясняется нашей собственной натурой. Добродушные видят вокруг добряков, подлецы — подлецов... Не хочу сказать, что я очень хороша, но я желала сыну счастья! Пиралков ведь тоже отец. Люди сложны, различны и бесконечно своеобразны. Он любил Георгия... Любит и сейчас... И немногие могут догадаться, что не он его ребенок, а Росица!

— Наше мнение о других объясняется нашей собственной натурой, возможно! Но и после женитьбы Георгия были люди, которые... Ты их слушала с неудовольствием, хмурилась, и они переставали быть искренними с тобой. А разве они лгали?

— Нет, не лгали...

— Некоторые из них были друзьями Ивана... Им не нравилось высокомерное отношение Георгия к одним и легкость, с какою он воспринимал мнение других. Их тревожила преждевременная холодность его взгляда. А ты что делала? Почему молчишь? После каждого такого разговора ты шла к Пиралкову. А профессор говорил то, что тебе хотелось услышать. Вот так ты и упустила нечто очень важное!

— Упустила...

— Когда Пиралков хвалил твоего сына, ты даже забывала, как он поступил с Младеном! Тебе нужно было об этом забыть. Потому что ты, сомневаясь в достоинствах сына, не хотела сомневаться в словах и похвалах Пиралкова!

— Неправда, я...

— Нет, правда! Однажды дома ты рассуждала о сущности мещанства. Не знаю, что тебя навело на мысль о нем, но ты думала, что мещанство тесно связано с жизнью — так тесно и глубоко, что оно почти неизбежно. «Что порождает мещанство? — спрашивала ты и отвечала:— Потребность в пище, одежде, жилище, тоска по детям...» А потом к тебе в гости пришел профессор. Принес розы. Ты любишь розы, и, хотя никогда ему об этом не говорила, он всегда их приносил. Ты опустила цветы в воду и поставила вазу на стол. А на столе стояла фотография Ивана. Пиралков проследил за движением твоих рук и заметил портрет. Он видел его не впервые... Не впервые замечала и ты, что фотография мужа как будто беспокоит профессора. Он обыкновенно садился так, чтобы портрет не попадался ему на глаза. Но Пиралков, довольный, что принес тебе такие редкие по красоте розы, случайно взглянул на портрет. Охватившее его беспокойство напомнило тебе о многом. Неожиданно у тебя возникло желание спросить профессора, откуда он знает Ивана, но ты не спросила; ты подумала, что это будет с твоей стороны нетактично. Ты снова подумала, что Георгий счастлив... Пиралков был взволнован, ты села между ним и фотографией и, тоже охваченная волнением, начала говорить о Георгии и Росице. Ничего не случилось, но оба вы избегали смотреть друг другу в глаза. Ты продолжала думать о счастье сына и тех волнениях, какие причиняют родителям дети, но это не были твои подлинные мысли, так как за спиной ты чувствовала взгляд Ивана... Когда профессор ушел, ты повернулась к столу и заплакала. Портрет

Ивана уже не был отражением твоей души. Вечером на столе осталась только ваза с редкими по красоте розами...

— Я хотела, чтобы профессор продолжал любить моего сына!

— Но он и теперь его любит, а тебя это уже не радует! Не радует. Не радовало и в прошлом году. Помнишь?.. Росица забеременела. Тебе очень хотелось внучонка... Когда ты узнала об этом, весь день ходила радостная и на душе было легко. Потом Георгий, избегая твоего взгляда, сказал, что еще рано... Что, мол, они молоды, не устроились еще как люди, впереди много трудностей. А ты уже носила в сердце образ внука. И вспомнила, что, когда родился Георгий, перед тобой и Иваном ведь не стояло никаких трудностей, и вы были уже устроены... Ты ничего не могла ему ответить. В тот же вечер Пиралков пытался тебя успокоить: «Они очень молоды, еще не устроены, впереди много трудностей»... Ведь Георгий ему был как сын? И немногие могли догадаться, что не он его ребенок, а Росица.

— Довольно! Не могу больше...

— Так все запуталось, что невозможно узнать, что чем объясняется...

— Довольно! Не могу больше...

Окно оставалось таким же черным, и из него не струилось сияние звездного неба. Одеяло было таким же тяжелым и давило на грудь. Но сердце Марии все еще билось...

12

Утром Пиралков попросил жену приготовить ему кофе вместо чая. После стольких волнений он наконец-то проспал ночь спокойно. Но почти семичасовой сон не освежил голову, и профессор нуждался в чем-то бодрящем. Елена ничего не сказала. Пиралков по опыту знал, что ей все безразлично, и больше с ней не заговаривал. Не стоило омрачать хорошее настроение...

Мягкое солнце и прозрачный, едва различимый туман, скрадывая синеву небес, придавали утру невыразимую, печальную прелесть. Профессор не сразу пошел в институт, а сначала прогулялся по улицам, наслаждаясь наступившим успокоением. Он выстрадал его и теперь заслуженно упивался наполнявшей душу тишиной.

Пиралков шагал медленно, глубоко дышал и улыбался. За последние дни он похудел, лицо приобрело непривычную строгость, но сохранило прежнее благородство и значительность. Перенесенные волнения не очерствили его сердца. Даже в те мгновения, когда все казалось потерянным, он не позволил злобе овладеть его душой. И теперь гордился самим собой, гордился своим разумом, который помог ему в дни самых тяжелых испытаний.

По дороге Пиралков зашел в магазин. Покупателей еще было мало, и он мог не спеша, внимательно рассмотреть выставленные ткани. Ему хотелось купить материю на платье, но трудно было выбрать цвет — тона были слишком однообразные. В конце концов он остановился на черном сукне: оно по крайней мере удовлетворяет всем вкусам.

Затем профессор направился к институту, продолжая думать о той возвышающей силе, которая помогла ему сохранить бодрость духа, и радостное чувство легкости не покидало его почти весь день.

Во время обеда он предупредил жену, что вечером задержится. Предупреждение было излишним, оно не произвело на Елену никакого впечатления, но сегодня профессор не в состоянии был сердиться.

Однако вечером Пиралков вернулся раньше обычного. Вернулся встревоженный — он узнал, куда уехала Мария, хлопнул дверью и бросился в комнату Росицы и Георгия. Их там не было. Профессор прошел в кухню.

Елена гладила рубашки. Набрав в рот воды, она брызгала на сухое белье, мокрые пятна шипели под горячим утюгом и мгновенно исчезали.

— Где Георгий? — спросил Пиралков.— Еще не вернулся?

— Пошли в кино,— ответила Елена, поставив утюг на стол.

— Нашел время для кино! — воскликнул профессор и сел.

Сверток зашуршал в его руках, и он сердито швырнул его на скамейку. Затем прижал ладонь к сердцу и тяжело вздохнул. Елена подала ему стакан воды.

— Спасибо,— прошептал Пиралков и, смочив губы, отставил стакан.— Как только Георгий вернется, пошли его ко мне в кабинет.

Он встал и взял сверток, сразу напомнивший ему о его невообразимой наивности.

— Прошу, не забудь! — повторил он и повернулся к двери.

Тогда Елена, обойдя стол, встала перед ним.

— Владимир! — начала она, но, будто смутившись, умолкла.

Елена прикусила губу, и профессор с удивлением заметил, что жена взволнована или даже рассержена, чего с ней давно уже не случалось.

— Ты хотела мне что-то сказать? — приветливо спросил он.

— Да,— ответила Елена.— Перестань порочить Марию перед сыном.

Стоя перед мужем, Елена поняла: для того чтобы быть откровенным, человеку мало одного желания. Она хорошо знала Пиралкова и не боялась его гнева. Не смущало ее и то, что он смотрит на нее скорее удивленно, нежели рассерженно, очевидно, раздумывая, как ей ответить. Они прожили вместе тридцать лет, и за все эти долгие годы он всегда находил нужный ответ. Удачный ответ был для него важнее самого поступка.

Пиралков побледнел, глаза его приняли страдальческое выражение, но сердце Елены не дрогнуло, и она не пожалела мужа. Он часто терзался, и ее душа уже перестала откликаться на его переживания. Пиралков страдал, когда шел дождь и когда палило солнце; страдал, когда убили брата и он оказался безработным, когда его ненавидел Иван и когда над ним смеялись обитатели двора. Но в те дни его страдания были и ее страданиями. Она видела только, как он заботлив и мил. Тогда еще не наступил день посещения ими магазина. День этот, возможно, прошел бы незамеченным, если бы поход в магазин не повторился еще и еще... И каждый раз происходило одно и то же! Владелец магазина отмерял кусок для рубашки, костюма, платья или занавески и заворачивал его. Пиралков собирался платить, в это время с улицы входил Янакиев и предъявлял документы: «Контролер палаты мер и весов». Как всегда, обнаруживался недомер. За этим следовал акт на разорительно большую сумму. Хозяин был готов пойти на все. Владимир брался уговорить контролера, который «случайно» оказывался его знакомым. Как же это можно назвать?..

Пиралков был без работы. В счет квартирной платы он согласился руководить постройкой забора перед окнами соседей. Елена любила звон колокольчиков на шеях коров, мечтала о красивых платьях, прислуге, хорошей квартире, интеллигентных соседях и красивых сервизах... Исполнение любой мечты уменьшало число желаний. Владо не мог найти работу, потому что его брат был революционером. Муж был образован-

ным человеком с дипломом инженера в кармане. Но он говорил, что любит брата и не может отречься от него...

Вскоре лес на картине в их квартире начал казаться Елене похожим на сапожную щетку, и запах гуталина преследовал ее даже во сне. Муж был все так же заботлив, и только иногда, когда она, усталая, отказывалась пойти с ним в очередной магазин, в его глазах появлялся холодный блеск.

Но тогда она еще не понимала, что это означает. Охватившая ее апатия, казалось, была беспричинной или порожденной тяжелой атмосферой двора. Происходившие там ссоры и драки изнуряли и пугали Елену. Она мечтала о времени, когда они начнут жить, не чувствуя запаха кухни и старого гнилья, не будут видеть двух сестер из подвала и слышать цоканья лошадиных копыт в конюшне за стеной, перестанут думать об Иване. Иван с ними не разговаривал и даже не смотрел в их сторону, но они постоянно о нем думали. Владимир говорил, что Иван холоден и надменен и может всю жизнь прожить в этом дворе — его глаза не замечают окружающего уродства.

Затем пришло время, когда она поняла все, что ей было неясно. Это время пришло вместе с прекрасной квартирой, с профессорским званием мужа, с красивыми вазочками на буфете. Пришло вместе с гордостью за убитого брата, со зваными обедами и ужинами, с увольнением Младена и замужеством Росицы. Но мечты уже покинули ее. Потянулись бесконечно тоскливые дни, заполненные довольством и скукой. Раньше ей хотелось бежать со двора, рисовалось счастливое будущее. Сейчас она ничего не могла себе представить. Оказалось, что она никогда и не мечтала, а только жила мечтами Владимира, а они были похожи на те пустые листы, которые он когда-то заполнял этикетками от шоколадок: место недостающей картинки на них всегда оставалось пустым!

Теперь муж и жена стояли и смотрели друг на друга. Пиралков держал под мышкой сверток, и краски постепенно возвращались на его лицо. Елена думала: человек может быть откровенным лишь в том случае, если знает, что будет откровенным не только сегодня, но и завтра. В противном случае это излишнее и бессмысленное мучение...

Наконец — а в сущности как раз вовремя, так как Елена ошиблась, думая, что Пиралков молчит от смущения,— он с укоризной произнес:

— Елена, человек должен хорошо понимать значение каждого произносимого им слова!

— А я понимаю! — ответила она.— Я слышала, что ты говорил Георгию.

— Я никогда не скрываю, о чем говорю с людьми,— с достоинством возразил профессор.— Ты моя жена и лучше всех должна меня знать!

Елена грустно смотрела на него: он ничего не выигрывал от того, что она знала его лучше других.

— Георгий мой зять, и я должен говорить ему правду,— продолжал наступать Пиралков.— И не думай, что мне было легко. Люди не могут жить вместе, когда между ними лежит недоговоренность!

Елена вспомнила, как когда-то они с Марией сидели на теплых бетонных ступеньках. У Марии было красивое лицо и печальные глаза. Ее тонкие руки и фигурка привлекали внимание всех мужчин во дворе. Она была похожа на ученицу, в глазах которой еще не угас страх перед учителем и которая еще не разучилась краснеть. Елена сочувствовала ей, но подругами они так и не стали. Между ними легли тайные посещения магазинов и странное поведение Владимира, который то ругал

жену за дружбу с Марией, то злился за то, что она не приглашает ее к себе почаще...

Гордый и обиженный вид мужа рассердил Елену:

— Недоговоренность! Но ты же ничего не знал, а только подозревал... А кого ты не подозревал?

— Разве я говорил Георгию нечто большее? — удивился Пиралков.— Я только высказывал свои предположения. Только то, что подозревали и другие...

— Что подозревал ты, а не другие! — резко оборвала она.— Но Мария ведь ему не случайная знакомая, а мать!

— Я этого никогда не забывал,— возмутился Пиралков.— Никогда не забывал и обязательств по отношению к своим близким!.. Ты не можешь пожаловаться, что я когда-либо был невнимателен к ним. Ведь не можешь пожаловаться? Я не думаю, что все эти тридцать лет мы были чужими друг другу!.. Правда, в последнее время ты изменилась, но я не обижаюсь и не думаю, что эта перемена отражает новое отношение ко мне. Не может быть, чтобы ты не знала моих намерений!

На миг ей показалось: муж не понимает, что делает, и, возможно, всю жизнь не отдавал себе отчета в своих поступках. Она было обрадовалась этой мысли, но, взглянув ему в глаза и увидев холодную, словно потонувшую в них усмешечку, поняла, что ошиблась. Он только притворялся обиженным! Он всегда притворялся честным, любезным, заботливым, милым... И жизнь с ним не была настоящей жизнью.

— Я не изменилась!.. Просто когда-то смотрела на тебя иными глазами.

— Не ожидал услышать от тебя такое! — воскликнул Пиралков и вдруг весь как-то сник.

Он расстегнул воротничок рубашки и провел пальцем по шее.

— Ты всегда казалась мне хорошей и верной супругой... Что бы ни случилось со мной, я знал: дома меня ждет добрый друг... Нет, Елена, я не верю! У нас дочь, мы начинали жизнь, не имея ничего. Ты всегда была рядом со мной!

Нет, сейчас он не притворялся, так, может быть, действительно не сознавал, что делал? Елена взглянула на его постаревшее лицо с едва заметными синими жилками на щеках, на его умоляющие близорукие глаза, и сердце ее наполнилось раскаянием и жалостью. Эгоизм Пиралкова похоронил все мечты и лишил смысла ее жизнь. Но не слишком ли поздно вспоминать об этом? Не упустила ли она время, когда люди имеют право предъявить друг другу счет? Своим молчанием в течение тридцати лет она принимала Владимира таким, каков он есть, и теперь всякие упреки были уже излишни.

Пиралков ждал ответа, но Елена молча опустила голову. Сила, которую придали ей воспоминания, была обманчива, они лишь размягчили ее сердце. Она села к столу, на котором гладила, и сложила руки на коленях. Далекий образ девушки, чье очарование так взволновало ее душу, постепенно бледнел. Размышляя одновременно о многом, Елена объяснила свое нервное состояние тем, что полдня ходила по магазинам. Желание быть откровенной гасло, ее беспокоило, что белья собралось много и придется гладить до полуночи. Она подняла голову и, встретив ожидающий взгляд мужа, с удивлением спросила себя: чего же хочет от него? И что это за странная вспышка? Мысль о том, что теперь муж будет долго сердиться, огорчила Елену. Думы о нерадостных днях, которые ожидали ее, снова вызвали воспоминания о Марии. Но, возможно, это были уже не воспоминания, а тоска о чем-то прекрасном, таком далеком от их дома...

Пиралков вздохнул и, как обычно в минуты обиды, отошел к окну.

— Тяжело, Елена,— начал он, возвращаясь мыслями к трещинам

и тому позору, который висел над ним,— тяжело, когда тебя не понимают даже самые близкие. Очень тяжело! Но что поделаешь — каждый несет свой крест!

Профессор прислушался. Не было слышно ни звука, словно кухня была пуста. А время летело: Мария снова была на плотине, и Георгий, наверно, скоро вернется.

— Ты знаешь,— повернулся он к Елене.— Я от тебя ничего не скрывал. Есть опасность, что трещины в массиве плотины будут свалены на наш расчет.

Елена оперлась головой на руку — он услышал, как ее локоть стукнул о стол, и затаил дыхание, но и на сей раз жена не произнесла ни слова. Ее странная привычка говорить, когда надо было молчать, и молчать, когда от нее ждали слов, раздражала профессора. Но он понимал: сейчас надо помириться. В этот момент Мария была на водохранилище, а Стоимен продолжал разъезжать по стране... Всесильный академик мог бы помочь... Но захочет ли?..

— Ты понимаешь, это крайне тенденциозно! — в отчаянии воскликнул профессор.— Но за такие дела человек может потерять и место и имя! Ты разве хочешь, чтобы мы разорились?

Он не видел лица Елены, но был уверен, что оно выражало испуг.

— Не хочу,— ответила она. Голос ее не понравился профессору: в нем не чувствовалось должного волнения.

— Вот видишь! И все из-за трещин! Будет очень неприятно, если нам придется оставить квартиру. А это самая незначительная из всех бед, которые нас ожидают! Если я что-нибудь предпринимаю, то делаю это ради нас всех.

— Неужели все так серьезно?

— Да... К сожалению!

— И ничего нельзя поправить без клеветы на Марию?

— Прошу тебя, Елена, не произноси этого слова. Всю свою жизнь я ненавидел клевету. Все здесь гораздо сложнее. Ты ведь знаешь, я люблю Георгия, как родного сына.

— Не ошибаешься ли, Владо?

— Елена, я тебя никогда не обижал!

— И я не хочу тебя обижать. Но мне все время кажется, что ты не хотел выдавать Росицу за Георгия... Тебя просто заставили обстоятельства.

Профессор подозрительно посмотрел на жену. Елена была бледна. Страх охватил ее: в глазах стоял ужас перед крахом, нависшим над их домом. Это обрадовало профессора, но он тут же вспомнил о Марии.

— Ты говоришь глупости,— запротестовал он.— Ничего подобного никогда не было.

— Хорошо, если не было! — ответила Елена с грустной улыбкой.— Мне хотелось бы ошибаться...

— Ты просто не понимаешь, что говоришь,— вздохнул Пиралков.— Но я не сержусь. Не могу сердиться! — и, взглянув на сверток, который держал в руках, добавил:— Вот... Купил тебе на платье... Но ты... Получилось так, что не успел, не было времени...

Он положил сверток на стол, открыл рот, словно желая еще что-то сказать, и, не в силах справиться с волнением, вышел из кухни.

Через холл Пиралков прошел спокойной, ровной походкой и, только переступив порог кабинета, почувствовал себя старым, усталым и отчаявшимся. Ему было холодно, он дрожал, ноги едва держали его; измученное переживаниями и тревогами сердце билось неровно; шея и плечи вспотели. Профессор сел за письменный стол и по привычке положил руки на холодное стекло. Ему хотелось, чтобы этот первый миг покоя никогда не прекращался...

Однако только первый миг покоя был бездумным и безмятежным; только первый миг, пока напряжение не оставило расслабленное тело и в сердце не хлынули еще воспоминания.

Пиралков сидел за столом и думал. Елена его не любила, это он знал давно. Она никогда не скрывала своего равнодушия, но сегодня впервые решилась упрекнуть его. Вместо удивления и гнева в сердце Пиралкова была пустота. Иного от жены он и не ждал, однако теперь ее слова вдруг приобрели совсем иной смысл, который выходил за рамки их отношений. Слова Елены показали, что у профессора были неправильные представления о людях. Теперь он убедился в том, что великодушие и благородство — выдумка; выдумкой может оказаться и материнская любовь.

Первые минуты отдыха прошли, и профессор расширенными от ужаса глазами смотрел перед собой. Никогда еще воспоминания так не терзали его душу. Он понимал — наступало то, что долго откладывалось. Приближение момента расплаты он почувствовал еще тогда, на водохранилище, под немигающим взором Марии; пока она скрывалась от него, он метался между надеждой и отчаянием; и только теперь, когда Мария снова была на плотине, а Елена почти с презрением высказала то, что думает о нем, профессор понял, как тщетна была его надежда на снисхождение...

«Но разве я хуже их? — спрашивал он себя.— Чем же?.. Согласен, может быть, не следовало принимать предложение дяди! Иван в известной степени был прав... Дядя перед всеми опорочил память моего брата... Не надо было принимать его предложение... Но потом? Когда я вернулся? Разве я пошел к нему? С дипломом инженера разве не сидел я без работы? Не голодал? За что же Иван превратил мою жизнь в муку? Я ничего не сделал, но постоянно искал оправдания своей несуществующей вины. Не спал долгие ночи, в отчаянии хотел разорвать диплом и послать ему его по почте. Но это было бы бессмысленно! Ничего бы не изменилось, да и он не понял бы. Иван не мог даже предположить, что в подобном состоянии моя жизнь не была жизнью! Чего он хотел от меня? Дядя оплевал труп моего брата, но разве диплом меня изменил?.. Я остался таким же, и высокомерие Ивана мучило меня. Носить клеймо, быть раз навсегда осужденным... Почему?.. Кто же решает, что твоя душа и твои мысли менее бескорыстны, чем душа и мысли другого? У Ивана не было богатого дяди, и неизвестно, как бы поступил он на моем месте... Может быть, не согласился бы... Может быть! Но разве этого достаточно? Он даже не знал, как я живу! Умер и не знает, как живу теперь! А я сохранил душевную доброту. Сохранил вопреки всему, не растерял ее и по сей день. Мое сердце всегда было полно самых добрых намерений. Чужие стремления волнуют меня, как мои собственные. Недавно, при виде плохо одетой девочки я прослезился. В прошлом году, перечитывая «Под игом» *, я плакал... И никогда не стыдился своих слез! Когда же кто-нибудь декламирует «Хаджи Димитра» **, мое сердце трепещет, и я жалею, что у меня нет двух жизней, чтобы посвятить их борьбе и труду на благо всех людей на земле!»

Пиралков не мог больше усидеть на месте и начал шагами мерить комнату из угла в угол. Последние лучи заходящего солнца заливали кабинет печальным оранжево-красным светом. Каждый раз, когда профессор проходил мимо шкафа с коллекцией минералов, стекло подрагивало, а отражение комнаты словно вспыхивало и тотчас же гасло...

---

* Исторический роман Ивана Вазова (1850—1921).

** Знаменитое стихотворение Христо Ботева (1848—1876).

Профессор остановился перед своим портретом. Молодой Пиралков смотрел задумчиво, но видно было, что задумчивое выражение его лицо приняло только перед тем, как он сел позировать. Прежде чем художник взялся за кисть, будущий профессор был явно озабочен и угнетен: это было заметно по опущенным углам слегка сжатых губ. А глаза? В них сказалось все мастерство художника. Уже в тот момент в них сквозило нечто многообещающее, проглядывала осторожность, они были исполнены внимания к людям и их поведению. Однако художник уловил в глазах Пиралкова нечто иное, понятное только профессору... Художник словно чувствовал, как будет выглядеть лицо профессора через пять, десять, пятнадцать и даже через тридцать лет.

И действительно, глядя сейчас на свой портрет, Пиралков невольно вспоминал, как медленно, незаметно жизнь меняла и его лицо и душу. Печаль, вызванная смертью Ивана, как-то прояснила его взгляд, складки возле рта стали глубже; тогда и появилась в его лице какая-то трагическая раздвоенность, которая нравилась всем знакомым. Он не верил, что Иван умер, ничего не рассказав Марии, но все же скорбел о нем. Позже, став профессором, он приобрел больше уверенности, в глазах реже появлялась тревожная настороженность, характерная для того времени, когда он был безработным. Еще позднее, а особенно после свадьбы Росицы, лицо профессора снова изменилось: на этот раз в его глазах появилось спокойствие, к которому так тщетно стремился он в молодости. В то время Пиралков думал, что Мария уже не вспоминает о предвзятом отношении к нему ее покойного мужа...

Потом Пиралков перестал смотреть на портрет, и целиком отдался воспоминаниям; в прошлом не было ни хорошего, ни плохого, а только прожитые дни. Так он долго стоял с опущенной головой и думал, что если бы жизнь началась снова, ее дни, наверно, походили бы на тот далекий день, когда он улыбался только от радости. Но, взглянув снова на портрет и встретив взгляд молодого Пиралкова, в глазах которого словно были собраны чувства, мысли и намерения всей его жизни, профессор в отчаянии понял, что ошибается. Он увидел, как шаг за шагом повторилось бы все так, как оно было, потому что опять ему встретились бы Иван, Мария или кто-либо из многих им подобных...

Спустилась темнота и скрыла стену с портретом. На улице загорелись фонари, и свет в окне напомнил осенний рассвет. Открылась входная дверь, и профессор услышал голос Георгия, затем легкие шаги Росицы, хлопнула другая дверь, и все снова стихло...

13

Мария никого не ждала. Когда раздался звонок, она подумала, что это Кралев, и неохотно встала. Неизвестный гость звонил нервно и продолжительно; в упорстве, с каким он нажимал кнопку, было что-то тревожное. Мария заторопилась, открыла дверь и не поверила своим глазам: на пороге стоял Пиралков, бледный, с воспаленными от бессонницы глазами. Его щеки, обросшие грязно-сивой щетиной, ввалились. Мария не привыкла видеть профессора в таком виде и испуганно отпрянула.

— Можно войти? — уныло спросил он.

Мария молча кивнула.

Пиралков сел, потер рукой подбородок, грустно посмотрел на Марию, словно не решаясь сказать, зачем пришел, и со вздохом отвернулся. Мария все еще не могла прийти в себя от изумления. Перед ней был совсем другой Пиралков, не только неряшливый и равнодушный к своей внешности, но словно навсегда утративший всю бодрость и самоуверен-

ность... Вскоре, вглядываясь в него и спрашивая себя, что же с ним произошло, она догадалась: его лицо лишилось чего-то очень важного— улыбки. Он ни разу не улыбнулся. Между ними сейчас уже не было ширмы, скрывавшей мысли и чувства. Профессор страдал. Он был испуган, сломлен. Лежавшие на коленях руки дрожали.

— Хочешь кофе? — спросила Мария.

Пиралков повернулся к ней. Цвет его лица напоминал талый весенний снег, которому давно уже пора было сойти. Не проронив ни звука, профессор покачал головой. Мария уже поняла, что ни с кем ничего не случилось: так страдать Пиралков мог только из-за самого себя.

— У меня совсем свежий кофе! — добавила она.

Марии хотелось уйти. Утром она предполагала, что ей предстоит длинный и откровенный разговор с профессором, а сейчас не могла оставаться с ним в комнате. Хотелось сказать ему много обидного, но в его покрасневших глазах она прочла готовность пройти через унижение, и ей стало не по себе.

— Спасибо,— произнес профессор.— С сердцем не все в порядке!

Он встал, и, когда снова послышался его жалобный, почти плачущий голос, Мария покраснела.

— Сначала выслушай меня,— слезливо попросил он,— а потом решай, как знаешь... Я всегда был эгоистом, Мария... Мне всегда казалось, что другие получают от жизни больше, нежели заслуживают. Это сделало меня чересчур амбициозным... Даже завистливым! Нет, Мария, не стыдись смотреть на меня! Я знаю, что говорю! Порой наступают моменты, когда человек должен посмотреть на себя так, как даже и враги на него не смотрят. Я не смогу теперь жить, если не буду беспощаден к себе. Но ты должна меня пожалеть... Ради Георгия и Росицы!

Пиралков закрыл лицо руками. Мария испугалась, что ему станет плохо, и осторожно прикоснулась к его плечу.

— Прошу тебя... Не надо! Успокойся!

Между пальцами у него заблестели слезы. Все еще дрожа и не отнимая рук от лица, словно боясь посмотреть на Марию, профессор послушно опустился на стул. Она беспомощно оглянулась: ей впервые приходилось видеть мужские слезы, и она не знала, что делать.

Немного успокоившись, Пиралков вынул платок и, не поднимая головы, вытер слезы. У него был очень жалкий вид. Он продолжал всхлипывать, и это было так страшно, что Мария, забыв все плохое, что думала о нем, от всего сердца захотела его успокоить:

— Не надо так! Ты же мужчина! Возьми себя в руки!

— Все кончено,— с отчаянием вздохнул он.— Умудренный опытом профессор должен был предвидеть все! Я виноват!

— Но если будет доказано, что причина трещин не в твоем расчете?

— Поздно! — простонал Пиралков.— Я же скрыл! Обманул комиссию... и тебя! Всех обманул! Я не могу простить себе этого, как же простят другие?

— Да,— задумчиво произнесла Мария.— Если бы не скрыл! Это многое меняет.

Профессор не выдержал ее взгляда и опустил голову.

— И все-таки,— продолжала Мария,— не думаю, чтобы положение было так безнадежно.

— Но я же был председателем комиссии!

Мария подумала о Младене, потом вспомнила тот вечер, когда профессор читал проект заключения. Словно почувствовав, что молчание не в его пользу, Пиралков поспешно заговорил:

— Если бы не Георгий и не Росица, я бы тебя не побеспокоил! Свое я прожил, а они только начинают.

— Понимаю,— промолвила Мария,— только не знаю, как тебе помочь.

Лицо ее осунулось. Глаза заблестели. Она присела на краешек стула. За ее спиной висела знакомая профессору картина с мальчиком и рекой. На столе, обложкой кверху, лежала раскрытая книга. Одеяло и подушка на постели были смяты: видимо, Мария любит читать лежа. Неужели и его дни потекут так же буднично и обыкновенно? Мария озабоченно смотрела на Пиралкова. Но он не мог поверить в искренность ее сочувствия, так как с давних пор свыкся с мыслью, что она принесет ему беду. Мария не упрекнула его даже за формулу! И неужели Иван ничего не рассказал ей перед смертью? Возможно ли это? Но Мария смотрит на него без угрозы или злорадства... И глаза ее ясны. Зачем же тогда она ездила на плотину? И почему молчит?

Пиралков почувствовал, что, если молчание затянется, Марию может покинуть настроение, создавшееся при его появлении. Чтобы заставить ее заговорить, он вздохнул, но Мария словно не слышала. Тогда его глаза снова наполнились слезами.

— Опять начинаешь!— недовольно сказала она.— Слезами горю не поможешь!

— Знаю,— вздохнул профессор.— Но не могу сдержаться. Меня ждет нечто ужасное. Я теряю все: имя, друзей, положение... А страшнее всего сознание, что сам заслужил такую участь. Но ведь я же человек, Мария, я так страдаю!.. Страдание смягчает сердце. Ты, если захочешь, можешь мне помочь.

— Я?— удивилась она.

— Ты можешь!.. Все в твоих руках.

За эти минуты он прошел бесконечно долгий путь — отчаяния, самоуничижения, неожиданной надежды. Мария удивляла его: значит, она ничего не замышляла, ничего не решила?..

— Ты все можешь! — с закрытыми глазами говорил Пиралков.— Кроме тебя об этом знает только Младен... А он будет молчать.

Подняв глаза, профессор не заметил на ее лице возмущения. Мария была только смущена.

— Понимаю, что тебе не легко,— осмелев, продолжал он.— Но ведь для человека самое главное понять другого. И обеспечить детям спокойную жизнь.

— Да,— вяло ответила Мария.

— Я знал, что ты меня поймешь. И теперь еще глубже сознаю свою вину. Но ведь я должен найти силы жить, потому что я не один.

Пиралков наклонился и поцеловал руку неподвижно сидевшей Марии. Она не привыкла, чтобы ей целовали руки, и профессор подумал, не переборщил ли он. Затем он поднялся. Ему хотелось рассказать, как он счастлив, но после пережитого волнения какая-то вялость охватила его. Неожиданная надежда на спасение не радовала. Усталый и апатичный, он молчал. Слова будто гасли, прежде чем оформиться в сознании. Он был спасен, и страх перед Марией никогда уже не будет угнетать его. Возможно, его еще смущала необыкновенная легкость, с которой пришло спасение; входя сюда час назад, он уже простился с надеждой...

Пора было уходить, но профессор, расслабленный, обмякший, все еще сидел и смотрел на Марию преданными глазами. Он видел, как постарела она, посерело ее лицо. И все вокруг казалось постаревшим: фанера на спинках кровати отваливалась, краска на полу местами сошла, обнажив половицы, под столом были навалены старые книги и чертежи. Словно впервые, профессор увидел, как угнетающе неуютно выглядит комната Марии.

Спускаясь по лестнице, Пиралков вспоминал, что сейчас произошло, и не мог радоваться. Дома он слово за словом восстановил в памяти

весь свой разговор с Марией, но не почувствовал облегчения... Перед его глазами вставало все пережитое, и ему казалось, что это не воспоминания, а лишь отражения прошлого. В памяти возник день, когда Росица выходила замуж. Потом он увидел полные гнева глаза Младена; всплыло бесчисленное множество бессонных ночей и мрачных, нерадостных пробуждений; встали полные кошмара вечера и страх, постоянно терзавший его сердце. Вспомнил он и то воскресенье, когда ездил с Кривошиевым на рыбную ловлю, а затем — холодный зимний вечер, когда сидел в своем кабинете и сердце жгла обида. Жизнь казалась какой-то тенью жизни. Увольняя Младена, он думал о Марии; из-за Марии, теряя уважение к себе, стремился подружиться с Кривошиевым; если бы не Мария, не было бы ни страха, ни боязни разоблачения истории с расчетом.

Иван, отнявший у него в молодости радость, умер, не сказав ничего. А Мария была только стареющей женщиной, боящейся за своего сына... Но профессор не чувствовал успокоения. Пришел конец кошмару, и пора бы отдохнуть, а он, мрачный и хмурый, сидел в кабинете и думал, что Мария ничем не отличается от него: ради сына она готова промолчать.

В этом было его спасение, а он не радовался, он думал о своей потерянной жизни, и о том, как страшно обманулся в Марии, которая оказалась не лучше его, и о том, что все его опасения и тревоги были напрасны. В сердце Пиралкова рождались ненависть и враждебность, которые никогда не исчезнут, потому что они похожи на страх...

Сидя за письменным столом со стиснутыми зубами, профессор думал о Младене. Со стены на него смотрел молодой Пиралков, чьи глаза все еще казались задумчивыми, хотя художник уловил в них ту трагическую раздвоенность, которой суждено было еще раз изменить лицо профессора...

14

Когда Мария ждала на полустанке поезда в Софию, все казалось ясным. Она не решила, что предпримет, еще далека была от спокойствия, но сердце уже освободилось от прежней растерянности.

Когда же за профессором закрылась дверь, от ясности не осталось и следа. Мария вернулась в комнату и потянулась за книгой, которую читала перед его приходом. Движение это было механическим. «Самое главное — обеспечить детям спокойную жизнь!» Профессор плакал, и она думала, что никогда он не был столь искренен. Ей было неловко видеть его слезы.

На полустанке, где в холодном воздухе пахло машинным маслом и свежевыструганными досками, в душе Марии зарождались еще окончательно не оформившиеся намерения, сейчас же она видела только мокрое от слез лицо профессора и... «Самое главное — обеспечить детям спокойную жизнь!» Мария думала об этом на полустанке, когда смотрела на потемневшие от времени вагоны, нагруженные частями турбин для новой электростанции... Думала об этом и раньше, когда Георгий только еще учился говорить и она смеялась над странными словами, которые произносили его детские губы. Думала об этом и во время одной суровой, снежной зимы. Дети устроили на углу их улицы горку для катания. У Георгия не было своих санок, и он взял их у одной девочки. Она сопротивлялась. Георгий толкнул ее в глубокий сугроб. Девочка заплакала. Лицо маленького Георгия раскраснелось, вязаная шапка съехала на затылок. Мария сказала: «Поправь шапку и спрячь уши, чтоб не отморозить. Не бери руками снег, а то простудишься!» Девчурка продолжала

плакать, Марии тяжело было смотреть на нее: совсем крошечная, а слезы катились из глаз такие крупные. Но у Георгия ведь не было санок, и Мария только повторяла: «Спрячь уши!»

Профессор тоже плакал, слезы текли у него меж пальцев, и Марию мучила неловкость...

«Если бы не Георгий и не Росица, я бы тебя не побеспокоил!»

Мария почувствовала себя очень беспомощной, не способной ничего решить самостоятельно. Правда, можно было бы посоветоваться с друзьями Ивана, но она с ними давно не виделась. А это были все пожилые и опытные люди, один из них командовал дивизией. И перед ними профессор не плакал...

Мария снова потянулась за книгой; на этот раз движение не было механическим, она хотела отвлечься. У Ивана хорошие товарищи, но они не видели первых шагов и не слышали первого слова ее сына!

Потом Мария подумала, кому же нужно ее решение? Младен примирился... Пиралков горько каялся... Последующие комиссии найдут верный способ избавиться от трещин... Она умирает, а сын должен жить, быть счастливым и спокойным, любить свою жену и быть любимым ею...

Она уронила книгу на пол.

Потом, после обеда, а может быть, и раньше, у дверей кто-то позвонил. На этот раз на площадке стоял Кралев, Мария не нахмурилась, пригласила его войти, а увидев, как он смущен, улыбнулась и спросила:

— Хотите пройтись?

Доктор стоял в нерешительности. Мария вспомнила, как когда-то обманула его, и, желая успокоить, добавила:

— На этот раз правда... Видите, какой хороший день! Если, конечно, у вас нет других дел.

Кралев поспешил уверить ее, что свободен.

До площади Ленина шли пешком. Шли медленно — Кралев следил, чтобы она не устала. На трамвайной остановке встали в очередь и, продвигаясь по спирали между железными решетками, трижды измерили длину остановки. На повороте Мария каждый раз читала большую афишу: «Народный дом «Овча купел» приглашает вас на танцевальный вечер!»

Трамвай, шедший в Княжево, был длинный и чистый, по стрелкам пробегал плавно и легко. Люди глядели в окна и молча протягивали кондукторше деньги. Раздав билеты, кондукторша села на высокое сиденье у задних дверей, а Мария рассматривала молодую пару — юношу и девушку, стоявших у кабины вагоновожатого. Оба выглядели очень юными, говорили мало, больше молчали. Они стеснялись своей любви, хотели скрыть ее, но этим и выдавали себя. Затем Мария заметила полного, небритого человека с умным, но злым лицом. Он крепко сжал губы и смотрел только на свои руки. Мария поспешила отвернуться. Ее взгляд остановился на молодой женщине, которая читала книгу, что-то подчеркивая карандашом.

Трамвай подошел к остановке «Овча купел», и все прочли приглашение в клуб на танцевальный вечер, где будут играть семь электрогитар, и где всех ждут лотерея и разные сюрпризы. Мария улыбнулась. Трамвай все так же тихо и плавно катился к горам, влюбленные молчали, небритый толстяк сжимал губы, молодая женщина продолжала читать. Мария закрыла глаза. Влюбленные поцеловались, небритый сошел и сердито зашагал по темной улице, молодая женщина сунула книгу под мышку и заспешила к человеку, терпеливо поджидавшему ее возле будки, кондукторша встала с высокого сиденья и пошла к передней площадке, навстречу новым пассажирам...

Марии стало грустно, и она открыла глаза. К ней вернулась та ясность, какая появилась на полустанке, когда она ждала поезда в Софию.

— Может быть, не надо до Княжево? — спросил Кралев.

Вблизи гора всегда кажется меньше и словно не похожей на себя. Всякий раз, выходя из трамвая и поднимая голову, Мария думала, что не туда попала. Гора начиналась от конца улицы и заканчивалась над крышами домов.

— Лучше по шоссе! — предложила она.— Если пойдем в гору, устанем.

Кралев пожал плечами:

— Еще лучше никуда не ходить. Пожалуй, довольно...

Мария не ответила. Кралев, как врач, привык ограничивать людей. Он снова напомнил ей, что не следует утомляться. Но Мария опять промолчала, она смотрела на машины, мчавшиеся мимо, на раскрасневшихся и возбужденных людей, спускавшихся с горы, и думала о смерти...

Ей захотелось отдохнуть. Кралев подвел ее к автобусной остановке — там была скамейка, Мария беспокойно посмотрела на голый и плоский холм напротив. У его подножия белели домики. Небо было чистое, и только над холмом висело снежно-белое облако, а на холме какие-то мужчины, сидя словно на самой линии горизонта, пели песни. Внизу, в одном из домиков, упражнялся начинающий кларнетист, однообразные звуки навевали тоску. Потом вдали, в глубине ущелья, просвистел паровоз, и Мария подумала, что этого как раз и недоставало унылому пейзажу. Поезд напоминал о необъятном мире, который жил и в ней самой, в ее присутствии здесь. Мария носила этот мир в своей душе. И в нем было много холмов с сидящими на них и поющими мужчинами, много бескрайних долин и веселых гор, которые становятся меньше, как только к ним подойдешь, много темных полей подсолнечника и багровых небес, пронизанных столбами линий высокого напряжения, много шумных потоков, неподвижных плотин, улиц и парков с целующимися парами. Частицы прошлого уже не носились хаотично в душе Марии, а были слиты в единое целое, и это целое называлось Родиной. Затем она вспомнила Ивана и впервые за много лет ясно увидела черты его лица. И лицо Ивана тоже было частицей ее Родины...

Мария подумала о твердости мужа, который, зная, что причинит ей боль, все же не отступал. Такая же боль сжигала и его сердце, но он молчал, и сейчас это молчание радовало Марию. Он любил ее, он был тверд и ни перед чем не останавливался именно потому, что любил ее. Мария улыбнулась. Эта любовь всегда жила в ее сердце. Она уже поняла, когда именно человек может стать недостойным красоты окружающего мира.

Кларнетист умолк. Тело Марии охватило напряжение, которое предшествовало приступу. Она побледнела, с испугом глубоко вздохнула, но боль не приходила. Ожидая ее приближения с похолодевшими руками и ногами, она удивилась, поняв, что приступа нет. Просто она пугалась и каждый раз слабела от страха, потому что все время, не переставая, думала о Георгии. Она и сейчас боялась, но думала уже об Иване и так же ясно видела забытые черты его лица...

Затем до ее слуха донесся встревоженный голос Кралева. Доктор стоял перед ней и, наверно, сам не зная в который раз, спрашивал:

— Что с вами?

— Ничего,— ответила она.— Решила, что вы правы. Пожалуй, мне следует лечь в больницу!..

Они встали и пошли. Мария вспомнила о слезах профессора. Они больше ее не трогали, просто было неловко, что она их видела. До сегодняшнего дня люди видели только обманывавшую их улыбку Пиралкова. Такими же обманчивыми были и его слезы. Он умолял ее во имя Росицы и Георгия, но беспокоился только о себе. Хотел разжалобить словами о счастье молодых, а разве счастье ожидало их возле профессо-

ра? Мария вспомнила, как давно знает его, и со стыдом и грустью подумала о малодушии, какое до сих пор проявляла.

Она не могла, не имела права скрыть поступок профессора. Всю жизнь он вводил окружающих в заблуждение: милый и заботливый, а сегодня даже в слезах, но всегда лживый и неискренний. Потом Мария решила: то, что ей предстоит совершить, нелегко, но она ко всему готова — это послужит наказанием за все дни, месяцы и годы, в течение которых она малодушно закрывала глаза на подлости Пиралкова. Георгий был уверен, что она промолчит. Теперь она и ему причинит боль. И он, вероятно, еще долго не в состоянии будет понять мать... Она ведь долго не понимала Ивана!

Кралев и Мария шли по шоссе, и солнце грело их спины. Перед ними блестели крыши домов. Доктор молчал. В ушах Марии зазвучали слова Ивана, произнесенные в тот вечер. Он говорил, что венчаться они не будут. И она почувствовала его руку, которая снова была для нее опорой и защитой... Иван смотрел, и глаза его не обещали спокойной и безмятежной жизни, но они не вызывали безрадостных чувств. Не были безрадостными и мысли о Георгии. Он ведь сын Ивана и поймет ее. Рано или поздно должен понять, что она ради него не умолчала о поступке профессора. Ради него и ради его жизни, которая не должна быть спокойной и безмятежной...

Они приблизились к трамвайной остановке. Подошел трамвай. Мария все думала об Иване, о том, что иногда он считал себя недостойным красоты мира и именно в этом ошибался. Ведь настоящее дело, которому человек посвятил жизнь, продолжает жить и после его смерти. И красоты жизни достоин только тот, кто эту истину докажет другим... А жизнь не теряет своего смысла, даже в последнее мгновение перед смертью!..

Трамвай входит в город. Улицы принимают пассажиров, и трамвай уже не тот, а город все так же шумит, радуется, страдает, живет. Город со множеством магазинов, улиц и переулков, с кинотеатрами и автомобилями, со стадионами и болельщиками, с тысячами людей, ожидающих конца одной смены и начала другой.

Осыпаются листья с деревьев, предвечерний туман заволакивает горизонт, зажигаются огни, и они — кроткие, желтые — напоминают людям, что в доме тепло и уютно... Мария проходит мимо какого-то клуба и невольно останавливается. Зал клуба типичен для нашего времени: ряды стульев, маленькая кафедра на возвышении. Кафедра затянута красной материей. На стенах лозунги; люди их меняют, потому что и время меняется и идет вперед... Мария смотрит через открытую дверь и думает: сколько людей ни погибло бы от рака, человечеству не придет конец, думает: сколько пиралковых ни появилось бы на свете, общество никогда не остановится в своем развитии. Эти мысли успокаивают. Но потом Мария вспоминает о тех страданиях, какие пиралковы и рак причиняют человеку, и спокойствие снова оставляет ее.

Она идет по городу. Это ее город — большой, шумный и светлый. А она помнит его с еще неогороженными дворами на окраинах, с грязными вонючими улицами, с серыми домами, за которыми таились страдания... Помнит его залитым дождем и озаренным молниями, помнит по-весеннему зеленым, с багряным небом, помнит его теплыми, темными ночами... Помнит его счастливым и несчастным, слышит его вздохи и его смех...

Она идет и не устает. Сердце ее наполнено любовью. И, может быть, только сейчас она яснее всего представляет себе, как ей дорог и близок этот город, город Ивана — человека, который никогда не умрет...

Поэты Ганы

Перевод с английского
СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА

ДЖ. В. Б. ДАНКВА

Голоса моря

По косматой траве я сошел к очертаньям Нептуна
И вошел в оживленные струи, ища покоя,
Охлаждал свое сердце в объятиях моря,
Ибо тяжесть ненастья, свинцом давившая плечи,
Отступала у легких стежков прибоя.
Я видел
Бело-зеленую голубизну Атланта,
Охранителя неба и знатока глубин,
Который дыханьем колышет легчайшие руна раздумий
И возвышает мысль.

Но в этом ли только твое волшебство, о море?
Твоя необъятная красота
Отступает от скудных прибрежий далеких стран,
Где безутешная Афродита склонилась над прахом Адониса.

Плещется, хлещет и плачет море,
Стонут, ревут и бормочут его голоса;
Вздохи и песне подобные жалобы,
Посвисты, стоны, протяжные крики,
Необъяснимые грохоты, громы и гулы —
В сладчайших песнях, лишенных мелодии,
Сливаются в рокоты-вздохи и шепоты-громы,
Сплетаются, глохнут, уносятся,
И замирают,
И замирают,
И мягкая тишина обнимает море.

Но вот носовые звуки
Полных бегущих октав
Потрясают тяжелые струны.
Сверкают под пальцами клавиши —
Многоголосая, многоголосая
Неуверенная мелодия
Начинается вновь —
Гром, шипенье и плеск,
Высокогорные ноты несутся лавиной,
А вдалеке — прохладные, спелые, как плоды,
Мирно дремлют округлые волны.

Шорох, шорох, поспешный шорох:
Небо вступает в борение звуков.

Острые рыбки стучат по дробящейся глади —
Дождь над Атлантом,
Дождь над Атлантом.

Но вслушайся,
Только внимательно вслушайся!
Сквозь хаос внезапный и четкий порыв
Подобен мысли, порвавшей оковы,—
Волны катятся вечно,
Волны катятся вечно.

В острых ритмах, лишенных мелодии,
Разве чайка нам не приносит вести с соленого неба?
Разве гром не выносит жемчужин со дна океана?
Разве на своде небесном бессмысленны туч письмена?
Но этого нам не услышать.
Но этого нам не увидеть.
Но этого нам не узнать.

Разве смертный греческий бог,
Превращающий наши земные созвучья
В высокие песни,
Не свидетельство нашей земной высоты,
Не слушатель наших жалоб,
Не наш сосед по жилищу?
А может быть, боги, привив себе образ людской,
Нисходят сюда ослеплять нас, смертных,
И вечно бряцать на немолчных струнах?
Разве бесчисленные чудотворцы,
Чтецы и отгадчики тайн природы,
Мы, сыновья большелобых муз,
Частицы бескрайней души человечества,
Не вбираем в себя ужасную силу играющих звуков,
Когда под нависшим небом
Пляшут атомы моря?

ДЖОН ОКАЙ

Воды большой реки

Время приходит и прочь уходит,
Словно воды большой реки.
Время приносит людям
возможности,
Река его полнозвучна, как музыка.
Неиспользованные возможности
Медленно уплывают навеки,
И музыка их навсегда умолкает —
Река ее не сыграет вновь.
Время приносит иные возможности,
Новую музыку звонкой реки.
Но это совсем иные возможности
И ни на что не похожая музыка.
Эти возможности хороши
Лишь для меня и лишь сегодня.
Завтра возможности будут
прекрасны
Лишь для тебя и лишь назавтра.
Сегодня музыка вод тиха —
Уши мои слышат только тихую.
Завтра музыка будет громкой —
И только ты ее сможешь услышать.
Если воды большой реки,
Вниз устремляясь, встречают
камень,
Музыка их становится громкой.
Когда же воды низвергнут камень,
То их сменяют другие воды —
Они не мчатся, а плавно струятся,
И музыка их нежна и тиха.
И тот, кто должен был слышать
громкую,
Но не услышал ее, не услышит
Тихой — ибо она для другого.

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН

СЕМЕНА БУДУЩЕГО

Стало уже общим местом утверждение буржуазной критики, будто в США нет сейчас почвы для социального романа, будто американское общественное устройство достигло такой стадии, когда сгладились, сошли на нет социальные противоречия и конфликты. Эта мысль со всей очевидностью положена в основу только что выпущенной книги «Пора жатвы. Американская литература 1910—1960 годов» *.

Из этого тезиса и выводится программное заявление Роберта Спиллера в предисловии: первая половина века — это «период подъема, расцвета и *упадка* натурализма в американской литературе» (курсив мой. — *Г. З.*). Вслед за Спиллером Максуэлл Гейсмар в статье «Общество и роман» тоже говорит о «подлинном конце великого литературного движения», которое к 40-м годам якобы «проделало полный круг и возвратилось к своим исходным целям». (Мы оставляем в стороне вопрос о терминологии и хронологическом разнобое у исследователей.)

В выступлениях американских критиков, в высказываниях самих писателей попадаются и более здравые суждения о причинах застоя в литературе США. Справедливо ссылаются на то, что американская культура принимает все более коммерческий характер; говорят о пагубном влиянии на печатное слово кинематографа и телевидения; жалуются, что писатель из творца превратился в ремесленника, вынужденного «работать по заказу», как выразился Элмер Райс, а читатель утрачивает вкус к серьезным книгам; сетуют на упадок общественных нравов, задевающий и литературу. И все-таки корень в другом. В 20-х годах культурное самосознание нации обострилось в связи с первой мировой войной, и американская беллетристика вышла на арену мировой литературы. Потрясения 30-х годов заставили многих писателей за Атлантикой по-новому взглянуть на вещи, расстаться с иллюзиями об исторической исключительности Америки. А в 50-х годах в один голос литература США повторяла слова керуаковского героя: «Куда несешься, Америка, ночью в сверкающем автомобиле своем?»

Явление это — не чисто литературного свойства. В международных политических авантюрах рухнули обольстительные надежды, которые возникли после второй мировой войны. Коричневая чума маккартизма подкосила веру в принципы американской демократии. Советский спутник разбудил миллионы от спячки, ибо стал еще одним как никогда понятным материальным символом неодолимости идей социализма.

«Америка возвышалась и возвышалась, но вдруг к концу 50-х годов, когда советская наука сделала рывок, из золотой мечты будто вынули душу, она сразу поникла и начала стремительно рушиться, и тогда, очнувшись, благодушные и беззаботные увидели, что они — голые, что в ушах свистит поднявшийся отовсюду ветер, что остановилась немыслимая карусель. Резко переменились настроения, настала пора растерянности, беспокойства, смятения»,— читаем в романе Аллена Друри «По совету и с согласия», удостоенном премии Пулитцера. Оттого и были в спешном порядке проведены два года назад поиски «национальных це-

* A Time of Harvest. American Literature 1910—1960. N. Y., Ed. by Robert E. Spiller, 1962.

лей», тем более симптоматичные, что у США — почти двухвековой опыт «самой демократической» государственности. Оттого и провозглашена нынешней администрацией туманная политика «Новых рубежей» (оказывающаяся, правда, в иные моменты возвратом на старые, даллесовского типа, рубежи). Оттого и пошли косяком в США псевдореалистические по методу, охранительные по сути романы, такие как упомянутая книга Друри или новый роман Германа Вука «Янгблад Хок».*

Честные художники-реалисты продолжают создавать произведения значительного общественного содержания. И группа прозаиков, которые пришли в литературу после войны, и писатели старшего поколения — Стейнбек, Фолкнер, Колдуэлл и другие — выступили к концу 50-х годов с книгами, обличающими антигуманное, построенное на долларовом расчете общество, помыслы «возлюбивших войну», готовых ввергнуть человечество в термоядерную катастрофу,— с произведениями, отстаивающими демократию и национальное равноправие. Именно на антивоенную, антимаккартистскую или, беря шире, антифашистскую и антирасистскую темы были созданы наиболее значительные реалистические произведения современной американской литературы, и именно по этим пунктам происходило и происходит сближение писателей-реалистов.

Глубина реалистического постижения и истолкования действительности современными американскими писателями — как, впрочем, и писателями любой другой страны — в конечном счете определяется отношением к кардинальному факту современной истории, мерой понимания того, что человечество движется к социализму. В США издавна существовала литература, открыто берущая сторону рабочего класса и угнетенных масс в борьбе против капиталистического угнетения, расизма и войны, литература, вдохновляющаяся идеями социализма. Эта традиция, возникшая еще на заре века и оплодотворившая творчество многих замечательных художников, окрепшая в бурные 30-е годы, не иссякла и в наши тяжкие для прогрессивных американских художников дни. Она и *не могла* иссякнуть, потому что была и остается неотделимой частью литературы США, как бы ни старались похоронить ее иные буржуазные критики.

■

Общеизвестно, как нелегко честной, реалистической книге, преодолевая идеологические, коммерческие и другие заслоны, пробить себе в Америке дорогу.

Вряд ли нужно напоминать, что каждый деятель культуры и литературы, который последовательно придерживается истинно демократических убеждений, подвергается в США прямому или косвенному политическому нажиму. Волна выступлений «ультраправых» поразительным образом совпала с правительственными акциями в отношении Коммунистической партии США.

В США вообще трудно заработать на жизнь творческим литературным трудом. А тому, кто не хочет поступаться своими убеждениями, попросту невозможно.

Другая проблема — где издать книгу? Прогрессивных издательств в США — наперечет: они не в силах конкурировать с крупными капиталистическими объединениями. Официальная пропаганда, не жалея сил, старается привить обывателю антикоммунистические настроения. «Большая пресса» монополистической Америки создает заговор молчания вокруг неугодных книг.

И все-таки книги писателей, близких к прогрессивным силам, несмотря на препятствия, находят отклик в читательской среде.

Большую роль в этом деле играет рабочая и демократическая печать США.

Присмотревшись к литературе США минувшего пятилетия, увидим, что на карте передовой литературы социального протеста все больше исчезают белые пятна.

«Долгий день в короткой жизни» (1957) А. Мальца, волнующая книга писателя-гражданина о преступности и правосудии в капиталистическом обществе, и «Антиамериканцы» (1957) А. Бесси, роман, соотносящий сопротивление маккартизму со славными эпизодами борьбы за свободу, которую вели многие честные американцы на далекой испанской земле, и показывающий две человеческие судьбы — коммуниста и приспо-

* Охранительный роман чаще всего выступает в обличье романа реалистического. Но при известной достоверности деталей, *частного*, в нем искажается картина целая, *общая*. Правда в малом, ложь в большом — вот как бы художественный принцип такого рода литературы. То же и у Вука. Герой его романа, писатель Хок, задумал огромную, на 15—20 томов, эпопею, охватывающую всю историю США; он намеревается очень критично воссоздать в ней деловые махинации в эпоху американской революции, хаос накануне Гражданской войны, хроническую политическую коррупцию, стяжательство капиталистов, нынешний упадок общественной морали. Но основная мысль задуманной Янгбладом серии — мнимое торжество свободы, «несмотря ни на что».

собленца. «Врата лживых грез и врата правды» (1957) Томаса Макграта, сатирическая повесть, предупреждающая об угрозе фашизма в США, и «Паутинка, светящаяся во мгле» (1958) Александра Сакстона, роман о судостроительных рабочих в дни войны, роман о поэзии и борьбе, утверждающий братство трудящихся разного цвета кожи. Автобиографическая книга Джозефа Норта «Нет чужих среди людей» (1958), затрагивающая, помимо прочего, роль литературы в революционном движении пролетариата, и роман «Уцелевший» (1959), автор которого, Карл Марзани, со знанием дела рисует пути и перепутья американской политической жизни после войны. «Волшебный папоротник» (1960) Ф. Боносского, воссоздающий классовые схватки в США в 50-х годах, и сборник разнообразных по теме очерков, зарисовок, воспоминаний Хесуса Колона «Пуэрто-риканец в Нью-Йорке» (1961), раскрывающих малоизвестную нам жизнь одного из национальных меньшинств. Роман Бенджамина Эппела «Большой человек, большой ловкач» (1961) — история деградации рабочего лидера,— который показывает процессы, происходящие в американском профсоюзном движении, и монументальная, охватывающая столетие, трилогия «Черное пламя» (1957—1961) старейшего негритянского ученого и писателя Уильяма Дюбуа. Историко-философский роман Седрика Белфрейджа «Мой хозяин Колумб» (1961), который на материале почти пятивековой давности обличает современных колонизаторов, претендующих на роль носителей цивилизации, и посмертно изданная книга недавно умершего Томаса Белла «В гуще жизни» (1961) — своеобразное завещание писателя, до конца дней своих оставшегося верным социализму и подводящего итоги долгим размышлениям об Америке, «этом богатом доме, который промотали наследники».

Если добавить к этому списку драматические произведения, такие как глубокая пьеса «Чудеса в гостиной» Джона Г. Лоусона, если добавить стихи и рассказы Уолтера Лоуэнфелса, Ив Мерриам, Дж. Джерома, Т. Макграта, Джорджа Братта, Меридель Лесюэр и других, в том числе молодых авторов, раскиданные по журналам, то можно получить примерное представление о богатстве содержания, тем, сюжетов, стилей, индивидуальных манер, интонаций сегодняшнего авангарда борцов за реализм в литературе США.

Здесь нет возможности останавливаться подробнее на упомянутых и не упомянутых произведениях. На страницах наших журналов широко обсуждаются проблемы соотношения реализма критического и реализма социалистического. Но этому нужному и плодотворному разговору недостает подчас новейшего конкретного материала.

■

Тридцатые годы... Депрессия, безработица, массовые забастовки, выливающиеся в политическую борьбу, подъем общественного сознания, обнажение социальных конфликтов, попытки оздоровления капиталистической экономики средствами «Нового курса», фашистские тенденции. Сколько писали об этом — от «Гроздьев гнева» до «Долины в огне». И сколько еще будут писать: такое не забывается. Те дни навсегда остались в памяти американцев — проклятьем для одних, упреком для других, залогом будущего для третьих. И, конечно же, не случайно возникла тогда богатейшая литература, пронизанная пафосом социальных преобразований.*

О тридцатых годах повествуют и романы Ларса Лоренса (псевдоним Филиппа Стивенсона), объединенные под общим названием «Семена» («The Seed»).

Задуманная Лоренсом серия пока не завершена, появились четыре тома из ожидаемых шести: «Утро, день и ночь» («Morning, Noon and Night», 1954), «Из праха» («Out of the Dust», 1956), «Старый шут закон» («Old Father Antic», 1961), «Провокация» («The Hoax», 1961). Но и сейчас нельзя не воздать должное монументальности замысла и боевой направленности этих книг. Заимствуя надпись с фресок Диего Риверы, автор посвящает эпопею

---

* Иные буржуазные критики отлично понимают, какое значение для литературного развития Америки имели романы, пьесы, стихи 30-х годов. Сошлемся на недавнее исследование Даниэля Аарона «Левые писатели» (1961) или на более раннюю книгу Уолтера Б. Райдаута «Радикальный роман в Соединенных Штатах 1900—1954»; последний, несмотря на расплывчатость своей концепции, делает чрезвычайно важное признание: «пролетарский роман» 30-х годов учит, что «одна из задач романиста быть гражданином».

Об идейной борьбе вокруг традиций реалистической литературы 30-х годов говорится в недавно выпущенной Институтом мировой литературы им. А. М. Горького книге «Современная литература США».

«всем, кто пал, и многим тысячам, кому еще суждено пасть в борьбе за свою страну, за ее свободу, за право всех людей оплодотворять трудом рук своих землю, уже обильно принявшую в себя кровь, кости, мускулы, разум тех, кто отдал жизнь в этой борьбе».

Действие романов длится около трех недель и почти не выходит за границы вымышленного округа Роки-Маунтин в штате Нью-Мексико, но кажется, целый мир встает со страниц этих книг. Рабочие и их семьи, крупные дельцы, представители местной администрации, литературы, вольные художники и просто богемные бездельники; чиновники с шахт, юристы и фашиствующие ура-патриоты, газетчики, профбоссы, полицейские чины, молодежь из колледжа, домохозяйки, дети; борцы, смельчаки, тщеславные, невежды, трусы, властолюбцы, пьяницы, равнодушные, любопытные, властолюбцы, романтики, садисты, ловкачи, простодушные, фанатики; мексиканцы, белые, индейцы, славяне, негры; умные, робкие, тупицы, сильные, веселые, сдержанные, открытые. Не счесть социальных и национальных типов и человеческих характеров, которые проходят по страницам романов Лоренса и между которыми возникают самые сложные и подчас неожиданные отношения.

Город Реата, где в основном развернутся события «панорамного», по выражению Т. Макграта, цикла Лоренса,— это Америка в миниатюре. Сюда, в городок Юго-Запада, не только доносятся отзвуки классовых боев американского пролетариата, развернувшихся в крупных промышленных центрах; здесь тоже зреют гроздья гнева, тоже прорастают семена классового сознания трудящихся.

Предыстория событий, описываемых в романах, несложна: рабочие местных шахт, обитатели скваттерского поселка Ла Сьенегиты — «Болотце» на окраине Реаты, пережили годы кризиса, выиграли забастовку, сколотили первый в тех краях профсоюз. Но вот компания объявила о массовом увольнении. За неуплату ренты шахтеров выселяют из лачуг, которые они построили собственными руками. В поселке брожение. Арестованы коммунист Рамон Арсе и рабочий Артуро Фернандес.

Основной сюжетный узел романа — столкновение полиции с толпой безоружных шахтеров, которые протестуют против незаконного ареста своих товарищей. Полиция в панике начинает стрелять. Несколько человек ранено, один мертв. В общей суматохе случайной пулей убит шериф.

Маккелви убит кем-то из своих же помощников. Но заправилы города и штата решают использовать этот инцидент и свести счеты с рабочими. Через местную газету распространяются вздорные слухи, будто эпизод на площади перед зданием суда — часть широкого заговора «красных», намеревающихся установить в городе советскую власть. В поисках «убийцы» шерифа брошены в застенки сотни мужчин и женщин. «Главное сейчас — быстрота!.. Чем больше мы даем им времени, тем больше у них возможности вновь собрать силы. Я не принадлежу к числу поклонников Адольфа Гитлера, но надо отдать ему справедливость: он умеет расправляться с красными. Уж он-то не теряет времени»,—заявляет в своем кругу генеральный прокурор штата Дьюи Сомс.

Стихийно вздымающееся народное возмущение стараются направить в единое русло рабочие-вожаки, коммунисты: мексиканец Рамон Арсе — бунтарь, весельчак, красавец, общий любимец обитателей Ла Сьенегиты, человек, способный увлечь людей в момент общего подъема, но не умеющий вести повседневную, «неяркую» работу; председатель совета безработных Транкилино де Вака, унаследовавший от своей матери индианки неторопливость, рассудительность, выдержку, как раз те качества, которые так понадобились после локаута; руководитель местной партийной ячейки Хэм Тернер — сравнительно новый в этих местах человек, не обладающий ни большим опытом, ни тактическим чутьем, хотя стойкий и преданный своему делу. А рядом с ними — прекрасно выписанные женские характеры: мужественная и решительная Лидия Ковач, сдержанная Конни Канделярия, мягкая Долорес, по-девичьи робкая Нативидад...

Эпиграфом к третьему тому Ларс Лоренс взял слова шекспировского Фальстафа, обращенные к принцу Генриху: «...Скажи мне, милый друг, неужели, когда ты вступишь на престол, в Англии еще будут красоваться виселицы? А этот старый шут закон неужели по-прежнему будет душить ржавыми цепями всякое проявление мужества?»

После черносотенных налетов, вызванных мнимой «красной опасностью», после избиений, которым подверглись рабочие-активисты, после бесчисленных обысков, арестов, допросов заправилы Реаты лицемерно обра-

тились к «законной» процедуре: им предстоит доказать, что пятьдесят четыре человека, которые остались в заключении, действительно виноваты в убийстве шерифа.

Эмоциональный накал, динамичность первой части эпопеи, в которой отразилось взрывчатое столкновение противоположных интересов и страстей, тревожные, болезненные подчас интонации второй книги, передающие напряженное, неустойчивое состояние всех, кто оказался причастным к драматическому, стоившему нескольких человеческих жизней эпизоду,— сменяются в третьей части цикла аналитической манерой. В соответствии с логикой общественного развития борьба за кусок хлеба перерастает в битву идей.

Принципы справедливости, которыми должны были бы руководствоваться судебные органы, вступают в конфликт с методами и нравами американской политической жизни. Л. Лоренс тонко рисует, как причудливо переплетаются вокруг «дела о бунте» общественные факторы, интересы отдельных групп, личные мотивы.

Предварительное разбирательство накалило обстановку до предела. Вся страна внимательно приглядывалась к ходу процесса —«этой истории болезни капитализма, охваченного белой горячкой», как записывает в блокноте журналист Палмер Уайт.

Такова сила художественной выразительности Ларса Лоренса, что читатель и сам как бы становится действующим лицом в разворачивающихся событиях: наравне со всеми, кому дорога справедливость, он тревожится за судьбы ответчиков, которым грозит электрический стул, у него возникает определенное мнение о тактических разногласиях между защитниками: ветераном социалистического движения радикалом Хогартом и либералом Шермерхорном; он словно видит, как по-разному реагируют на разбирательство заключенные; автор ни на секунду не дает забыть и о том, что происходит вне зала суда.

Сцены предварительного разбирательства, которым Лоренс отводит почти целиком третью книгу, наиболее драматичные в романе. Свидетели обвинения под мастерским перекрестным допросом Фрэнка, Пола Шермерхорна и Лео Сивиренса путаются в показаниях, противоречат друг другу, заведомо лгут, обнажая полную несостоятельность предъявленных обвинений, так что защита даже решает не вызывать пока своих свидетелей.

В заключительном слове обвинения («Коммунистическая партия и в данном случае призывала к насильственному свержению законных властей...») и в выступлениях Хогарта, показавшего вздорность этих измышлений («Как во время забастовки обвиняемые добивались улучшения жизненных условий, обещанного «новым курсом», так и здесь, в суде, они полагали, что отстаивают привилегии, гарантированные «Биллем о правах»), читатель явственно улавливает перекличку с событиями, разыгравшимися в США в середине века.

Тринадцать человек, четвертая часть всех обвиняемых, предстанут по соломонову решению судьи Бека перед судом. А из следующего романа цикла «Провокация», мы узнаем, какие шутки с Хэмом, Фрэнком, Лидией, Палмером и другими левыми сыграл «старый шут закон». Изыскиваются «законные» основания, чтобы сорвать деятельность «Комитета защиты». В ход пускается подслушивание, клевета, юридические проволочки, прямые угрозы. Но группа продолжает работать, стараясь распутать тугой клубок противоречивых фактов и показаний, стараясь собрать убедительные и веские доказательства того, что власти действовали преднамеренно.

Обстановка обостряется: ночью какие-то люди в балахонах бросают Фрэнка и Хэма в автомашины и увозят в неизвестном направлении. Полицейские чины в недоумении пожимают плечами. Мэр запрещает «сборища». Специально прибывший полномочный представитель генерал-прокурора штата с пристрастием допрашивает членов «Комитета защиты», вместо того чтобы искать преступников. Из Нью-Йорка, Денвера, Лос-Анжелеса поступают протесты против нарушения законности. Местный листок, ссылаясь на «авторитетные источники», пишет: «Есть подозрения, что инцидент — всего лишь сознательная провокация, рассчитанная на то, чтобы вызвать к себе сочувствие и собрать средства для тех, кто привлечен к суду за убийство». Эдгар Гувер заявляет, что потерпевших не перевезли через границу штата, так что происшествие не подлежит федеральному расследованию. В конгрессе Вито Маркантонио требует наказания преступников. Похищение становится событием национального значения...

ГЕОРГИЙ ЗЛОБИН
СЕМЕНА БУДУЩЕГО

■

Демократическая печать США горячо приветствовала романы Ларса Лоренса. «Утро, день и ночь», писал еще в 1955 году Альберт Мальц,— это книга «о жизни и борьбе рабочего класса, книга, утверждающая ценность человека». Дальтон Трамбо, касаясь новаторских черт в творчестве писателя, отмечал: «Результатом этих... поисков, пронизанных любовью к народу... ненавистью к нищете и смерти и мудрым пониманием, что каждый человек одновременно и личность, и член группы, класса... и явился роман, единственный в своем роде в сегодняшней Америке».

В октябрьском номере «Политикл аферз» за 1962 год Сидней Финкельстайн обстоятельно анализирует эпопею Лоренса, в частности новые две книги. Романы писателя, как справедливо утверждает критик,— не просто высокохудожественное полотно классовой борьбы на Юго-Западе США в 30-е годы. Они раскрывают «коренное противоречие, присущее историческому развитию Соединенных Штатов Америки»: декларированные демократичность, независимость, уважение к человеку, справедливость, словом, все то, во имя чего была совершена революция, с одной стороны, и бесчеловечность, насилие, теснейшее переплетение преступности с политикой и предпринимательством, полицейская жестокость и злоупотребления в судебной системе.

Лоренс писал, что из двухсот — или около того — действующих лиц основными можно считать тридцать. Но в каждом персонаже социальная типизация неотделима от человеческой индивидуальности. Герои Лоренса, как заметила недавно критик Аннетта Рубинстайн, «заставляют вспомнить знакомых нам живых людей, нигде не превращаются в стереотипы, поражают читателя достоверностью, по-человечески понятной непоследовательностью, естественностью и правдоподобием» («Мейнстрим», октябрь 1962).

Точности психологического рисунка писатель добивается широким использованием внутреннего монолога, чаще всего в форме сочетания авторской речи с несобственно прямой речью персонажа. Предоставляя слово своим героям, Лоренс, кроме того, раскрывает *многообразие* точек зрения на стержневое событие, и расправа с рабочими получает дополнительное освещение. От собственных впечатлений и собственного опыта персонажи естественно и неизбежно переходят к размышлениям над большими социальными и политическими вопросами эпохи. Неизбежно потому, что, как бы ни был ограничен кругозор того или иного персонажа и низок уровень его гражданского сознания, сама ситуация заставляет его прикидывать, сопоставлять факты, взвешивать «за» и «против». Люди у Лоренса по-настоящему *думают*, и это резко выделяет цикл «Семена» на фоне распространенного в современной американской литературе антиинтеллектуализма.

Однако «виртуозная психологичность» Лоренса, по выражению одного критика, приводит иногда к тому, что узкие, субъективистские представления и мотивы поступков персонажей искажают реалистическую правду ситуации. Так случилось, например, в описании истории юноши Ричарда Уоттерсона. Взрыв любовных чувств к некой весьма неприглядной молодой особе ассоциируется у него со взрывом общественных отношений, с революцией, непременно сопровождаемой будто бы жестокостью и насилием («Из праха»). Тогда-то и нарушается художественная логика замысла, вылезают на свет примитивизм и натуралистические тенденции, особенно в раскрытии внутреннего мира представителей угнетенных национальностей, нарочитая обнаженность классового сознания многих действующих лиц. Правда, могут возразить, что автор и стремился показать, как *пробуждаются* к осознанной деятельности неграмотные, придавленные обстоятельствами люди. И шире: когда восприятие вещи складывается в подсознании, не проще ли оно и не грубее, чем тогда, когда впоследствии выливается в слово?

Настойчивое обращение Лоренса к форме внутреннего монолога вызвало полемику. Филипп Боносский, признавая историко-художественную правомерность внутреннего монолога для обличения «лицемерия буржуазной жизни», заметил: «Этим методом нельзя решить задачи, которые история повсеместно поставила перед писателем: показать Человека, Создателя, Прометея нашего времени, показать общественные силы, освобождающие человечество».

Томас Макграт в рецензии на второй том серии, помещенной в «Мэссиз энд мейнстрим» в июне 1956 года, писал, что дело, скорее, в некотором злоупотреблении этим приемом, привычным для поэтики модернистского романа.

Пристрастием писателя к внутреннему

монологу Боносский, между прочим, объяснял то, что, по его мнению, автору менее удались образы коммунистов, и в первую очередь Хэма Тернера. В самом деле, в фигуре руководителя партийной ячейки Реаты Лоренс подчеркивает нерешительность, неумение быстро разобраться в изменяющейся обстановке, прямолинейность. Правда, в третьем и четвертом томах, которые составляют вторую часть всей трилогии, Хэм — уже совершенно другой, действующий герой, а не резонер. Писатель, по-видимому, хотел показать неодолимость *коллектива,* непобедимость народа, поднявшегося на борьбу за свое человеческое достоинство. Мои товарищи, размышляет Майк Ковач, «возвышаются над средними людьми как гиганты, как люди будущего — более прямые, сильные, чистые, умелые, умные, чем они казались ему там, на воле.

Да, подумал он с гордостью, будущее — это *мы,* люди не без изъянов пока, но сделавшие большой шаг к подлинной человечности».

Значительность замысла, объем эпопеи (в четырех томах около полутора тысяч страниц), многочисленность разнообразнейших характеров, широта диапазона затронутых проблем — все это неизбежно определило сложность композиции романов, отражающей, разумеется, и сложность материала действительности.

Лоренс по ходу повествования вынужден возвращаться к незавершенным сюжетным линиям, чтобы свести их воедино, к недописанным, нераскрытым вполне образам людей, чтобы расставить в правильной исторической перспективе действующие силы, к вопросам, не получившим пока по тем или иным причинам разрешения. В одних случаях эти возвращения и повторения диктуются самой сутью идейно-художественного замысла: когда, например, многие персонажи в диалогах с другими действующими лицами и в диалогах с собственной совестью вновь и вновь возвращаются к трагическому столкновению в Реате, писатель добивается всестороннего охвата событий во всей их сложности. В других случаях Лоренс вынужден пользоваться чисто формальным и потому несколько искусственным приемом *напоминания* читателю о тех или иных подробностях, обстоятельствах, людях. Тогда возникает ощущение известной затянутости. Немалое значение имеет и тот факт, что задуманные шесть томов должны составлять трилогию и что каждая часть трилогии, объединяющая два романа, могла бы читаться как законченное произведение. Поэтому в третьем томе, изданном к тому же через пять лет после второго, возникла необходимость, не нарушая ткани романа, кое-что повторить, а кое-что и изменить.

Романы Ларса Лоренса не укладываются в привычные жанровые рамки. Замедленность повествования, множество равноправных действующих лиц, раскрывающих характеры преимущественно во внутренних монологах, эпичность — таковы, по мнению С. Финкельстайна, новаторские черты книг Лоренса, «отличающие их от традиционного социально-реалистического романа». А. Рубинстайн идет дальше, заявляя, что «автор предпринял попытку создать новый жанр в американской литературе», хотя видит оригинальность писательской манеры Лоренса в другом: в том, что писатель создал динамичный захватывающий сюжет с элементами детективного жанра, основанный на важных событиях рабочего движения. Эпичность и детективный жанр? Кажется, что это взаимоисключающие понятия. И все-таки оба критика по-своему правы: действительно, через все четыре тома проходит вопрос «Кто убил?», присутствующий и в любом стандартном полицейском романе, и в то же время отзвуки эпизода на городской площади раскатились так широко и затронули столь многих людей, что вполне правомерно говорить об эпичности цикла, несмотря на географическую и хронологическую локальность.*

---

* В полифонической прозе Лоренса нетрудно выделить образцы строго эпического письма, например экспозиционная глава в первой книге: «Небо менялось так же, как тропическое море с приливом. Каждое утро из-за горизонта, клубясь, выплывали маленькие чистые облака; они громоздились, поднимались к зениту и, наконец, застилали пустыню тенью, словно бы для полуденного отдыха, а потом, в час отлива, тянулись назад, за край света...

Людские волны катились в другом направлении. Когда облака поднимались к утреннему солнцу, люди спускались под землю. Самые светлые часы они проводили в темноте, а вечером, когда облака уплывали к горизонту, выходили наверх — выжатые до предела, покрытые черной пылью, отупевшие, равнодушные к прелести вечера...

Земля была истощенная и опустошенная, и люди были истощенные и опустошенные. Природа и человек жили порознь, между их движением не было ни взаимодействия, ни связи; как половинки разрубленной надвое змеи, они корчились в мучительной агонии — то был мучительный диссонанс, постоянно обещавший разрешение и не дававший его, вихрь, застилавший разум».

Трудно сказать, положены ли в основу цикла события, действительно имевшие место. Во всяком случае, по словам публициста Ч. Карлайля, Лоренс в 30-е годы, будучи журналистом, много ездил по Юго-Западу, наблюдая вспышки социального недовольства среди самых широких слоев населения. И все-таки нет необходимости «привязывать» его романы к определенному географическому пункту.

Любопытная деталь: С. Финкельстайн и А. Рубинстайн называют два *разных* города на Юго-Западе, где происходили события, напоминающие те, что воссозданы Лоренсом.

Сам автор писал по выходе первой книги: «Такая же история — в общих ее очертаниях — разыгрывалась сотни раз по всей стране, от побережья до побережья».

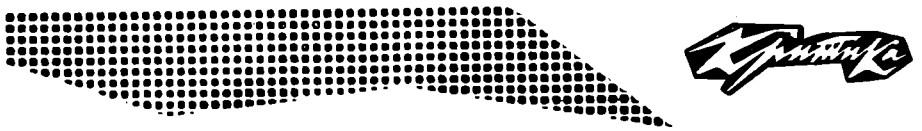
Известный экономист Виктор Перло, откликнувшийся на вторую часть трилогии рецензией, озаглавленной «Шедевр Лоренса», также свидетельствует: «В книгах вырисовывается существенная достоверность исторической ситуации».

Эпопее Ларса Лоренса присуща не только историчность, но и *историзм,* как раз то качество, которого так недостает даже лучшим произведениям американского критического реализма. Экономические и политические выступления рабочего класса США в 30-х годах были семенами социализма, которые непременно дадут всходы на американской почве, и нельзя допустить, чтобы эти всходы затоптали,— вот та основная мысль, которую утверждают романы Ларса Лоренса.

Теоретические проблемы социалистического реализма в американской литературе разработаны гораздо слабее, чем, скажем, в приложении к Франции. В этой области много сделано американскими критиками-марксистами и немало предстоит сделать. Прав С. Финкельстайн, который минувшим летом писал: «Мы говорим о социалистическом реализме, как о какой-то загадочной, таинственной проблеме, которая не укладывается в наши представления, и не замечаем порой, как под самым нашим носом появляется то, что наталкивает на решение этой проблемы».

Само собой разумеется, что будущее передовой американской литературы связано с ростом антиимпериалистических настроений в США. Еще в 1959 году Герберт Аптекер в статье «Перспективы, открывающиеся перед американскими левыми» писал, что теперь, когда дается отпор реакционным силам в США, когда социалистический лагерь, объединяющий треть человечества, преодолев ошибки прошлого, сделал колоссальный скачок вперед, есть все основания верить, что «американское левое движение будет расти, набираться сил и расширять свое влияние».

События и книги последних лет подтверждают эти прогнозы.



ВОЛЬФГАНГ ЙОХО

НОВЫЕ ГОЛОСА В ЛИТЕРАТУРЕ ГДР

Начиная с 1961 года, то есть после V съезда немецких писателей, в рецензиях на новые книги и в дискуссиях о литературе ГДР все чаще стали говорить о «новом жизнеощущении». Понятие это настолько вошло в литературный обиход, что возникла опасность, как бы оно не утратило своего первоначального смысла, не обернулось этаким «дежурным» украшением статей, штампом, как уже случалось иногда с другими «формулами». Уходя от самостоятельной оценки того или иного произведения молодого автора, некоторые критики с готовностью величают его обладателем «нового жизнеощущения», так и не пытаясь разобраться в значении этого понятия. Короче говоря, как сказано в гетевском «Фаусте», «бессодержательную речь всегда легко в слова облечь».

Однако и в самом деле, несмотря на известную недифференцированность этого понятия, некоторые романы, повести, рассказы, стихотворения и драматические произведения, вышедшие за последние годы, при всем различии между ними, обнаруживают существенные общие черты, дающие основание употреблять по отношению к ним выражение «новое жизнеощущение».

Ниже мы попытаемся — естественно, в самом эскизном виде — установить, что, собственно, понимается под словами «новое жизнеощущение» и в каких формах оно проявляется. При этом мы вовсе не имеем в виду предлагать какое-то законченное определение. Речь идет о характеристике некоторых сторон живого литературного процесса, идущего на наших глазах. К тому же мне лично кажется, что нельзя указать четкие объективные критерии, на основе которых можно было бы утверждать, что в таком-то произведении есть «новое жизнеощущение», а в таком-то нет.

Разумеется, нельзя противопоставлять произведения последних лет предшествующей современной литературе, как нечто принципиально новое и отличное. Нельзя создавать между ними вакуум. Совершенно очевидно, что здесь идет речь не о различиях идеологического порядка, как, скажем, между литературой критического реализма и литературой социалистического реализма, а только о более или менее ясно выраженных новых тенденциях.

О «новом жизнеощущении» говорится прежде всего в связи с творчеством молодого поколения писателей. На V съезде писателей назывались имена новеллиста Карла-Гейнца Якобса, выступившего с повестью «Описание одного лета», Кристы Вольф, автора «Московской новеллы», драматурга Гельмута Байерля, автора пьесы «Фрау Флинц». Не претендуя на полноту списка, можно, вероятно, с неменьшим, если не с большим основанием указать еще несколько имен и книг. Эрих Нейч, чья повесть «Однажды в дождь», впервые напечатанная в журнале «Нейе дейче литератур», привлекла в свое время большое внимание; Эрих Кёлер, чей талант обнаружился в первом же произведении «Лошадь и ее хозяин»; Альфред Вельм, автор романа о молодежи «Кауле» (первая глава опубликована в ав-

густовском номере журнала «Нейе дейче литератур» за 1962 год). Особо следует отметить вышедшую в прошлом году повесть «Ева и новый Адам» молодой писательской четы Гюнтера и Иоганны Браун.

Но хватит перечислять имена. Все эти писатели родились в период между 1927 и 1931 годами; ни одному из них, стало быть, не больше тридцати пяти лет. Это, конечно, не просто статистические данные. Это значит, что их детство и юность пришлись на годы фашизма, войны и падения гитлеровской Германии. Из мира обмана и преступлений они сразу попали в мир разрухи, и им пришлось заново искать путь и цель в жизни. И как ни различны их происхождение и в некоторых случаях судьбы, про каждого из них можно сказать словами Карла-Гейнца Якобса: «Весной 1945 года я, как и несколько тысяч других юнцов в солдатских шинелях, понял, что нас обманули и предали, мы увидели, как все растлители наших душ, и большие и малые, обратились в прах».

Есть в биографиях упомянутых, а также неупомянутых авторов и другая общая черта: им всем пришлось волей-неволей — прежде чем найти свое подлинное призвание — переменить немало профессий. Вот несколько примеров: Якобс работал разнорабочим, монтером, был батраком, горняком, коммерсантом, дворником, помощником редактора. Гюнтер Браун — в прошлом ученик аптекаря, актер, журналист. Иоганна Браун работала в деревне, готовилась стать продавщицей, была народным корреспондентом, прежде чем наше рабоче-крестьянское государство послало ее учиться в высшую школу. Эрих Кёлер работал пекарем, портным, маляром, сельскохозяйственным рабочим, забойщиком, проходчиком. Альфред Вельм — забойщиком, учителем, разнорабочим на химическом заводе. Случаи «прямолинейного» становления писателя — как было, например, с Кристой Вольф — весьма редки. Криста Вольф недолгое время занималась канцелярской работой, а затем училась в университете на филологическом факультете, сотрудничала в Союзе писателей, работала редактором.

Когда прослеживаешь жизненные пути наших молодых писателей, напрашивается сравнение с судьбами другого молодого поколения литераторов. Я имею в виду поколение советских писателей, призванное в литературу Октябрьской революцией. Они тоже сформировались в бурную пору ломки старого и первых шагов нового общественного строя. Последние годы прогнившего царизма, мировая война, революция, гражданская война... Им тоже довелось узнать нужду и лишения, они тоже пробовали свои силы в самых разнообразных профессиях, прежде чем осознали свое призвание. Вот почему новое жизнеощущение лучших молодых писателей ГДР во многом родственно жизнеощущению этого первого поколения советских писателей.

Разумеется, такое сравнение допустимо лишь в определенных пределах. Наряду с некоторыми общими чертами между молодым поколением советских писателей и литературной молодежью ГДР, о которой мы говорим, имеются и глубокие различия. В то время как советские писатели двадцатых годов, посвятившие свое творчество строительству нового общества, сами активно участвовали в революционной освободительной борьбе своего народа или, во всяком случае, закалялись в огне революции, имея перед глазами ее воодушевляющий пример, молодым немцам, связавшим свои судьбы с литературой после 1945 года, трудно было опереться на революционные традиции освободительной борьбы собственного народа. В противоположность советской молодежи двадцатых годов молодым немцам после 1945 года пришлось очищать свои мозги от яда фашистской идеологии, которой многие в юности были так или иначе заражены. Наиболее яркий пример литературного отражения этого довольно мучительного процесса — роман Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» *; на долю этого романа выпал большой успех, ибо автор сумел наглядно выразить то, что пережило и перечувствовало (может быть, не так отчетливо) целое поколение его ровесников.

Неприятие прошлого в сочетании со здоровым желанием проверить все на собственном опыте и стремлением к самостоятельной оценке людей и событий — вот что, на мой взгляд, составляет один из наиболее существенных признаков «нового жизнеощущения».

В этом смысле весьма характерны два произведения. Об одном у нас говорят слишком часто, о другом слишком редко. Я имею в виду повесть Якобса «Описание одного лета» ** и замечательную повесть «Ева

* Опубликован в журнале «Иностранная литература» №№ 4, 5, 6, 7, 1962 г.

** См. рецензию на эту повесть в «Иностранной литературе» № 9, 1962 г.

и новый Адам» Гюнтера и Иоганны Браун. В повести Якобса нет ни малейших признаков штампа и так называемой лакировки действительности. Автор не уходит от изображения реальных жизненных конфликтов, разногласий между своими героями. Брауны в своей повести весьма энергично и остроумно берут в оборот тех, кто кичится старыми заслугами, а между тем плохо знает современную жизнь, не интересуется запросами молодежи.

Для писателей типа Брауна, Якобса, Кёлера, Нейча, Кристы Вольф характерно критическое отношение к тем представителям старшего поколения, которые свысока относятся к молодым, отрицают за ними право иметь собственные суждения. Правда, порой здоровое чувство уверенности в своих силах переходит у молодых в заносчивость, переоценку собственных возможностей. В повести Гюнтера и Иоганны Браун таких «переборов» не так уж много. Мягкую иронию по отношению к тем или иным незадачливым старшим товарищам авторы сочетают с весьма откровенным и сатирически точным изображением некоторых человеческих слабостей нашей молодежи, к которой, кстати сказать, принадлежат и сами Брауны. Достаточно вспомнить, как они разделываются с молодым дипломантом-химиком Петером Адамом, гордящимся своей рационалистической деловитостью: «Что особенного в пении птиц? Эта звонкая неразбериха попахивает анархией. Вот если бы птичий оркестр, да еще слаженный, тогда было бы другое дело!»

Новое жизнеощущение — и тут мы еще раз упомянем книги Браунов, Карла-Гейнца Якобса — проявляется и в том, что в произведениях наших молодых авторов, как правило, нет ни излишней сентиментальности, ни пространных изображений обстановки, ни психологизирующих описаний душевного состояния героев.

К подобной манере повествования их произведения в большей или меньшей степени полемичны. Брауны не рассказывают нам об Адаме и Еве, а показывают их.

Весьма нетерпимо наши молодые писатели относятся к приемам избитым, всем уже изрядно надоевшим. В этой связи любопытны мысли, высказанные Браунами в сентябрьском номере журнала «Нейе дейче литератур» относительно языка писателя, мысли, которые уже нашли свое практическое воплощение в повести «Ева и новый Адам».

Но самое существенное в творчестве молодых — стремление к актуальной проблематике. Они не хотят отставать от передовых людей и событий нашего времени, не боятся затрагивать «щекотливые» темы, не боятся «обжечься». Повесть Карла-Гейнца Якобса «Описание одного лета» стала недавно предметом оживленных споров читателей. При этом в центре внимания оказались не художественные особенности, хотя и о них можно спорить, и этот спор в критике ГДР тоже ведется. Обсуждалась прежде всего сама проблема, поднятая автором (например, в статье «Повесть и ее читатели» в «Нейе дейче литератур» № 4, 1962 г.) Это произошло главным образом потому, что в повести речь идет о волнующих нашу молодежь вопросах социалистической морали. Якобс нелицеприятно показывает то, чего не должно быть, но что еще бытует в нашей жизни. В этом несомненное достоинство повести. Она задевает за живое, так сказать, «расшевеливает» нас, ибо не просто изображает конфликты нашей жизни, но и заставляет над ними задуматься.

Критическое, точнее говоря, аналитическое отношение наших молодых писателей к опыту старших сочетается со столь же глубоким отношением к проблемам современности, к людям, которых эти проблемы волнуют.

Молодые писатели весьма далеки от так называемой бесконфликтности, наоборот, они всеми силами стремятся вскрыть и отобразить существующие в нашей жизни конфликты. Это не имеет ничего общего с позицией «сердитых молодых людей» в западном мире, которые чувствуют себя покинутыми на произвол судьбы и ищут спасения в одиноком бунте.

Молодые силы нашей литературы борются сообща, по-партийному, бок о бок с писателями старшего поколения за общее дело. То, что они ищут свои собственные средства, свидетельствует о том, что они не желают быть эпигонами и подражателями и создают собственный стиль, язык, композицию.

Все эти особенности и составляют «новое жизнеощущение», оживившее нашу литературу. Конечно, не каждому нашему писателю в возрасте от 25 до 35 лет присуще — только в силу его возраста — это новое

жизнеощущение, как и не все, что кажется новым, является новым на самом деле.

Это относится прежде всего к некоторым формальным экспериментам в области лирики, а также прозы. Очень многое, что выдается за деловитость, отсутствие сентиментальности и смелость, при более близком рассмотрении оказывается сухим, бескровным, эпигонским, оказывается подражанием экспрессионизму давних лет, копированием так называемого «жесткого» стиля, типичного для некоторых современных западных писателей, но существовавшего уже сорок лет назад. Нередко в нашей литературе ставятся вопросы, но на них либо не дается ответа, либо писатель просто не справляется с поставленной задачей. И как ни свежа, как ни актуальна по своей тематике повесть Якобса «Описание одного лета», следует сказать о двух ее существенных недостатках. Во-первых, хочет того автор или не хочет, в манере своей он идет уже давно проторенным путем, подражая Хемингуэю, отчего форма приходит в противоречие с содержанием. Во-вторых, до конца справиться с поднятой темой ему не удалось.

Критики, отождествляющие понятие «нового жизнеощущения» с формальными просчетами и художественными слабостями, вполне объяснимыми у молодых авторов, оказывают нашей литературе плохую услугу. О чертах «нового жизнеощущения» в книгах Якобса, как и других названных нами авторов, представляющих младшее поколение писателей, говорится, конечно, не потому, что в них можно порой найти подражание стилю Хемингуэя или не найти ответов на поставленные вопросы.

Об этом мы не должны забывать, если хотим правильно оценить литературные достижения наших молодых писателей, если хотим избежать захваливания, нередко допускаемого нашей критикой. Такое захваливание может вскружить молодому автору голову и привести к тому, что он, возомнив себя гением, начнет писать небрежно, кое-как.

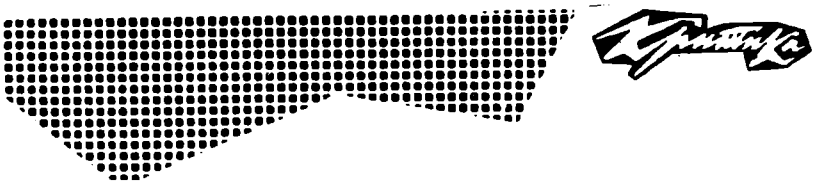
Героя повести «Описание одного лета» назвали даже «Вертером наших дней». К чему это? Зачем нужно сравнивать наших молодых писателей с великими гениями прошлого?

Это не приносит пользы молодым писателям, не помогает им найти верный путь. Нужно помогать им в движении по верному пути, а не увивать их чело лаврами, дабы не было соблазна почивать на них.

В заключение этого — самого беглого — рассмотрения явлений, обнимаемых понятием «новое жизнеощущение» в литературе ГДР, необходимо сказать еще несколько слов об отношениях между молодым и старшим поколениями писателей, чтобы исключить возможность каких бы то ни было недоразумений или неправильного толкования этих отношений.

Вначале отмечалось, что понятие «новое жизнеощущение» связано с молодым поколением, и потому в этом обзоре мы говорили лишь о молодых авторах. В таком подходе нет субъективизма. Понятие «новое жизнеощущение» действительно применялось и применяется лишь для характеристики некоторых произведений молодых писателей. Это, разумеется, отнюдь не означает, что только молодые авторы ГДР приветствуют новое в нашей жизни; это лишь указывает на то, что между писателями разных поколений можно найти некоторые различия в творческой манере изображения. Совершенно неправильно было бы делать из этого вывод об антагонизме в мировоззрении между писательскими поколениями. Этого нет и не может быть в литературе ГДР. Нет также ни малейшего основания предполагать, что молодые писатели по принципиальным вопросам находятся в какой-либо оппозиции к своим старшим товарищам. Некогда классический конфликт отцов и детей не существует в социалистическом обществе, не существует он и в Германской Демократической Республике. Старые и молодые писатели делают общее дело, их объединяет общая цель — строительство социализма, они борются единым фронтом против всяких проявлений бесчеловечности, против фашизма, в каком бы обличье он ни выступал.

г. БЕРЛИН



ВЛАДИМИР ОГНЕВ

О ПОЭЗИИ ТАДЕУША РУЖЕВИЧА

Год назад, будучи проездом в Кракове, я попросил одного польского писателя познакомить меня с Тадеушем Ружевичем, поэтом, чье творчество поразило меня серьезным отношением к жизни и резким неприятием эстетства и литературщины во всяком их проявлении. Поразило не потому, что это такие уж редкие качества, а потому, что в стихах Ружевича главное в жизни предстает в редкой непосредственности первоначального восприятия, с обезоруживающей простотой наскальной живописи.

Главные поэтические произведения Ружевича я прочитал в польском издании «Избранные стихи», затем приобрел и другие книги: «Разговор с князем» (1960), «Голос анонима» (1961). А осенью 1961 года, навестив Броневского в больнице, незадолго до его смерти, я услышал из уст крупнейшего поэта Польши высокую оценку Ружевичу: «самый серьезный». Это было сказано тихо и тоже серьезно.

Ружевичу сейчас сорок два года. Печататься начал он в 1939 году. Когда немцы оккупировали Польшу, он работал на фабрике, потом ушел в партизаны. После освобождения родины Ружевич учится в Кракове на факультете истории искусств. С 1947 года выпустил свыше десяти поэтических сборников, писал прозу, поставил несколько пьес. Живет в городе Гливице, возле Кракова. Живет скромно, не любит шума и суеты. Когда пришло сообщение о Государственной премии, его насилу нашли в лесу в маленьком домике.

Такова краткая канва внешних фактов биографии Ружевича. Но разве для поэта есть внешние факты?

Война для Ружевича была больше чем биографией. Он вышел из войны поэтом, личностью, мыслителем. Вошел в войну подобно сотням тысяч других таких же юношей, романтически слепых, горячих, неученых, самоуверенных. В юности кажется, что мир движется вокруг тебя. Война, история, судьбы поколения — это яркие поводы для продолжающегося самоутверждения. Но война не оставляет иллюзий. Она вышибает их грубо и окончательно. Сила личности, сила поэзии измеряется этим остатком, общим знаменателем жестокого времени и несдавшейся, переплавленной души.

Всем четырем ветрам
Жилье открыто.

Один — развеял дым
и прах отца развеял,

другой — развеял дым
и материнский прах,

развеял третий
даже имя брата,

четвертый ветер,
ласковый, весенний,
кружится надо мной,
неся воспоминанья.

(«От дома моего». Перевод Ал. Ревича)

Ружевич вышел из войны с личной трагедией (мученическая смерть близких), помно-

женной на трагедию польского народа, испытавшего кошмары массового истребления, варварского разрушения очагов культуры и цивилизации. Освенцим, Майданек, Варшавское гетто, Павяк... По всей Европе разносили ветры человеческий пепел. Пепел Клааса. По всему миру разбросало сынов Польши. Океан человеческого горя затопил землю.

Тесно в клетке грудной...

Вот первая нота этой поэзии. Чрезмерность горя. Неизмеримость страдания. Бесконечность утрат. Невосполнимость утрат. В Варшаве по улице Жабей когда-то прошла любимая. Она давно мертва...

Прошла, как проходят тучи.
Но откуда эта длинная, непомерная тень?
(Перевод Вл. Корнилова)

В декабре 1958 года, выступая на Всепольском совещании деятелей культуры и науки, известный польский критик Стефан Жулкевский говорил:

«Литература может и должна видеть ужасы жизни, речь идет, однако, о том, что она думает о жизни. Здесь следует выбрать то искусство и литературу, которые высказываются в пользу смысла против абсурда... за надежду и против отчаяния».

Этот выбор сделан и поэзией Ружевича. Мужество, воля, стойкость — вот основа мироощущения героя, его лирики. Здесь, в активности позиции сострадания и помощи людям,— весь Ружевич.

Но в этом еще нет Ружевича-художника, его индивидуальности, обоснования его творческой манеры.

Всматриваясь в стихи Ружевича — именно всматриваясь, не вслушиваясь!— мы в четком рисунке действия (действие в его поэзии — главное) находим чаще всего... образ молчания. Поясню.

...Человек в окне заламывает руки. Что там происходит?

Быть может,
его беспокойные руки,
пытались сложить
разбитое вдребезги?
. . . . . .
как будто сдавался,
как будто на дно опускался,
как будто пытался бороться...
(Перевод М. Кудинова)

Стихотворение называется «Быстрее». Люди должны поспешить, успеть к безмолвному горю другого, пока лицо человека не уподобится «разбитому зеркалу». Поэзия Ружевича — это пантомима души. Мы видим только жесты ее. Но они так выразительны!

Молчание выступает как синоним разъединенности. Люди возводят стену «по слову», как по кирпичу, «пока не возникло молчанье».

Молчанье — образ трудного искусства, жаждущего освобождения сути своей:

Люди с устами, что залеплены гипсом...

Молчанье — это крик памяти. «В нем слова есть десятка юных поэтов, что погибли в Варшаве... Есть в нем шепот юных девушек, что уже не запляшут майской ночью под густыми деревьями...»

Молчанье— это смерть. «Кто спит с открытыми глазами — не смеется, и тот, кто под землею спит,— молчит». Песня без любви «подобна молчанью предметов»,— говорится в другом месте. О свободе «молчат уста» отсеченных голов («Индеран»).

Молчанье — это надежда. Молчанье поэта над белой бумагой — «безъязыкий, растерянный свидетель любви, побеждающей смерть» («Свидетель»).

Поэтому разрушение молчания — это начало новой жизни.

Над черным городом кружится снег,
белеет чайкой на отвале шахты.
Как тихо в нашем доме.
Любимая смеется,
и смех ее наполнил тишину,
которая так дорого досталась.
Корона золотых волос.
Прижаты к сердцу руки.
— Прислушайся: во мне
стучат два сердца! Слышишь?
Я слышу. Слышу смех,
такой счастливый в этой тишине.
(Перевод Ал. Ревича)

Круг жизни замкнулся. И разорван круг молчания. В стихотворении «Формы» поэт говорит о бунте поэзии против «мертвой материи слов», испугавшихся «огня и запаха крови». Добычу свою так плотно обступили эти формы, «что даже молчанье не может прорваться наружу». Поэтому рожденье новой формы для Ружевича — естественный шаг, необходимый шаг:

Не говорить хочу,
а поступать словами...

И тут пришла пора сказать о месте Ружевича в польской поэзии. Он — общепризнанный мастер, почти классик. Критика единодушно считает Ружевича особым, неповторимым дарованием. На разные голоса склоняется тезис об «антиметафористичности» его стихов, демонстративном освобождении стиха от любых украшений, подсобных эффектов. И это, безусловно, верно. Вот что говорит сам Ружевич: «Звучит без фальши песня поэта, который служит доброму де-

лу. Он минует кладбища слов и метафор, реквизиты и школы обходит, чтоб трогать сердца и предметы, ищет простые слова» («Поэтика»).

Но обнаженность приема, отказ от аллегорического и условного подхода к слову — та простота, которая сродни поэтическому аскетизму,— одновременно отличает Ружевича и от традиционного классического стиха (А. Слонимский, А. Рымкевич, В. Шимборская) и противостоит поэзии польского «авангарда», будь то Ю. Пшибось или новейшие экспериментализты — Е. Харасымович, М. Бялошевский.

Новы у Ружевича по сравнению с классической традицией и свободный, безрифменный стих и сама структура образного движения — предельно емкая и аналитичная.

От «авангарда» его отделяет устремленность к реализму, моральная ответственность за судьбу человека, открытая гражданственность.

Недавно в интервью Ружевич осудил безответственность тех молодых поэтов, кто считает: «не понимаешь меня — сам виноват». Ружевич — поэт ясной, демократической формы, но формы, выражающей не примитивное, а активное содержание.

Есть у поэзии Ружевича и нечто общее с таким направлением, как экспрессионизм, в его чисто польском варианте. Здесь не место вдаваться в подробности. Скажу только, что поэзии Ружевича порой приходится испытывать как бы «натяжение на разрыв». Эстетика ясности конечных выводов о жизни местами приходит в противоречие с психологической аффектацией или с психологическим гротеском.

Такие стихи, как «Шпора», «Что было скрытым», «Марс», «Битва с Ангелом», и некоторые другие — туманны. Иные — гиперболичны не от силы обобщения, а от субъективного смещения масштабов.

И если говорить о логике пути поэта, то она — в постепенном освобождении от отвлеченно-философской трактовки явлений.

Самое главное и ценное в стихах польского поэта — поэтическое ощущение современного мира, его надежд, поиски выхода из трагедии разъединения людей.

И тема эта крепнет от книги к книге.

Общественный человек — идеал поэта. И общественное искусство — долг таланта. Маяковский писал:

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак —
пожалуйста!

С этими саркастичными строками перекликается:

Я думал:
слова невесомы,
как пух,
блестящи, как шелк,
круглы, как девичьи колени,
беспечны, как птичий посвист.
Я думал:
они послушно
являются —
только кликни,
и можно из них сложить
многозначительный образ,
скрывающий столько сокровищ.
(Перевод Ал. Ревича)

Но сила убежденья, сила поэзии, жизнь сказались в других словах, нацарапанных на тюремных стенах,— «словах надежды». Среди этих слов не было «ни сравнений, ни аллегорий, ни гипербол, ни звучных метафор».

В поэме «Равнина», за которую Ружевич был удостоен в 1955 году первой премии и золотой медали на международном литературном конкурсе, память звучит грозным набатом. Светлая песня Уитмена, а не бормотанье Эзры Паунда — вот кредо истинного поэта.

Тесно в клетке грудной —
я откроюсь равниной,
полюбившей движение. И перемены
пусть наполняют меня...
(Перевод Вл. Корнилова)

Выход в мир движения и перемен означает попытку преодоления цепенящей памяти войны, которая держит, обессиливая волю. Голос поэта в «Равнине» подобен голосу пророка, стиль поэмы приближен местами к стилю Библии:

Перелетную птицу
расспрашиваю:
кто за мною идет?
Только нет ответа.
В страхе вновь вопрошаю:
кто за мною идет?
Слышу звон тишины.
Иль живу я в огромном
звоне без сердца?
В третий раз вопрошаю:
кто за мною идет?
(Перевод Вл. Корнилова)

В таких стихотворениях, как «Дверь», «Быстрее», «Зеленая роза», «Карусель», «Стена», «Смерть обывателя», «Вечно спеша», у Т. Ружевича прорываются ноты гневного разоблачения мира индивидуализма, уродливой собственности, разрушающего и

человека и духовные ценности, искажающего сам смысл цивилизации.

В свой угол уходят,
с собой забирая свои пылесосы,
дрянные картины и женщин,
свои холодильники,
скудные знанья,
остатки эстетики,
веры,
подобие бога,
подобие страсти, любви...

(Перевод М. Кудинова)

Мещанство для Т. Ружевича — опасное, хитрое и безвольное,— не узкая социальная категория, а стихия духовной инертности, символ людской покорности обстоятельствам, предательского отступничества от общей борьбы. Ружевичу не чужд юмор. Но «улыбки» Ружевича грустны или страшны. В смехе Ружевича рельефно проступает гофманианское начало поэтического гротеска. В «Метаморфозах» ребенок просит отца поиграть в серого волка и козлика и... пугается всерьез. В такой «шутке», как «Цвет глаз и вопросы», читаем: у любимой «странные глаза — давят, как осенний дождь». А от стихотворения «Тепло» — холодно на душе, люди говорят здесь «на языке жести и ржавчины»...

Да, это оставило горе, война.

Может быть, особенно наглядно и убедительно удается польскому поэту передать в слове тот сложный процесс душевного оттаиванья, который проходил в душах военного поколения. Герой удивляется: могу собирать ягоды, а думал — нет ни леса, ни ягод; могу лежать под тенью листьев, а думал — нет тени у деревьев; могу любить, а думал — нет у человека сердца («Как хорошо»). Но это еще робкие шаги к освобождению. В «Уговорах» девочка, перенесшая травму, боится мебели, старой газеты, стены... «Тот человек уж не вернется... Не забивайся в угол, не становись к стене. Никто тебе не велит становиться к стене. Ты слышишь?» Это страшно своей недосказанностью, которая так понятна! «Карточный домик», который строит любимая из разноцветных карт, сломали руки погибших, растасовали карты, а на белых розах, на белых стенах — красные пятна... Память то и дело врывается в жизнь живых. Но она все чаще несет с собою волевое начало, все чаще и тверже звучит голос надежды и сопротивления. В 1962 году в журнале «Твурчость» Ружевич опубликовал поэму «Из солдатского дневника». Это смелый эксперимент. Голос солдата времен второй мировой войны сохранен будто в магнитофонной записи. В поэме нет лирического героя, голоса автора. Отношение его выражено чисто композиционными средствами. Монотонный рефрен о погоде после скупых записей о смертях, о единственной женщине, встреченной за долгие годы, оттеняет свойственный Т. Ружевичу колорит «молчаливого крика» души, отупевшей и как бы сжавшейся. Но в поэме этой есть и нечто новое. Дневник — это тот малый островок твердости и цельности человеческого «я», который не затопить океану смерти, бушующей вокруг.

У поэзии Т. Ружевича, несмотря на драматизм ее тона, нет нервозности, отчаяния и смятения. То ощущение спокойного достоинства и надежности, которое остается от самого облика поэта — от его крепкой коренастой фигуры, умных, ироничных глаз, уверенной манеры вести речь, подбирая неторопливые взвешенные слова,— такое же ощущение, какое оставляет сам Ружевич, остается и от его произведений.

Уважением к жизни, к реальности проникнуты многие поэтические декларации Т. Ружевича. Поэзия тянется ко всему, напоминая ручонку младенца,— говорит поэт,— но разжимаются слабые пальцы, выпускают яблоко, такое большое, такое тяжелое («Попытка»). Слепцами, опирающимися на палку, называет Ружевич зыбкие поэтические ощущения. В стихотворении «При свете дня» сталкиваются два образа — обнаженной кинокуклы с идеальным набором патентованных прелестей и реального человеческого страдания со всей его внешней непривлекательностью:

...при свете дневном на улице
кажется тусклой и незаметной
подлинная слеза
на щеке неказистой женщины,
женщины как она есть.

(Перевод Л. Тоома)

Женщина жмется к стене, нос ее покраснел, бесцветные ресницы склеились, чулок на ноге обвис — «покуда не доскребется до сердца страданье», «мы ничего не видим, мы ничего не чувствуем»... Нет, поэт не верит в силу одних лишь слов. За ними должно стоять «нечто», что мы, каждый из нас, вправе назвать... Поэт будто стыдится этого слова — любовь. Он знает, что ничем так не спекулировали, как любовью. Образ деревянного Христа «на четвереньках», с «красными занозами» — традиционная польская фигурка (świątek), изделие народных умельцев — лишается у Ружевича традиционного религиозного содержания и наполняется новым смыслом.

«Спешите делать добрые дела»,— как ска

зал русский поэт. Это чувство близко Т. Ружевичу. Вот почему один из его сборников называется «Беспокойство».

Добрые дела не забываются. В январе 1945 года в один из польских домов вошли советские солдаты. Они пели, чистили оружие, помогали старой женщине...

К ней обращались просто: «Мать».
И утешали: «Мать, не плачь,
не надо».
Сколько лет прошло,
но вижу я ее улыбку
сквозь слезы.

(Перевод Ал. Ревича)

Есть в доброй, честной поэзии Т. Ружевича еще одно качество, без которого ее трудно представить себе,— пристрастность. Она такого рода, что запоминает все, мельчайшую деталь, если та хоть как-то связана с главным, ради чего и пишутся стихи. И если у него «жандарм, тот, кто бил мать по лицу, был без лица», или «убийца улетел серебристый, сверкающий, без имени, сердца, лица», то это — не просто образы, недостаточно отчетливые, а утверждение собирательности зла. Это зло XX столетия. Как когда-то кентавры — чудовища, слившиеся с конями, люди XX века слились с машиной... машина — с деньгами, их пославшими на убийство.

Зло, не имеющее лица, страшно. Оно не персонифицировано. Оно легко обволакивается мифом.

Я думаю, то обстоятельство, что для манеры Ружевича характерна анонимность героя, именно отсюда и вытекает — из собирательности, ощущения всеобщности явления. Образ колеблется на грани символа, не теряя реальных, достоверных черт. Вот воспоминания детства. Герой снова в том, отчем, доме,

а всемогущий бог...
беспомощный висит на стене,
и он плохо нарисован.
Детство как стертое изображение
на золотой монете, которая чисто
звенит.

(Подстрочный перевод)

Какая пронзительность, точность, емкость. Бог уже другой: горькая зрелость; туманное детство далеко, но оно завистливо звучно... Сопоставления и контраст заменяют в поэзии Т. Ружевича плавное логическое развитие темы. Мысль ограничивается тезой и антитезой. Выводы уходят вглубь, в подтекст.

В стихотворении «Это сложиться не может» дана цепь, казалось бы, бессистемных, частных перечислений действий человека, крупных и мелких, даже совсем незначительных: он ест, играет в карты, ухаживает за волосами, ходит на службу, влюбляется, делает карьеру и т. п. И все это «сложиться не может». Почему? Потому, что поэта интересует не логическая сумма действий, а поэтический корень из них. Все это — механическая жизнь, бессмысленное, суетное, ложное стремление к бездумности и неосмысленности существования. Построение стиха подчеркнуто «арифметическое», и выявляет абсурдность, бедность такой жизни. Здесь интеллектуальный подход к теме выявлен исчерпывающе ясно.

Но часто в арсенале поэтики Т. Ружевича находятся и более сложные приемы вскрытия сущности явлений. У большого польского поэта Лесьмяна, влияние которого на современную польскую поэзию несомненно, обыденное прорастает чудом, внутренним движением. В стихотворении «Воспоминание» два перекрещивающихся временных плана, как в поэзии Б. Пастернака, существуя одновременно, движут нечто «третье» — развивающееся сознание человеческого «я». Так часто строятся и стихи Ружевича. В стихотворении Лесьмяна «Сестре» картина похорон:

Молча брел я за возом в подъем.
Мир заметно мельчал предо мною,
уменьшаясь в размере своем
ча одно существо небольшое.

(Перевод Б. Пастернака)

У Т. Ружевича — восприятие героя в сцене убийства его любимой фашистским летчиком:

Земля,
ты легче на одно дыханье,—
мертвая, пустая.

(Подстрочный перевод)

В обоих случаях масштабное соизмерение подчеркивает ценность личности.

В строгой системе поэтики Т. Ружевича нет ничего, что было бы безразлично к центральной идее его творчества — идее активного гуманизма, беспокойства за судьбы жизни, мира, человека.

В стихотворении «Минута» есть образ тополей — «как виноград на старом потускневшем серебре неба хмурого». Минута — это озарение внезапным чувством любви к девушке, это то «чудное мгновенье», что воспето не одним Пушкиным... Но почему:

в пепле неба
вдалеке дымятся горы.

Откуда в этой минуте любовной грезы «тени темные на стенах домиков глухих»? Ответ приходит с последними строчками:

Сердце бьется вновь.
А мне казалось,
будто умерло оно в Вероне.

(Перевод М. Кудинова)

Трудно поверить в любовь после того, как жизнь стала пеплом, дымом. Прошли времена Ромео и Джульетты. И ясен теперь образ тополей: потускневшее серебро — это та чудаковатая старина, что ассоциируется со спокойными вещами, переходящим из рук в руки фамильным серебром с застывшим рисунком. Но... и с Вероной, где вражда двух родов умертвила великую любовь. Тревожна любовь в мире вражды.

Однако —

Без любви наша песня
мертва,
от нее отвернется народ
равнодушно и мрачно.

(«Поэтика». Подстрочный перевод)

■

Т. Ружевич находится сейчас в самом расцвете творческих сил. В 1962 году он удостоен Государственной премии за последние книги стихов. У него есть свои последователи среди молодых польских поэтов. В «школе Ружевича» они находят сильное противоядие эстетизму, эпигонскому пустословию мнимопоэтических красивостей, различным теориям «экспериментирующего воображения», уводящего от жизни, ее острых проблем.

Польский поэт Артур Мендзыжецкий писал о родстве поэзии Т. Ружевича и Б. Слуцкого.

Да, в творчестве Т. Ружевича и Б. Слуцкого есть общие черты. Много общего у Ружевича вообще с послевоенной советской поэзией. Э. Межелайтис «Человека», В. Луговской «Середины века», Е. Винокуров «Слова», А. Вознесенский «Треугольной груши», О. Вациетис, Ю. Марцинкявичюс, О. Сулейманов, Г. Лисин (Айги), П. Севак— вот те имена советских поэтов, которые прежде всего вспоминаешь, знакомясь с новым для русского читателя явлением польской поэзии.

...Я брился, когда в дверь постучали. Я увидел его в большом овальном зеркале. Трещина, диагонально пробежавшая по мутному полю, исказила лицо человека, показала его уродливо злым. Я обернулся, и та волна спокойной доброжелательности, умного понимания, уверенной в себе простоты, которая хлынула от фигуры Ружевича (это был он), навеки останется во мне. Путь от старомодного краковского отеля «Полония» до какого-то очень «модерного» кафе я запомнил плохо — лучше помню Ружевича. Он шел по желтеющим бульварам какой-то ленивой и небрежной походкой, смотрел по сторонам иронично и грустно, говорил обо всем, добродушно подшучивая.

И одет он был скромнее многих и держался свободнее. С ним сразу хотелось подружиться, но и чувствовалось, что «главный» он где-то глубоко внутри, за простодушием, за спокойствием.

Почему я вспомнил вдруг эту встречу? Что в ней важного? А, пожалуй, ничего. Просто мне кажется, что настоящий человек и настоящая поэзия не выказывают себя сразу. Им надо пойти навстречу. Их надо понять. А для этого нет неглавного: ни в первом впечатлении от человека, ни в первом знакомстве со стихами.

Е. ГАЛЬПЕРИНА

ПУТЬ ЯНА КЕРЬЮ

Ян Керью выступил в литературе совсем недавно — в 1958 году; но уменье лепить яркие характеры, поэтический язык, интеллектуальность — все это сразу показало Керью как одаренного романиста и драматурга.

Керью — художник своей темы, которую, пожалуй, можно определить так: положение интеллигенции колониальных стран, ее попытки найти решение своей судьбы в преодолении одиночества, в осуждении индивидуализма. Тема не новая. Но для художника колониальной страны она тянет за собой совершенно новые проблемы, показывает непривычные для нас повороты.

Родина Керью, Британская Гвиана,— английская колония в Южной Америке. Ее положение колонии среди независимых государств и англоязычной страны среди стран Латинской Америки отделяло раньше ее писателей от латиноамериканской культуры и сближало их с англоязычной островной Вест-Индией. 50-е годы, годы великого крушения колониальных империй, вызвали внезапный и бурный рост литературы, особенно романа, на вест-индских островах. Своей проблематикой творчество Яна Керью связано с романами Виктора Рида*, Джона Хирна (Ямайка), Джорджа Лэмминга (Барбадос). Их роднило уже само «добровольное изгнание». Писатели Британской Гвианы, как и островов, уезжали в США или, чаще, в Англию, чтобы получить образование, найти издателей и читателей, которых не было на родине, где народ был нищ и неграмотен, а средние слои не способны оценить искусство. Писатели уходили в эмиграцию. В книге «Радости изгнания» Дж. Лэмминг показал всю горечь эмигрантской жизни в Лондоне. Начинающим литераторам угрожал не только голод, но и «отрыв от корней», от народной почвы, поглощение чужой культурой.

Были, впрочем, и такие, которые в поисках успеха приспосабливались к обстоятельствам. Так сделал, например, соотечественник Керью Эдгар Миттельхольцер. Английские издатели и публика ждут от писателя колониальных стран прежде всего «экзотики» — ярких тропических пейзажей, пряной эротики, причудливых обрядов. Отказавшись от социальных и политических проблем, Миттельхольцер пошел навстречу этим требованиям, усвоил все приемы дешевого «модерна» и за 10—12 лет выпустил около 20 романов.

Иначе сложилась судьба таких писателей, как Джон Хирн, Виктор Рид, Лэмминг или Керью. При всех различиях, они — писатели большой социальной проблематики. Расовое и национальное унижение человека в колониях, его «овеществление» и пути его возрождения; критика буржуазных «выходов» из колониальной ситуации, борьба за национальное самосознание; судьба «цветной» интеллигенции; сложные и противоречивые пути колониальных стран после завоевания самоуправления и полной

* Роман Виктора Рида «Леопард» был напечатан в журнале «Иностранная литература» № 10 за 1960 г.

независимости — таковы проблемы, волнующие этих писателей.

Многое в романах и пьесах Керью останется непонятным, если не знать всего своеобразия истории Британской Гвианы и тех трудных, сложных путей, которыми она идет к независимости. Прежде всего необычайна расовая и национальная пестрота ее населения. Исторически это сложилось так: когда-то Гвиану населяли индейцы, почти истребленные в дальнейшем европейцами. В конце XVI века у берегов Гвианы в погоне за золотом появились англичане, в частности известный английский авантюрист Уолтер Рэлей. В начале XVII века в Гвиану явились голландцы, потом их сменили пришедшие с вест-индских островов английские плантаторы. Уже не золото, а сахар стал главным богатством страны — сахарные плантации протянулись по побережью, выростали поселки и города, отгороженные от моря мощными дамбами. Здесь, на побережье, жило и живет почти все население; дальше в глубь страны тянутся огромные пустынные леса. Из Африки на плантации Гвианы были завезены черные рабы, и их мощные восстания сотрясали страну в конце XVIII и в начале XIX веков. В те времена основное население страны составляли негры, но после отмены рабства они ушли в города, а в Гвиану хлынули для работы на плантациях иммигранты из Азии, главным образом индийцы. Сейчас около половины населения — индийцы, около трети — негры, остальные — португальцы, китайцы, англичане, метисы, мулаты. Эта многорасовость и многонациональность сказывается на политической жизни страны, затрудняя объединение народных сил.

И другое: Британская Гвиана — богатая страна. Но ее сахар и бокситы, золото и алмазы принадлежат английским, американским, канадским монополиям.

Когда в 1950 году создалась Народно-прогрессивная партия, возглавляемая нынешним премьером Британской Гвианы д-ром Чедди Джаганом, она сразу получила поддержку масс. На выборах 1953 года она завоевала большинство, и Ч. Джаган возглавил правительство. Однако первые же его попытки проводить самостоятельную политику и, в частности, осуществить земельную реформу вызвали ответные репрессивные меры со стороны колониальных властей. Английские колонизаторы разогнали правительство Джагана. В Британскую Гвиану были введены английские войска. Джаган и его соратники были брошены в тюрьмы. Одновременно колонизаторам удалось внести раскол в Народно-прогрессивную партию, используя предательскую деятельность Форбса Бернхэма, возглавившего оппозицию. В 1955 году группа Бернхэма вышла из Народно-прогрессивной партии и организовала новую партию — Народно-национальный конгресс. На выборах 1957 года победа опять была за Джаганом. В 1957—1961 гг. д-ру Джагану удалось, несмотря на противодействие колониальных властей, провести ряд прогрессивных мероприятий и, в частности, распределить часть земли между фермами и кооперативами. Джаган и его партия вели и ведут упорную борьбу за политическую независимость страны и за преобразование ее отсталой экономики, выступая против английских колонизаторов, иностранных компаний, гвианской буржуазии, правых профсоюзов и части отсталого населения, обманутого демагогами.

Такова была сложная и напряженная обстановка в стране, когда Ян Керью начинал в Лондоне свою литературную деятельность.

Ян Керью родился на побережье Британской Гвианы в деревне Агрикола Роме. Как и во многих жителях Британской Гвианы, в нем смешано несколько рас и наций — негритянская, индейская, голландская и португальская. В автобиографической книге «Дикий берег» он рассказывает о детстве мальчика из господского «большого дома», мальчика, в котором есть и капля крови его предков — негров-рабов. С детства вошел в Керью пейзаж Гвианы, где все чрезмерно — океан, бурный ветер прибрежья, непроходимые болотные топи, за которыми расстилаются огромные леса, могучие реки и жгучее солнце над болотами. После окончания Керью колледжа в США биография его становится поистине джек-лондонской. Моряк, рабочий, служащий в отеле, работник радио, актер, лектор Лондонского университета... Ему приходилось жить в США, в Голландии и Нидерландской Гвиане, во Франции. Однако творчество Керью развернулось в Лондоне, где он провел много лет и возглавлял лондонскую Ассоциацию вест-индских писателей.

Уже первым романом (вернее, повестью) «Дикий берег» (1958) Керью попытался найти свое место в литературе. Он вводит в прозу свой мир — мощную красоту гвианского пейзажа, народный певучий вест-инд-

ский диалект с его креолизмами, народные типы. Однако резко подчеркнутые эротические эпизоды, образ старого колдуна, магия, народные суеверия вносили в книгу черты модной «экзотики». Но в том же 1958 году выходит второй большой роман Керью «Прикосновение Мидаса», роман уже совершенно другого уровня.

Ранние книги Керью непосредственно не связаны с национально-освободительной борьбой народа Британской Гвианы. Но все время Керью возвращается к проблеме, видимо, остро, болезненно им пережитой: как униженный человек, рожденный в колонии, может вновь обрести свое человеческое достоинство, преодолеть навязанное ему неравенство? Немало людей в колониях полагали, что достигнуть равенства с белыми хозяевами страны можно, уподобившись им, что ключ к победе над колониальными обстоятельствами — индивидуальное продвижение и деньги. Эти идеи, характерные для национальной буржуазии, искушали немало талантливых интеллигентов. Вероятно, и сам Керью, воспитывавшийся в Соединенных Штатах, где ценность человека определяется долларами, прошел через подобные искушения. Но ясно одно: от книги к книге он развенчивал все буржуазные варианты «освобождения», развенчивал всевозможные индивидуалистические выходы, всевозможные виды бегства в одиночку из тюрьмы колониализма.

Тема «Прикосновения Мидаса» — старая бальзаковская тема золота, разрушающего человеческую личность, тема успеха, оборотная сторона которого — распад характера. Но все дело в том, что эти старые для мировой литературы проблемы приобретают в колониальных странах особый смысл. Звериной борьбе в одиночку даются свои особые расовые обоснования. Измена гуманизму соединяется с изменой нации, народу. Растиньяки колоний, отрываясь от народных корней, от народной почвы, становятся отступниками, предающими свой народ. И каждый раз Керью приводит к крушению своих героев, которые пытаются в одиночку вырваться из колониального плена.

Ключ к «Прикосновению Мидаса» можно видеть в поэтической притче, которую рассказывает Арону Смарту, герою романа, его старый учитель.

Когда-то у подножия высокой горы жил народ, и трижды он посылал на ее вершину юношей, которых хотел сделать своими вождями. Первый принес оттуда цветок — символ Красоты, которую он открыл для народа. Второй принес с горы твердый камень — символ Труда и научил народ ремеслам. Третий же вернулся измученный, с безумными глазами и рассказал, что на вершине в руки ему падали сверкающие камешки, которые он принес в поселок. Но когда юноша разжал руки — они были пусты.

Образ «пустых рук» — это образ мнимых ценностей, в погоне за которыми человек растрачивает себя и становится ненужным своему народу.

«Прикосновение Мидаса» — это книга о том, как мальчик из народа Арон Смарт, по прозвищу Акула, ушел из родной деревни, как жажда обогащения сделала его «алмазным королем», как история его головокружительного подъема и успеха в столице Британской Гвианы стала историей его человеческого поражения. Керью мастерски воссоздал процесс отчуждения подростка и юноши от своего народа, неумолимо приводящий Смарта к катастрофе. О жизни Смарта рассказывает он сам; и этот рассказ, ведущийся на поэтическом вест-индском диалекте, с его креолизмами, а главное с его неповторимым певучим ритмом, покоряет нас своей наивной предельной искренностью. Это, конечно, разоблачение и осуждение, но это осуждение своей собственной жизни, собственных просчетов и ошибок. Пройдя через крушение, Смарт как бы заново переживает все — свои детские иллюзии, свою жажду вырваться в далекий мир, всю ту жажду жизненной полноты, которая потом обернется мелкой жадностью и тщеславием. Но лишенный иллюзий, Смарт в то же время горько и трезво расставляет вехи на том пути, который все больше отделял его от его близких, от его народа. Он казнит себя за презрение к простым людям своей деревни, за то, что лишен жизненного стержня. Он сам понимает, что был человеком внутренне пустым, и поэтому мир золота так легко смог завладеть им и перемолоть его.

Керью контрастно оттеняет растущую опустошенность Смарта, вводя в роман образы простых, сильных и цельных людей, не утративших человеческого достоинства, людей, для которых не преступимы законы дружбы и товарищества.

Е. ГАЛЬПЕРИНА
ПУТЬ ЯНА КЕРЬЮ

Мальчиком Смарт думал о своей бабке и деде, которые были детьми рабов: они ощущают время как реку, медленно текущую в их жилах; сам же он хотел ощущать время как внезапно вспыхивающую страсть. Этот ритм, ритм страсти — то напряженный, то угасающий,— пронизывает роман. И в первой его половине жажда Смарта прорваться в большой, широкий мир сливается с могучими образами гвианской природы, с гигантскими лесами, порожистыми реками, знойным солнцем над маревом болот. Жажда жизни, охватившая Смарта, находит выражение в мотиве страсти, который звучит, все нарастая, пока его не гасит растущая опустошенность.

Но в главах, где Смарт становится алмазным королем Джорджтауна и в угаре успеха окружает себя грубой, крикливой роскошью, ритм романа меняется. Внутреннее поражение настигает Смарта не тогда, когда он разорен, но на вершине успеха, когда из его дома уходят друзья, родные, подруга, когда его обступает одиночество. Именно потому он испытывает странное облегчение, оказавшись разоренным. И возвращение Смарта к золотоискателям, как он сам думает, имеет уже другой смысл — снова разбогатев, он вернется домой, на землю, возьмет к себе близких. Но мы уже не верим в мечты Смарта. Прикосновение Мидаса все обращает в золото. Оно губит все человеческое вокруг Смарта. И сам он отравлен глубоко и непоправимо. Поэтому обвал в шахте, лишающий его ног, а может быть и жизни, воспринимается как закономерное и окончательное поражение.

Да и что значит вернуться к своим? Можно ли, попробовав искушений цивилизации, просто вернуться обрабатывать свой крошечный клочок земли? В этом ли истинный смысл возвращения к народу? Думается, что нет, что возвращение к народу может быть иным, может идти через осмысление его судеб, через слияние с этими судьбами, через служение народу. Только тогда это возвращение не с «пустыми руками».

Уже в «Прикосновении Мидаса» явственно звучит мотив, который проходит в дальнейших книгах Керью. Отвергнув искушение денег, придя к мысли, что золото и построенная на нем цивилизация неумолимо разрушают личность, герои Керью ищут восстановления утраченной цельности в возвращении к природе, к земле, в своеобразном идеале «естественного человека». Отсюда известная идеализация жизни золотоискателей — волевых людей, ради золота и алмазов готовых пожертвовать своей и чужой жизнью. И Керью оказывается здесь в некотором противоречии с самим собой, не замечая, что эти образы принадлежат все тому же грубому и жестокому миру золота. В конце же романа настойчиво проходит мечта об одиночестве среди природы, о покое и гармонии на земле или среди лесов.

Однако очень скоро Керью стал понимать, что в XX веке — это утопия, красивая, лиричная, но все же утопия. Свидетельство тому — его последующие книги.

Один из вест-индских критиков заметил, что «Прикосновение Мидаса» ставит большие вопросы, хотя и не решает их. Это действительно так. Как и многие книги мировой литературы, «Прикосновение Мидаса» — «доказательство от противного». И именно «от противного» роман доказывает, что человек, чтобы полностью осуществить себя как личность, должен быть слит со своим народом.

Тему «пустых рук», ложного пути, приводящего к банкротству, Керью еще раз, но совсем по-иному развивает в пьесе «Побег» (1959—1960). В сжатой драматической форме эта тема выступает еще острее и трагичнее. Да и герой пьесы сложнее, глубже, интеллектуальнее, он обладает всеми возможными качествами, кроме одного — веры в народ и желания быть с народом. И это губит его.

Сюжет пьесы основан на истории одного побега из гвианской тюрьмы. Но этот сюжет поднят здесь до больших философских обобщений. Внутренняя тема «Побега» — банкротство всяких попыток индивидуального выхода, индивидуального бегства из тюрьмы современного мира, из тюрьмы колониального режима. И второй заголовок пьесы — «Баллада о Сэтледже и Даулинге» гораздо больше передает ее атмосферу, напряженную, трагедийную, полную надрывного лиризма, уводящую зрителя от бытового плана к обобщенности брехтовских драм.

Эта атмосфера задана и самим оформлением: Джорджтаун, зажатый между плотинами, болотными топями, непроходимыми лесами и плантациями. Клетка города. Клетка тюремной камеры. Клетка номера в роскошном отеле. Но наиболее непреодолимые стены воздвигнуты в человеческой

душе. Можно ли бежать из тюрьмы? Да, можно, отвечает пьеса. Но бежать некуда. Гибель ее героя — Сэтледжа предопределена его одиночеством. Это победитель-побежденный.

Четверо уголовников бегут из тюрьмы. Туповатый крестьянин, циничный городской хлыщ, наивный 19-летний Даулинг и Сэтледж.

Сэтледж — характер вполне реальный и вместе с тем почти условный. Незаконнорожденный, негр, сирота, ни родных, ни друзей, ни женщины. Законченный образ одиночества, образ изгоя. Воля, ум, гордость — все это высоко поднимает его над окружающим и делает типичным трагическим героем, противостоящим року. Замкнутый, высокомерный, он держится в тюремной камере, как губернатор Британской Гвианы, и все ему подчиняются. Это человек утонченного интеллекта. Вышедший с самого дна нищеты, он не расстается с «Записками из мертвого дома» Достоевского. Побег Сэтледжа лишен практического смысла, это акт принципиальный и символический — необходимость свободы и самоутверждения. Сэтледжа, конечно, нельзя отождествить с автором. Но через его образ Керью спорит с самим собой, решает свои проблемы — проблемы человека колоний, ищущего пути возрождения своего человеческого достоинства. В Сэтледжа вложены и иллюзии, и разочарования Яна Керью.

Для Сэтледжа современный мир — тюрьма, куда загнал человека колониализм. Раб, думает он, остался рабом. А Сэтледж ненавидит в себе кровь своих предков — рабов (забывая, однако, что были и рабы восставшие!). Он презирает рабскую покорность. В освобождении колониальных народов он видит только фарс, новые формы кабалы. Раньше, рассуждает Сэтледж, их порабощали плеткой, потом религией, потом игрой в политику. Народ сковывают самыми крепкими оковами — всеми искушениями цивилизации. Ему предложили играть в спектакле цивилизации, который поставили белые... В этих рассуждениях есть, может быть, и зерно истины — трезвое понимание мнимых форм освобождения. Но высокомерное неверие в силы народа приводит Сэтледжа к полной отчужденности от людей. И единственным путем самоутверждения становится для него путь индивидуального успеха: получить роль в спектакле цивилизации. Ключ к этому, разумеется,— деньги. Так молодой Сэтледж, когда-то бежавший из тюрьмы нищеты, попадает в тюрьму золота.

Если в «Прикосновении Мидаса» рядом со Смартом стоит фигура дельца Кендала, то здесь возникает образ миллионера Рэндолла, образ предельного цинизма. Это король Джорджтауна. Ему принадлежит все — от отелей до похоронных бюро. В какой-то степени Сэтледж видит в Рэндолле себя. Вернее, то, чем он мог бы стать. Но не стал. Он был слугой в богатых отелях, кланялся, изгибал спину, получая щедрые чаевые. Еще немного — и он выбился бы. Но случай (или это совесть?) ломает линию его жизни, случай в виде книги о воинах африканского племени масаи. Сэтледжа глубоко поражает образ прекрасного воина с копьем, образ Гордости. И Сэтледж навсегда сбрасывает ливрею лакея. Все это — предыстория характера. В пьесе мы застаем Сэтледжа зрелым. Он уже прошел через искушение золотом и отверг его.

Когда после бегства Сэтледж и Даулинг попадают в отель Рэндолла (Сэт знает темное прошлое миллионера и использует это), грубая роскошь восхищает наивного паренька. Сэтледж отрезвляет его. Золоченый мир Рэндолла, выскочек, буржуазии — волчий мир. «Твоя мать, кухарка в этом отеле,— уже не мать тебе. Она только одно из черных лиц, взирающих на тебя со дна. Наступи на это лицо и раздави его»... Презирая рабов, соглашающихся оставаться на дне, Сэтледж презирает и волчий мир золота. Где же выход?

И возникает проходящий через все творчество Керью образ далекой земли, иллюзия покоя среди природы, мечта, родившаяся у Керью в туманном и враждебном Лондоне. Мечта и иллюзия. Земля в утренней росе, которую ощущаешь босой ногой. Выключенность из всей грязной комедии цивилизации с ее запутанными противоречиями. То, о чем уже мечтал перед своим крушением Арон Смарт, но что здесь приобретает более обобщенный смысл последнего «бегства». Однако мечтая об этом, Сэтледж, как и Керью, знает, что это утопия. Пьеса безжалостно вскрывает иллюзорность такого бегства и даже, пожалуй, оттенок позерства в подчеркнутом высокомерии Сэтледжа, противопоставляющего свое одиночество всему миру.

Остается «быть в форме» — последнее при-

бежище «стоического пессимизма». В превосходно написанном финале беглецы, спрятавшись в развалинах старого поместья, обреченно ждут полицейских. Бежать некуда. Сэтледж, как всегда, спокоен. Он подбадривает Даулинга, спокойно выпивает яд. Его смерть полна достоинства, и мы не можем не восхищаться мужеством этого человека. И все же это лишь внешняя победа духа над обстоятельствами. Сэтледж умирает «в форме», как матадор в хемингуэевском «Непобежденном». Однако яд спасает его не только от петли, но прежде всего от собственной опустошенности. Ощущение колониального ада как тюрьмы незаметно переросло в ощущение всей жизни как тюремной камеры. Бежать от нее можно только в смерть.

Керью признает бессилие своего героя. За властным характером обнаруживается пустота, за уверенностью — колебания, вместо мужества остается поза мужества. Как и в «Прикосновении Мидаса», герой сам осознает свою трагическую вину — уход от народа — и расплачивается за нее смертью.

«Баллада» невольно пробуждает множество литературных ассоциаций и прежде всего с Хемингуэем, с его рассказами и повестью «Старик и море». Да и вообще со многими европейскими и американскими вариациями на темы «стоического пессимизма». Но важно, что стоицизм не представлялся Керью выходом, что не это было его последним словом. Человек молодого мира пробуждается не для того, чтобы красиво умирать.

Бежать некуда, только если ты один. Выход — путь к людям. Этот выход открывался для художника Тиберио, героя третьего романа Керью «Последний варвар» (1961), книги переломной, где писатель подходил к разрешению поставленных им раньше проблем.

«Последний варвар» — роман о судьбах «цветной эмиграции», затерянной среди враждебной ей, одряхлевшей цивилизации Запада.

Тема эмигрантов непрестанно возникала в вест-индской прозе и поэзии. В «Эмигрантах» Джорджа Лэмминга, «Одиноких лондонцах» С. Селвона, во многих рассказах воплощено острое чувство отчужденности, тоски по родине, одиночество вест-индской молодежи в огромном и чуждом Лондоне. Полные лирической грусти, эти юноши ощущают свое единство в гигантском городе, где все напоминает им, что они «чужие». Но Керью ставит вопрос шире и острее. Не случайно местом действия он выбрал не Лондон, а Нью-Йорк, Соединенные Штаты, где все противоречия выступают более обнаженно. Расовая дискриминация есть и в Лондоне, и в Нью-Йорке, но до последнего времени ее формы были различны. В США — суды Линча, избиения, убийства, электрический стул. Лондон долго похвалялся тем, что эти ужасы в нем невозможны. Вест-индца не линчевали. Ему просто не сдавали комнату или не брали на работу. Однако в последнее время положение обострилось и в Англии. Роман Керью, вышедший в начале 1961 года, был, по-видимому, написан под впечатлением событий, происшедших в Лондоне осенью 1958 года, когда в Нотинг-хилле банды хулиганов учинили настоящий погром, расправу над «цветной молодежью». А недавно принятый закон об иммиграции закрывает двери Англии для тысяч и тысяч молодых безработных из стран Британского содружества.

«Последний варвар» во многом уступает «Прикосновению Мидаса». Язык здесь не столь поэтичен, роман написан неровно, рядом с сильными страницами, резко очерченными характерами — ситуации мелодрамы. И все же Керью удалось обнажить социальные истоки той «расовой горечи», которой исполнена цветная эмиграция.

Гарлем. Послевоенные годы. В романе Керью атмосфера предельного напряжения, а не лирической грусти. Когда обитатель Гарлема выходит за его пределы, он «словно попадает на минное поле, где каждую минуту может взорваться расовый конфликт». Эмигранты и США, Гарлем и Нью-Йорк — эти контрасты вызывают у Керью параллель с одряхлевшей Римской империей и судьбами варваров в ней. Подобно древнему Риму, западная цивилизация вбирала таких «варваров», представителей молодых колониальных народов, и безжалостно перемалывала их, губила физически и морально, растлевала чувственностью, развращала золотом, подчиняла своим непреклонным законам, захватывала цепкими щупальцами своих разведок. В романе Керью ненависть к хищной капиталистической цивилизации соединяется с презрением к покорности. Американский негр, размышляет художник Тиберио всепрощающ, он беспощаден не к угнетателям, а к самому себе. И, спрашивая себя, почему же не происходит бунта в масштабе всей страны — ведь негритянский народ составляет десять процентов населе-

ния,— он отвечает: не потому ли, что часть его угнетена меньше других?

Гарлем Керью очень далек от яркого смеющегося Гарлема, когда-то нарисованного писателями «гарлемской традиции»! Здесь это трагический мир эмигрантов, собравшихся со всех концов света.

Вест-индские писатели внесли свой вклад в создание образа «эмигрантов», ставших в современной литературе Запада символом неустойчивости, смятенности, символом зыбкости человеческих судеб в эпоху мировых катастроф.

В Гарлеме люди из Тринидада и Гвианы, ямайцы и бразильцы — вечные беглецы, мечтающие на чужбине о куске родной земли, куда можно вернуться, чтобы жить или умереть.

В центре романа художник Тиберио, на образе которого Керью решает вопрос о судьбе искусства, но вокруг него, на улицах и в подвалах Гарлема,— множество жизней, отражающих разные стороны конфликта варваров и «современного Рима», символом которого все более становится в романе ФБР и атомная бомба.

Эти жизненные линии смяты, изломаны, исковерканы. Снова в романе Керью возникает «искушение золотом» — красивого молодого студента Дона цивилизация растлевает деньгами и чувственностью. А в лирическом образе умирающего от чахотки студента Сноуболла снова появляется «искушение покоем». Умирая, Сноуболл надрывно думает о родине, мечтает увидеть дом, птиц над саванной, травы в росе... Еще раз возник у Керью мучительный идеал забвения, тишины среди безжалостного грохота чужой цивилизации. Сноуболл умирает, и Тиберио не успевает сказать ему то, что говорит своим романом Керью: «теперь на земле и в небесах нет места, где можно было бы замкнуться в себе.

Многие жизненные линии представляют в романе не столько развитие характеров, сколько их распад или тупики. Этого нельзя сказать, однако, об основном образе романа. Крупным планом дана судьба художника Тиберио. Его путь также начался с индивидуальных решений, с попыток покорить враждебный мир силой искусства. С башни из слоновой кости в подвалах Гарлема. Тиберио — сильный, крупный, одаренный человек. Как и в Керью, в нем смешано несколько рас. Он ненавидит слабость тех, кто гнет спину. В его живописи «сила варвара», мощная монументальная красота Бразилии, лесов Амазонки. Эта сила приносит ему успех в США. Но он не хочет быть ни декоратором богатых дворцов, ни шутом богемы. Он хочет остаться художником своей родины, «негритянским художником». Вот почему страдания улиц и подвалов Гарлема вторгаются в его сердце.

И он пишет картину: улица, озаренная атомным взрывом, лица, превратившиеся в искаженные маски, «ужас молодости, которая погибает, не успев пожить». Чтобы творить дальше, Тиберио должен впустить в свое творчество отверженный мир Гарлема. Он жестоко, безжалостно судит себя (и невозможно не расслышать здесь голоса самого Керью): я видел Гарлем извне. Стоя в стороне, я говорил, что борьба негров — моя борьба. Но так говорил мой разум. Чувством я был по-прежнему художником, воплощающим образ мира таким, каким он существует в его воображении. Я имел дерзость решать, какую часть страданий других я могу разделить, как будто кто-то имеет право решать это. И когда страдания негров подходили слишком близко к моей мастерской, я кричал: «Я художник и борюсь за общее дело своими средствами».

Распространенная и сейчас на Западе концепция, согласно которой негритянский художник «побеждает» капиталистическую Америку и расовое неравенство исключительностью своего таланта — теория для немногих избранных,— решительно осуждается здесь Керью.

Но, выйдя из своего подвала к людям, Тиберио вынужден лицом к лицу столкнуться с жестоким и подлым миром врага. Тиберио предают в руки ФБР, ему предъявлено обвинение в коммунизме. Для стопроцентной Америки он — негр, иностранец, коммунист, человек, покушающийся на американский образ жизни. В финале романа все разрозненные судьбы людей Гарлема ощущаются как единое целое, как трагический мир, над которым нависла дьявольская паутина террора. Но Тиберио разрывает эту паутину. Когда его арестовывает ФБР, он знает: как художник, он выполнил долг перед собой, и больше того — долг перед людьми «своей улицы». Это не конец, а начало пути. Думается, что здесь мог бы начаться и новый этап творчества Яна Керью.

«Последний варвар», казалось, означал выход Керью к политическим проблемам современного мира. На это наталкивала писателя вся бурная атмосфера 1960—1961 годов — события в Африке, в арабском мире, в странах Карибского бассейна, да и на родине Керью, в Британской Гвиане.

Британская Гвиана — у порога независимости. Но нелегко перешагнуть ей через этот порог. После выборов 1961 года Чедди Джаган снова возглавил правительство Британской Гвианы. Однако его антикапиталистические идеи, его восхищение плановой экономикой социалистических стран, его стремление ограничить власть монополий и открыто высказываемые им симпатии к революционной Кубе резко восстановили против него буржуазные круги Британской Гвианы и стоящие за ними империалистические круги за рубежом. Американская реакция, боясь, что на континенте может возникнуть вторая Куба, активно поддерживает оппозиционные партии Британской Гвианы, которые в начале 1962 года попытались свергнуть правительство Джагана. Реакция идет на любые провокации, разжигая расовую и религиозную рознь, сталкивая негритянский город и индийскую деревню. Но вопреки всем интригам и угрозам, вопреки сопротивлению Англии, Британская Гвиана добивается политической независимости, и Ч. Джаган полон решимости преобразовать отсталую экономику страны.

Перед литераторами встает трудная и сложная задача — поднимать проблемы, возникающие для молодых государств разных континентов, недавно получивших или получающих независимость. Вопрос о том, по какому пути пойдут эти молодые государства, волнует сейчас весь мир. Между тем литература очень робко подходит к постановке этих больших и острых проблем.

Любопытно, что Керью отозвался на эти проблемы в маленькой пьесе для телевидения «День лисицы» (1961). Жанр этот, разумеется, совершенно не приспособлен для воплощения подобной темы, она скорее могла бы быть развита в большом романе, где возможна более полная картина сложных социальных отношений. Действие пьесы Керью происходит в вымышленной стране, недавно получившей независимость, и было бы совершенно неверно искать в этой пьесе отражение событий или портреты лидеров какого-нибудь реального государства.

В центре «Дня лисицы» конфликт сил будущего и сил прошлого, воплощенный в борьбе двух сильных характеров. Президент Раджан — человек выдающийся, умный и волевой, твердо решивший провести индустриализацию и покончить с вековой отсталостью страны. Он знает, что «ввести страну в XX век» можно только ценой новых временных лишений для народа. Но иного пути он не видит.

Между тем народ, перенесший триста лет непосильного труда и нищеты, жаждет немедленного улучшения жизни. Ему мало понятны научно обоснованные планы президента. В этом конфликте большую роль играет и расовая рознь, искусно разжигавшаяся всегда колонизаторами.

Антагонистом Раджана выступает Беппо, его прежний соратник, опытный агитатор, любимый простыми людьми и понятный им. Если Раджан хочет создавать нацию, формировать национальное сознание, то Беппо мыслит в категориях племени, рода, расы. Это человек древних религиозных верований и суеверий, человек того племенного строя мышления, который уже давно омертвел и потому так упорно культивируется колонизаторами. Пьеса показывает, как подобные представления становятся препятствием для объединения народа в строительстве нового государства. Если учесть, как идеологи метрополий (настоящих и бывших) и правые идеологи в самих молодых государствах цепляются за такие окостеневшие формы быта и сознания, противопоставляя их стремлению передовых сил к единству нации и к социализму, становится понятным весь смысл конфликта Раджана и Беппо.

Но пьеса поднимает также и вопрос о самом типе лидера, пришедшего к власти в подобных молодых государствах. Раджан в пьесе выступает, в общем, как положительный характер, поскольку он направляет прогрессивное развитие страны. Раджан — сильный государственный деятель. Став у власти, он проводит политику в интересах народа. Это характер целеустремленный, но жесткий, холодный, ему не хватает человечности. Живя для народа, он уже больше не связан с людьми из народа и одинок в своем большом пустом дворце. Именно поэтому он делает ряд серьезных ошибок. Неуверенный в своем положении, он собирает в правительстве только людей посредственных. Он назначает главой армии своего личного друга — англичанина, вызы-

вая тем самым озлобление народа. Чтобы сделаться подлинно народным государственным деятелем, Раджану нужно не только исправить эти ошибки, но и многое преодолеть в себе, многому научиться. Прежде всего, по словам Керью, «научиться любить», то есть рассматривать народ не как цифры статистики, но как людей, не соскальзывать на путь личной диктатуры.

В прошлом близкие друзья и соратники в борьбе против империализма, Раджан и Беппо становятся смертельными политическими врагами. Беппо удается повести за собой отсталую часть населения. Ему предоставляют оружие капиталисты, ненавидящие Раджана, так как они одержимы страхом, что «Раджан национализирует все, даже гвозди на наших ботинках». Таким образом Керью попытался воссоздать характерную для нашего времени ситуацию, когда реакция использует в своих целях расовые и религиозные предрассудки масс. Но в пьесе заговор Беппо раскрыт Покушение на Раджана не удается. Финал пьесы драматичен. «Ты победил, Раджан»,— говорит Беппо, когда Раджан с отрядом солдат приходит арестовать его. «Здесь нет ни победителей, ни побежденных,— отвечает Раджан,— нас всех сметает это извержение, выносящее страну в XX век».

Заключена ли в этих фразах неприемлемая для нас мысль, что народы и люди не творят историю, что ход истории предрешен заранее? Может быть, этот оттенок и присутствует здесь. Но есть и другое. Победитель Раджан признает здесь и свои просчеты, и свои трудности. Этот финал подчеркивает те сложности, противоречия, мучения, через которые приходится идти освобождающимся народам колоний и их лидерам в эпохи огромных и вместе с тем столь быстрых переломов. Трудности, которые переживают прежде отсталые колониальные страны на пути к новым формам государственности.

В пьесе есть немало спорного, и ее самый большой недостаток в том, что зритель не ощущает, не видит тех социальных сил, которые привели к власти прогрессивное правительство Раджана. Но, повторяем, эта сложная проблематика могла бы раскрыться только во всеобъемлющей форме романа.

Вернется ли Керью к этой теме, как он будет разрешать эти вопросы — сказать пока трудно. Но хотелось бы надеяться, что опыт мучительного «добровольного изгнания» не прошел даром. И что, так убедительно показав опустошенность и обреченность тех, кто остается одиночками, этот одаренный писатель найдет в себе силу жить и творить вместе с народом и для народа.

Культура и современность

ОБОЗРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЫ

БЕЗ СКИДОК НА МАССОВОСТЬ

Проблема создания и формирования массовой культуры, а также проблема законности самого существования такого понятия как массовая культура стали предметом оживленной и интересной дискуссии на страницах польской печати. Критик К. Теплиц в своей статье, напечатанной в еженедельнике **«Пшегленд культуральны»**, решительно противопоставил два понятия: культура массовая и культура интеллектуальная. Неверно полагать, утверждает Теплиц, что массовая культура — это лишь способ распространения с помощью современных средств связи того же содержания и тех же ценностей, какие создает культура интеллектуальная. По мнению Теплица, между культурой массовой и интеллектуальной существует глубокое различие: «Областью действия массовой культуры является в основном сфера обычая, областью интеллектуальной культуры — сфера мысли и морали».

Прямо противоположную точку зрения со всей категоричностью и в то же время весьма лаконично выразил Ежи Путрамент в еженедельнике **«Нова культура»**:

> «Одно из двух, либо социалистическая культура — одна единственная! — либо массовая культура наряду с какой-то иной, скорее всего элитной. Но тогда это уже не социалистическая культура!»

Нельзя утверждать, что мнения всех остальных участников дискуссии последовательно разместились, так сказать, где-то между этими двумя действительно полярными и взаимоисключающими точками зрения. Нет, подавляющее большинство выступавших по этому вопросу в общем и целом примкнуло к мнению Путрамента, хотя многие сформулировали свои взгляды и не столь категорично и значительно более пространно.

Критик А. Киевский, решительно возражая Теплицу, утверждает:

> «Массовая культура, то есть культура, распространяемая с помощью массовых средств связи, сообщает аудитории множество тех же мыслей и моральных норм, какие создает «интеллектуальная культура», поскольку именно из нее массовая культура и черпает свое содержание. ...Короче говоря, главным назначением «массовой культуры» является распространение культурных ценностей, относительно которых специалисты уверены, что эти ценности заслуживают того, чтобы стать всеобщим достоянием».

По мнению критика С. Жулкевского, само понятие «массовая культура» следует рассматривать как абстрактную категорию, содержание которой определяется тем или другим общественным строем.

С большой статьей, посвященной проблеме массовой культуры, выступил также журнал **«Вспулчесность»**. Автор ее, А. Буковская, подробно анализирует принципиальное различие между массовой культурой в условиях капитализма и в социалистическом обществе.

> «Массовая культура при капитализме является полуфабрикатом, создаваемым на промышленной основе,— говорится в статье. — Наряду с искусственным материалом, искусственной шерстью, искусственным мехом появилось искусственное искусство, у которого, как и у других искусственных продуктов, есть немало достоинств, но которое не является тем, за что его выдают, ибо оно не настоящее. Этот тип культуры, отвечающий примитивным, неразвитым вкусам, призван подавлять культурные стремления общества, отуплять его. Масса же в большинстве своем слишком пассивна, чтобы противиться этой форме культуры, которая с помощью прессы, радио и телевидения вторгается в каждую семью».

Интересны содержащиеся в статье суждения о том, что так называемая массовая культура, изготовляемая по американским стандартам, растлевающе действует не только на непосредственных ее потребителей, но и на самих художников.

> «Социализм,—читаем мы далее в той же статье,— дает нам огромные возможности

распространить ценнейшие богатства человеческой мысли и искусства среди миллионов людей. На этом и должна строиться массовая культура в нашем понимании. Мы не должны обманывать себя концепциями о том, что речь идет якобы лишь о «развлечении для масс»... Если мы предназначаем какое-либо произведение для массовой популяризации, это должно быть полноценное произведение с точки зрения содержания и художественных достоинств, без скидок на тему».

Не менее определенную позицию по данному вопросу занял еженедельник «Нова культура», высказав ее в статье Яна Шелонга «Да и нет».

«У нас часто говорят: массовая культура. Нам представляется, что в наших общественных условиях надо говорить просто: культура. Термин «массовая» как бы предполагает существование еще какой-то другой культуры — культуры элиты... Между тем, у нас существует проблема не массовой культуры, а проблема культуры всеобщей, проблема распространения культуры».

А если это так, то неизбежно должны соответственно меняться и критерии оценки всех явлений культурной жизни.

«Все новые произведения литературы, фильмы, пьесы следует оценивать,— подчеркивает автор статьи,— и с точки зрения их пригодности для повышения уровня культуры широких масс читателей и слушателей. У нас же часто бывает так, что произведение оценивается исключительно с точки зрения его формальных достоинств и слишком редко с точки зрения той культурной роли, какую оно может сыграть в нашей конкретной общественной ситуации...»

Как видно из приведенных высказываний, подавляющее большинство польских литераторов решительно выступает против концепции двух культур — культуры для обывателя и культуры для немногих избранных, ибо именно к такой концепции сводится, если его последовательно развить, тезис, выдвинутый Теплицем. Они отстаивают единственно верную точку зрения: подлинно социалистическая культура и есть культура массовая, ибо она призвана сделать достоянием масс величайшие духовные ценности.

КТО ПРИДЕТ НА СМЕНУ ХЕМИНГУЭЮ?

Шесть ведущих критиков США одновременно получили адресованный им вопрос редакции **«Нью-Йорк таймс бук ревью»**. Вопрос этот гласил: **«Видите ли вы кого-нибудь на литературном горизонте, кто бы мог со временем занять место Хемингуэя и Фолкнера и получить мировое признание как величайший из живущих американских писателей?»**

Если бы речь шла попросту о том, чтобы назвать имена кандидатов, самый вопрос можно было бы счесть праздным и лишенным какой бы то ни было почвы. Ведь совершенно ясно: сколько-нибудь значительный писатель не уходит из литературы даже после своей смерти, он остается жить в своих книгах и в благодарной памяти множества читателей. Так что занять его «место» не только не просто, но, если хотите, и вовсе невозможно. Впрочем, в основном о том же сказал в своем ответе и критик Малкольм Коули: «Каждый по-настоящему хороший писатель имеет свой уголок, и никто другой не может просто поставить туда свою пишущую машинку».

Но если это так, то стоит ли вообще интересоваться ответами шести критиков на вопрос «Нью-Йорк таймс бук ревью»? На наш взгляд, все-таки стоит, и вот почему. Ответы эти представляют собой не просто гаданье на литературной гуще и не обычный перечень литературных имен, сопровождаемый оценками, так сказать, по многобалльной критической системе. Каждый из этих ответов содержит краткую, но характерную оценку всего состояния современной американской литературы. И этим они интересны.

Уже упомянутый нами Коули считает, что «сейчас никто не собирается занять места Хемингуэя и Фолкнера, кстати, совершенно различные». Тем не менее, лет через двадцать, по заверению Коули, такой писатель все же появится. Где гарантии? По сути дела, их нет. Но — «должен же кто-то выступать на международной арене как глава от имени всех американских писателей». Таков этот не очень убедительный аргумент, где желаемое выдается за действительное...

Как представляет себе, однако, Коули этого «Великого Американского Писателя» (обязательно с большой буквы!)? А вот как: он должен «обладать особыми, строго определенными качествами. Он должен создать значительное число выдающихся произведений. Его кандидатура должна быть выдвинута критикой и поддержана массой восторженных читателей, чувствующих, что он пишет для них».

Но есть ли уже сейчас в современной американской литературе какой-либо писатель, которого можно было бы в этом смысле назвать надеждой критики и читателей?

«Сейчас никто не знает,— продолжает Коули, как бы отвечая на такой вопрос,— кто займет опустевшие места. Прорицатели наверняка ошибутся. Мне кажется, что сегодня еще ни один из писателей в возрасте от тридцати до сорока не создал достаточного количества выдающихся произведений...»

Критик У. М. Фроок считает, что положение современных американских писателей сильно облегчается тем, что «им не придется состязаться с мистером Толстым и мистером Стендалем». Да и само понятие о величий

писателя, к счастью для некоторых представителей литературы, по мнению Фрока, «меняется с каждым десятилетием». «Чтобы возвыситься, требуется не так уж много произведений. Хемингуэй обошелся тремя. Но кто в наши дни может насчитать столько же?» — с грустной иронией спрашивает Фрок. Ответ ясен

Критик Ирвинг Хау призывает не предъявлять к современной литературе чрезмерных и, как он выразился, неразумных требований «величия». В этих условиях он даже готов назвать в качестве будущего заместителя Хемингуэя и Фолкнера писателя Нормана Мейлера, хотя сделать это он согласится лишь тогда, «когда его (Хау) прижмут к стене и направят на него дуло пистолета»...

> «Я не вижу никого, кто мог бы занять место Хемингуэя и Фолкнера с точки зрения мирового общественного мнения, — откровенно признает Эдгар Найман.— Каковы бы ни были достоинства и недостатки этих двух писателей, их творчество объединяют черты, необходимые для завоевания мировой славы... Они завоевали читательские массы, не утратив уважения культурной их части; они широко отразили в своем творчестве многообразный опыт американской жизни... они выработали оригинальный, им одним свойственный стиль... Талантливые претенденты на осиротевшие лавровые венцы обладают некоторыми из этих качеств, но никто, по-моему, не сочетает их все одновременно».

Как быть в таком случае? Не терять надежды и этим довольствоваться,— дает понять критик Найман, и взор его мечтательно обращается в будущее:

> «Может быть, в эту самую минуту какой-нибудь неотесанный двадцатилетний бычок топает в сторону Манхеттена, куда он направляется, чтобы стать писателем. От критики можно лишь требовать, чтобы она по достоинству оценила его первые шаги, рассматривая их ретроспективно, а не пыталась угадать его имя среди множества неизвестных имен».

Известный литературовед Альфред Кейзин счел необходимым заметить, что сама инициатива «Нью-Йорк таймс бук ревью» не заслуживает одобрения, ибо при данных обстоятельствах и сегодняшнем состоянии американской литературы она не может породить ничего, кроме «обид и призрачных надежд». Что касается самого Кейзина, то он «с надеждой ожидает романов новых американских писателей, имена которых ему еще неизвестны».

Привычной меланхолией проникнуто высказывание последнего из опрошенных критиков — Артура Майзенера.

> «Каждое поколение литераторов вызывает у нас привычную надежду на появление великого американского романиста точно так же, как каждые четыре года перед самыми олимпийскими играми мы ожидаем появления «лучшего в мире бегуна». Может быть, это и дурная привычка, но она мила нашему сердцу».

Далее Майзенер ударяется в арифметические подсчеты и паспортные соображения. По его мнению, лучшие американские романисты сейчас — это Роберт Пенн Уоррен и Сол Беллоу. Оба они далеко не молоды: первому — 57, второму — 47. Между тем, Хемингуэй в 42 года уже написал три своих всемирно известных романа, а Фолкнер — ряд первоклассных книг.

> «Конечно, творческая зрелость наступает с неодинаковой быстротой,— замечает в порядке самоутешения Майзенер,— наши талантливые романисты средних лет могут еще создать произведения, которые решительно изменят наше суждение о них. Однако более вероятно, что этого не случится...»

Понимая, очевидно, что такого рода выводы не могут считаться оптимистичными, Майзенер пытается подвести под них своего рода теоретическую базу. «По правде говоря, мы гораздо легче уживаемся с просто хорошими писателями, чем с писателями великими». Мало того: значение великого писателя, все глубинное содержание его творчества, по мнению Майзенера, вообще могут до конца раскрыть не его современники, а лишь следующее поколение читателей. Но раз это так,— считает Майзенер,— то вообще не следует особенно огорчаться, ибо «если мы не выдвинем великого писателя, то от этого пострадают только наши дети и наша амбиция».

Приведенные здесь высказывания американских критиков, несмотря на всю их отрывочность и бессистемность, позволяют все же сделать некоторые выводы о состоянии современной американской литературы и о перспективах ее дальнейшего развития.

Любой непредубежденный читатель поймет из этих высказываний, что взгляд представителей буржуазной критики на современную американскую литературу никак не назовешь радужным. И в этом, пожалуй, основной вывод, какой можно сделать из всей анкеты, проведенной «Нью-Йорк таймс бук ревью».

ПОРЯДОК МРАКОБЕСИЯ

Драматическую историю фильма «Октябрь в Париже» обошли молчанием все те органы французской печати, которые обычно посвящают целые страницы самочувствию кинозвезд и сенсационным замыслам модных кинорежиссеров. Между тем, история эта глубоко поучительна и симптоматична не только с точки зрения состояния киноискусства; она весьма характерна для всего «политического климата», господствующего сейчас почти во всех областях современной французской культуры.

Все началось с эпизода, который только весьма наивные люди могут отнести к разряду «полицейской хроники». Группа «ажа-

нов» проникла в клуб, где шла демонстрация фильма «Октябрь в Париже», и конфисковала его, после чего соответствующие власти вообще запретили демонстрацию фильма во Франции. Попутно следует подчеркнуть, что этот «крамольный» кинодокумент показывался отнюдь не на «больших экранах», куда вход ему был, разумеется, вообще преграждён с самого начала. Власти запретили демонстрировать его на экранах Французского объединения киноклубов — организации, которая ставит своей целью распространение культуры с помощью кино в среде массового зрителя.

О чем же идет речь в фильме «Октябрь в Париже», и что привело в ярость полицию и ее вдохновителей? Прежде чем ответить на этот вопрос, следует сказать несколько слов об истории создания столь необычного фильма. В беседе, напечатанной на страницах французского еженедельника «Леттр франсез», указано, что создатель фильма пожелал остаться неизвестным: предосторожность отнюдь не лишняя в сегодняшней Франции! Не назвал своего имени и сценарист, о котором, однако, известно, что он принадлежал к активным борцам за установление мира в Алжире.

Эпопея страданий алжирского народа, жестокость колониальных палачей, изощренные пытки организаторов террора — вот тема и «сюжет» фильма «Октябрь в Париже». Вначале инициаторы этого необычного, рискованного и по-своему героического творческого предприятия пытались привлечь к участию в нем крупнейших режиссеров современности, чтобы «обеспечить фильму международный резонанс».

> «Я обращался поочередно к Росселини, Дассену, Бергману и даже Бардему, незадолго до того поставившему фильм «Допрос под пыткой» по Анри Аллегу в инсценировке Сартре (известный современный испанский драматург.— *Ред.*),— вспоминает один из создателей фильма.— Все они либо отказались, либо вовсе не ответили, либо, как Росселини, сначала выразили восторг, а потом уклонились от постановки».

Но вот наступило 17 октября 1961 года — трагический день нападения отрядов полиции и «харки» (вспомогательные части французской армии, куда вербуются жители Алжира) на проживающих в Париже алжирцев, вышедших на улицу в знак протеста против установления для них особого комендантского часа. Свидетелем всех этих кровавых событий оказался и режиссер будущего фильма.

> «Я видел все то, что произошло. Дальше откладывать было невозможно,— говорит он сейчас, вспоминая о прошлом.— Чаша терпения переполнилась. Менее чем за пять месяцев был создан фильм «Октябрь в Париже».

Часть фильма состоит из кинодокументов. Но остальная его часть — киноинсценировка действительных событий, в которой «играют» подлинные их участники из среды алжирского населения Парижа. Съемки велись едва ли не нелегально, поскольку всюду шныряли вооруженные до зубов отряды «харки».

> «Октябрь в Париже», — пишет «Франс обсерватер», — это не столько документальный фильм об условиях жизни алжирцев в Париже и о демонстрации 17 октября, сколько опыт политического просвещения. Фильм начинается с бесед с алжирцами: алжирцы говорят с нами, зрителями, они обращаются непосредственно к нам и объясняют, как правительство, действующее от нашего имени, угнетало их!.. И рассказывая, как их оскорбляли, показывая следы ран, эти люди утверждают свое человеческое достоинство, свою победу, в том смысле этого слова, в каком употреблял его Сартр, говоря об Анри Аллеге.
>
> Вот на экране появляются «бидонвилли» Парижа, о существовании которых многие жители столицы Франции ничего не знали до октября 1961 года. И на вопрос «Кого из вас избивала полиция?» все алжирцы, стоящие перед кинокамерой, поднимают руки...»
>
> «Октябрь в Париже», — говорится далее в той же статье, — это не только обвинительный акт против методов полиции и «харки», это акт осознания; осознания того, как живут алжирцы во Франции, осознания необходимости их борьбы и единения их борьбы с нашей. Это акт политической мысли. И в силу этого фильм является произведением искусства. Поэтому ужас и героизм не подавляют нас, но зовут к пониманию, к размышлению».

Остается добавить, что фильм «Октябрь в Париже» был поставлен на средства, собранные по подписке («Мы взломали двери кинопроизводства»,— образно выразился по этому поводу продюсер), и сейчас уже привлек внимание некоторых зарубежных организаций.

Но вернемся во Францию. Из всего сказанного ясно, что прогрессивная общественность страны восприняла весь этот «инцидент» как самый тревожный и очень явственный сигнал и одновременно как призыв к усилению бдительности всех левых сил. Замелькавшая на киноэкране тень полицейской дубинки — не частный эпизод, а своеобразный символ!

> «Самый этот факт,— пишет в связи с конфискацией фильма еженедельник «Франс нувель»,— достаточно показателен для царящего у нас режима произвола и попрания свободы. Мы должны констатировать вновь, что режим, который терпит публикацию писаний одного Сустеля, вдохновителя действий, признанных преступными,— это режим, осуществляющий свою практику произвола, не отдавая никому в ней отчета, препятствуя всякий раз появлению объективной информации, если она расходится с официальной версией событий...

И все это происходит под вывеской «непосредственной демократии», во имя которой откровенно и систематически попирается то немногое, что еще осталось у нас от демократии подлинной».

И далее:

«Октябрь в Париже» сочли преступлением, так как фильм говорил правду о том, какова жизнь алжирцев, запертых в парижском гетто. Значит, теперь этот фильм должен быть тоже заперт в гетто, в подвалы полицейской префектуры...

В Париже царит порядок,— сардонически заключает «Франс нувель»,— порядок мракобесия».

Следует в заключение напомнить, что вся полицейская акция против фильма «Октябрь в Париже» была предпринята уже после подписания эвианских соглашений о прекращении военных действий в Алжире.

Между такими фактами, как зверское убийство известного алжирского писателя Мулуда Ферауна, террористическое преследование либерального издателя Лэндона и нынешняя попытка зажать в тиски полицейских репрессий свободное кинослово, существует прямая связь. Это — звенья одной цепи. Это — порядок мракобесия в действии!

Есть силы, которые пытаются установить тот же порядок и в независимом Алжире. Но и в Алжире и во Франции эти силы встречают все растущее сопротивление.

РИСТАЛИЩЕ ШУТОВ В ЭДИНБУРГЕ

Существует полуанекдотический рассказ о девочке, которая, увидев индивидуума необыкновенных габаритов, в изумлении воскликнула:

— Скажите, это человек или нарочно?

Читая выступления некоторых скандально известных литераторов на конгрессе писателей в Эдинбурге, люди гораздо более зрелого возраста вынуждены с неменьшим изумлением воскликнуть:

— Скажите, это писатели или нарочно?

Английский журнал **«Энкаунтер»** в своем отчете об этом конгрессе назвал его работу полудраматической, полуфарсовой. Что же, однако, произошло в Эдинбурге? Судя по отчету «Энкаунтера», на происходившей там конференции было все же несколько деловых выступлений, посвященных судьбам современной литературы. Но наряду с ними несколько «именитых писателей» позволили себе даже не просто шутовские, а демонстративно непристойные выходки (иного слова здесь, пожалуй, и не подберешь!).

«Совершенно очевидно,— не без возмущения пишет «Энкаунтер»,— что конгресс имел успех скандала!» И «авторами» этого скандала, участниками шутовского фарса в Эдинбурге, по сообщению «Энкаунтера», явились такие писатели, как Норман Мейлер, Генри Миллер, Уильям Барроуз и Ван Хет Рив. Последний, к примеру, дважды по ходу обсуждения судеб европейского романа довел до сведения аудитории, что он придерживается гомосексуалистского «символа веры». Через некоторое время на кафедру взобрался некий «бородатый издатель» (эта лаконичная характеристика принадлежит «Энкаунтеру») и стал превозносить откровенную порнографию и всячески проклинать настоящую литературу. Норман Мейлер не замедлил благосклонно и одобрительно откликнуться на эту «исповедь».

Но вот на трибуне очутился один из «патриархов» порнографической «литературы» — небезызвестный Генри Миллер. Он откровенно и с подкупающей простотой предложил участчикам конгресса прекратить все разговоры о прошлом, настоящем и будущем романа и перейти для сбора «творческих впечатлений» прямехонько на панель лондонской Принс-стрит (улицы, облюбованной женщинами легкого поведения).

Здесь-то как раз с наших уст и готов был сорваться роковой вопрос:

— Послушайте, неужели это действительно писатели — или нарочно?

Пожалуй, обо всем этом и вовсе необязательно было бы писать, если бы не хотелось здесь упомянуть, что подобного рода высказывания все же и на самом конгрессе в Эдинбурге натолкнулись на известный отпор.

«Хотя на конгрессе аудитория,— пишет «Энкаунтер», — встречала вежливыми аплодисментами каждое выступление, однако в конце концов выяснилось, что далеко не всех выступивших публика считает выразителями серьезно заботящих ее проблем. Нет сомнения, если бы конгресс продлился еще неделю, то произошло бы нечто похожее на революцию. Снизу поднялись бы представители Народа».

Вот оно, оказывается, как! Тут уж надо поскорее отмежеваться от Генри Миллера!

«В наше время,— продолжает «Энкаунтер»,— когда всему миру угрожает атомное самоистребление, фривольность некоторых писателей была принята большей частью аудитории как оскорбление...»

Мы назвали выступления некоторых участников конгресса в Эдинбурге «состязанием шутов». Однако, как мы видим, в этом шутовстве «была своя система», рассчитанная на то, чтобы с помощью откровенно циничных и экстравагантных выступлений отвлечь аудиторию от действительно насущных и наболевших проблем литературы и самой жизни.

Попытка эта с треском провалилась.

И особенно характерно, что это вынужден признать даже такой ярый защитник реакционных взглядов на литературу, как Стивен Спендер. Ибо как раз он и является автором отчета об эдинбургском сборище, который был напечатан в журнале «Энкаунтер».

ЯНУШ ПШИМАНОВСКИЙ

КРЕПЧЕ БРОНИ

I

Говорят, что красота требует оправы. Алмаз приходится шлифовать, чтобы он стал бриллиантом, поглощающим солнечные лучи и сверкающим тысячами огней; бриллиант требует оправы из искусно выкованного золота. Картина выигрывает от соответствующего обрамления. Красота женщины выделяется, когда она надевает нарядное платье. Праздничный день приобретает особенный блеск в сиянии прожекторов, в полощущихся на ветру флагах, в грохоте салютных залпов, в гирляндах ослепительных ракет.

Видно, правда, раз говорят.

А я лично предпочитаю необточенный изумруд, еще приросший к скале.

Картину люблю смотреть там, где она родилась,— в мастерской или на расставленном в лесу мольберте, когда краски еще не просохли и пахнут маслом, пока советы друзей художника не успели еще погасить яркости расцветки.

Лицо женщины кажется мне самым прекрасным без румян и пудры, в серо-голубом освещении раннего утра, случайно отраженное в стекле открытого окна либо в воде сонной реки.

Такая красота меньше бросается в глаза, она, быть может, не так ярка, зато более правдива.

Я не хочу этим сказать, что оправа портит, но она, несомненно, обобщает, сводит к одному знаменателю, облегчает сравнение. Я не хочу, чтобы кто-то делал это для меня и за меня. Я предпочитаю сам.

И в исторических событиях, в дни торжественных годовщин мне порой мешают декорации. Хочется обойтись без них: достаточно взять горсточку воспоминаний, показать на открытой ладони, позволить свету и мыслям расчленить их на породу и ценную руду.

II

«...Началось, собственно, с забастовки 400 ткачей на фабрике Штейнерта,— писал 9 февраля 1905 года лодзинский корреспондент выходящего в Кракове журнала «З поля вальки» («С поля боя»).— Рабочие других фабрик пошли за ними, а здесь еще вмешались русские события, с каждым часом все больше электризовавшие массы. Сегодня (26 января) после обеда бросило работу свыше 10 000 рабочих. Мы рассчитываем на то, что завтра остановится вся Лодзь... Дух социал-демократии господствует над всей рабочей Лодзью, дух общности нашего дела по всей России».

Остановилась не только Лодзь. В январе и феврале через Варшаву. Домбровский бассейн, через все промышленные центры прокатилась первая в истории польского рабочего движения волна всеобщей забастовки. Сотни тысяч рабочих рук сжались в кулаки.

Среди десяти тысяч лодзинских рабочих, уже 26 января бросивших работу, был слесарь Юзеф Межицан. Он шел по снежным улицам от фабрики к фабрике, бросал камни в казачьи патрули, такой же, как все забастовщики, ничем не выделявшийся.

Наступила весна и с нею бурное, алое от знамен Первое мая.

События нарастали. 22 июня Лодзь забастовала, а ночью Юзеф Межицан вырывал булыжники из мостовой, носил мешки с песком и балки, строил баррикады.

В те дни В. И. Ленин писал:

«...рабочие, даже неподготовленные к борьбе, даже ограничивавшиеся сначала одной обороной, показывают нам, в лице пролетариата Лодзи, не только новый образец революционного энтузиазма и геройства, но и высшие формы борьбы. Их вооружение еще слабо, крайне слабо, их восстание еще по-прежнему частично, оторвано от связи с общим движением, но все же они делают шаг вперед... Новые жертвы царских палачей — в Лодзи убито и ранено до 2000 чел.— зажигают пламенной ненавистью к проклятому самодержавию новые десятки и сотни тысяч граждан».

Список арестованных не был опубликован. Среди них оказался слесарь Межицан, которого выдали пахнувшие порохом руки. Он был приговорен к ссылке за убийство жандарма. Юзеф улыбнулся — ведь он знал, что попал не в одного. Повезли Юзефа в Сибирь, но то ли он сбежал по пути, то ли спустя несколько лет поселился поближе к родной стране, так или иначе в 1910 году он жил в Днепропетровске. Там же 14 января жена Юзефа родила сына, которого назвали Яном.

В трудные дни начавшейся в 1914 году войны в рабочие бараки заползли голод и тиф. Янек стал сиротой.

Ему было семь лет, когда из Смольного на весь мир прозвучали слова: «Всем, всем, всем!»

Ему было восемь, когда рождалась Рабоче-Крестьянская Красная Армия, армия, сражавшаяся за Республику Советов, за мир, за свободу, за счастье для всех народов.

Янек остался в том же городе, на берегу украинской реки, спокойно текущей на юг, к морю. Он остался в многомиллионной семье советских граждан, как капля воды в Днепре.

III

Время подобно туману: его густые слои заслоняют события, стирают очертания, и лишь кое-где свет воспоминаний дает возможность увидеть неясные контуры событий.

По одним данным, Янек Межицан воспитывался приемышем в рабочей семье, по другим — он вырос в детдоме. Но совершенно точно известно, что в четырнадцать лет Янек поступил на завод, стал молотобойцем, а потом кузнецом. Я далек от того, чтобы приписывать словам магическую силу. Молотобоец — человек, бьющий тяжелым молотом по раскаленному бруску, по месту, указанному кузнецом. Но боец — это также солдат. На этой работе парень развил себе мышцы, научился меткому удару, привык к железу, которое можно формовать огнем и силой, превращать в сталь.

Есть люди, знавшие Янека, которые утверждают, что по вечерам он учился в музыкальной школе по классу пения, мечтал выступать в опере — у него был баритон сильного и мягкого звучания. Возможно. Зато точно известно, что по вечерам он учился в техникуме, из кузнеца превратился в техника-металлурга завода им. Ворошилова. Естественно, в армии его направили в бронетанковое училище. Окончив его, он два года командовал взводом, потом работал в штабе и, наконец, стал начальником оперативного отдела бронетанковой бригады.

Данные эти сухие и выцветшие, как чернила на старом листке учета кадров. В них нет красок личных переживаний, усилий, благодаря которым кузнец, формовавший железо, превратился в танкиста, имеющего дело с людьми и сталью. Мы уже говорили: время что туман. Но приходит ветер истории, рассеивающий туман. Когда началась война и гитлеровские дивизии ринулись на Польшу, в Киеве, где служил Межицан, сентябрь выдался солнечный, теплый. Листья деревьев на бульваре Шевченко были зеленые, сочные, вовсе не предвещавшие осени. На Трухановом острове и в зарослях над Русановской протокой загорали купальщики, женщины гуляли в легких платьях.

Но бойцы, обращавшиеся к Межицану со словами «товарищ командир», находились в полной боевой готовности, лица их стали суровыми. Фашисты задержались на Буге, но это было лишь начало. Противоречивые чувства обуревали Межицана: буржуазное польское государство пало, границы Советского Союза передвинулись на запад; удалось избежать войны, в которую пытались втянуть страну социализма империалисты всей Европы. Но Лодзь, та самая Лодзь, на улицах которой отец строил баррикады, называется теперь, судя по газетам, Лицманштадт, ее фабрики стали собственностью гитлеровских монополий.

IV

Фашисты не остановились на Буге. 22 июня 1941 года на рассвете они форсировали реку, рассчитывая на то, что за Бугом их ждет новая победа. В мировую войну был втянут Советский Союз. Через 36 лет после лодзинских баррикад вновь «в игру

вступили русские события, которые с каждым часом все больше электризуют массы». Надежда на освобождение, надежда на разгром фашизма шла из России, из Союза Советских Социалистических Республик.

Лодзинского слесаря Юзефа Межицана нет в живых. Поищем его сына Яна, чтобы проверить, передает ли история из рода в род традиции борьбы, дает ли она сыновьям возможность воздвигать стены на фундаменте, заложенном руками отцов.

От Черного моря до Ледовитого океана, в гуле взрывов, в дыму и пламени тянется фронт войны. Мы хотим обнаружить на этом огромном фронте человека, одного человека. По сравнению с этим желанием сказочно легко, кажется, найти иголку в стоге сена... Вот какие у нас данные, почерпнутые из листка учета кадров: Межицан Ян, сын Юзефа; национальность — поляк; профессия — военный; послужной список: 1940 г.— зам. нач. штаба бронетанковой дивизии, 1941 г.— военная академия в Москве, 1941—1942 гг.— нач. штаба пехотной дивизии, 1942 г.— нач. штаба гвардейской бронетанковой дивизии, 1943 г.— зам. командира гвардейской бронетанковой бригады, 1943 г.— командир бронетанковой бригады. Контужен в декабре 1942 года под хутором Сиволабов, в приволжских степях. Боевые награды: орден Красного Знамени, орден Красной Звезды, медали...

V

После Орловской битвы к командующему бронетанковых войск Советской Армии явился полковник Ян Межицан с просьбой перевести его в польскую армию. Он принял это решение не сразу — сообщение о формировании польской дивизии было опубликовано в мае. Итак, он раздумывал целых три месяца, раньше чем решил распрощаться с людьми, с которыми рос, сражался плечом к плечу, ел из одного котелка, вместе глядел смерти в глаза. Только фронтовик может почувствовать, сколь тяжело такое расставание. И все же он явился с просьбой о переводе его в армию, которой не знал, которая только рождалась — ведь лишь первая ее дивизия должна была двинуться на фронт.

Трудно теперь отгадать мотивы принятого Межицаном решения. Может быть, его звал язык матери, на котором он много лет не говорил, но хорошо запомнил с детства? Может быть, память об отце и стремление служить до победы делу, начатому на лодзинских баррикадах 1905 года? Мы никогда этого не узнаем. Но так или иначе, в сентябре 1943 года прибыл в лагерь в Сельцах * полный, веселый полковник и принял командование Первой бронетанковой бригадой, один полк которой как раз отправлялся на фронт, под Ленино, а второй полк и батальон моторизованной пехоты начинали формироваться.

Межицан был еще в форме Советской Армии. На первой же поверке он всех очаровал своим несколько старомодным польским языком, простотой и улыбкой.

— Я поляк. На фронте командовал бронетанковой бригадой. Я вас научу, танкисты, как бить фашистов. А бить их надо крепко, с умом, чтобы вернуться в Польшу.

Они слышали его впервые и еще не знали, что означают для Яна Межицана слова «вернуться в Польшу».

И он говорил с ними в первый раз, не знал их еще и мог только догадываться, что слова эти означают одно для командира танка, хорунжего Щепаника, сына коммуниста-нефтяника из Дрогобыча, другое для сержанта Мишты, старого солдата из легиона Пилсудского, для рядового Ходоня, сына уездного писаря с Люблинщины...

Он должен был научить их сражаться, воспитать их, создать бронетанковую бригаду, первую в армии народной Польши, той Польши, которой еще не было, которая должна была еще родиться.

VI

С того времени прошло почти двадцать лет, но этот срок уже не затемняет картины, ибо я теперь знаком с сотнями людей из Варшавы и Щецина, Гданьска и Катовиц, из деревень Поморья, Нижней Силезии и Люблинщины, называющих Межицана «наш старик» или «генерал». Независимо от того, кто они теперь — шоферы или руководители предприятий, крестьяне или профессора Политехнического института, врачи или работники ЦК партии,— все они произносят эти слова с уважением, как звание, потому что он был командиром, а они солдатами Первой бронетанковой бригады.

Теперь на меня наваливается обилие фактов и воспоминаний. О чем писать?

...Еда была плохая. Межицан поймал повара на краже сала. Он пришел в ярость, выхватил из кобуры пистолет и дал тому три минуты на прощанье с жизнью. Повар встал на колени, начал молиться. «Дурак,— сказал ему генерал,— во-первых, того, кого ты призываешь в заступники, не существует, а во-вторых, твои дела его не интересуют. Не будь свиньей и не объедай товарищей. Не будешь?»— «Не буду»,— обещал повар и сдержал слово.

---

* Сельцы — местность в Рязанской области, где в 1943 году формировалась Первая польская дивизия им. Костюшко.

Рассказывает телефонистка капрал Лидия Мокжицкая, уроженка Щецина: «Возвращаюсь как-то с дежурства, усталая, падаю на нары в землянке. Дождь шел, крыша землянки протекала, я прикрылась матрацем. Генерал увидел это. Стараясь не будить меня, приказал солдатам немедленно починить крышу, снял матрац, прикрыл меня одеялом. Он знал, что я влюблена в хорунжего Гая. Приказал ему беречь меня, а мне сказал: «Доложить о свадьбе». Все девушки в бригаде относились к нему, как к отцу».

VII

В начале августа 1944 года, через одиннадцать месяцев после того, как Межицан впервые встал перед строем бригады, генерал говорил танкистам на берегу Вислы:

— Советская гвардия захватила предмостное укрепление на западном берегу. Гитлер бросил в бой свою отборную дивизию «Герман Геринг». Там трудно. Мы идем туда. Нам выпала честь сражаться вместе с гвардией. Дорога ведет только на запад, возвращаться не будем. Смело бейте фашистов, прямо в морду, между глаз.

В ночь перед форсированием реки техники ремонтировали танки, после марша приводили их в состояние боевой готовности. Они не спали уже третью ночь и валились с ног от усталости. Хорунжий Станислав Фридрих, до войны слесарь, сын крестьянина из-под Жешува, калеча пальцы, монтировал масляный насос. Сержант Федор Ермаков должен был светить ему, но он засыпал и, падая, разбил подряд тринадцать электрических лампочек. Но работу надо было выполнить, генерал верил, что они ее выполнят.

А в это время Межицан явился в штаб советского соединения, захватившего предмостное укрепление у Магнушева, согласовать взаимодействия с командующим гвардейским корпусом генералом Василием Глазуновым. Межицана, между прочим, спросили:

— Кто же вы такой, генерал? Вы отлично говорите по-русски.

Он улыбнулся.

— Отец — поляк, из Лодзи. А я — советский поляк или польский киевлянин. Как вам больше нравится...

9 августа с самой зари под огнем дальнобойных орудий и непрерывными налетами фашистской авиации Первая польская бронетанковая бригада начала переправу: две машины входили на паром, на них садились автоматчики и стрелки с противотанковыми ружьями, и начинала стрекотать буксирная моторка, которую вел гвардии сержант Иван Сорока, ленинградский рабочий, награжденный орденом Красного Знамени за форсирование Днепра.

На том берегу положение продолжало оставаться опасным: танки прорвали фронт в южной части предмостного укрепления, гитлеровцы стремились отрезать советскую гвардию от Вислы. Майор Ойхман, командир пехотного гвардейского полка, сообщил: «Полк обороняется на прежних позициях. В первой линии 86 активных штыков». Продолжались ожесточенные, упорные бои в лесных просеках Козеницкой пущи до последнего человека. Гвардии рядовой Александр Зуев уничтожил из противотанкового ружья два гитлеровских танка. Но у врага был численный перевес, фашисты шаг за шагом захватывали территорию и продвигались вперед.

Но гвардия не отчаивается,
и не знает зеленый лес,
кто кого осаждает
и кто осажден,—

напишет со временем поэт *.

На помощь гвардейцам двинулись танки Первой бронетанковой бригады генерала Межицана. Уже давно прошло то время, когда Ленин писал о защитниках дела рабочего класса: «Их вооружение еще слабо». Теперь пушке противостояла пушка, танку — танк. Под деревенькой Студзянки, такой же маленькой, как Грюнвальд, перемешались советские и польские ряды, сплавились, как хром и железо,— в сталь.

...Танк хорунжего Щепаника шел лесом. Мановением руки его задержал советский боец с ручным пулеметом, указывая направление. В 200 метрах двигался на них «тигр». Подожгли.

...Танк хорунжего Матеуша Ляха прибыл в Лэнкавицу, где готовился к обороне штаб гвардейской дивизии генерала Кулагина, и занял позицию. Вскоре из привисленской рощицы вышла колонна из десяти вражеских танков. Лях подпустил ее на 600 метров. Первым снарядом поджег головную машину, четвертым — вторую.

...Подводила радиосвязь, связисты несли большой урон. На фронте шириной в 4—5 километров сражались свыше 20 тысяч человек и 250 танков. Существовало лишь одно надежное средство связи — «виллис» генерала Межицана. Он появлялся всегда там, где спор между пушками приобретал особо свирепый характер.

Противник был остановлен, прикован к месту. После четырехдневных боев он выдохся, перестал бросаться в атаку. Гвардейские полки подрезали основание бронетанкового клина, окружили его. А в это время генерал готовил бойцов к удару: наковальней была третья рота, расположенная к востоку от Студзянок, молотом —

* Из поэмы Ежи Загурского.

первая и вторая роты второго полка, взвод третьей роты первого полка и моторизованный батальон, занявшие позиции к западу от деревни.

На шестой день сражения, еще до рассвета, Межицан вызвал парикмахера Марека, который брил танкистов прямо в машинах на передовой. Вскоре генерал вышел из землянки чисто выбритый, в отглаженном мундире. Он приказал соединить его с ротой. Радиотелеграфистка нежным голоском пропела в микрофон:

— Луг, луг, здесь сено, здесь сено... Даю настройку: один, два, три...

Первая атака захлебнулась. Вражеские самолеты закидали бомбами наступающие танки и пехоту. Погибли волжанин Попов и люблинец Светана, которых очень любил генерал Межицан. Машины отошли на исходные позиции, в окопы, и стояли с закрытыми люками под огнем тяжелых минометов.

Вдруг раздался стук в броню.

— Кого черт несет?

— Откройте,— узнали танкисты голос генерала.

Он стоял рядом, спокойный среди дыма и грохота, и курил свою огромную трубку.

— Вызовите по радио «Бегемота». Друзья обещали подкинуть огонька.

Грохнули советские орудия, «катюши» дали залп по Студзянкам. Прибыла штурмовая гвардейская группа под командованием коммуниста лейтенанта Мамедова.

Межицан смотрел на часы и наконец махнул трубкой:

— Вперед, ребята!

Машины ринулись, захватили деревню, фольварк, уничтожили окруженную группировку. Фашисты оставили на полях 1 500 убитыми, 40 подбитых танков. Предмостное укрепление было удержано. Отсюда двинулись войска к Варшаве, к Одеру. По пути они снова вернули Лицманштадту его имя Лодзь.

VIII

Я не буду рассказывать о дальнейшей судьбе Первой бронетанковой бригады. Не стану рассказывать о том, как генерал Ян Межицан стал командиром бронетанковых частей Второй польской армии, начальником офицерской бронетанковой школы, заместителем командующего военного округа, и о том, как были потрясены танкисты, узнав о смерти любимого генерала (это случилось через несколько лет после войны). Только в букваре каждое предложение доводится до точки.

Я не стану также объяснять, почему сегодня я написал именно о нем.

Ведь я мог бы написать и о поляках, активно участвовавших в Великой Октябрьской социалистической революции. О Герое Советского Союза рядовом Григории Кунавине, повторившем подвиг Матросова в боях за польскую деревню Герасимовичи. О партизанах Вершигоры, действовавших на Сане, о советских бойцах в польских партизанских отрядах. О поляках Маньковском, Тыме и Мессиаше, бойцах советских партизанских отрядов, уничтоживших на аэродроме в Сеще вражеские бомбардировщики. О русских, украинцах, казахах, грузинах, несших в рядах Советской Армии свободу моей родине. О поляках, воевавших в рядах советских войск, прежде чем была создана польская армия. Я мог бы написать и о себе самом, рассказав, как товарищи из бригады морской пехоты помогли мне, мальчишке, стать бойцом.

Историки приводят даже цифры: столько-то тысяч, столько-то сотен тысяч, столько-то миллионов. Каждая единица в этих числах могла бы стать очерком, рассказом, романом. Каждая единица в этих цифрах — горячая капля человеческого пота и крови, труда и дружбы.

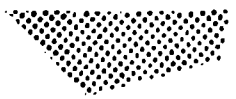
Говорят, что исторические процессы требуют анализа, подсчета, изучения.

Наверно, это так, раз говорят.

Но я, не считая, знаю, что с семнадцатого года нашего века можно говорить о дружбе целых народов, а их не сочтешь. Знаю, что вот уже 45 лет можно в одной фразе говорить об армии и дружбе, так как родилась новая армия, отличная от всех других.

Поэтому мне думается, что достаточно положить на открытую ладонь горсть воспоминаний, жизнь одного человека, чтобы увидеть всю красоту шершавой революционной руды, которую мы переплавляем в наш трудовой день.

г. ВАРШАВА



ТВОРЧЕСКАЯ ТРИБУНА

РОЖЕ ШАПЛЕН-МИДИ

САМОРАЗРУШЕНИЕ ИСКУССТВА

Так называемое абстрактное искусство в силу своей антигуманистической сущности никогда не пользовалось общественным признанием в нашей стране. Но даже на Западе, как отметил в своем недавнем выступлении секретарь ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев, «угар абстракционизма уже проходит, выставки абстракционистов проваливаются, их картины высмеиваются. И поделом, люди начинают мало-помалу прозревать».

Одним из многих свидетельств этого прозрения может послужить анкета, проведенная французским буржуазным еженедельником. «Как обстоит дело с абстрактным искусством?» На этот вопрос «Ар» ответили видные художники, критики, искусствоведы. Самыми интересными и характерными из этих откликов представляются уже отмечавшаяся на страницах нашего журнала статья Жана Эльона, в прошлом одного из крупных живописцев абстрактного направления, и выступление художника-реалиста Роже Шаплен-Миди, которое, несмотря на несколько идеалистическую фразеологию, безусловно утверждает реализм.

Мы печатаем с небольшими сокращениями это выступление Шаплен-Миди.

В абстрактной живописи так быстро сменяются и опережают друг друга авангарды, что самый термин этот стал довольно туманным и весьма широким. Абстракционизм — это всякая всячина от вымученного умствования до более или менее занятных пустяков, от комбинации произвольных форм, лишенных определенного значения, до полного отсутствия форм, и далее — до ничем не заполненного, одноцветного полотна, и еще далее — до краски, попросту брошенной на холст одним взмахом руки... Usque non descendam! * Иначе говоря, под этим туманным словом понимается как известное число попыток, которые в будущем, вероятно, сохранят лишь хронологическое значение, но которые надо признать искренними и по-человечески заслуживающими уважения, так и огромное множество поделок, имеющих отношение скорее к конкурсу Лепи́на, * чем к изобразительному искусству. Разумеется, оставим в стороне явное шарлатанство, которое не обманывает никого, кроме известного рода критиков, заранее убежденных в о в с е м, коль скоро «картина» не представляет н и ч е г о, директоров «передовых» музеев и некоторых спекулянтов.

Тогда, стараясь выражаться ясно — а это не так-то просто, поскольку речь идет о той области, где неясность считается добродетелью и пользуется кредитом,— скажем, что абстракционизм — это живопись, которая, пользуясь официальной формулой, «наконец освободилась от чувственного мира» и которая отказывается от всякого изображения реальности, что в конечном счете, по существу, невозможно.

* До чего я только не дойду! (*Лат.*)

* Ежегодная выставка игрушек и бытовых приборов, учрежденная в 1901 г. по инициативе парижского префекта полиции Лепи́на.

Для меня вопрос ясен. Есть то, что меня волнует, и то, что меня не волнует; есть живопись и есть нечто такое, что не имеет отношения к живописи. Абстракция и фигуративное изображение — упрощенные и крайне примитивные термины, имея в виду тот смысл, который в них вкладывают, когда говорят о современном искусстве.

Подлинная абстракция, вполне очевидно, всегда была составной частью живописи. Предварительные наброски художников Возрождения были куда более искусны и несравненно более «абстрактны», чем все то, что в наше время считается таковым! Следовало бы даже сказать, что живопись начинается с абстракции... и добавить, что ныне она чаще всего погибает от нее: эта геометрическая часть, это «cosa mentale» * есть один из составных элементов живописи, но далеко не исчерпывает ее.

Подлинная абстракция — а не всякая всячина, которую нам выдают за нее,—это внутренняя организация картины. Превращать организацию в самоцель, единственное и достаточное содержание, смысл, оправдание произведения значит необычайно мельчить искусство и пасовать перед высокими трудностями, которые тысячами разных способов преодолевали все наши предшественники.

Игра форм и цветов — один из существенных элементов всякого полотна. Она обусловливает наше зрительное восприятие и вследствие этого отчасти — но только отчасти — вызывает различную реакцию наших чувств. Она — отправная точка воздействия картины на зрителя; это старая истина, и все великие шедевры живописи доказывают ее. Но делать из этой игры высший смысл картины значит принимать одно из действий за итог, одно из средств — за цель.

Вступив на такой путь, художник вынужден ради этой игры, имеющей целью воздействовать на чувства зрителя посредством элементов, утративших человеческое значение и намеренно лишенных всякого соответствия с нашим видимым миром, изобретать все более вызывающие и «взрывчатые» сочетания, все более сногсшибательные средства, чтобы возбудить чувства, которые, впрочем, все более притупляются по мере увеличения дозы...

Я не случайно несколько раз употребил слово «игра»: на мой взгляд, порочность абстракционизма как раз и доказывается тем, что его характеризует понятие «игра». Поверьте, я не придаю этому понятию никакого уничижительного смысла. но для меня искусство не сводится к произвольной и самодовлеющей игре, «герметичной» и отрешенной. Для меня искусство — это полная опасностей очная ставка с миром, к которому мы принадлежим. Это выполняемое с религиозным благоговением обязательство выражать нашу вселенную, создавать соответствующими средствами ее эквивалент, который может быть понятен другим, вкладывая в это созидание всю нашу чуткость и все наше благородство. Это стремление возвыситься и достичь внутреннего освобождения посредством творчества, величие, красота и разумность которого вселяют в нас чувство преклонения и служат нам высоким примером,— творчества, которое нельзя предавать или пачкать, а нужно любить, понимать и прославлять.

Есть у абстрактного искусства и другая сторона, которая тоже, мне кажется, ведет его к саморазрушению. Я имею в виду его, так сказать, философскую позицию. Абстракционизм являет собой любопытный пример интроверсии *: художник-абстракционист, быть может, не сознавая этого, охвачен чувством растерянности перед самим собой вследствие гипертрофии собственной личности, отождествляет себя с искусством, «становится» искусством, субъектом и объектом картины и желает выразить только самого себя посредством знаков, форм и тонов, которые имеют для нее смысл и ценность лишь постольку, поскольку эти знаки, формы и тона передают то, что он считает своим внутренним «я». Таким образом, картина сводится к некой живописной электрокардиограмме ее автора.

А он, замкнутый в самом себе, как в тюрьме со стеклянными стенами, которых он не видит, вынужден кружиться вокруг своего собственного центра, словно влекомый неудержимым, а порой и трагическим течением, как это случилось со Сталем, хотя у него был огромный талант.

Отказ от внешнего мира, отказ от природы, а значит, и от скромности, которую она неизбежно внушает лучшим художникам, соответствует самой неумеренной и самой безрассудной в истории искусств гордыне.

Наконец, абстрактное искусство перевертывает, так сказать, с ног на голову положение художника: он уже не выражает всеобщее, к которому причастен, а, считая, что он и есть всеобщее, выражает лишь самого себя, сводя все к своим собственным масштабам...

Мне кажется, однако, что последнее слово остается за природой и что она мстит за себя.

Завершив цикл беспредметности, абстрактное искусство в конце концов, не сознавая того, парадоксальным образом впадает в ограниченное и рабское, примитивное и грубое подражание природе. В самом деле, множество абстрактных полотен воспроизводят куски материального мира — обломки мрамора, скал, минералов, кору деревьев, грязь, гравий, срезы

---

* Нечто умозрительное (*итал.*).

* Самоуглубление, имеющее целью, в отличие от интроспекции, не наблюдение состояния сознания, а осознание бытия собственной личности.

РОЖЕ ШАПЛЕН-МИДИ
САМОРАЗРУШЕНИЕ ИСКУССТВА

растений, кожу, увиденную в микроскоп, или фотографии звездных тел,— словом, не осмысленный, не преображенный творческой фантазией, не одухотворенный аспект вселенной, и, поскольку такое транскрибирование ее языка не имеет ничего общего с основными началами искусства, мы приходим к стадии а н т и ж и в о п и с и. Человек погружается в первозданный хаос материи в тот самый момент, когда думает, что наконец полностью освободился от нее.

Если этот крах рассматривать серьезно, то он представляется своего рода драмой; и я считаю не столько хитроумной, сколько неприличной манеру известного рода специализированной критики глубокомысленно предлагать зрителю на выбор различные интерпретации одной и той же картины. Эта критика «as you like it» * и ее лексикон, достойный Вадиусов и Триссотенов **, останутся одним из самых примечательных свидетельств о нашем времени и о нашей стране, где, мне кажется, ныне весьма ослабло, если не окончательно исчезло, чувство юмора.

Наконец, чем можно объяснить тот факт, что сверхабстракционисты в последнюю минуту сдают свои позиции, выбирая для своих картин анекдотичные или темные философические названия («Битва при Бувине» ***, «Подземная психология», «Эректильная сущность», «Звездный анаморфоз» и прочие, и прочие), если не головокружением, которое вызывает у них разверстая пропасть их собственной абстракции, и попыткой успокоить самих себя? Разве только—но было бы непристойно так думать— они это делают, желая обмануть публику...

Когда искусство отказывается быть повестью, созданной человеком для других людей, оно лишается вместе с тем всякого глубокого отзвука, всякой возможности продлить свою жизнь, всякой силы воздействия, всякого братства с теми, для кого оно предназначается...

Каждой эпохе свойственны свои взлеты, но также и свои заблуждения и мифы. Абстракционизм в той же мере отвечает нашему времени, в какой ангелочки и мушкетеры салонов 1880 года по противоположным и в то же время сходным причинам отвечали буржуазной пошлости конца прошлого века.

Старые страны, вроде нашей, отягощенные накопленными традициями, в эту эпоху, когда все живут под знаком будущего, хотят доказать, что они не стары. Они вступают в своего рода конкуренцию с более молодыми, не имеющими глубоких традиций и физически сильными странами, стараются перещеголять их и, забывая о самой сущности своей оригинальности и своего престижа, пользуются методами, которые можно оправдать только молодостью и бедностью традиций, отсутствием интеллектуальной и художественной дистанции.

С другой стороны, совершенный наукой скачок, которым ознаменовано наше время, оказывает глубокое влияние на все формы ви́дения мира у современного человека. Несмотря на то, что искусство находится по отношению к науке на противоположном полюсе, оно возмущено ее первенством и считает своим долгом поставить под вопрос свои собственные основы. А между тем оно остается одной из форм человеческой деятельности самого древнего типа, и все его достояние состоит из «пережитков», накопленных опытом истин, технических секретов, неожиданных находок, приобретений, которые не укладываются в формулы, которые невозможно передать и которые умирают вместе с их владельцем; и притом оно пользуется крайне ограниченными и всегда почти теми же средствами — немного красящего вещества, несколько щетинок на конце палочки, традиционная подставка. Нет ничего более противоположного характеру и ходу развития науки.

Наконец, в духовном смысле, в плане человеческого самовыражения искусство по отношению к научному знанию — это другая планета со своими собственными, совершенно иными измерениями.

Тем не менее влияние науки безусловно сыграло немаловажную роль в формировании идеи, будто искусство, исходя из примата материи, должно абстрагироваться от всего человеческого; в состязании по части технических новшеств, в самодовлеющем экспериментаторстве и даже в возникновении странного, напоминающего спортивную терминологию понятия авангарда, с помощью которого, видимо, пытаются установить, что в искусстве имеет место прогресс, тогда как на самом деле оно знает только различия и вариации.

Когда я рисую яблоко, то прежде всего оно не существует для меня изолированно, само по себе. Оно всегда представляет нечто двоякое: с одной стороны, это — яблоко, плод, с другой — пространство, в котором оно «купается». Отношение между яблоком и окружающим пространством представляется мне чрезвычайно важным, потому что оно соответствует измерению, которым абстрактное течение в искусстве совершенно пренебрегает,— третьему измерению. Современная живопись — это главным образом плоскостная живопись, которой важны в основном, и, можно даже сказать, исключительно, два конкретных измерения картины — длина и ширина.

Эти два материальных измерения отвечают самой реакционной и самой инфантильной стороне современного ви́дения — «накожному» восприятию, свойственному людям слишком занятым, слишком усталым

---

* Здесь — чего изволите *(англ.)*.

** Вадиус — комический персонаж из «Ученых женщин» Мольера, тип педанта, напичканного греческим языком и латынью. Триссотен — персонаж той же комедии, претенциозный поэт, блистающий своими виршами в кругу, всегда готовом им аплодировать.

*** В 1214 г. при Бувине Филипп Август одержал победу над императором Отоном IV и его союзниками.

или слишком изношенным, чтобы идти дальше непосредственно данного, дальше соприкосновения с поверхностью вещей.

А есть и третье измерение, которое теряется, поскольку картина остается плоскостной. Это волшебное измерение, глубинное измерение, которое можно было бы назвать абстрактным, если бы это слово не было так профанировано, но которое я предпочту называть духовным. Оно обладает многообразными свойствами и имеет совершенно особую власть над зрителем, ибо позволяет последнему чувственно, умственно, духовно через зрительный канал войти в картину, включить себя в нее. Эта картина становится таким образом миром, который произвольно замкнут, но в котором можно дышать, можно жить, полностью сохраняя самого себя.

Это пространство — в зависимости от художественных средств — может оказывать колдовское воздействие на нашу чувствительность. Это золотой ключ искусства, который поистине открывает мир тайн, которыми мы окружены.

Одна из самых характерных черт великих художников — это своеобразие пространства в их произведениях и глубокий отзвук, который оно вызывает у нас. Удивительно тонкими и различными средствами каждый из них придал созданному им пространству свое собственное измерение, свою душу, свое «дыхание», интуитивно достигнув таким образом своего рода «метапространства», каковое и есть, по-видимому, то четвертое измерение, которое сделало предметом своих якобы новых поисков одно из течений абстрактной живописи.

Таким образом, существует «метапространство» Рембрандта и «метапространство» Вермеера, «метапространство» Пьеро и «метапространство» Сезана, «метапространство» Брака и «метапространство» Дюфи... Атмосфера там либо мягкая, либо разреженная, либо тяжелая, либо таинственная, либо патетическая, но всегда человеческая, всегда согретая братством.

Я считаю свое ремесло, ремесло художника, высоким ремеслом, а не пустым развлечением. Это ремесло имеет свои почетные права, но и свои законы, свои обязанности, свои ограничения — ограничения, которые свободно приняты и которые надо победить. Это ремесло есть добровольное обязательство. Я всегда повторяю два замечательных изречения, которые для меня определяют искусство,— фразу апостола Павла: «Я связан, значит, я свободен» и фразу Жимона: «Я принял скульптуру, как принимают религию». Все остальное — литературщина.

Современный миф искусства — то, что вы называете абстракционизмом,— выражает усталость, невысказанное чувство бессилия перед лицом великих шедевров прошлого, притупление или склероз чувствительности, способной реагировать лишь на сильнодействующие средства. Взгляды известного числа художников в силу этих факторов претерпели глубокое изменение. Так, эксперимент, то есть опыт, имеющий значение переходного момента, подчиненный частной задаче и гораздо чаще относящийся к области техники, нежели к области эстетических и человеческих проблем, рассматривается этими художниками как цель в себе и заменяет у них понятие совершенства, законченности, цельности, всеобщности — понятие, которое предполагало уничтожение в процессе работы всех промежуточных этапов и следов самой работы, стирание в силу высокой требовательности примет индивидуальной манеры ради глубины и полноты произведения...

И мы сталкиваемся, в числе некоторых других, с такой аномалией: в нашу эпоху, когда клянутся только техникой и стремятся создавать все более усовершенствованные машины, самолеты, телевизоры, люди известных вкусов млеют от восторга перед мастерством ремесленников былых времен, перед комодами Людовика XV или серебряной посудой XVIII века, а как только речь заходит об искусстве, ставят выше всего набросок и признают гениальным только незаконченное, беспредметное, написанное кое-как, спустя рукава.

Когда с очень молодыми художниками говоришь о мастерах прошлого и даже недавнего прошлого, например о Дега, Ренуаре, Боннаре или Дерене, они тебя слушают с таким видом, точно речь идет о мифологических персонажах, а не о таких же людях, как мы, которые трудились, как мы, надеялись, как мы, и так близки нам по своим идеалам.

А между тем какой они дают нам урок скромности, любви и веры в человека!

ПЬЕР АБРААМ

НА ЧТО ЖИВЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Лет тридцать назад я работал над составлением двух томов «Искусство и литература» для «Французской энциклопедии», которую редактировал историк Люсьен Февр. Идея издания принадлежала министру национального просвещения Анатолю де Монзи.

В «Энциклопедию» он, к счастью, не вмешивался. Он облек доверием Люсьена Февра и позволял ему руководить изданием по своему усмотрению, через посредство редакторов отдельных томов. Мы видели его только на еженедельном приеме, где теснилась толпа просителей за себя и своих ближних. На этих «четверговых рюмках» мне и Февру не раз представлялся случай с горечью наблюдать, как угодливы бывают наши современники. Забавная сторона этого зрелища уравновешивалась мизантропическими выводами из него. И мы уходили скорее опечаленные, чем развеселившиеся.

В числе 120 сотрудников, которых я пригласил для составления томов «Искусство и литература», были архитекторы, скульпторы, художники, актеры, критики и, конечно, писатели (прозаики и поэты). Среди этих последних наибольшей известностью пользовался тогда Поль Валери. Могу лишь похвалиться тем, как сложились наши личные отношения: он был со мной всегда очень приветлив, а главное, представил мне рукопись в срок.

Написанные им страницы, которые я поместил в качестве предисловия к упомянутым выше томам, удивили и огорчили меня. Мне было известно обращение Поля Валери к цивилизациям, которые «сознают, что они смертны», но я не думал, что на первом же этапе предпринятого нами дела, отмеченного энтузиазмом, который, казалось, передался и автору предисловия, он принесет мне статью, полную такого страха за будущее. Вот ее заключительные строки:

«Многочисленные признаки заставляют опасаться, что рост интенсивности и точности знания и, с другой стороны, состояние непрерывного смятения в умах и воззрениях, порожденное могучими новшествами, полностью перевернувшими жизнь человека, будут все больше притуплять его чувствительность и сделают его интеллект менее проницательным, чем он был прежде».

Мне показалось странным и трудно было понять, как это «рост интенсивности и точности знания» может превратить будущие поколения в идиотов. Уточнение знаний, казалось мне, должно, напротив, обострить интеллект. Я решил, что поэт переживает минутный упадок духа, пожалел о последствиях этого для читателей «Энциклопедии», но не понимал его причины.

Несколькими неделями позже Поль Валери выставил свою кандидатуру на замещение кафедры в Коллеж де Франс (где он затем с блеском преподавал до самой своей смерти). К концу очередной «четверговой рюмки», на которую Поль Валери пришел, чтобы просить поддержки у министра, Анатоль де Монзи сообщил мне эту новость, выразив ее в одной из тех кратких и циничных формул, которые немало способствовали его популярности:

— Он бредит «фиксом».

Тут требуется объяснение для советских читателей. «Фикс» — это ежемесячный оклад, регулярно попадающий в кошелек заинтересованного лица, независимо от случайностей в его работе и от ее

производительности. Во Франции ни один врач или адвокат, доход которого зависит от дел, ему порученных, или от посещающих его клиентов, не располагает «фиксом» и должен рассчитывать только на собственный коммерческий талант, подкрепляя его по возможности выгодными и более или менее законными комбинациями. А раз так, понятно, что Анатоль де Монзи, будучи сам адвокатом (и преуспевающим, несмотря на то — или именно потому,— что был министром), встретил с немного презрительным сочувствием попытку поэта обеспечить себе спокойную старость. Монзи забавлялся угодливостью окружавших его людей, как забавляются, бросая кусочки хлеба в пруд, кишащий карпами. В тот день, несмотря на искреннее уважение к творчеству Валери, он не смог удержаться и говорил с ним фамильярно, как с братом по профессии, и с чувством превосходства, проистекавшим от того обстоятельства, что сам Монзи никогда не был поставлен в необходимость мечтать о «фиксе».

Он сознательно не хотел принимать в расчет, что у Поля Валери могло возникнуть вполне законное желание общаться с постоянной аудиторией и развивать перед ней из недели в неделю свои мысли о литературном творчестве. Министр упускал из виду и то, какого труда требовала подготовка курса еженедельных лекций от человека, не имевшего ни привычки, ни опыта преподавания. Монзи отметал все это и цинично ограничивался лишь одной стороной вопроса: материальными нуждами. Валери «бредил фиксом».

Предположим на минуту, что так оно и было, примем это за исходный пункт в нашем анализе средств существования, которыми располагает французский писатель.

Как бы высоко ни ценились, как бы ни превозносились произведения Поля Валери, все же они не привлекали такого массового читателя, как, например, детективные романы. С другой стороны, не было надежды приспособить их для театра *, еще меньше — для кино, а это лишало автора ресурсов, порою немалых, какими пользовались некоторые из его собратьев-романистов. Его поэзия и даже драгоценная ткань его прозы, несомненно, теряли значительную часть своих достоинств при переводе на иностранные языки. В конечном счете его доходы сводились к авторскому гонорару, который выплачивался издателем и, когда Валери стал знаменит, достигал, вероятно, 10—15% от продажной цены его книг. Этого было недостаточно для отца семейства, обремененного заботами о своем потомстве, о его устройстве и образовании.

Над поэтом дружески подшучивали, когда он сотней разных способов выпутывался из этих трудностей. Он и сам не раз иронизировал над уловками, к которым поневоле прибегал, потому что смотрел на них как на одно из естественных последствий безжалостной к поэтам эпохи. Не раз он давал право обществам библиофилов и литературным клубам на «дооригинальные» издания и публикации, прежде чем собрать свои произведения в книгу для широкой публики. Богато оформленные журналы, субсидируемые фармацевтами и распространяемые бесплатно среди медицинских работников, втискивали изящные стихи Поля Валери между рекламой аспирина и пилюль для похудения. Сам поэт с тем насмешливым простодушием, не утерянным и в дни славы, которое делало его таким симпатичным, говорил, чуточку шаржируя: «Я живу только за счет фармации».

Разве не с такой же иронией заметил один из его предшественников во Французской Академии, намекая на приглашения на обед, которые великосветские дамы расточают «бессмертным»: «Нам не платят, но зато нас кормят».

■

Другой академик, стиль которого более доступен, а круг читателей более широк, чем у Поля Валери, тем не менее часто вынужден писать для многотиражных женских журналов: его проза поднимает журнал над уровнем посредственности и служит ему паспортом, помогая самой широкой рекламе. Писатель вынужден пойти на это наемное рабство, если хочет, как говорится, «жить своим пером».

Отсюда следует вывод, что французский писатель, сколько бы у него ни было читателей, независимо от того, усложненна или популярна его проза, не может довольствоваться доходами от своих книг и должен искать иные источники вознаграждения, более регулярного, а порою и более щедрого. Другими словами, ему необходимо то, что называют «второй профессией».

Счастлив он, если эта «вторая профессия» не отрывает его полностью от интеллектуальной жизни. Счастлив? Напротив, нередко он мечтает найти работу, которая вывела бы его за пределы среды, вызывающей у него столь мало симпатий. Но тут уж мы вступаем в область химер. Современные условия делают во Франции невозможным осуществление такой мечты. Если писатель получил техническое образование, никакой руководитель промышленного предприятия не возьмет его иначе как на полный рабочий день, да и сам он, сколь бы мало ни интересовал его индустриальный труд, не сможет не отдавать ему

* И все же «Мой Фауст» ныне пользуется некоторым успехом на сцене. *(Прим. автора).*

все свое время, не думать о нем вне конторы, завода или мастерской; и у себя дома, за рабочим столом мысль его будет метаться в изнурительной борьбе между двумя сферами занятий.

Если у него литературное образование, он имеет шансы обрести какое-то душевное равновесие, деля свои силы между трудом писателя и профессией... какой? Я вижу только две, которые в крайнем случае можно совмещать с писательским трудом: преподавание и журналистику.

Среди молодых романистов есть некоторое число преподавателей. Можно было бы удивляться, что у них находится досуг для сочинения романов, и думать, что они крадут для творчества часы, принадлежащие просветительской миссии, если бы мы забыли о долгих учебных каникулах — постоянном предмете наших дружеских насмешек над собратьями-учителями.

Преподаватель похож на «воскресного художника» — он «каникулярный романист». Следуя по-своему законам биологии, он девять месяцев в году вынашивает свои мечты и пользуется остальными тремя месяцами, чтобы родить их на бумаге. После чего предлагает их издателю.

Живопись совсем как рыбная ловля — это приятное времяпрепровождение для тех, чья жизнь занята другими трудами. Где же это видано, чтобы человек еще до выхода в отставку, будучи внезапно охвачен яростной потребностью рисовать, выбрасывал свои технические, зубоврачебные, сельскохозяйственные инструменты и брался за кисть? Тогда как самые разумные люди, едва начав писать, а в особенности печататься, сразу воображают, будто весь мир только и ждет их будущей книги. Какое значение имеет теперь для него профессия, быт, «фикс», необходимый его жене, чтобы вырастить детей... Глухой к доводам рассудка, к уговорам, готовый на разрыв, один или вдвоем, он бросается очертя голову в омут «литературной карьеры», не зная еще, как горько бывает похмелье.

Самые осмотрительные из преподавателей договариваются с администрацией своих учебных заведений об отпуске на несколько лет, чтобы «попытать счастье»; если вожделенный успех не приходит, они по истечении срока возвращаются в материнское лоно университета и сохраняют в глазах учеников и коллег ореол людей, на миг прикоснувшихся к славе.

Что касается журналистики, то это великая иллюзия, притягивающая как преподавателей, так и писателей, пришедших из других слоев. Тут речь идет либо о журналах, решивших избежать компромиссов, которые свойственны «большой прессе»,— и тогда относительно малый тираж и скромные средства, получаемые от скудной рекламы, не позволяют сотрудникам рассчитывать на солидный «куш». Либо речь идет о массовых изданиях. Здесь между писателем и редакцией, которую издатель обязывает проявлять гибкость по отношению к рекламодателям, по существу финансирующим газету, рано или поздно возникают расхождения во взглядах. В результате перед несчастным закрываются не только двери данного издания, но и всех других, помещающих ту же рекламу и зависящих от той же лжи.

Я знаю случай, когда главный редактор прогрессивного еженедельника, человек честный и мужественный, в связи со своим материальным положением вынужден был с болью в сердце покинуть газету и перейти на значительно более крупный оклад в один из органов «большой прессы». Это произошло в конце апреля 1958 года. В конце мая он вернулся на прежнюю должность, ибо не в силах был вынести атмосферу, царившую в новой газете в момент алжирского путча 13 мая, который положил конец IV Республике.

Мне скажут, что 13 мая случается не каждый день. Нет, это не так. Для ежедневной газеты 13 мая бывает каждый день, для еженедельной — каждую неделю и для ежемесячника — каждый месяц. По крайней мере, для людей с чистой совестью, которые не хотят прятаться под маской пустословия и взяли себе за правило говорить — и печатать! — то, что думают.

Вот какого рода дилемма встает перед писателем, если он, чтобы продержаться, ищет «вторую профессию» в журналистике. И не надо думать, что разногласия, возникающие между ним и издателями или редакцией, носят исключительно политический характер. Если бы дело было в этом, писатель, по возможности, выбирал бы такой печатный орган, который соответствует его личным взглядам. Нет. Речь идет о подчинении коммерческой необходимости. Периодика — это промышленное предприятие, которое ворочает большими капиталами и извергает из своего чрева всякого, кто рискует поставить под угрозу его процветание и прибыли.

■

Можно задать вопрос: как получается, что хорошая или просто честная книга не находит во Франции достаточного числа читателей, чтобы обеспечить существование своего автора? Ни для кого не секрет, что, несмотря на помехи, чинившиеся реакционными и клерикальными кругами, все у нас вот уже сто лет умеют читать, писать и считать.

Ответ на заданный вопрос надо искать в том обстоятельстве, что подавляющей части наших соотечественников не приходит в голову купить книгу. Лет десять назад прогрессивные писатели провели по всей Франции кампанию пропаганды

чтения, известную под названием «Битва за книгу». Однажды вечером в горной деревушке в Приморских Альпах на сотню километров севернее Ниццы мы собрались в школьном классе. Крестьяне уселись на скамейки, на которых они сидели тридцать, а то и пятьдесят лет назад, и нельзя было без волнения видеть, как они пытались уместиться за детскими партами. Все как один сказали нам, что последние книги, которые им довелось прочесть, были школьные учебники. С тех пор они покупали только ежедневную газету и иллюстрированные журналы.

Выступило несколько писателей, а потом пришла очередь взять слово поэту. Он колебался, не знал, что говорить перед такой неподготовленной аудиторией, и мы шепнули ему: «Прочитай им какое-нибудь свое стихотворение». Весьма скептически настроенный, он все же начал читать поэму «Лес», довольно сложную по стилю,— о Сопротивлении, о том, как деревья старого леса стали помощниками партизан маки. В классе стояла такая тишина, что можно было услышать, как муха пролетит; крестьяне затаив дыхание внимали поэту. А потом разразилась буря восторга. Больше того, все экземпляры сборника, в который была включена поэма, тут же раскупили, и пришлось принять заказ на дополнительные экземпляры, потому что не хватило тех, что мы привезли с собой.

«Битва за книгу» дала много таких примеров во всех уголках нашей страны, и все они доказывали, что крестьянство Франции готово читать, поддерживать литературу, даже сложную.

Однако французские профессиональные организации, связанные с книгопечатанием, жалуются — и справедливо,— что крестьяне не покупают книг, а рабочие покупают очень мало.

Почему? Здесь не место углубляться в дискуссию по этому поводу. Ограничимся тем, что скажем: для бюджета крестьян и для большинства рабочих книга — большой расход. И все же они читают. Помимо ежедневной газеты, они покупают и популярные еженедельники, которые отличаются высоким техническим уровнем цветных иллюстраций и относительно дешевы, благодаря заполняющей их рекламе. Итак, мы возвращаемся к тому, о чем уже говорили: писатель, желающий жить своим пером, вынужден писать для такого рода прессы.

Напрасно было бы критиковать размер статьи семейного бюджета, отведенной на чтение, и доказывать, что еженедельная покупка иллюстрированного журнала составляет ежегодно расход более чем в 40 новых франков *, то есть что за ту же цену можно было бы купить пять—десять книг, которые останутся в семье, тогда как журналы не сохраняются. Но в еженедельниках содержится злободневный материал, интересующий публику. Заметим, что подается он в аполитичной по видимости форме, однако отравляет сознание читателей миазмами того мировоззрения, которое отвечает интересам капитализма...

Если учесть, что во Франции сорок миллионов населения, а самый ходовой из иллюстрированных журналов проникает в полтора миллиона семейств, то можно себе представить, какую конкуренцию эти журналы создают книге и как велик для писателей соблазн сотрудничать в одном из них.

■

Раз уж мы обратились к цифрам, отметим, что во Франции ежегодно выходит около 11 тысяч названий книг, из которых 3500 относятся к художественной литературе.

Предположим, что научная литература, книги по экономике, юриспруденции, религии, учебные пособия, исторические труды и т. д. пишутся людьми, чей прожиточный минимум обеспечен внелитературными профессиями (преподавание, научные исследования, служба в суде и т. п.), вычтем переиздания, и тогда окажется, что каждый год около двух тысяч литераторов ждут средств существования от продажи своих книг.

Некоторые найдут их число чрезмерным. Скажут: «Зачем нам две тысячи писателей в год?» И верно, в памяти читателей остаются лишь немногие из их сочинений. При самых благоприятных обстоятельствах даже завзятый оптимист сказал бы, что если за какой-нибудь год вышла дюжина хороших романов, то его надо отметить звездочкой, как отмечают в Бургони и Борделэ год, когда уродилось наилучшее вино.

Тут надо указать на два противоречащих друг другу фактора. Первое: авторы всех этих книг, как правило, принадлежат к буржуазии. Практически не существует писателей — рабочих или крестьян: число их не достигает, вероятно, и тех двух процентов, которые составляют, по данным статистики, учащиеся высшей школы из рабочей и крестьянской среды. Можно, однако, надеяться, что количество писателей — выходцев из этой среды увеличится, если возникнут условия, которые позволят им успешно конкурировать с их собратьями по перу из буржуазии. Общее число писателей должно, таким образом, расти.

Второе обстоятельство: те, кто считает, что у нас сейчас слишком много писателей, потому что большинство из них публикуют книги, не находящие спроса, вполне удовлетворились бы выпуском трехсот-четырехсот названий в

* Восемь рублей. *(Прим. автора).*

год — это уже означало бы, говорят они, что читатель каждый день получал бы новую книгу.

Попробуем несколько прокомментировать это кажущееся противоречие. Приведенные нами цифры (300—400 названий в год*) отражают производственные возможности лишь одного из десятка «крупных» французских издательств. При системе «свободной конкуренции» невозможно представить себе никаких планомерных ограничений в области книгоиздания, так же как в промышленности, где только соглашения между трестами могут привести уровень производства в соответствие с меняющимися запросами потребления. Но если бы в нынешней ситуации возможно было планирование в книгоиздательском деле, оно создало бы новые опасности, ибо выбор книг, без всякого сомнения, определялся бы враждебным народу идеологическим и политическим критерием. Французы вот уже скоро двести лет ведут борьбу за свободу печати и изданий, и попытку ограничить число ежегодно издаваемых книг они приняли бы как покушение на свои права, купленные столь дорогой ценой. Мы видели во времена нацистской оккупации, к чему привело лимитирование бумаги и какие книги разрешалось выпускать во Франции. Писатели и поэты — патриоты вынуждены были тогда печататься в Швейцарии.

Таким образом, мы приходим к следующему положению: чтобы не разориться при непрерывно растущих за последние пятнадцать лет расходах, издательству приходится все время увеличивать оборотный капитал, то есть умножать число выпускаемых книг, предоставляя читателю выбирать ту из них, которая возместит издателю потери на книгах, оставшихся непроданными.

Если какое-то произведение разойдется за год пятидесятитысячным тиражом, то оно покроет расходы от других 50 названий, из которых будет куплено лишь несколько экземпляров. Как видите, здесь шансы такие же, как в лотерее.

Но в подобной лотерее возможна подтасовка. Выражаясь более вежливо, ее можно определенным образом направить. Как? Самый изящный способ, не выходящий за пределы приемов, допустимых в литературе, и наиболее соответствующий «творениям духа»,— это премии, распределяемые между писателями специальными жюри. Книга, отмеченная премией, будет рассматриваться читателями как произведение, которое необходимо прочесть, чтобы не ударить в грязь лицом во время беседы в гостиной или кафе. Поэтому количество литературных жюри и кандидатов на наиболее популярные премии растет с каждым днем. Поскольку, в идеале, каждое видное издательство хотело бы каждый год иметь премию для одной из своих книг, понятно, откуда берется столько новых жюри. Но бесконечное размножение жюри и премий в конце концов обесценивает награду в глазах читателей и сосредоточивает их внимание лишь на нескольких премиях, таких как Гонкуровская.

В первые же дни ноября отдел хроники ежедневных газет, которые весь год оставались равнодушными к вопросам литературной продукции, вдруг наполняется всякого рода «нескромными» сведениями об авторах и книгах, коим «посчастливилось» получить премию. Быть упомянутым (как на скачках) в числе «лидеров», среди которых окажется выигравший,— это для писателя и для издателя лучший способ распродать книгу. Быть в числе трех-четырех лиц, о которых пресса сообщит, что они собрали несколько голосов в жюри, значит увеличить вероятность распродажи книги. Наконец, быть лауреатом значит получить уверенность, что книга будет распродана в течение трех месяцев после распределения премий, причем обычно в количестве не менее ста тысяч экземпляров.

Переведем это на деньги. Цена романа в книжной лавке колеблется, в зависимости от числа страниц, между 7 и 20 новыми франками. Что образует (считая 10% от этой суммы) 700 — 2000 новых франков авторского гонорара за каждую тысячу проданных экземпляров книги. Из романов, получивших после войны Гонкуровскую премию, вероятно, наибольший успех у читателей имел «Последний праведник» Шварц-Барта, вышедший в 1959 году; как объявил издатель, он был продан в количестве около полумиллиона экземпляров. При розничной продажной цене в 12,5 н. фр. автор, как можно видеть, получил за два года 625 тыс. н. фр. (то есть 125 тыс. руб.) за те экземпляры, которые были проданы во Франции, не считая переводов и инсценировок.

Таков наилучший вариант судьбы романа, поднятого из безвестности Гонкуровской премией и признанного — что не обязательно — читателями. Между этой крайностью и такой, при которой поэт и даже прозаик, вместо того чтобы получить деньги от издателя, платят ему за удовольствие видеть свое произведение напечатанным,— между этими полярными возможностями для двух тысяч ежегодно издающихся авторов лежит множество всяких иных вариантов.

Можно спросить: а если отбросить денежные расчеты, есть ли вообще какая-нибудь польза для развития культуры от издания такого количества книг, находящих столь мало читателей? На этот вопрос я смело, с полным сознанием своей ответственности отвечаю положительно.

История литературы учит нас, что все великие произведения, которые мы без конца перечитываем, видя в них нетленные памятники человеческого духа, не вышли вдруг в один прекрасный день

* Включая переиздания. *(Прим. автора).*

из-под пера гения, изолированного от своего народа и национальной культуры. Великие писатели прошлого были и великими читателями. Будущие писатели тренировались на темах, подсказанных им посредственными романами, модными в то время И можно поклясться, что именно успех «Тайн Парижа» Эжена Сю, появившихся в 1841 году, побудил Виктора Гюго вновь обратиться к замыслу десятилетней давности, чтобы двадцатью годами позже создать на его основе величайший французский роман XIX века — «Отверженные».

Чем больше произведений публикуется, тем больше шансов, что будут опубликованы хорошие. И дело здесь не только в большей вероятности, но и в том, что это ободряет робких авторов; не будь на книжном рынке такой массы книг, у многих не хватило бы смелости показывать свои сочинения, а то и просто недостало бы мужества писать. Но ведь когда такого робкого автора зовут Даниель Дефо, он создает «Робинзона Крузо», когда его зовут Арвер, он пишет один сонет, которого довольно, чтобы прославить его имя, когда его зовут Ален-Фурнье, он пишет «Большого Мольна».

А на другом конце шкалы поставщики многотомных романов — Диккенс, Жорж Санд, Эжен Сю, Эмиль Золя — могут быть спокойны, что о них станут судить не по одному какому-либо тому, а по всему их творчеству, что книги их будут восприниматься одна в свете другой и предстанут перед будущим читателем как некое целое, из которого он сможет выбирать. Кроме того, именно такие писатели живут главным образом литературным трудом.

■

Вообще же французский писатель, будь то в феодальные времена, в XIX веке или в наши дни, не живет своим пером. Те, кто, как Мольер в театре или Виктор Гюго за рабочим столом, накопили себе состояние трудом прозаика или поэта, представляют исключение.

Подавляющее число литераторов живет не на свои произведения, а на другие средства. Государственные чиновники, как Жироду, как Клодель, морские офицеры, как Пьер Лоти, библиотекари, как Нодье, служащие департамента или муниципалитета, как вереница писателей времен Третьей республики, преподаватели, как столько современных романистов, или ставшие преподавателями к концу своей карьеры, как Валери,— они кормят семью на средства, которые им дает профессия, не отвечающая ни их вкусу, ни дарованиям.

С тех пор как периодическая печать приобрела столь широкое распространение, для них открылась дополнительная возможность «обмануть голод» при помощи добавочной профессии, которая по видимости больше соответствует их жажде писать, чем служба в министерстве финансов, иностранных дел, морском министерстве или муниципалитете. И можно себе представить, какую блестящую карьеру журналиста сделал бы Лабрюйер, публикуя по частям свои «Характеры» * в иллюстрированном еженедельнике...

Но журналистика таит в себе обманчивые чары для романиста или очеркиста. Один и тот же ритм мысли, фразы, стиля не может годиться на все случаи. Профессии журналиста и писателя схожи только по видимости. Те, кто пробовал заниматься и тем и другим, очень скоро вынуждены были признать, что начинают испытывать от этого неудобство. Газета требует лихорадочной поспешности мысли, которая в конечном счете мешает вызреванию сколько-нибудь обширного замысла. Чтобы удовлетворить запросы ежедневной и даже еженедельной газеты, приходится прерывать медленное обдумывание романа или очерка, а это может непоправимо нарушить инерцию творчества. Как ни заманчив для преуспевающего романиста крупный «куш», который предлагает ему периодическая пресса, все же он по опыту знает, сколь опасно связываться с ней.

Как видите, во Франции профессия писателя еще не стоит в ряду тех, которые можно выбирать без страха умереть с голоду. По правде говоря, ее и вовсе не существует. Есть люди, которые делают книги, имеющие или не имеющие сбыта, как все прочие продукты производства. Предлагая на рынке картофель, зеленый горошек или окорок, продавец убежден, что всегда найдет покупателя, если качество товара приличное, а цена умеренная. Но как быть уверенным, что продашь книгу? Быть зеленщиком, колбасником или бакалейщиком — это значит иметь профессию.

Быть писателем это — не профессия и даже не ремесло. Писательский труд только тогда начнет существовать как профессия во Франции, когда писатель не будет вынужден становиться чиновником, преподавателем или журналистом, чтобы заработать себе на жизнь.

На что же существует французский писатель? Если не считать нескольких исключительных случаев, *не* на средства от своих книг.

г. ПАРИЖ

---

* Имеется в виду книга очерков и эссе Лабрюйера «Характеры, или Нравы этого века» (1688), сатирически изображавшая современное ему общество.

ПУБЛИЦИСТИКА

ХОРСТ ШЕПОНИК

КОГДА МИСТЕР ХАУЛИ ХЛОПНУЛ ДВЕРЬЮ...

Документальный очерк о Западном Берлине

Июнь 1948 года вошел в историю как мрачный месяц для Берлина и Германии. В те дни начался тот пагубный процесс, в результате которого Западный Берлин превратился в опасный очаг войны.

В апреле 1945 года воины Советской Армии, овладев полуразрушенным зданием бывшего рейхстага у Бранденбургских ворот, погасили пламя второй мировой войны, зажженное здесь немецким фашизмом и охватившее все человечество. Прошло немногим более трех лет, и при содействии западных держав совершилась реставрация сил, потерпевших поражение в 1945 году. Они снова готовы разжечь новый мировой пожар.

Рассмотрим, однако, по порядку те события и факты, которые помогут нам найти ответ на вопрос: как это могло случиться?

ПОДРЫВ ЕДИНСТВА В СОЮЗНОЙ КОМЕНДАТУРЕ

16 июня 1948 года происходило заседание Союзной комендатуры Берлина. При открытии этого заседания никто, пожалуй, не предполагал, что военные коменданты города — советский, американский, английский и французский — встречаются в последний раз.

Начало было многообещающим. Прежде всего четыре коменданта приняли решение повысить нормы снабжения Берлина продовольствием. Затем было повторно поставлено на обсуждение советское предложение, состоящее из 14 пунктов, об улучшении правового и материального положения жителей.

Это предложение уже было представлено Союзной комендатуре за полгода до того, но обсуждение его все откладывалось. На сей раз дискуссия затянулась до 11 часов вечера. В конце концов американский комендант полковник Хаули, кавалерийский офицер из Техаса, медленно поднялся с места и направился к двери. «Что до меня, то я иду домой спать! — вызывающе крикнул он.— Завтра у меня много дел». После этого Хаули, не прощаясь, вышел из зала заседаний, со стуком хлопнув дверью.

Советский комендант полковник Елизаров заявил протест. Не встретив сочувствия у своих западных коллег, он также удалился с заседания. Утомленный делами Хаули, узнав об этом, сразу обрел бодрость. Он созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что теперь, по его мнению, «Союзной комендатуре пришел конец».

Это была пока лишь увертюра к окончательному срыву Потсдамских соглашений западными державами, которые, заключив 23 июня соглашение о сепаратной денежной реформе в трех западных секторах (для Западной Германии это было сделано еще 18 июня), довершили разрыв и фактически раскололи Германию.

Контрольный совет, который, как единый орган, должен был управлять Германией, прекратил свою деятельность. Советские представители заявили: тот, кто подрывает основы Потсдамских соглашений, в частности экономическое единство Германии, теряет право ссылаться на четырехсторонний статут, вытекающий из этих соглашений.

Из-за введения в Берлине двоякой валюты при содействии правых лидеров СДПГ произошел раскол в магистратуре, полиции, управлениях связи и транспорта.

В Западной Германии после проведения сепаратной денежной реформы образовалось обособленное государство. Но как быть с Западным Берлином, который находится в центре Германской Демократической Республики?

США, Великобритания и Франция, чтобы оправдать присутствие своих войск, провозгласили так называемый «малый оккупационный статут» для Западного Берлина.

ОПАСНАЯ ИГРА С ОГНЕМ

Западный Берлин, расположенный в сердце ГДР, постепенно становился своеобразным опорным пунктом для западных держав в их действиях против социалистического лагеря.

Для милитаристских кругов стран — участниц НАТО Западный Берлин имеет вполне определенное военное значение. Уже не раз эти отъявленные милитаристы пробовали вести опасную игру с огнем, мечтая превратить Западный Берлин в новое Сараево — исходный рубеж новой войны.

Бывший западноберлинский бургомистр Эрнст Рейтер, ярый враг коммунистов, воскликнул однажды: «Берлин — самая дешевая атомная бомба!» Его преемник Вилли Брандт неоднократно призывал пойти «на крайний риск». Он говорил также: «Задача Западного Берлина — всеми средствами мешать стабилизации Германской Демократической Республики, всеми средствами тормозить ее. Западный Берлин должен быть нарушителем спокойствия, а не сонным увальнем».

Но отколотая часть Берлина имеет военно-политическое значение и в другом плане. В истории известны города, которые приобрели печальную славу как центры международного военного и экономического шпионажа. Вспомним Шанхай, где до создания Китайской Народной Республики бесчинствовали империалистические разведки. Но еще не бывало города, где бы сосредоточилось такое количество шпионских и диверсантских гнезд, как в Западном Берлине в наши дни. После 1948 года западные державы создали на открытой границе со странами социалистического лагеря свои центры разведки. Через эти центры в Западный Берлин переправлялись также деньги и средства пропаганды. В 1961 году там действовали 83 американские, английские, французские и западногерманские шпионские организации. Руководство и финансирование 38 подобных организаций осуществлялось из США.

По выражению одного американского деятеля, Западный Берлин стал большим люком, ведущим в социалистические страны.

Западноберлинская газета «Тагесшпигель», издающаяся по американской лицензии, 6 ноября 1949 года сообщала о задачах этих организаций следующее:

«С помощью этой секретной армии мы должны проникать в каждую пока не охваченную коммунизмом страну и устранять там коммунистические кадры. Еще более важной задачей является проникновение в страны — сателлиты России и в самую Россию. Для этого следует использовать печатные станки, книги, листовки и радио. Специалисты должны заняться изготовлением фальшивых удостоверений и пропусков».

В судах Германской Демократической Республики уже тогда слушалось множество дел о шпионаже и саботаже. Судебные протоколы полны данных о грязной подрывной деятельности обвиняемых. И все же роль Западного Берлина не была бы вполне очевидна для широкой общественности, если бы в районе Альт-Глиникке (Восточный Берлин) не был обнаружен прорытый с целью шпионажа туннель — затея, подобной которой еще не знал мир.

В апреле 1956 года отряд советских связистов проверял кабель, арендованный Советскими Вооруженными Силами в Германии. С некоторых пор появились какие-то странные помехи. Пришлось раскапывать кабель.

Вдруг связисты замерли от изумления. Недалеко от кладбища Альт-Глиникке советский кабель и еще два других уходили куда-то вглубь, отклоняясь от линии прокладки. Солдаты лихорадочно стали копать дальше и вскоре обнаружили колодец глубиной в четыре метра, выходивший в туннель. Теперь стало понятно назначение загадочного строительства, которое американцы вели в Рудове (американский сектор), примерно в 400 метрах от границы. Шпионская штольня представляла собой стальную камеру, в которой были найдены самые современные устройства для подслушивания и усилители. Это обошлось в миллионы! Американская секретная служба не жалела средств. Тут только связистам стало ясно, почему не удавалось быстро устранить помехи. Аппараты и разбросанные инструменты указывали на то, что из туннеля в спешке бежали.

Западный Берлин является также грандиозным трамплином для забрасывания в Советский Союз и другие социалистические страны шпионов под видом студентов, переводчиков, туристов.

Гражданка ГДР Ольга Рауэ, завербованная в Западном Берлине и получившая от американцев шпионское задание, прибыла в Москву в качестве студентки медицинского факультета. Ее интересовали данные о стратегически важных объектах, фамилии и характеристики, а также номера паспортов и удостоверений советских профессоров,

доцентов и студентов. Свои отчеты она посылала в Западный Берлин на специально обработанной бумаге.

Американский студент Мэрвин Маккинен, родом из штата Мичиган, обучавшийся в Западном Берлине, также был завербован американской тайной разведкой. Его снабдили деньгами, фотоаппаратами и предоставили автомашину, на которой он отправился в путешествие по Советскому Союзу. Мэрвин Маккинен должен был фотографировать военные объекты в Киеве и некоторых городах Белоруссии. С такими снимками его удалось задержать в Киеве на месте преступления.

Западный Берлин является форпостом на фронте «холодной войны». Что под этим подразумевается, сформулировал американский комментатор Уолтер Липпман: «Общеизвестно, что непрямая агрессия — пропаганда, засылка агентуры, подкуп, подстрекательство — представляет собой давнее орудие политики с позиции силы. Именно этими средствами ведется в наши дни «холодная война». Однако вряд ли кто-нибудь может определить, как далеко от нее до «горячей войны».

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВОЙНА

Со всей остротой ведет Запад «холодную войну» и против социалистической экономики. Началась она 23 июня 1948 года, когда на Западный Берлин была незаконно распространена денежная реформа, проведенная в Западной Германии. Секретным приказом оккупационные коменданты Западного Берлина распорядились открыть пункты для обмена вновь введенной западной марки на марку Германского эмиссионного банка, находившуюся в обращении в ГДР. Курс устанавливался произвольно и чаще всего в таком соотношении: одна западная марка за четыре-пять марок Германского эмиссионного банка.

Вздутый курс западной марки привлек в Западный Берлин всевозможных дельцов и спекулянтов. При наличии открытой границы этот курс стал орудием постоянного подрыва экономики Германской Демократической Республики. Обменные пункты вырастали на западноберлинской почве как грибы. Если в 1949 году их было всего 40, то к 13 августа 1961 года их стало уже 88.

КОНТРАБАНДНАЯ ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ

До 13 августа через границу между Восточным и Западным Берлином проходили сотни тысяч людей. Сообщение осуществлялось по 81 улице и 13 переходам через линию городской железной дороги и метро. Только через станцию Фридрихштрассе (на городской железной дороге) проходило за сутки по направлению к Западному Берлину 285 составов, которые перевозили свыше 50 000 человек.

Таможенным властям Германской Демократической Республики удавалось контролировать лишь ничтожную часть пересекавших границу. По данным таможенного ведомства, эта часть составляла 0,01 % — 1 человек из 10 000.

Чего только не переправляли через границу до 13 августа 1961 года! Спекулянты прежде всего интересовались ценными товарами, имеющими спрос на мировом рынке. Они вывозили из ГДР оптические приборы, фотоаппараты, пишущие машинки, фаянс, йенское стекло, предметы прикладного искусства, музыкальные инструменты, плауэнские кружева, картины и многое другое. Немало было вывезено и продовольствия, главным образом мяса и масла.

ПЕРЕМАНИВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Среди прочих способов ведения экономической войны против ГДР отметим систематическое переманивание высококвалифицированных кадров, получивших образование в специальных учебных заведениях и университетах ГДР. Если в нашей республике на 10 000 жителей приходится 50 студентов, то в Западной Германии — всего 27; что же до технических учебных заведений, то здесь соотношение еще менее благоприятное для Запада — примерно 32 к 7.

Недавно западногерманский Научный Совет констатировал, что «в целом ряде отраслей науки наблюдается острый недостаток в притоке молодых кадров. Это касается прежде всего математики, химии, статистики, технических наук...» А журнал «Шпигель», выходящий в ФРГ, писал 13 сентября 1961 года: «В западногерманской промышленности уже сегодня не хватает 35 000 инженеров».

«Охотники за головами», подсылаемые западногерманскими концернами для переманивания специалистов, пускали в ход деньги, шантаж и прямой обман.

Финансирование этой экономической войны производилось из Западной Германии. Под видом так называемой «помощи» Берлину с 1951 по 1961 год в этот «фронтовой город» было переправлено более 17 миллиардов западных марок, в частности, на организацию похищений технической документации, на диверсии в национализированной промышленности, на подрыв внешней торговли.

«ДЕКО 11» и «САЙДСТЕП»

Предполагалось, что наступит день, когда эта подпольная деятельность окупит себя—и «холодная война» перейдет в блицкриг. При этом «фронтовому городу» предназначалась важная роль.

В секретном протоколе о проведении НАТО операции под названием «САЙДСТЕП», ударный кулак которой был направлен на Берлин, прямо говорилось:

«Следует действовать так же, как действовал Гитлер при аншлюсе Австрии и вступлении в Судеты. Нападение на ГДР должно быть молниеносным, чтобы армия и другие боеспособные группы не успели опомниться. В Генеральном штабе и в правительственных кругах убеждены, что при таком молниеносном нападении было бы легче договориться с остальными государствами»...

В распоряжении правительства ГДР оказался секретный военный план НАТО «ДЕКО 11». Из этого документа видно, что инспектор западногерманских военно-воздушных сил нацистский генерал Каммгубер намеревался использовать в преступных целях воздушный коридор между Западной Германией и Западным Берлином. Это тот самый Каммгубер, который в 1941 году приказал бомбить немецкий город Фрейбург в Брейсгау, чтобы подготовить себе алиби в воздушной войне против Великобритании.

Расчеты Каммгубера нашли отражение в секретном плане «ДЕКО 11». Генералы НАТО сказали себе: почему бы военной авиации боннского бундесвера не воспользоваться воздушным коридором в Западный Берлин?

И в пресловутом плане «ДЕКО 11» так и определено: «Заброшенные в Восточный Берлин части в гражданской одежде должны к сроку Е молниеносно овладеть в советской зоне всеми административными и военными зданиями, телеграфом, телефонными станциями, вокзалами, радиопередатчиками, издательствами, типографиями, промышленными и портовыми сооружениями, стратегическими дорогами и пунктами погранохраны».

И далее: «К сроку Е следует высадить в районе Берлина мощные части парашютистов, которые устремятся на запад, парализуя всякое сопротивление врага. К ним должны присоединиться отряды, прорвавшиеся из западных секторов Берлина в восточный».

Летом 1961 года одна тревожная весть следовала за другой.

3 июля командующий американскими войсками в Европе отдал распоряжение «приготовиться к крайним мерам».

14 июля боннский военный министр Штраус отправился в Соединенные Штаты, где пробыл до 1 августа. По словам западногерманской газеты «Кёльнише рундшау», целью переговоров Штрауса с государственным секретарем Раском и военным министром Макнамарой было «достижение единства в осуществлении некоторых политических и в особенности экономических контрмер — вплоть до мер против Советов и даже ограниченной военной кампании». В день возвращения Штрауса из США в Западную Германию войскам НАТО в Европе было приказано находиться в состоянии боевой готовности.

За несколько дней до этого, 25 июля, Штраус, приехав в город Санта-Роса в Калифорнии, заявил, что «вторая мировая война еще не закончена».

Правительство Советского Союза внесло еще в декабре 1958 года предложение, направленное на ликвидацию последствий второй мировой войны в Германии. Разрядка напряженности, заключение мирного договора с Германией и превращение Западного Берлина в демилитаризованный вольный город — таковы были главные пункты этого документа. СССР предлагал начать переговоры и проявлял большое терпение. Однако милитаристские круги Запада не пожелали вести переговоры и ответили усилением гонки вооружений; их целью было «обострение» положения и «освобождение» ГДР силой оружия.

НЕПРИЯТНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ

Настало время энергично действовать, чтобы успеть остановить милитаристов, прежде чем они претворят в жизнь планы «САЙДСТЕП» и «ДЕКО 11» и ввергнут человечество в третью мировую войну. Участники Варшавского договора собрались на совещание.

Рано утром 13 августа 1961 года радиостанции сообщили:

«Правительства государств — участников Варшавского договора обращаются к Народной палате и правительству ГДР, а также ко всем трудящимся Германской Демократической Республики с предложением установить на границе с Западным Берлином такой порядок, который надежно обеспечил бы прекращение подрывной деятельности против стран социалистического лагеря, и осуществить вокруг всего района Западного Берлина, включая его границу с демократическим Берлином, надежную охрану и действенный контроль».

Совет министров ГДР принял решение о соответствующих мерах.

Для боннских милитаристов, которые готовились к походу на Восток и в качестве первой жертвы на своем пути собирались проглотить ГДР, настало неприятное пробуждение. Журнал «Шпигель» следующим образом описал эти события:

«Колокол католической церкви св. Екатерины в Бонне-на-Рейне возвестил четырьмя громкими ударами наступление пятого часа утра в день 13 августа, когда в доме № 10 на соседней Дицштрассе зазвонил телефон. Заспанный секретарь федерального канцлера Ганс Глобке взял трубку. Оттуда донесся голос взволнованного редактора из ведомства прессы ФРГ: только что получено известие о том, что граница между секторами Берлина будет ограждена колючей проволокой. Чуть позже государственному секретарю, все еще не снявшему пижамы, пришлось снова взять трубку. Звонок из Берлина: министр Леммер, еще лежа в постели, сообщал то же самое из своей квартиры.

Ганс Глобке минуту колебался, доложить ли это тревожное известие своему шефу. Наконец секретарь канцлера решил, что известие достаточно важное, чтобы потревожить сон шефа... Было уже 4 часа 30 минут. Канцлер Аденауэр тотчас поднялся с постели — на два часа раньше, чем обычно.

В Бонне-на-Рейне начался берлинский кризис».

Части Народной армии, полиция и боевые группы рабочих Германской Демократической Республики позаботились о том, чтобы господа Аденауэр и Брандт, потревоженные тем утром в постели, уже не видели снов о захвате ГДР.

Когда была возведена пограничная стена, среди милитаристов воцарилось уныние. То, что им удалось проделать 21 год назад, на сей раз сорвалось. Тогда фитилем у пороховой бочки был город Данциг. Тогда они развязали мировую войну. Но в этот день 13 августа в Берлине удалось сохранить мир. Политика силы потерпела крах, разбившись о Бранденбургские ворота. Пробил час истины, как удачно заметила одна газета.

«Перед нами стена,— писал реалистически настроенный кёльнский обозреватель,— но это не должно лишать нас здравого смысла. Надо понять, что спасти нас может только разрядка напряженности, а не война и уж конечно не призыв вооружаться атомными бомбами».

ПРОВОКАЦИИ

«Ультра» на Шпрее и Рейне продолжали опасную игру с огнем — у них ведь еще были друзья в правительстве де Голля и среди генералов Пентагона.

Из Вашингтона был послан в Западный Берлин американский специальный уполномоченный Люциус Д. Клей. Говорят, что преступника всегда влечет на место преступления. В отношении Клея это полностью подтверждается. В бытность свою американским военным губернатором в Германии, он явился вдохновителем экономического (путем сепаратной денежной реформы) и политического (путем образования Федеративной Республики) раскола Германии. Таким образом, он несет немалую долю ответственности за положение в Западном Берлине и в конечном счете за то, что в городе пришлось возвести пограничную стену.

Этот ветеран «холодной войны», очевидно, не пожелал в чем-нибудь изменить своей славе. Он приказал выслать к берлинскому погранпункту на Фридрихштрассе танки. Их прикрытие должно было обеспечить гражданским лицам бесконтрольный переход через границу у постов пограничной полиции ГДР. Затея не удалась, Вашингтон был вынужден уволить в отставку этого приверженца «холодной войны» и отозвать его обратно в США.

Клею пришлось удалиться, но остались оккупационные коменданты, и они с нескрываемым удовлетворением взирают на продолжающуюся возню тайных организаций у государственной границы ГДР. Подкупленные агенты прокладывают туннели в ГДР, устраивают взрывы в помещениях антифашистских организаций, убивают пограничников. Городская железная дорога в Западном Берлине, принадлежащая ГДР, подвергается нападению наемных погромщиков. Только в августе 1962 года было зарегистрировано 930 налетов на электропоезда. На государственной границе с Западным Берлином устраиваются беспорядки. Впрочем, последние факты всем известны.

РЕКЛАМНАЯ ВИТРИНА ПОСТАВЛЕНА НА КОЛЕСА

Политическое банкротство повлекло за собой и банкротство экономическое. Западноберлинские обменные пункты — места сборищ всяческих спекулянтов — были вынуждены после 13 августа 1961 года закрыть свои двери. Не стало клиентов. Никто уже не платил из расчета 1 к 5 — одну западную марку за пять марок Германского эмиссионного банка. Спекуляция закончилась.

Американский журналист Джозеф Гарш в сентябре 1961 года передал по телефону в свою газету «Крисчен сайенс монитор» следующее:

«Западный Берлин был по сути рекламной витриной на Востоке, и, чтобы поддерживать эту витрину, западные правительства расходовали немалые суммы в виде пособий и капиталовложений. Промышленный подъем и необычайно высокий уровень комфорта, созданного для жителей Западного Берлина, имели целью только рекламу.

Теперь крупнейший западноберлинский банк купил банк во Франкфурте (ФРГ) и объединился с ним. Западноберлинская шоколадная фабрика купила фабрику в За-

падной Германии. Крупная кинематографическая фирма переехала в Мюнхен. Солидные ателье мод организовали филиалы в ФРГ. Рекламная витрина поставлена на колеса».

И это действительно так. По автостраде катят в Западную Германию грузовики с мебелью. Бегут люди самых различных кругов и профессий: чиновники, специалисты, фабриканты, ремесленники. Западноберлинские справочные издания полны объявлений о продаже вилл и предприятий. За год, прошедший с 13 августа, из города выехало около 50 000 человек.

Политические деятели, которые несут ответственность за превращение Западного Берлина во «фронтовой город», ищут все новых займов, чтобы предотвратить полное его опустение. Не помогает и то, что Федеративная Республика сразу же после 13 августа предоставила им миллиард в порядке «срочной помощи».

ПОГНАВШИСЬ ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Западноберлинское статистическое управление сообщило весной 1962 года, что количество промышленных заказов снизилось сравнительно с прошлым годом на 13,5%. К тому же почти не стало желающих делать капиталовложения в предприятия Западного Берлина.

Западноберлинский сенатор-экономист поехал с большим списком льгот в США, чтобы уговорить американских предпринимателей вкладывать капиталы в промышленность Западного Берлина. Он хотел убить сразу двух зайцев. Западноберлинские предприниматели тогда приободрились бы и остались во «фронтовом городе». А у американцев, вложивших свои капиталы в Западный Берлин, установилась бы с ним более тесная связь и им «было бы что там защищать».

Эта поездка, как теперь становится все более ясно, была холостым выстрелом. До сих пор ни одна из 40 американских фирм, к которым обращался сенатор, не дала согласия на его предложения.

Многие спрашивают себя, как могло случиться, что Западный Берлин, один из крупнейших промышленных центров мира, постоянно нуждается в субсидиях Бонна и США. Объясняется эта экономическая загадка очень просто: хронический дефицит в Западном Берлине обусловлен прежде всего его ролью опорного пункта, форпоста, выдвинутого против ГДР и других социалистических стран.

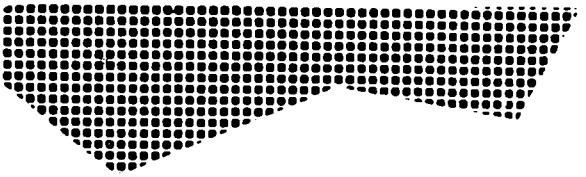
Естественным тылом Западного Берлина является ГДР. До войны Берлин получал 46% товаров из областей нынешней ГДР и только 26% из Западной Германии. Теперь 96% получаемых им товаров ввозятся из Федеративной Республики и западных стран. Всего лишь один процент западноберлинского экспорта приходится на долю ГДР и других социалистических стран. Достаточно вспомнить о больших транспортных расходах: за перевозку тонны строительного материала из ГДР предприниматель платит всего 3 восточные марки, а из Федеративной Республики—ни много ни мало 31 марку.

И все же на поддержание Западного Берлина в его функции «фронтового города» затрачиваются колоссальные средства. Количество статей, по которым они расходуются, так велико, что перечислить их здесь не хватит места. Это — организация шпионажа и саботажа, пропаганда реваншистской политики и травля ГДР, огромный административный аппарат, на который возложены также функции, связанные с осуществлением вредительства в ГДР. На различных должностях в сенате служат 120 000 западных берлинцев —28,4% всех работающих граждан Западного Берлина. Это можно было бы назвать мировым рекордом, правда, весьма неприглядным. Западноберлинская полиция насчитывает 20 000 человек — больше, чем даже в гитлеровской Германии. Если там на 10 000 жителей приходилось 10 полицейских, то теперь в Западном Берлине их, соответственно, 38!

НЕОБХОДИМ МИРНЫЙ ДОГОВОР

Только мирный договор и превращение Западного Берлина в демилитаризованный вольный город может оздоровить обстановку. Тогда отпадет надобность в больших расходах на поддержание его функций «фронтового города», нормализуются торговые отношения с его естественным тылом — Германской Демократической Республикой. Один из крупнейших индустриальных городов мира сможет сам содержать себя — как мирный центр промышленности и торговли.

13 августа 1961 года был ограничен опасный очаг пожара в Западном Берлине. Однако, как показывают многочисленные провокации, нынешнее положение далеко не удовлетворительно. Пожар должен быть погашен окончательно — путем демилитаризации Западного Берлина.



ЯН ДРДА

ГОВОРИТ ФИДЕЛЬ...

(Из путевых заметок)

В последний день Конгресса писателей, художников и артистов Кубы Николас Гильен, пожимая мне утром руку, сказал: «Сегодня вечером выступит Фидель».

Это заседание состоялось уже не в «Зале послов», а в «Театро Чаплин», на другом конце города. Когда в восьмом часу мы вошли в обширный зрительный зал с огромным балконом в виде подковы, откуда сбегают амфитеатром плотные ряды кресел, я вспомнил Врхлицкого: «Цирк кипел, как чаша переполненная...»

И хотя зал был заполнен только наполовину, он уже гудел таким высоким напряжением, словно в каждом кресле сидело по меньшей мере два человека. Меня усадили на сцене в полупустой еще президиум, чем я был немало смущен: у меня было такое ощущение, будто я попал на сцену во время театрального представления. Только позднее я понял, какой счастливый случай выпал на мою долю. Основная сцена в эту минуту была не здесь, а там, на балконе, где все краснело, как на маковом поле. Ученики гаванских школ инструкторов культуры, студенты из «Городка Свободы», черные, бронзовые и белые, непоседливые и остроумные, смачно скандировали сочиняемые ими тут же, на месте, новые поговорки и рифмованные куплеты, адресуя их янки и gusanos *. Они импровизировали стихи и анекдоты, вызывая взрывы смеха, дружно переходили на частушки, в которых одна группа состязалась с другой в выдумке острот. Это было феерическое народное веселье, где все шумело, звенело и ликовало. И стоило только кому-нибудь начать пачангу, как тут же ее ритм овладевал всеми — ладони принимались хлопать, ноги — притопывать. все приходило в движение. Эта «пляшущая революция» была чрезвычайно заразительна: смех как символ свободы, смех очищающий и счастливый, юмор как выражение морального превосходства. И вдруг крик — радостно-гордый, нарастающий:

— Adelante, caballo! Adelante, caballo!

Прежде чем я сообразил, о чем идет речь, в пяти метрах от меня из бокового портала вынырнул Фидель. В его глазах — затаенная улыбка, немного лукавая, немного покаянная: извините, мол, так много работы... И вот он уже садится возле Николаса, похлопав его по спине, а Николас объявляет заседание открытым.

Я не был к этому подготовлен, и все виденное ошеломило меня. Эти громовые раскаты «Adelante, caballo!» я не могу перевести иначе, как: «Вперед, конь! Конь, вперед!» Правильно ли это? По-видимому, да. Ведь в быту крестьянина хороший конь — мечта жизни, уверенность в завтрашнем дне, друг в пути, в работе и в ночном одиночестве, символ живой и благородной силы, а кличка «caballo» (переведете ли вы это как «битюг», или «жеребец», или «молодчина») — почетный титул, который присваивается далеко не формально.

...Фидель сидит впереди меня. У него широкая спина, крепкая, как дубовая доска; темно-каштановая курчавая борода на необычно молодом лице. Справа от меня сидит Карлос Рафаэль Родригес, главный редактор газеты «Ой» **. Фидель часто к нему оборачивается. Вижу высокий благородный лоб, красивый точеный нос, умные, веселые, по-детски бесхитростные глаза. Немало слышал я различных толков о том, что Фидель гипнотизирует своими глазами. Теперь все это вызывает у меня улыбку. Глаза Фиделя сияют молодой свежестью и силой. Говорят, что он, произнося речь, разыгрывает грандиозное театральное представление. Это тоже не соответствует действительности.

Когда в течение часа я слушал его речь, следя за каждым жестом и выражением лица Фиделя, улавливая заключительные аккорды его фраз, порывистые жесты и паузы, я понял, как все это просто. Гипноз Фиделя Кастро — это искренность. Любому

* Буквально — черви. Так на Кубе называют контрреволюционеров-эмигрантов.

** Ныне директор Национального института аграрной реформы (ИНРА).

делу он отдается всей душой, всем своим существом, независимо от того, пропагандирует ли революционные идеи, командует ли солдатами или беседует с пастухами. Говорят, что он нетерпелив и непоседлив. Видел я, как он сосредоточился перед своим выступлением: сел в стороне, левой рукой подпер голову; вокруг его глаз и на лбу собрались лучи морщинок. Казалось, он что-то внимательно рассматривает неподалеку от себя. Только правая рука с сомкнутыми, как на карандаше, пальцами слегка ездила по столу. Я думал, что он действительно пишет. Но писал Фидель в душе, без бумаги и без пера. Когда назвали его имя, он встал и неторопливо подошел к микрофону. У меня даже создалось впечатление, что он преодолевает волнение, которое необходимо победить, чтобы стряхнуть скованность, тормозящую свободное излияние мыслей. При первых же беспокойных фразах мне показалось, что он не попал в нужную колею. Фидель сказал несколько слов о работниках искусств, о культуре, об эстетике... и вдруг наступил перелом: «...Деятели искусств, которые находятся здесь, а не в ином месте, деятели искусств, которые три года оставались верны революции!»

И сразу стало ясно, что он нащупал то главное, что его беспокоит, чем он усиленно занимается, что переживает как человек и как революционер: вопрос о дезертирстве той части интеллигенции, которая не осталась верна революции, о тех инженерах, врачах и профессорах высших учебных заведений, которые предпочли эмиграцию службе кубинскому народу.

Незадолго перед выступлением Фиделя на этой же сцене в нескольких шагах от нас выступал хоровой ансамбль из тридцати шести человек. Исполнителями были деревенские парни и девушки из школ инструкторов культуры. Вокальному искусству они обучались всего три месяца, но их выступление было таким захватывающим и впечатляющим, что взволновало весь зал, а Фиделя, пожалуй, больше всех. Еще бы! Первый ансамбль в истории Кубы! Сначала Фидель лукаво подмигнул Родригесу, что, очевидно, означало «красиво», а затем был действительно тронут до глубины души. Фидель повернулся всем корпусом к молодым исполнителям и пожирал их глазами; казалось, он вот-вот кинется к ним и всех их крепко обнимет.

А сейчас его глаза пылали гневом. Если уезжает плантатор или фабрикант — скатертью дорога! Он ни на что не годен, работать не хочет. Нам не нужны паразиты. Если же уезжает врач, когда впервые в истории Кубы он может действительно лечить, сделать что-то существенное для здоровья людей,— это измена! Голос его дрогнул, но сила гнева не снизила силы и четкости аргументов. То, что он теперь говорил о миссии интеллигенции, о ее ответственности перед народом, о ее работе на благо родины, на благо революции, орудуя словами, как хирург скальпелем, так же покоряло, как незадолго до этого покоряли песни молодежного ансамбля...

■

В «Театро Чаплин» мне представилась возможность подметить одну любопытную черту характера Фиделя. Многие сторонние наблюдатели утверждают, будто бы некоторые решения Фиделя, равно как и целый ряд его неожиданных высказываний, например известные слова, произнесенные им в Гаване на похоронах жертв гангстерской бомбардировки 15 апреля, о том, что кубинская революция — социалистическая, являются плодом случайно мелькнувшей мысли или вспышки темперамента. Я думаю, что подобные утверждения лишены всякого основания.

Мне приходилось встречать людей порывистых. Они, будучи в экстазе, выпалят вдруг слово, которое не хотели бы или минуту назад не думали произносить. Такое слово, брошенное публично, волей-неволей обретает форму обещания, что нередко доставляет его автору много хлопот. Мне кажется, что Фидель Кастро — прямая противоположность таким «импровизаторам».

Я уже рассказывал о молодом ансамбле, выступившем на заключительном заседании Конгресса не только впервые в своей истории, но и во всей истории Кубы. Фидель, как я уже говорил, не сводил восторженных глаз с юных исполнителей. Чувствовалось, что он тронут до глубины души.

Нет, это была не только гордость за молодых людей — за эти первые зеленые побеги на древе Революции. Гавелка, наш знаток музыки, подтвердил, что ансамбль достиг выдающихся успехов, а если принять во внимание всего лишь трехмесячное обучение деревенских парней и девушек, совсем недавно покинувших свои хижины и не имевших прежде ни малейшего представления о том, что такое ноты,— то это явление просто невероятное. По его мнению, в скором времени ансамбль мог бы представлять Кубу где угодно за границей. Тем более что новые песни кубинских композиторов на тексты стихов Гильена и других поэтов, исполнявшиеся на этом вечере впервые, прекрасны и своеобразны.

Такая мысль, по-видимому, занимала умы многих людей. Это ощущалось по взволнованному шепоту, возникавшему вокруг Фиделя, который сидел как зачарованный, и я почти угадал, что нашептывали ему его соседи. Как было бы хорошо объявить сейчас этот ансамбль «Государственным ансамблем кубинских песен»! И как раз в те дни, когда вся Куба восхищена выступлением моисеевцев.

Фидель улыбался, однако по выражению его лица трудно было определить, о чем он думает. Может быть, именно в ту минуту, когда я видел его упорно сосредоточен-

ным, он обдумывал этот вопрос. В разгар своего выступления, в том месте, где он говорил об ответственности интеллигенции, о янки, покупающих человеческие души (у Кубы нет ни желания, ни лишних денег, чтобы кого-нибудь покупать, но на ее стороне правда и сила живого примера), он вдруг заговорил об ансамбле, который еще стоял на сцене за его спиной и жадно ловил каждое слово оратора.

— То, что вы нам сегодня показали, изумительно. Это лишний раз доказывает, что Революция высвобождает творческие силы, а сколько на Кубе природных талантов! Я понимаю, почему уговаривали меня товарищи — да и вы сами страстно об этом мечтаете! — утвердить ваш ансамбль как профессиональный. Вы стали бы работать еще больше, добились бы новых успехов, а Куба обрела бы свой ансамбль, которым она могла бы гордиться. Правильным ли было бы такое решение? Разумеется.

Но поставим вопрос: было бы такое решение самым разумным? Зачем вы приехали в Гавану из своих деревень? Вас привела Революция, чтобы вы учились, чтобы стали инструкторами культуры, а потом разъехались по кубинским деревням и учили там людей жить, чтобы вы сеяли семена культуры. Так что же правильнее? Чтобы триста человек остались тут или разъехались по тремстам деревням и приносили пользу не в одном, а в трехстах местах?

Чего нас лишит великолепный ансамбль, который уже существует? Он отнимет у нас триста деревень, а среди них и те, где вы родились, где напрасно будут ждать вашего приезда. А ведь в каждой из них вы найдете новых парней и девушек, приобщите их к искусству, заложите основы, и затем нам удастся создать не один, а десятки таких ансамблей! Это ясно?

При этих словах Фидель повернулся к молодежи и посмотрел им в глаза. Заманчивая идея профессионального ансамбля, до осуществления которой, казалось, рукой подать, владела всеми умами. Но человек, которого они любят всем сердцем, отверг ее как преждевременную.

— Еще раз скажите сами себе, кто мы такие! Мы — семена и должны посеять сами себя! И когда семя прорастет, оно даст в сто раз больше семян! Мы поклялись Революции, что пожертвуем собой, что сами себя посеем, что главное — это судьба Революции, а не личная судьба! Так идите и сами себя посейте...

Я видел по молодым лицам, как, пересилив душевное смятение, эти юноши пошли за Фиделем.

— Cumpliremos, Fidel! Patria o muerte! Мы так и сделаем, Фидель! Родина или смерть! — восторженно закричали исполнители, и вместе с ними поднялись и подхватили эти слова все красные береты в зрительном зале, молодые революционеры, будущие instructores de cultura и студенты «Городка Свободы», зал гремел от юношеского энтузиазма...

■

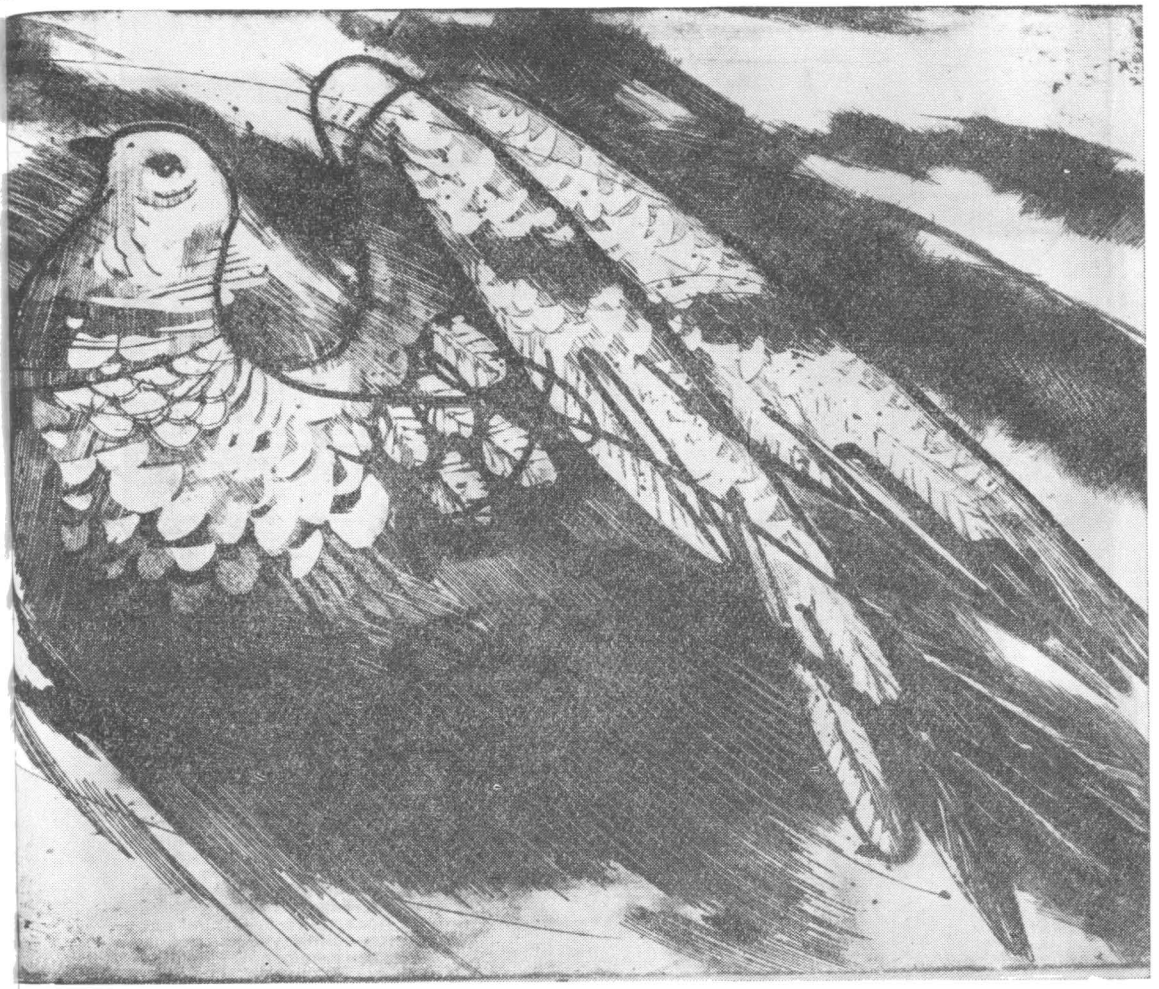
Когда в апреле 1961 года на траурном митинге в Гаване Фидель заявил, что кубинская революция — социалистическая, были удивлены даже его ближайшие друзья и соратники. Ведь Фидель намеревался об этом принципиальном и важном факте сообщить только Первого мая на демонстрации! Почему же он сказал это на четырнадцать дней раньше? Необходимо ли это было?

Разъяснил Фидель все очень просто. В отличие от многих других, полагавших, что вторжение наемников (когда оно не началось тотчас же после бомбардировки аэродромов) было, по-видимому, по каким-то причинам отложено боссами США, Кастро твердо был убежден: вторжение начнется в ближайшие дни или часы.

— Вторжение непременно будет, и может случиться так, что меня убьют. Поэтому слово «социализм» я произнес перед миллионом кубинцев. Я посеял его в народе, чтобы после моей смерти никто не мог сомневаться, что я думал и в каком направлении хотел развивать кубинскую революцию. Теперь миллион людей слышал, что мы хотим и будем строить социализм. Эта идея вошла в их сознание, и никто теперь не решится открыто отвергать ее, ставить под сомнение или извращать.

Прошу прощения за слишком смелое слово, но мне кажется, что в этом сказалась удивительная прозорливость Фиделя. Вторжение началось 17 апреля. Gusanos, оснащенные самым современным оружием Соединенных Штатов, доставленные кораблями Соединенных Штатов, прикрытые с моря флотом Соединенных Штатов, а с воздуха их самолетами, были разбиты на побережье Плайя-Хирон и Плайя-Ларга рабоче-крестьянской милицией. Каждый из этих простых кубинцев, поднявшихся против обученных убийц, одетых в специальные камуфляжные комбинезоны, каждый из этих тружеников нес в сердце слово «социализм», сражаясь за родину, которая будет социалистической.

Перевод с чешского Г. ЮНАКОВА



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

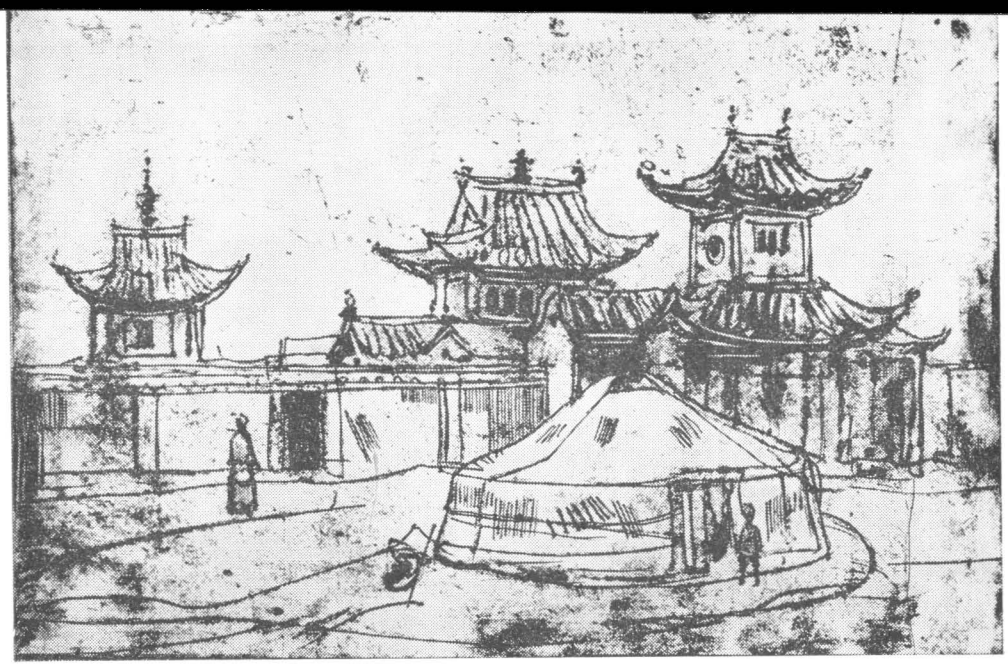
За рубежом

ЖУЖА ФЕХЕР

ИСКУССТВО КАРОЛА РАСЛЕРА

Он родился в Надьмароше, живописном городке, где Дунай, широко неся свои воды, огромной дугой поворачивает на запад. Венгерские художники в начале нашего века «открыли» этот уголок, и он стал для них неисчерпаемым источником вдохновения. Свет, меняющийся в зависимости от времени года, помогал им создавать ясные, радостные пейзажи. Глазу трудно было оторваться от переливающей бликами водной глади, от облаков, окутывающих вершины окрестных холмов в туманных сумерках, но лучшие из художников обращали свой взгляд прежде всего на людей, жителей придунайских сел, на поля, обрабатываемые тяжким трудом, на повседневную жизнь крестьян.

Здесь в маленьком домике, спрятавшемся в тени старых каштанов, и вырос Карол Раслер. Здесь он запечатлел в своих рисунках измученных непосильным трудом родителей, желтые пески дунайских берегов. Теперь, уже став художником, он каждый год приезжает сюда на лето. Раслер часто повторяет один и тот же мотив, с каждым эскизом все глубже проникая в суть изображаемого, все более скупыми и простыми средствами воссоздается образ, воспроизводится то, что видит и чувствует художник.



Из монгольского цикла

Иллюстрация

Из Надьмароша Раслер выезжает в промышленные районы северной Венгрии, ставшие вторым живительным источником его творчества. Так работает художник последние 6—7 лет после окончания учебы; сейчас он доцент кафедры графики в Высшей школе изобразительного искусства и руководитель Художественного совета по графике. Карол Раслер еще молод, но он уже создал значительные произведения, отмеченные премиями и наградами.

Мы являемся свидетелями возрождения и обновления искусства графики в народной Венгрии. За последние годы, пожалуй, ни один жанр искусства не обогатился в такой мере новыми выразительными средствами. Литография имеет у нас большие традиции, но не так давно еще создавались композиции, нередко чуждые этому жанру, сверх меры насыщенные разнообразными деталями. В иллюстрациях к книгам порой излишне строго придерживались литературного текста, а то и просто дублировали его. Сейчас положение решительно изменилось. Иллюстрации, передавая идею и настроение романа или стихотворения, углубляют и дополняют их содержание. В руках некоторых мастеров цветная гравюра на дереве и лино-

Портрет

леуме превратилась в картину — родились цветные офорты, печатаемые с нескольких пластин. Благодаря обновлению техники акватинты, фетрового пера с черной и цветной краской, художникам удается достигать поразительного эффекта.

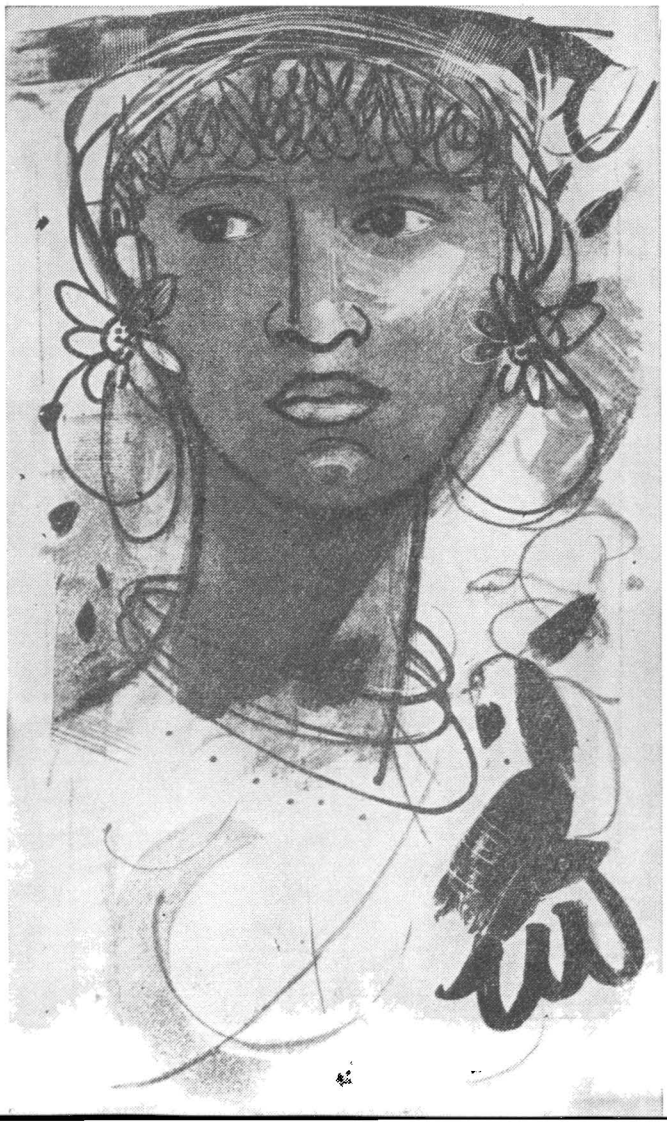
Все это обогащение техники должно служить средством для достижения большей выразительности. Однако бывает и так, что экспериментальная лихорадка мешает творчеству, и художник шаг за шагом отходит от реалистического изображения жизни, не замечая, как техника превращается из средства в самоцель.

Для Раслера характерно удивительное слияние формы и содержания. Совершенствование мастерства помогает ему более выразительно и обобщенно воспроизводить действительность.

Прошло много лет, но до сих пор в моей памяти сохранился плакат с изображением негра, стоящего за колючей проволокой. Его взгляд выражает одновременно и готовность к борьбе и горечь. Это — дипломная работа Раслера в ленинградской Академии худо-

Из монгольского цикла

Из монгольского цикла



Иллюстрация

жеств, где он учился около пяти лет. Там он не только приобрел технические навыки, но и стал подлинным художником - коммунистом: он понял, что его творчество будет лучше всего служить делу социализма, если он разъяснит великие цели, показав мир нового человека — созидателя.

Разносторонность, богатство оттенков, органичная связь изобразительных средств с содержанием проявились особенно ярко в серии офортов Раслера «Мир», созданной им на родине. В символичных композициях он умело передал тепло человеческого сердца, просто, при помощи нескольких уверенных штрихов, изобразил семью — молодую, красивую женщину с ребенком, выдвинув на первый план лица. И зрителям не нужно никаких «лобовых» призывов для того, чтобы понять, что хотел сказать художник: нельзя допустить, чтобы было нарушено это спокойствие, эта гармония, уверенность и красота,— надо отстоять мир! Таким образом, символика рождается у Раслера непосредственно из живой действительности. Ху-

Иллюстрация

дожник так группирует материал, так подчеркивает связь между человеком и окружающими его предметами, так раскрывает эмоциональное напряжение посредством композиции, что картины его не просто что-то сообщают с безличной объективностью, а передают с помощью избранного художником сюжета самые сокровенные его чувства. Еще один цикл рисунков родился в результате поездки в Монголию, которая обогатила Раслера новыми впечатлениями, новыми выразительными средствами. Раскаленный воздух бескрайних степей, грандиозное строительство, древние традиции — все это находит отражение в его пейзажах. Предметы и люди становятся более земными, чем в ранних работах, созданных художником на родине. В эскизах, сделанных в Монголии, Раслер показывает людей на фоне пейзажа в стиле, близком к монументальной живописи. Ему удается запечатлеть в обобщенной форме важнейшие черты харак-

Из монгольского цикла

Из цикла «Мир»

тера целого народа. По возвращении в Венгрию Раслер воплощает лучшие эскизы в литографии и офорты.

В этот период художник достиг больших успехов в создании реалистических, предметных графических произведений. В серии работ фетровым пером, названной «Деревья», Раслер, изображая отдельный куст или дерево, рисует в деталях крону или похожую на кружева листву, могучий, устремленный ввысь ствол, заполняя ими всю площадь рисунка. Но эти работы не декоративны; их цель — показать реальные деревья, прихотливую композицию, созданную самой природой.

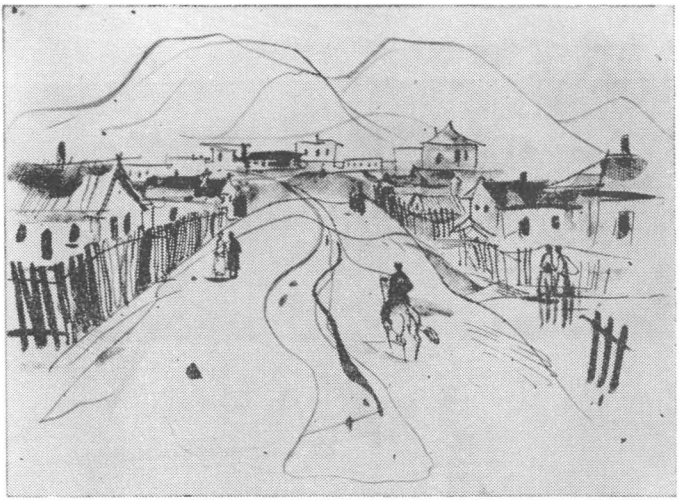
На машиностроительном заводе в Шамотарьяне, на шахтах и на открытых разработках фантазию Раслера волнует глубокое единство человека, пейзажа и машины; рядом с махинами терриконов он помещает для контраста нити подвесной канатной дороги. Его привлекает геометрическая красота машин, и он изображает рядом рабочего. Но рабочий — не придаток механизма, он прежде всего человек. Художник, бывая на заводах, много и охотно беседует с людьми, знакомится с их заботами, планами. Завод для него не место прогулки, а родной дом. Это помогает Раслеру проникать в мир нового человека.

Имя Раслера знакомо многим по иллюстрациям к популярным книгам. Почти для каждой из них он избирает свою особую технику, соответствующую содержанию. Особенно выделяются его иллюстрации к произведениям Джека Лондона, Пейтона и Стейнбека. Здесь рисунок не просто сопровождает текст, а помогает глубже его понять.

Я имела возможность изучить творческий метод Раслера во время его работы над иллюстрациями к «Молодой гвардии». Эта тема уже разрабатывалась многими художниками, и было нелегко создать нечто новое. Для каждой иллюстрации Раслер делал по 4—5 эскизов, всячески варьируя композицию. Например, тяжелая поступь вражеских войск передавалась при помощи особого композиционного ритма, в другом — были использованы цветовые пятна. Мощные черные пятна туши лишь иногда прерыва-

Портрет

Пейзаж



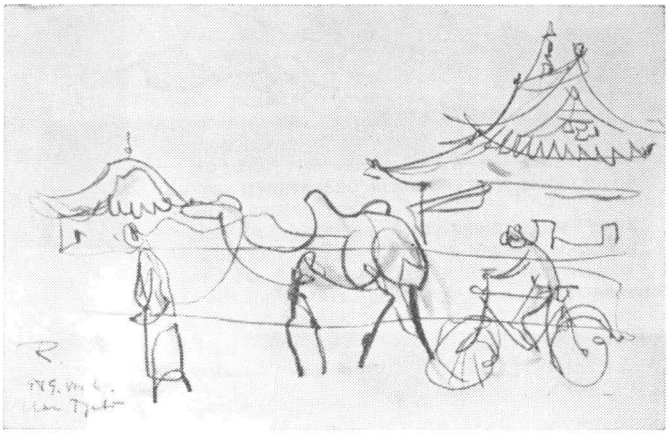
лись острыми и волнующими штрихами пера. Отбрасываемая на стену тень головы эсэсовского офицера, ведущего допрос, приобретала пугающие размеры, но эта черная тень теряла свою силу, ибо как ни мала, как ни хрупка казалась рядом с ней фигура девушки-комсомолки, ее превосходство и моральная сила были очевидны.

В своих последних работах Раслер уверенной рукой схватывает события, происходящие в мире. Его стиль стал проще, а сила воздействия рисунка возросла. Еще более расширилось и обогатилось содержание его произведений. Этот плодовитый художник исключительно много работает. Появились новые композиции, посвященные борьбе за мир.

Листая рисунки и гравюры Раслера, чувствуешь, как документально то, что он рассказал о шахтерах, гранильщиках, токарях или простых крестьянах. Почти везде они показаны в труде.

Художник, который всем своим существом связан с эпохой, всегда умеет найти самое главное, решающее, передовое в жизни общества. Опасно делать окончательные выводы о творчестве 37-летнего графика, но, говоря о Раслере, критик может спокойно идти на риск: ведь источник его произведений — правда повседневной жизни. Он будет еще не раз удивлять, но едва ли разочарует зрителей. Раслер умножает добрую славу венгерского искусства в международном творческом соревновании художников.

г. БУДАПЕШТ.

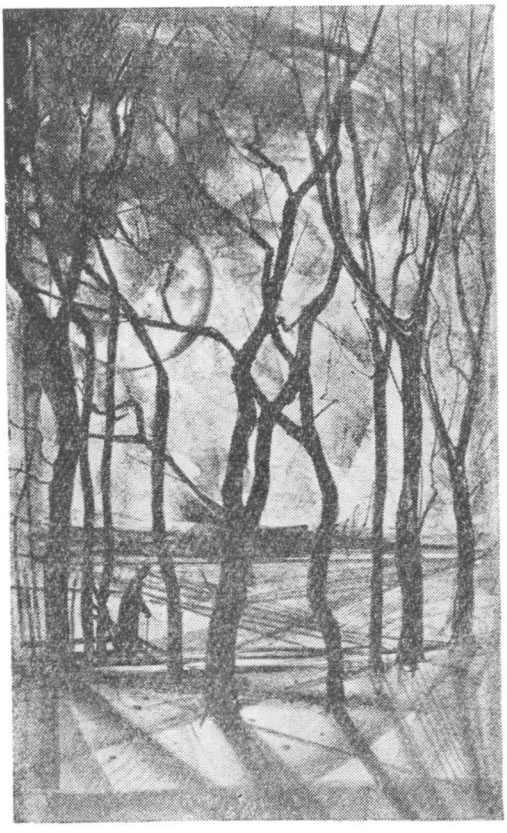


Из монгольского цикла

Девушка с цветком

Из монгольского цикла

Зимняя ночь



Пейзаж

В БОЕВОМ СТРОЮ

Д. МАРКОВ

К 75-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛА СТОЯНОВА

Когда беседуешь с Людмилом Стояновым, когда видишь, с какой активностью он участвует в современной общественной и литературной жизни, решительно забываешь о его возрасте. Я виделся с ним осенью 1962 года в Болгарии. Он был на всех встречах с читателями во время Праздника поэзии, выступал в Тырново с докладом; в Институте литературы болгарской Академии наук регулярно проводил заседания руководимой им секции русской и советской литературы; откликался в печати на события международной жизни; в связи с подготовкой к VIII съезду БКП выезжал в провинцию, где читал свои произведения перед многочисленной аудиторией. И, вернувшись, любовно рассказывал о подвигах простых тружеников, об их невиданно возросшей тяге к культуре...

Слушая эти рассказы Стоянова, невольно вспоминаешь одно из его стихотворений 30-х годов — «Не могу без людей». Оно прозвучало уже тогда как своеобразный итог поисков художника-гуманиста, за плечами которого сложный и весьма поучительный творческий путь.

Людмил Стоянов пришел в литературу в начале нашего века. Он был увлечен символизмом, и в этом духе написаны первые сборники его стихов. В них слышится и любовь к страждущему человеку, желание помочь ему и надрывное чувство бессилия, бесперспективности.

Но поэт стремился выйти из замкнутого круга, мучительно искал путь к социальной правде своего века.

Людмил Стоянов был участником двух балканских (1912—1913) и первой мировой войн. То, что он увидел и пережил, научило его понимать реальное течение жизни, он стал ближе к народу, выносившему все тяготы войн. Революционная борьба болгарских трудящихся, развернувшаяся под влиянием Октябрьской революции и вылившаяся в сентябре 1923 года в вооруженное антифашистское восстание, всколыхнула умы всей честной интеллигенции страны. Стоянов не остался холодным созерцателем происходивших событий; они потрясли его, помогли ему духовно прозреть, способствовали формированию новых идейно-эстетических позиций.

Деятельность Л. Стоянова 20—30-х годов — это деятельность писателя-антифашиста, стремящегося слить свои помыслы с интересами народных масс. В условиях жестокой фашистской реакции он смело поднял голос в защиту прав простого человека, гневно обличая фашизм. Вот почему многие издания, которые он редактировал, подвергались полицейскому запрету.

Стоянов — один из первых болгарских художников слова, живо откликнувшихся на известную статью М. Горького «С кем вы, «мастера культуры»?». В 1935 году он был участником Международного конгресса писателей в защиту культуры и мира, состоявшегося в Париже. Конгресс избрал его членом бюро Международной ассоциации писателей. Он достойно представлял передовую общественность своей страны и в дальнейшем.

«...Я стремлюсь вскрывать корни социального зла, ни на минуту не сомневаясь, что в этом нет никакого преступления,— писал он в 1935 году.— Не считаю преступлением

и то, что разочарованный настоящим, я обращаю взгляд на будущее. Меня интересует строительство современной России, то, что я считаю настолько же человечным, насколько и законным. Никому не может быть запрещено после долгой и мучительной кошмарной ночи ждать утреннюю зарю.

Поэзия Стоянова 20—30-х годов знаменует отход от концепции символизма. Поэт с горечью говорит о своих прежних заблуждениях, называя их «бесцельным скитанием в стране химер и ветряных мельниц» («Исповедь»). В прошлом его поиски добра были тщетными. Теперь он прославляет сближение с борющимся народом («С морем капля слилась... И радостная новая сила сердце и разум окрылила»). Перед поэзией выдвигаются новые задачи: она должна быть «оружием для тех... кто в громе кует свое великое будущее» («Песня»).

Чем шире становился идейный горизонт писателя, тем глубже проникал он в общественную жизнь. В 30-х годах Стояновым созданы большие художественные полотна. Повесть «Серебряная свадьба полковника Матова» (1933), изображавшая продажность, фальшь и лицемерие высшего болгарского офицерства, прозвучала как обвинительный акт против политических и моральных устоев буржуазного общества в целом. Не случайно она была опубликована в очень урезанном виде, со значительными цензурными изъятиями. Повесть «Холера» (1935) посвящена событиям, связанным со второй балканской войной 1913 г.— империалистической по своему характеру. Написанная в форме дневниковых записей участника войны, эта повесть реалистически воспроизводит ужасы кровавой бойни Но писатель не остановился на этом Он изобразил политическое пробуждение масс, поднимающихся на активный революционный протест против зачинщиков антинародных войн. В заключительной сцене повести (антивоенный митинг в Софии) мы видим, как прозревает народ.

Все сильнее звучали в творчестве Л. Стоянова героические мотивы. Писатель обращается к революционному прошлому своей страны. Он пишет беллетризованную биографию одного из видных деятелей национально-освободительного движения 70-х годов XIX в. Георгия Бенковского (1930), создает роман о крестьянском демократе Александре Стамболийском (1931), повесть «Мехмед Синап» (1936) о восстании крестьян против Оттоманской империи.

В глухую пору фашистской реакции, подвергаясь преследованиям, протестуя против насилия и произвола властей, Стоянов шел рука об руку со своим народом, отдавая ему свой талант, участвовал в его борьбе. Вполне понятно, что он встретил 9 сентября 1944 года как день, который, по его словам, «отомкнул души, открыл тюрьмы, развеял мрак и разлил свет» («Великий день»). Изображению революционной борьбы народа против монархофашизма писатель посвятил свой роман «На рассвете» (1945).

После народной революции 1944 г. Людмил Стоянов — один из видных и активных общественных и культурных деятелей Болгарии. Он становится членом коммунистической партии, несколько лет возглавляет Союз болгарских писателей, выступает с докладами и многочисленными статьями.

Долголетнее участие Стоянова в движении сторонников мира обогатило его творчество новыми мотивами. Поэтический сборник «За железным занавесом» (1953) — это стихи о мире и дружбе между народами, о борьбе за человеческое счастье. Они остро публицистичны в хорошем смысле слова, отличаются свободной разговорной интонацией. В них слышится голос большого гуманиста-трибуна, много видевшего, много узнавшего и пережившего.

«Мир рассекает черная борозда»,— говорит в одном стихотворении поэт, и эта мысль о противоположности двух миров — света и тьмы, войны и мирного труда — является лейтмотивом всей книги, на скромной обложке которой художник А. Поплилов нарисовал с одной стороны пучок спелых колосьев, с другой — темные линии штыков.

Стихи Стоянова дышат глубокой верой в борьбу народных масс. Из этой веры и родился поэтический образ «корабля дружбы», властно шествующего по свету («Корабль дружбы»); его движение так же естественно и неодолимо, как неодолим и естествен восход солнца. Суровый, возвышающей правдой звучат слова: «История не идет к хаосу. Человечество смелым порывом горит!» («Конгресс народов»).

Л. Стоянов — выдающийся современный писатель Болгарии. Широк круг его связей с национальными литературами мира Особенно значительны его контакты с русской литературой: он написал о ней так много статей, сделал так много переводов с русского на болгарский, что одно перечисление всего этого заняло бы не один десяток страниц. Среди переводов Стоянова — произведения Пушкина, Лермонтова. Гоголя, Достоевского, Тургенева, Л. Толстого, Горького, Маяковского, Брюсова, Н. Островского и других. Широко и вдохновенно поднята в его творчестве тема дружбы болгарского и русского народов. Советское правительство высоко оценило деятельность Л. Стоянова, как писателя, который неустанно знакомит болгарскую общественность с русской классической и советской литературой, как глашатая болгаро-советской дружбы, наградив его в 1948 г. орденом Трудового Красного Знамени.

Людмила Стоянова хорошо знают в нашей стране. Его произведения неоднократно издавались в переводе на русский, украинский и другие языки народов Советского Союза. Писатель много раз бывал нашим дорогим гостем.

Стоянов работает в последние годы над автобиографическим романом «Детство, юность и война». На страницах сегодняшних журналов и газет печатаются его новые стихи, очерки, статьи. У него большие творческие планы, и мы желаем ему успешного их воплощения. Он встречает свое 75-летие в боевом строю тех, кто сражается за мир и справедливость на земле.

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН

«СЕПТЕМВРИ» (Болгария)

№№ 1—10, 1962 г.

Орган Союза болгарских писателей—журнал «Септември» («Сентябрь») — «старейшина» болгарских литературно-художественных журналов. Он выходит пятнадцатый год, и почти все, что было примечательного в болгарской литературе этих лет, так или иначе нашло отражение на его страницах.

Среди прозаических произведений, опубликованных журналом в этом году, преобладают «малые формы» — рассказы, небольшие повести. Исключение составляют роман Р. Михайлова «Дни» (№№ 3, 4) о современном болгарском селе и роман В. Стаматова «Восточный ветер» (№ 10), начало которого публиковалось в 1960 году.

Время действия большей части рассказов и повестей — наши дни, в центре внимания многих прозаиков — современная молодежь, ее поиски и ошибки, приход ее к гражданскому совершеннолетию (Й. Радичков «Любовь среди нас», № 1; А. Михайлов «Сердце бьет тревогу», № 6; Л. Галина «Другой берег залива», № 8). О новом в сознании людей, о преодолении последствий культа личности рассказывает в своих очерках К. Тороманский (№№ 2, 8; очерк, помещенный в № 8, озаглавлен символически — «Колос выпрямляется»). Своеобразный жанр лирического репортажа о людях нашего времени создает Н. Стефанова — поэтесса, которая в последние годы часто обращается к прозе («Витражи», № 2; «Сырница-кардиограмма жизни», № 7). «Дневник без дат» М. Кукушева (№ 5) — одно из немногих произведений о прошлом — с документальной точностью рассказывает о трудном детстве крестьянского мальчика, пришедшего на заработки в Софию.

Под рубрикой «В борьбе за свободу» журнал регулярно публикует воспоминания участников героической борьбы болгарского народа с фашизмом — в этом году здесь напечатаны записки К. Видинского (№№ 2, 5, 6), В. Гиргинова (№ 8), Д. Дичкова (№ 9), А. Стоименова (№ 10).

Дополняют прозу журнала путевые заметки, нередко появляющиеся на его страницах (№№ 1, 7, 8, 9).

Назвать хотя бы имена поэтов, печатающихся в «Септември», в кратком обзоре не представляется возможным — десять номеров этого года знакомят читателей со стихотворениями и поэмами 44 болгарских поэтов всех поколений, а десятый номер журнала, в котором опубликованы материалы «Дня поэзии», посвящен поэзии почти целиком.

Обширные литературно-критические материалы журнала (постоянные рубрики «Теория и критика», «Наши писатели», «Литературное наследство», «Рецензии») охватывают широкий круг вопросов: здесь и отзывы о новых произведениях, и монографические статьи о творчестве болгарских писателей (статья Г. Константинова об известном современном новеллисте Илии Волене — в № 1, статья З. Петрова о поэте Валерии Петрове — в № 10), и статьи, в

какой-то мере обобщающие опыт современной болгарской литературы. Так, Т. Жечев в статье «Заметки о композиции нашего современного романа» (№ 5), широко толкуя понятие композиции — в ее связи с идейно-тематическим замыслом произведения и субъективным осмыслением сюжета и образов,— отмечает бедность композиционных решений современного болгарского романа, опасность ремесленной эксплуатации готовых приемов, разбирает случаи успешного преодоления сковывающих развитие романа «бытовых рамок» и неудачи писателей на этом пути. Т. Жечев выступает против бескрылого описательства, говорит о необходимости использовать все богатство литературы прошлого и призывает писателей к подлинному новаторству и творческой смелости. В статье «Место свободного стиха в болгарском стихосложении» (№ 6) А. Славов, рассматривая художественные функции ритма как способа передачи интонации, то есть ритма человеческих чувств и волевых импульсов, приходит к выводу, что лирический герой нашего времени, уверенный в человеческой и эстетической значимости своего внутреннего мира, стремится к свободному стиху как системе, способной наиболее непосредственно и полно выразить его эмоции. В статье А. Дунчева (№ 2) разрабатывается проблема положительного героя в ее связи с эстетическим идеалом писателя.

Несколько исследований посвящено творчеству поэтической молодежи (П. Данчев — «Заметки о поэзии молодых», № 6; З. Генов — «Рифма у самых молодых», № 4), в двух номерах журнала (№№ 3, 4) обсуждается вопрос о преподавании языка и литературы в школе.

Пятый номер журнала за этот год открывает новая рубрика — «Наш диалог». Начиная серию творческих бесед о проблемах современной литературы по основным ее жанрам — поэзия, рассказ, роман, драма,— редакция предложила высказаться в каждом номере трем-четырем писателям, представляющим разные жанры и творческие манеры, принадлежащим к разным поколениям. Новеллистов Илию Волена, Богомила Райнова, Йордана Радичкова (№ 5) представитель редакции спрашивал, наблюдают ли они оживление этого жанра в последние годы, не кажется ли им, что у читателей роман пользуется бóльшим успехом, чем малые формы; как рассматривают эти писатели соотношение традиций и новаторства, считают ли они, что рассказ будет развиваться скорее как рассказ «состояния», чем как рассказ «случая»; как они относятся к так называемой «лирической прозе» и т. д.

В № 7 на вопросы о современной поэзии отвечают Христо Радевский, Веселин Ханчев, Владимир Башев. Беседа коснулась таких тем, как связь поэта и читателей, отражение поэзией проблем современности, интеллектуализм в поэзии, традиции и новаторство, свободный стих и др.

Отвечая на вопросы редакции, романисты Димитр Талев, Стоян Даскалов, Драгомир Асенов, Георгий Марков (№ 9) высказали свои соображения о том, как влияет новая действительность на изобразительные средства романа, о соотношении в романе сюжетно-описательного и интеллектуального начал, об изменениях читательских вкусов, о романах молодых, о взаимосвязях национальных литератур, о языке современного романа. Особый интерес вызвали вопросы, касающиеся традиции и новаторства,— это «сквозная тема» всего «диалога».

Ответы писателей, свидетельствуя о высоких требованиях к литературе и общем для всех понимании необходимости живой связи литературы с современностью, в то же время очень по-разному трактуют многие из поставленных вопросов. Разговор получается интересным, острым, по-настоящему творческим. Так, к примеру, если И. Волен считает лирическую прозу прозой обедненной («лирический беллетрист — как лирический актер, он всегда играет только себя»), Йордан Радичков говорит о том, что лирическая проза возникает как отклик на определенные явления в жизни народа, она — «эхо нежности, звонкости, мягкости и красоты жизни»; если Христо Радевский полагает, что свободный стих будет развиваться наряду с традиционным, не вытесняя его, молодой поэт Владимир Башев предсказывает победу свободному стиху — правда, в далеком будущем; Стоян Даскалов предрекает неудачу роману «интеллектуального начала», считая, что он противоречит национальной традиции, а Драгомир Асенов, наоборот, приветствует появление таких романов, призывая в то же время к более широкому подходу к исканиям в области жанров и форм.

О создании творческой атмосферы в литературе, об успешном преодолении догматизма и сектантства, методов периода культа личности, о широких просторах, открывшихся перед писателями, и о долге писателей «помогать нашей жизни своей верой, совестью, сердцем и разумом» говорят статьи и выступления, посвященные общественно-политическим событиям — XXII съезду КПСС (№ 3), Восьмому съезду Болгарской коммунистической партии (№№ 9, 10).

Завершая обзор журнала, следует отметить также постоянное внимание его к советской литературе. Советские авторы выступают на страницах всех его номеров: в 1962 году опубликованы переводы из Маяковского, Кедрина, Асеева, Межелайтиса, Евтушенко, Евсеевой и многих других, в № 6 напечатана «Болгарская рапсодия» П. Антокольского, навеянная болгарскими впечатлениями. В № 3 помещена статья Ч. Добрева о современной советской драматургии, в № 10 — «Письма из Москвы» Н. Николова, рассказывающие о новых именах и новых явлениях в советской литературе.

Н. ГЛЕН

«СЛОВЕНСКЕ ПОГЛЯДЫ» (Чехословакия)

Slovenské pohľady

№№ 1—11, 1962 г.

Ежемесячный литературно-художественный журнал Союза словацких писателей «Словенске погляды» издается в Братиславе. Он был основан еще в 1846 году в период национального возрождения Словакии, в период подъема борьбы за новый словацкий литературный язык и национальную литературу. Первым его редактором стал Йозеф Милослав Гурбан, один из видных представителей молодой словацкой интеллигенции того времени. Журнал имел тогда научный, преимущественно литературно-исторический и литературно-критический характер.

Лицо журнала за время его существования, естественно, претерпело большие изменения, но лучшие свои традиции он пронес через все годы.

Трудно сказать, какому жанру в «Словенских поглядах» уделяется наибольшее внимание. Здесь равно представлены и проза, и поэзия, и критика, и публицистика. Уже по размещению материала на страницах журнала можно увидеть, что в нем не придерживаются привычной схемы: публицистика чередуется здесь со стихами, повести с рецензиями и рассказами, репортажи с дискуссионными статьями. Интересы журнала очень широки и разнообразны.

Первый номер «Словенских поглядов» за 1962 год открывается статьей Вильяма Шалговича «Все для блага человека» — о претворении в жизнь идей XX и XXII съездов КПСС в Советском Союзе и странах лагеря социализма. Очерк Романа Калиского «Большая ревизия» (№ 1) рассказывает о жизни сельскохозяйственного кооператива села Клатова — Нова Вес. Иржи Земан в статье «Кибернетика и эстетика» (№ 2), Мирослав Сметана в отрывке из книги «Вопросительные знаки астронавтики» (№ 7) и Карол Минарик в статье «Современная наука и общество» (№ 7) освещают новые вопросы современной науки, ее связь с жизнью, искусством и культурой. В статье «О чем они мечтают?» молодая словацкая писательница Ярослава Блажкова подводит итоги анкеты, проведенной редакцией журнала среди 17—20-тилетних. «Как мы представляем себе жизнь при коммунизме?» — с таким вопросом редакция обратилась к ученикам 8—9 классов сельскохозяйственных школ. Ответы учащихся и комментарии к ним Владимира Минача и других писателей напечатаны в № 11. Репортаж Миро Прохазки «Разделенный город» (№ 2) является отрывком из книги, которую он пишет о сегодняшнем Берлине.

Журнал откликается на важнейшие события литературной жизни Словакии. На его страницах дана оценка циклу романов Владимира Минача «Долгое время ожидания», «Живые и мертвые» и «Колокола возвещают день» (Юлиус Ноге — «Философия действия и движения в творчестве Минача», № 1), очеркам Романа Калиского «Добрый путь» и Либуше Миначовой «Грязь на дороге» (№ 4), книгам Ярославы Блажковой «Нейлоновый месяц», Антона Гикиша «Сон приходит на станцию» и Петера Балги «Дом для живых» (рецензии Йозефа Кота в №№ 1, 4, 9). Блажкова, Гикиш и Балга — представители молодого поколения в словацкой прозе. Названные книги — их дебюты. Наиболее зрелой представляется Й. Коту книга рассказов П. Балги.

О чешской поэзии 1961 года пишет Ян Трефулка (№ 4). Отмечая появление новых имен (в частности, Йозефа Ганзлика, Карела Томашека и др.), он подчеркивает стремление поэтов глубоко раскрыть внутренний мир человека социалистического общества. Словацкий критик Милан Гамада в статье «Поэзия — это соль жизни» (№ 2) дает оценку словацкой поэзии 1961 года. Среди лучших поэтических произведений он называет поэму Войтеха Мигалика «Восставший Иов», книги Милана Лайчиака и Яна Костры, сборники стихотворений молодых словацких поэтов—Мирослава Валека, Яна Стахо и Любомира Фельдека. Эти три сборника, в особенности книга М. Валека «Притяжение», знаменуют, по мнению М. Гамады, новый этап в развитии словацкой поэзии. Творчеству М. Валека посвящены также статьи Бржетислава Тругларжа (№ 3) и Йозефа Бжоха (№ 5).

Словацкая поэзия представлена на страницах журнала лирикой Яна Костры (№ 1), сатирическими «Эпитафиями» Войтеха Мигалика (№ 1), стихотворениями Стефана Жароого (№ 3), Лацо Новомеского (№ 4, 11) и др. Чешская — стихотворениями Карела Шиктанца (№ 1), Мирослава Голуба (№ 2), Власты Дворжачковой (№ 4), Иржи Пишторы (№ 6), Йозефа Ганзлика (№ 10).

«Словенске погляды» выступают также и по вопросам развития прозы. Статьями Юлиуса Ноге («Проблемы прозы», № 4) и Иржи Гаека («Консерватизм, современность или же модернизм?» № 5) редакция журнала открыла дискуссию об актуальных проблемах чешской и словацкой прозы. Статья И. Гаека поднимает вопросы новаторства в области формы, утверждая, что механическое заимствование формальных средств из западной литературы всегда приводило к неудачам. В то же время Гаек выступает и против догматических ограничений, препятствующих поиску новых изобразительных средств, ибо такие ограниче-

ния обедняют литературу социалистического реализма. «Хорошими и допустимыми являются все формы, которые позволяют выразить новое содержание социалистической жизни»,— утверждает Гаек.

1 июня 1962 года по инициативе редакций журналов «Словенске погляды» и «Пламен» в Будмержицах был проведен симпозиум о прозе, на котором дискуссия по основным вопросам развития чешской и словацкой прозы развернулась еще более широко. Журнал публикует вступительное слово на симпозиуме словацкого критика Павола Штевчека «Что нужно нашей прозе?» (№ 8), сокращенное изложение доклада Иржи Гаека и выступления многочисленных участников дискуссии, среди которых известные чешские и словацкие писатели и критики Иван Кржиж, Ян Трефулка, Бржетислав Тругларж, Ярослав Путик, Иван Скала, Милан Юнгман, Ярослава Блажкова, Антон Гикиш и другие (№ 9).

П. Штевчек в своем вступительном слове говорил о том, что прозе необходим «боевой, положительный идеал социалистической жизни». На этом вопросе сосредоточилось основное внимание выступивших в дискуссии писателей и критиков.

На страницах журнала развернулась также дискуссия о словацком театре, в которой приняли участие театральные критики и работники театров Словакии.

Как обычно, в этом году «Словенске погляды» публикуют новые произведения словацких прозаиков. Здесь и психологическая повесть Доминика Татарки «Плетеные кресла» (№№ 2—6) и его же рассказ «Наша бригада» — о жизни и работе бригады социалистического труда (№ 11), и новелла Ивана Буковчана «Полночь у зоологического сада» (№№ 1, 2), и рассказы Йозефа Кота «Такой дождь» (№ 3), Ярославы Блажковой «Маленькая галерея младшего брата» (№ 5), Антона Гикиша «Спецодежда шьется не из тафты» (№ 7) и др. Многие из этих произведений посвящены проблемам, волнующим сегодня молодежь Чехословакии.

«Словенске погляды» знакомят своих читателей с наследием выдающихся словацких писателей разных эпох. В четвертом номере, например, можно прочитать сатирический рассказ крупнейшего представителя критического реализма в словацкой литературе XX века Янко Есенского «Госпожа генералиссимус». Фрагмент неизвестного рассказа одного из основоположников словацкой национальной поэзии Андрея Сладковича «Почта» напечатан в пятом номере журнала.

Большое место в «Словенских поглядах» занимает зарубежная литература. Правда, в основном здесь можно познакомиться с рассказами, крупные произведения представлены, как правило, в отрывках. Интересно, что журнал печатает не только произведения современных писателей, таких, как Фридрих Дюрренматт (отрывки из пьесы «Франк пятый», № 2), Альберто Моравиа (отрывок из романа «Скука», № 8), Назым Хикмет, Э. Хемингуэй и Иво Андрич (№ 9), но и переводы из мировой классики (Калидас, № 1; Микеланджело Буонаротти, № 4; Саади, № 5 и др.).

Вопросы зарубежной литературы освещаются и во многих опубликованных в журнале литературно-критических статьях, в частности в статье польского критика Ст. Жулкевского «Путь Арагона» — об одноименной книге Роже Гароди (№ 1), в статье М. Грегоровой «Художник и общество» — о новых романах Альфреда Керна и Грэхема Грина (№ 1), в рецензии Оскара Чепана на книгу В. Днепрова «Проблемы реализма» (№ 3).

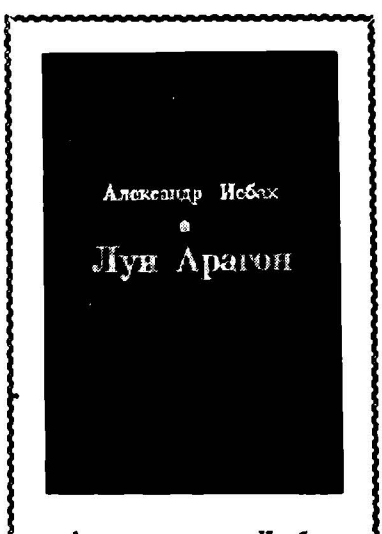
Советская литература представлена рассказами Юрия Казакова «Осень в дубовых лесах» (№ 5) и Э. Казакевича «Враги» (№ 11), отрывком из романа Г. Владимова «Большая руда» (№ 7), стихами Э. Межелайтиса, Л. Мартынова, А. Вознесенского, главами из книги И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (№ 9, 10), и др.

В журнале есть постоянная рубрика — «Взгляды на жизнь, культуру и искусство». В этом разделе публикуются короткие рецензии на произведения чешских, словацких и зарубежных писателей, информационные заметки о наиболее интересных и важных событиях общественной и культурной жизни мира.

И в заключение обзора — несколько слов о художественном оформлении журнала, которое за последние два-три года очень изменилось, стало живее, разнообразнее. В «Словенских поглядах» широко использована графика словацких и зарубежных художников, таких как Людовит Фулла (№ 2), Винцент Гложник (№ 4), Йозеф Костка (№ 5), Пабло Пикассо (№ 6), Ладислав Гудерна (№ 9). Широко представлена и художественная фотография. Разнообразно и красочно оформление обложки журнала, для которого также используется графика и художественная фотография.

С. ПАРХОМОВСКАЯ

СРЕДИ КНИГ



Александр Исбах. Луи Арагон. Жизнь и творчество. Москва, Советский писатель, 1962. 339 стр.

ИЗДАНО В СССР

КНИГА ОБ АРАГОНЕ

Работа Александра Исбаха задумана как общедоступный очерк творчества писателя и вместе с тем как литературный портрет, основанный на личных впечатлениях и воспоминаниях. А. Исбах стремится раскрыть новаторский характер творчества Арагона и донести до нас обаяние живой личности писателя.

...Передо мной книга, ставшая библиографической редкостью,— стенографический отчет второй Международной конференции революционных писателей. Она состоялась в Харькове в ноябре 1930 г. — ее делегаты вместе с советским народом праздновали 13-ю годовщину Октябрьской революции. Со страниц старой книги глядят фотографии: благородный профиль наркома просвещения Украины Н. А. Скрыпника, добродушная улыбка Матэ Залки, сурово сосредоточенный взгляд А. С. Серафимовича. Тут и молодой Арагон, и молодой Исбах.

Речь Арагона на Харьковской конференции отчасти отразила широко распространенные в то время наивные, схематические представления о путях развития «пролетарской литературы». Но это была глубоко искренняя речь писателя, прочно связавшего себя с революционным авангардом рабочего класса. Уже в этой речи прозвучал тезис, много раз отстаивавшийся Арагоном и впо-

следствии, вплоть до наших дней: в каждой стране передовая литература вырастает в своих, особых национальных условиях. Своеобразие французских условий, отметил Арагон, надо учитывать и при оценке такого явления, как сюрреализм. Он недвусмысленно заявил: «Мы здесь присутствуем не как сюрреалисты, а как коммунисты».

Сложные отношения молодого Арагона с сюрреализмом иногда озадачивают исследователей. А. Исбах, опираясь на высказывания самого Арагона, верно подходит к этой нелегкой проблеме. Ложность творческих принципов сюрреализма очевидна Но можно понять субъективные мотивы, в силу которых к этому течению в свое время примкнули такие большие поэты, как Арагон или Элюар во Франции, Незвал в Чехословакии. «...При всей запутанности своих позиций, при всей анархистской браваде сюрреалисты пытались в первые послевоенные годы по-своему противиться растлевающему влиянию буржуазного конформизма», — пишет Исбах. У Арагона и его поэтических соратников в ту пору возникало «трагическое противоречие между искренним желанием переделать старый мир и неумением найти настоящие средства для этой переделки».

Важное место в литературной деятельности зрелого Арагона заняла полемика с декадентскими школами, включая и экзистенциализм и сюрреализм,— в книге Исбаха показано, насколько упорной и сокрушительной была эта полемика. Вместе с тем Арагон-критик относится в высшей степени бережно к наследию тех крупных художников новейшего времени, которые — пусть даже они и были затронуты модернизмом — были искренни в своем протесте против буржуазной пошлости и лжи и по-своему обогатили национальную культуру. А Исбах приводит слова Арагона, сказанные в личной беседе: «Не будь Аполлинера — не существовало бы ни поэзии Элюара, ни моей собственной»,— и тут же комментирует эти слова: «Арагон всегда высоко ценил неприятие Аполлинером буржуазного мира, призывы к его преобразованию. Его восхищала богатая инструментовка стиха Аполлинера, стремление приблизить стих к современности, к языку улицы».

Одним из первых среди писателей Запада Арагон поддержал принципы социалистического реализма, выдвинутые советской литературой, и стал горячим их пропагандистом. На примере Арагона А. Исбах стремится показать эстетически притягательную силу социалистического реализма для лучших художников Запада. В новом творческом методе Арагон сумел увидеть не свод правил, регламентирующих искусство, а основу для больших художнических дерзаний. Передовые романисты наших дней вслед за классиками мировой литературы отстаивают познавательную мощь своего искусства; Арагон, ссылаясь на Толстого и Роллана, утверждает: «Роман есть прежде всего попытка понять людей». Однако романист XX века, живущий в эпоху грандиозных исторических преобразований, не может ограничиться чисто познавательными задачами. По верной мысли Арагона, именно писатели социалистического реализма могут быть в наиболее полном смысле писателями XX века, писателями современными. В наши дни «роман должен быть средством для того, чтобы переделать мир, который описываешь, а ничего нельзя переделать без энтузиазма. Обыкновенной констатации, какой бы точной она ни была, недостаточно для созидания. Для этого нужно сочетать великие идеи с чувствами».

Именно с этих позиций А. Исбах разбирает основные произведения Арагона, прослеживает его эволюцию — от ранних стихов до романа «Страстная неделя». Стремление участвовать силою творчества в революционной переделке мира — главное, что движет художником на разных этапах его развития, и главное, что привлекает внимание критика к нему. Можно сказать, что А. Исбах тоже вносит в свою работу тот «энтузиазм», который Арагон считает необходимым качеством современного передового литератора. А. Исбах предельно далек от академического бесстрастия, и это, конечно, очень хорошо. Но думается, что автор книги мог бы, не в ущерб эмоциональному ее тону, более обстоятельно, исследовательски осветить многие важные стороны творчества Арагона. У Исбаха часто возникают интересные мысли и наблюдения — но они порой лишь намечены, не доведены до конца.

Разбирая прозу Арагона, А. Исбах сопоставляет роман «Богатые кварталы» с известными произведениями французских классиков. «В облике города Сериана мы узнаем и знакомый нам Ионвиль Флобера и родной город господина Бержере»... «Арман Барбентан — молодой интеллигент, который в итоге нелегких поисков приходит в революционное рабочее движение,— представляет как бы звено в «истории молодого человека» нашего столетия: он следует за Жаком из «Семьи Тибо», за Марком Ривьером из «Очарованной души». Здесь у А. Исбаха намечаются линии конкретных сопоставлений больших романов Арагона с классическим французским романом. Эти сопоставления плодотворны: чем отчетливее видишь следы традиций, тем яснее можно установить новаторство писателя. Но эти сопоставления даны лишь мимоходом. Уже в «Богатых кварталах» Арагон вводит лирико-публицистические отступления, с помощью которых действие перебрасывается в будущее: это связывает одну из первых реалистических книг писателя, вышедшую свыше двух десятилетий назад, с интересным, новаторским произведением «Страстная неделя» (в котором буржуазные критики пытаются обнаружить некий пересмотр творческих позиций писателя-коммуниста!). Но и здесь критик ограничивается отдельными отрывочными наблюдениями.

А. Исбах верно отмечает стилистическую многоплановость романа-эпопеи «Коммунисты»: тут и страницы едкой сатиры, и объективная по тону хроника военных событий,

и глубокие психологические портреты. В эпической неторопливости этого большого повествования «много подлинного лиризма, столь свойственного поэзии Арагона». Это очень примечательно. Проза Арагона — проза особого рода, уже хотя бы потому, что она принадлежит поэту. Было бы очень любопытно исследовать поглубже, как осуществляется тут взаимопроникновение эпичности и лиризма. И вообще — о своеобразии мастерства Арагона, о его творческом почерке можно было бы сказать значительно больше, чем сказано А. Исбахом.

Связи Арагона с советской культурой занимают в книге А. Исбаха немало места. Арагон подходит к творчеству советских писателей, как просвещенный и взыскательный друг. В книге «Советские литературы», необычайно щедрой по мысли и материалу, впервые раскрывшей перед французской публикой многонациональные богатства нашего искусства, Арагон не только пропагандирует произведения писателей, но и включается в наши литературные дискуссии, полемизирует с носителями устарелых, упрощенческих взглядов, высказывается по нерешенным вопросам эстетики социалистического реализма. Нередко деятельность Арагона как знатока советской литературы становится стимулом к творческому росту для тех молодых писателей, которым он помогает выйти на международную арену; Исбах показывает это, приводя взволнованное письмо одаренного киргизского прозаика Чингиза Айтматова, повесть которого «Джамиля» переведена Арагоном на французский язык.

На протяжении всей книги А. Исбах широко оперирует поэтическими текстами Арагона; обычно он отбирает верные, тщательно выполненные переводы; он особо отмечает, ссылаясь на мнение самого Арагона, удачу Маргариты Алигер как переводчицы «Неоконченного романа».

Все же думается, что проблема «русского Арагона» заслуживала бы большего внимания. Советские переводчики накопили тут немалый опыт, который требует анализа и обобщения. Иной раз требует и критики. Обширные фрагменты из поэмы «Глаза и память», приводимые А. Исбахом в переводе С. Северцева, приподнятостью лексики и интонаций напоминают скорей Гюго, чем Арагона. «Грозой чреватый час», «подхлестывать бичом сброд обветшалых фраз», «это слово — призыв, что к победам весь мир поведет»... и в этих, и во многих других строчках из русских переводов Арагона есть нечто неумолимо старомодное и вряд ли свойственное стилю нашего французского современника.

В иных случаях интересно бы сравнить различные переводы одного и того же стихотворения. Многозначный смысл строки «Mon parti m'a rendu les couleurs de la France» по-разному передается переводчиками: «Мне партия дала французский флаг, три цвета», «Вернула партия мне Франции цвета», «Мне партия моя блеск Франции открыла» — который из трех вариантов лучше? Я очень ценю вдумчивое и смелое переводческое дарование Михаила Кудинова, но все же думаю, что «Прелюдия Французской зари» передана по-русски П. Антокольским значительно лучше: те строфы этого стихотворения, которые цитирует в переводе М. Кудинова А. Исбах на стр. 113, построены несколько громоздко, отдельные строчки звучат вяло («У врага отобрать *ведь* оружие можно...», «Днем Вальми каждый день быть и может и должен» — это не соответствует *энергическому* ритму подлинника). Серьезный разговор о переводах Арагона пока еще не состоялся — а он очень нужен.

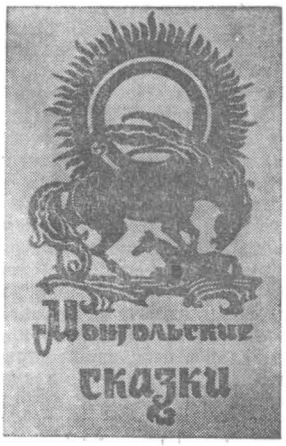
Вправе ли автор критической монографии спорить с предметом своего исследования? Думается, что не только вправе, но и должен. Иоганнес Бехер в свое время справедливо писал, что для художника, в сущности, обидно, когда «на его долю выпадают одни только «чествования» и никакой критики»... «Какая крупная личность,— спрашивает Бехер,— может не быть спорным явлением? Когда о явлении не спорят или перестали спорить, тогда это «бесспорное явление» принадлежит уже прошлому, склепу, музею, хотя оно и преподносится как классика в противовес всеобщему равнодушию, окружающему его». Нет, к чести Арагона, он не принадлежит к разряду «бесспорных явлений»!

Конечно, хорошо, что А. Исбах не делает беглых и бездоказательных замечаний об «ошибках» или «противоречиях» Арагона, как иногда позволяют себе молодые советские литературоведы. Но ведь вся творческая биография Арагона насыщена борьбой, экспериментами, исканиями. Бывали у него, наряду с большими художественными победами, и просчеты, и неполные удачи, и такие достижения, которые сопровождались потерями. На наш взгляд, книга А. Исбаха выиграла бы, если бы творческое восхождение Арагона выглядело в ней менее прямолинейным и если бы трудности пути большого писателя-новатора были оттенены яснее.

Книга А. Исбаха содержит уникальный по ценности фактический материал: записи бесед автора с Арагоном, состоявшиеся в разные годы и по разным поводам. Иногда даже краткий пересказ этих бесед очень интересно читать. Но подчас и тут приходится досадовать по поводу беглости авторского изложения.

Можно придраться и к отдельным формулировкам А. Исбаха — они не всегда точны, и к стилю изложения — он неровен. Но следует прежде всего порадоваться, что советский читатель получил содержательную, живо и страстно написанную, богатую фактами книгу об одном из самых талантливых революционных писателей современности.

Т. МОТЫЛЕВА



Монгольские сказки. Перевод с монгольского. Составление и послесловие Г. Михайлова. Москва, Гослитиздат, 1962. 239 стр.

МОНГОЛИЯ — ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА...

Так бывает в кино: перед вами на экране обыкновенная страница печатного текста, и вдруг сквозь нее начинают все более явственно проступать какие-то картины и люди.

Этой же силой для меня, да и для всех, кто побывал в Монголии, обладают книги, в которых собраны лучшие народные сказки и лучшие стихи, созданные поэтами республики.

Многие диковинные фантазии сказочников производят такое впечатление, будто перед вами ожили и заговорили причудливые фигуры зверей, птиц и каких-то непонятных существ, глядящих на вас с черепичных покрытий стен и храмов. Верблюд, достающий головой до звезд, а брюхом до центра земли; таинственный Мангас, подобно библейскому Голиафу поражаемый отважным героем; богатырь, перескакивающий на коне через кипящее море и одним дуновением тушащий пожар,— кажется, что, рождая эти и другие, еще более удивительные образы, народная фантазия победоносно соперничала с природой, которая населила горы и ущелья Монголии странными скалами, словно вышедшими из рук искусного камнереза, соперничала с миражами, когда мирно шагающий человек кажется вам великаном.

Но, может быть, вам также покажется фантастичным и невероятным, что дочь бедняка отвечает повстречавшемуся ей хану прекрасными стихами? Вы ошибетесь. Не в сказке, а в самой взаправдашней юрте каких-нибудь три-четыре месяца назад услышал я, как скромный учетчик приветствовал гостей стихами — не вычитанными из книг, а сложенными тут же. И ребенок, спокойно сосавший грудь, вдруг посмотрел на него с таким видом, будто хотел по достоинству оценить этот экспромт.

В шкафчике стояла антология монгольской поэзии — стояла как вещь, которая может потребоваться ежечасно, как хлеб, как кувшин с водой. И я подумал: теперь, услышав, что здешние дети впитывают любовь к стихам с молоком матери, я не почувствую в этом выражении неестественности и напыщенности. И не прозвучит больше преувеличением сказанное Цэвэгмидийном Гайтавом в стихотворении «Судьба моей родины»:

От костей
без ножа
мяса не отдерешь.
От поэзии
не отлучишь молодежь.
(Перевод В. Микушевича)

И когда в день поэзии дети приносят цветы к высящемуся в Улан-Баторе памятнику первого поэта народной Монголии и основателя ее современной литературы Дашдоржийна Нацагдоржа, это не просто торжественный ритуал. Это — благодарность человеку, сложившему стихи, которые здесь знают сызмальства:

Мне так мила и сердцу так нужна
Монголия — прекрасная страна.
(«Моя родина». Перевод С. Болотина)

Это благодарность человеку, который своим стихом, быть может, спас жизнь не одному из этих малышей, ибо дерзко выступил про-

Поэзия народной Монголии. Перевод с монгольского. Вступительная статья Евг. Долматовского. Москва, Гослитиздат, 1961. 311 стр.

тив вековечных врачевателей-лам, воспевая медицину и настоящих врачей. (И я, кстати сказать, могу только пожалеть, что в новом, втором издании сборника монгольской поэзии об этой стороне деятельности автора можно узнать только из предисловия Евг. Долматовского: несколько стихотворений, где поэт, подобно своему русскому собрату, «вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката», теперь в книгу не входят.)

Подобно пращурам, мой трудовой народ
Поныне на лугах пасет свой тучный
скот,—

говорил Нацагдорж в знаменитом стихотворении «Моя родина». Но это не значит, что сегодняшняя жизнь страны походит на ту, которой жили пращуры. Нет, не только в самой столице, в Улан-Баторе,— где вытягиваются новые стройные проспекты и подъемный кран, по выражению Гайтава, как удачливый рыболов, одну за другой, словно жирных рыбин, таскает бетонные плиты,— чувствуется ритм новой жизни.

Попав в одно из коллективных хозяйств, не так давно отпраздновавшее свое пятилетие, мы были поражены быстрыми темпами его развития и замечательными перспективами, о которых нам рассказали. А стук топоров, доносившийся с лесов строящегося клуба, ребячий гомон возле школьного интерната и треск мотоциклов, отправлявшихся в далекий путь на фермы, служили очень убедительным аккомпанементом к якобы сухим цифровым выкладкам.

Вряд ли пращуры нынешних монголов гордились своей профессией скотоводов. Всесильные чиновники и хитроумные ламы сделали все, чтобы поселить в людских душах страх, покорность, сознание собственной ничтожности. Сегодня монгольский скотовод чувствует себя создателем народного богатства и, попав в столичный многоэтажный универмаг, придирчиво рассматривает расцветку одеял, тканей, пледов, ощупывает ботинки и сапоги: ну-ка, мол, посмотрим, что сделали на камвольном и обувном комбинате — из нашей продукции!

Радостно отмечая каждую новую веху на своем пути, страна идет вперед. Она кажется мне похожей на ткачиху камвольного комбината, которая, завершая смену, горделиво расписывается на полотне: там, откуда начнет работу завтрашняя смена. Это не просто учет. Это больше походит на флаг, водружаемый на еще одной взятой вершине.

И когда я читаю страницы книги «Поэзия народной Монголии», мне кажется, что передо мною — на миг переставшее безостановочно ползти из-под станка полотно, на котором на этот раз стоят автографы поэтов, чьи лица сразу же представляются мне.

Вот лукавое лицо Чойжилына Чимида, таким оно мне запомнилось, когда на вечере фабричной молодежи пели песню на его слова, а он один безмолвствовал с хитрым видом человека, сделавшего свое дело: «А вы уж там как хотите, хотите — пойте, хотите — нет...»

Вот задумчивый Бэгзийн Явуухулан, для которого степь пахнет, словно волосы любимой, а ветер похож на усердного коня, тянущего повозку-тучу с драгоценной поклажей — дождем.

Вот Мишигийн Цэдэндорж, с увлечением работающий над переводами русской и мировой поэзии, упрашивающий прислать ему новые стихотворные сборники, чтобы задуманная им антология была как можно полнее и современнее.

И, от души желая, чтобы этот благородный труд завершился успехом, я с радостью думаю, что по качеству перевода «Поэзия народной Монголии» в целом выгодно отличается от некоторых выходящих у нас сборников. В большинстве стихов переводчики заботливо сохранили свойственную монгольской поэзии анафору, единоначатие и многочисленные аллитерации.

Правда, без курьезов все-таки не обошлось. Так, В. Микушевич перевел одну строфу Цэвэгмидийна Гайтава таким образом:

Если работою
ты обессилен,
На Улан-Батор
взгляни
с высоты.
Больше
в мозгу твоем
станет извилин,
Верить и строить
научишься ты.

Но особенно почему-то не повезло в переводе Дашцэвэгийну Сэнгээ. Русскому читателю, пожалуй, даже трудно будет понять истинную степень его таланта, читая поэму «Праздничная ночь» в переводе А. Ревича. Необычайно досадно, когда переводчик И. Голубев предлагает русскому читателю следующую строку: «Петь научили его соловьем» (речь идет о голубе мира), совершенно игнорируя общеизвестное значение этого идиоматического выражения. Не говоря о менее существенных промахах, замечу, что переводчики злоупотребляют уменьшительными словами, придавая, таким образом, некоторым стихам не свойственный оригиналу оттенок сентиментальности («Не умолкают хоры пташек певчих», «И хангайский цветочек увял», «Сосулька слезку отряхнула» и т. д.).

В одном из стихотворений сборника говорится о том, что, покидая осенью Монголию, птицы летят так медленно, «как будто им охота еще немного задержаться тут».

Так же медленно и нехотя подымаешься по трапу самолета, улетающего из Улан-Батора в Иркутск.

Так же медлишь расставаться и с книгами, снова донесшими до тебя голос далекой, но уже ставшей близкой страны и голоса друзей, ведущих ее поэтическую летопись.

А. ТУРКОВ

Хулио Матеу. Моя Испания. Перевод с испанского. Предисловие Ярослава Смелякова. Москва, «Московский рабочий», 1962. 123 стр.

ГОВОРИТ ИСПАНСКИЙ ПОЭТ

Небольшая, изданная изящно и просто книжка стихов. «Моя Испания». В этих двух словах — великая любовь и гордость и великая горечь, в них — трагедия народа. Вот уже скоро четверть века, как не видел поэт родной земли. Но — моя Испания! Испания моя, наша,— говорит он от имени горняков Астурии, от имени всех честных, непокорившихся испанцев. Моя Испания — это Испания народа, Испания, которая — будет!

Хулио Матеу написал хорошую книгу. В нее, в книгу стихов о настоящей Испании, органично вошли стихи о другой стране — о Советской России, ставшей для поэта второй родиной, о Николае Островском, о Москве, о простом советском рабочем парне. В самом деле, кто он, Хулио Матеу, этот москвич, долгие годы работавший на московском автозаводе, член Союза писателей СССР,— кто он, испанец, русский? Что ответит он на вопрос анкеты?

Я иностранец?..
Вот ответ.
Заполним чистый лист:
Рабочий я.
Певец.
Поэт.
Пишите: **«Коммунист»**.
(«Анкета». Перевод М. Альперт)

Книга Хулио Матеу «Моя Испания» — это даже не сборник стихов, это скорее своеобразная поэма, лирическая сюита, скрепленная единством взгляда на мир. Гражданский пафос, задушевный лиризм, злость сатиры, добродушие легкой иронии, романтика народной песни — все нашло свое место в этой испанской поэме. Самые интимные стихотворения приобретают особую интонацию благодаря гражданскому прицелу всей книги; строки любви, воспоминаний, сожалений, задорного юмора, ничуть не теряя в своем лиризме, вбирают в себя дыхание времени.

Я на звон твоих листьев иду —
В этом мире он тоненький самый.
Ты стояла последней в ряду
Тех деревьев, посаженных мамой.
Я на звон твоих листьев иду...
Это было прозрачной весной,
Когда солнце вовсю колдовало,
И тебя раскачало волной,
И тебя от земли оторвало.
Это было прозрачной весной...
(Перевод Е. Явича)

Так начинается стихотворение Матеу «Моя груша». А потом:

И меня раскачала волна,
Та волна, что зовется война...

В певучую мелодию народной песни вплетается голос битв, и перед нами не вообще народная песня, а испанская песня середины нашего века, песня боли, разлуки, памяти.

Все, что происходило и происходит в Испании, в ее городах и деревнях, где мальчишкам снятся по ночам куски хлеба, в ее домах, в ее церквах, на ее дорогах, все, что происходит в целом мире, в Москве, на Кубе, в Африке, в Нью-Йорке,— все проходит через сердце поэта. Я хотел было сказать, что в этом сплаве лирического и эпического начал — своеобразие голоса Матеу, неповторимость его книги, но ведь всегда настоящая поэзия, поэзия большая, нужная людям, создает этот сплав. Дело, наверно, в неуловимой алхимии слов и интонаций, придающей сплаву неповторимые качества...

Радует читателя еще одно немаловажное обстоятельство: почти все стихи Хулио Матеу, вошедшие в книгу «Моя Испания», звучат хорошо по-русски. Заслуга здесь принадлежит переводчикам. С точным ощущением слова и ритма переведены Е. Солоновичем стихотворения «Улица Ленина», «Фазан», «Воздух родины», «Губернатор и я», «Мой друг»; рифмы, которые использует переводчик, подчас смелы, но он вводит их с тактом, и они вполне уместны. Переводчику П. Грушко удались «Баллада о маленьком рыбаке», «Труба». Запоминается цикл «Письма в Испанию», переведенный О. Савичем, П. Грушко, Е. Солоновичем, М. Альперт. Хорошо звучат и многие другие стихи книги.

К сожалению, из общего стиля, из свойственной Матеу лексики, синтаксиса, ритмики, а главное интонации, выпадают некоторые переводы, выполненные М. Альперт. В стихах много общих мест, штампов, безликой приглаженности под «среднепереводческий» уровень. Напротив, в переводах А. Янова ощущается какая-то развязность, многословность, ритмическая разболтанность. Все это тоже обезличивает переводимого поэта, подводит его под другой, но

тоже «среднепереводческий» уровень. Однако в целом переводы выполнены удачно. Теплое слово о поэзии Матеу сказал Ярослав Смеляков, предваривший книгу небольшим предисловием.

Издательство «Московский рабочий» сделало доброе дело, выпустив сборник стихов испанского поэта — рабочего, певца, коммуниста.

М. ВАКСМАХЕР

ИЗДАНО ЗА РУБЕЖОМ

КОГДА МЕРТВЫЕ ПОЮТ

Rudolf Jašík. Mŕtvi nespievajú. Bratislava, Slovenský spisovatel, 1961.

В многочисленных рецензиях, появившихся в Чехословакии, роман Рудольфа Яшика «Мертвые не поют» называют книгой о судьбах словацкого народа в годы второй мировой войны. Действительно, рассказывая о людях из маленького городка Правно и окружающих его деревень, Яшик хорошо воспроизводит удушливую атмосферу клерикально-фашистского Словацкого государства, он касается также судьбы словацких солдат, отправленных на Восточный фронт в помощь немецким «союзникам», и, наконец, рисует эпизоды подпольного Сопротивления и подготовки антифашистского восстания. К этим значительным событиям обращались многие словацкие писатели, но есть в романе нечто, выделяющее его среди других книг, посвященных недавнему прошлому Словакии.

Яшик не столько показывает исторические события сами по себе, сколько внутренний мир людей, участников этих событий. Он старается «запустить» аналитический зонд на самое дно души своих героев. Повествование строится как череда внутренних монологов персонажей, только через их призму рисуются события на фронте и в тылу. Может быть, таким образом эпическое развитие действия утрачивает напряженность, но зато углубляется понимание того, как люди делали историю в эти трагические годы и что история делала с ними.

Яшик не боится изображать грязь и кровь войны, отчаяние и страх, которые гнездятся в иных людских душах. Он не останавливается и там, где начинаются неосознанные, смутные душевные движения, где инстинкт преобладает над рассудком. И все же внутренние монологи в романе не превращаются в хаотический поток ощущений, в них запечатлено то главное, что автор хочет сказать о своих героях, и поэтому они глубоко драматичны.

Каждый человек вынужден в один прекрасный день ответить себе и другим, что одушевляет его действия, или, во всяком случае, решить, как удержаться на ногах в этом безумном вихре, забросившем словацких землепашцев к предгорьям Кавказа и готовом пригнуть к земле целый народ. Даже обитателям глухих словацких деревушек не удается просто существовать, пасти скот, запасать дрова на зиму: им приходится решать, покорятся ли они власти фашизма или вступят в борьбу, бесконечно опасную, порой кажущуюся безнадежной. Наступает момент, когда человек уже не может больше прятаться за повседневностью, когда он вынужден открыто посмотреть на мир и на самого себя. Изображение таких решающих моментов в жизни героев — самое сильное в романе.

Особенно трагично положение тех посланных на Восточный фронт словацких солдат и офицеров, кто видит в русских братьев. И некоторые решают: чего бы это ни стоило, перестать подчиняться немецким фашистам, не скрывающим своего презрения к «низшей славянской расе».

Таков итог слушания «дела завшивевшего поручика Клако». Этот воображаемый процесс устраивает над самим собой поручик, в недалеком прошлом словацкий учитель. Он дошел до грани отчаяния и пытается утопить в пьяном угаре страшное чувство причастности к преступлению, которое он испытывает, командуя батареей, поддерживающей немецкие части. К такому же результату приводят медлительные размышления недавнего крестьянина, ныне рядового Шамая, у которого мечты об оставленных дома конях мешаются поначалу с наивными мыслями о том, что стоит только повернуть назад и долго-долго идти — и ты вернешься домой, спрыгнешь с этой бешеной карусели. И он среди тех словацких солдат, которые под командованием Клако переходят на сторону Советской Армии.

Горькая, трагическая книга Яшика оптимистична: многие герои выдерживают очную ставку со своей совестью. Прежде всего это относится к коммунисту Дрине. Один из руководителей подпольного сопротивления в Правно, Дрина переносит истязания в гестапо, не выдав никого, сохранив свою веру, свой ясный разум.

Но есть в романе и другие люди, те, кто пытается получить от фашистских хозяев свои «тридцать сребренников». Надо было

очень глубоко заглянуть в душу, казалось бы, честного, богобоязненного мещанина Махоня, чтобы увидеть то, что зреет в ней с каждой новой немецкой победой. Когда Махоню предложили «ариизировать» предприятие его соседа, еврея Гекиша, он согласился, приняв решение, что потом, когда-нибудь снова вернет гостиницу ее законному владельцу. Махонь даже прячет Гекиша в подвале. Но постепенно он убеждает себя, что если бог допускает все, что происходит, значит, он хочет вознаградить его, Махоня, и покарать Гекиша. И кроткий Махонь готов помочь осуществлению этой «воли божией».

А сколько разных типов немцев, военных и штатских, проходит перед нами. Одинаково достоверны и убедительны: с одной стороны, фанатик Виттнер и зверь Грамм, а с другой — химик Отто Реннер, попавший в штрафной батальон за отказ стрелять в русского пленного. В романе выведены и словацкие фашисты. И почти никогда автор не ограничивается поверхностным анализом, его острый взгляд направлен и на второстепенных персонажей.

Но кроме аналитического дара, Яшику свойственен и талант синтеза. Можно сказать, что действительность, увиденная во всех деталях бесстрашным взором писателя-реалиста, представлена в то же время в романе большими и подлинно поэтическими обобщениями. Такое поэтическое обобщение воплощено и в метафорическом заглавии «Мертвые не поют».

По мысли автора, мертвы не только те, чьи трупы гниют на омертвевшей земле, мертвы и те «молчаливые», кто механически, по команде немецких офицеров, стреляет в русских братьев. Страшный трагический смысл заключен в сцене, где пять словацких солдат, участвующих в боях на Восточном фронте, пьют какую-то неизвестную жидкость, почти уверенные, что это ядовитый древесный спирт, пьют потому, что они сознают себя обреченными, потому, что они все равно мертвы. Дыхание смерти ощущается и в том эпизоде, когда на площади в Правно жители города в ужасе смотрят на вывешенную гитлеровцами для устрашения народа карту с кроваво-красными стрелами, указывающими «На Москву», «На Индию», «Урал-Сибирь». И «карта — уже не карта, а открытая могила».

Смерть — это отчаяние, неверие, примирение, трусость. Фашисты заключили союз со смертью. А подвиг народа, восставшего против фашизма,— это воскрешение из мертвых. Именно так показан переход на сторону советских войск словацкой батареи во главе с поручиком Клако. Этим же чувством проникнута очень сильная сцена, где шесть коммунистов из деревни Планице сходятся после четырехлетнего перерыва на нелегальное партийное собрание, чтобы услышать о великой победе Советской Армии на Волге.

Яшик изображает подпольную борьбу компартии как тяжелую, безмерно опасную работу, которая кажется кое-кому — например, анархисту Ремешу — слишком будничной. Борьба подпольщиков предстает во всей ее каждодневной суровости как подвиг «простых великих людей», помогавших воскрешению народа из мертвых.

Яшику не удалось закончить книгу — безвременная смерть прервала его работу. Роман обрывается на эпизоде, когда советские парашютисты и словацкие партизаны, среди которых и поручик Клако, соединяются с подпольным центром Сопротивления и начинают вооруженную борьбу. В этой заключающей роман главе рассказано о тех событиях, которые положили начало революционному преобразованию Словакии.

И. БЕРНШТЕЙН.

ЭТОТ ОСТРОВ — БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ

Все начинается как в добром старом романе приключений. Английский трехмачтовик «Блоссом». Свежий бриз зюйд-зюйд-ост, наполняющий паруса. Безбрежность Тихого океана. Истощенные матросы в красно-белых полосатых штанах драют палубу. Боцман с плетью, злобный сторожевой пес, наблюдает за порядком. На вахте третий помощник — лейтенант Пёрселл. Это благородный герой. Душа его соткана из поэзии морской службы, веры в бога и сочувствия бедной команде — голодной, битой, трепещущей в вечном страхе перед капитаном. Капитан Берт — воплощение жестокой силы, у него даже осанка сверхчеловека. Матросы и лейтенант Пёрселл едва достают головой до его твердого английского подбородка. Он из тех, кто не терпит в подчиненных ни малейшего проявления человеческого достоинства, из тех, кто

> ...бунт на борту обнаружив,
> из-за пояса рвет пистолет
> так, что сыплется золото с кружев
> розоватых брабантских манжет.

События развиваются стремительно. Юнга, выливая за борт помои, становится против ветра. Несколько капель попадает на белоснежные кружева капитанской манишки. Страшный удар кулака, и мальчик упал мертвым на палубу. Капитан приказывает выбросить труп за борт. Матросы ропщут. Лейтенант Пёрселл требует, чтобы над телом усопшего прочли молитву. Первый помощник Ричард Мэйсон — дядя юнги — выхватывает пистолет и убивает капитана. Второй помощник пытается взять на себя командование, но один из матросов — шотландец Маклеод — закалывает его ножом.

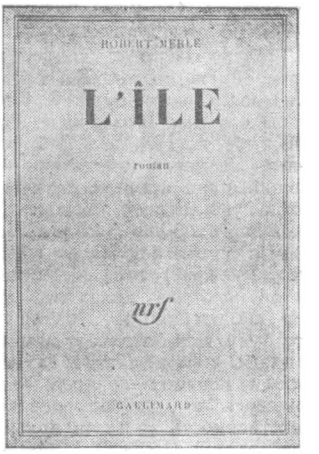
Другой матрос убивает боцмана. Теперь мятежной команде закрыт путь на родину: в Англии их ждет пеньковая петля. Мэйсон, который занимает место капитана, принимает решение высадиться на необитаемом острове. Пёрселл и семеро матросов готовы остаться с ним. «Блоссом» заходит на Таити, чтобы запастись водой и провиантом. Шестеро таитян и двенадцать таитянок — в том числе дочь вождя, которая становится женой Пёрселла,— присоединяются к англичанам. Снова океан, бури, волны, захлестывающие палубу, лишения, жажда — как в старом добром романе приключений — и наконец — «Земля!».

И в самом деле, крохотный островок Питкерн — это земля. Земля людей, земля, на которой идет жизнь человеческого общества, возникают социальные институты, вспыхивают войны, формируется политическое сознание. Забудем о XVIII веке, когда взбунтовавшиеся матросы «Боунти», послужившего прототипом «Блоссома» из романа «Остров» Робера Мерля, высадились на необитаемом острове вместе с несколькими таитянами и за два года перебили друг друга, воюя за женщин и землю. От этого исторического эпизода осталась в романе только фабульная канва. Робер Мерль не стилизует под XVIII век ни язык, ни психологию героев.

Тяжелодум, консерватор, узколобый традиционалист Ричард Мэйсон, так же как предприимчивый собственник, политикан и демагог Маклеод или благородный идеалист, ставящий превыше всего принцип «ненасилия», Адам Пёрселл,— все это для Мерля фигуры вполне современные. Гроты и пальмы, экзотические плоды и тропические ливни — лишь форма художественного остранения, помогающая автору поставить читателя перед теми же проблемами, с которыми сталкивает его каждый день сухая газетная информация.

На острове традиционная корабельная иерархия терпит крах. Матросы отказываются подчиняться Мэйсону. Если бы не вмешательство Пёрселла, они бы даже повесили своего бывшего командира. Власть захватывает наиболее инициативный из матросов Маклеод — герой эпохи первоначального накопления или ловкий демагог современнейшего образца. Он создает некое подобие парламента, где все решается демократически, поднятием рук. Мнимость этой демократии задана с самого начала, право голоса предоставлено, разумеется, только англичанам. Девять белых призваны решать судьбу колонии, две трети населения острова—им подчиняться: шестеро таитян—как «цветные», двенадцать таитянок — как существа вдвойне неполноценные: не белые и не мужчины. Так закладываются основы колониальной системы.

Пёрселл, конечно, против этой несправедливости. Он считает, что таитяне должны пользоваться теми же правами, что и англичане. Он отстаивает право женщин выбирать себе супругов, как то принято на Таити. Но его поддерживают лишь два матроса, четверо голосуют за Маклеода. Пёрселл — бессильная оппозиция, меньшинство с его благородными речами и чистыми руками, такое удобное для «правого большинства».



Robert Merle. L'île. Paris, Editions Gallimard, 1962.

Пёрселл — человек мужественный. Защищая свои принципы, он не побоялся восстать против бесчеловечности капитана Берта — Давид против Голиафа. Он готов рисковать собственной жизнью. Но он отказывается посягнуть на жизнь другого. Даже если другой — мерзавец. Даже если другой должен стать убийцей и вдохновителем массового убийства. «Не убий» — эта заповедь для Пёрселла превыше всего.

Пёрселл жаждет справедливости. Он бескорыстен. Он готов разделить свой надел с таитянами, которым парламент Маклеода отказался дать землю. Что может он, однако, возразить Теаити — вождю обездоленных,— который говорит ему: «Адамо — ты хороший человек. Но быть хорошим мало. Ты говоришь: «Я делю с вами несправедливость». Но это не устраняет несправедливости».

Время сжимается пропорционально величине острова. В несколько месяцев сгущается вся история последних столетий — от порабощения колониальных народов до их восстания против угнетателей. Расизм Маклеода, истого буржуа,— удобная идеология защиты собственничества. Расизм Мэйсона — естественная опора кастовой системы. Здесь их интересы сходятся. Для приобретения союзников в войне против таитян гибкий Маклеод согласен поступиться своими парламентскими свободами и пойти на сговор с удалившимся в добровольное изгнание Мэйсоном (как тут не вспомнить не-

которых французских «демократов», возжаждавших «твердой власти» в мае 1958 года!).

И только Пёрселл упорствует на своей ничьей земле, подставляя себя под пули и отказываясь взять оружие. Гибнут один за другим его друзья-матросы. Гибнет его названый брат Меани. Гибнут хорошие и дурные. Остается победитель — Теаити, обагривший руки кровью врагов, той самой кровью угнетателей, которую, по его выражению, «хорошо проливать. Это кровь, которую земля впитывает с большой радостью». Руки Пёрселла остаются чистыми, но сам он начинает понимать, сколь эта чистота сродни чистоте Понтия Пилата, умывшего руки. Его потрясает замечание Теаити, что позиция невмешательства и ненасилия — удобная позиция ловкого человека, уклоняющегося от выбора, перекладывающего ответственность на плечи других. «Почему,— задумывается Пёрселл,— принцип уважения к жизни человека казался ему более важным, чем люди, жизнь которых он мог бы спасти, отказавшись от этого принципа?» Слишком поздно, но он пересматривает свои взгляды и твердо отвечает Теаити, что с оружием в руках будет защищать остров, если на него нападут европейцы. Слишком поздно, чтобы оживить убитых, но все же не слишком поздно: Теаити и Пёрселл находят друг друга, чтобы жить и создавать вместе.

Путь Адама Пёрселла — это, в какой-то мере, путь, проделанный самим Робером Мерлем. Его первый роман «Уик-энд на Южном берегу», воссоздававший события второй мировой войны, был проникнут ненавистью к кровопролитию, насилию, безотносительно к тому, против кого это насилие направлено. Майя — солдат французской армии, разбитые части которой откатываются к Дюнкерку,— не может себе простить, что он поднял руку на человека,— между тем убил Майя двух негодяев, насиловавших девушку, спасая от них ее и свою жизнь. Майя гибнет от случайной бомбы, но, в сущности, это самоубийство.

Значит, человек должен пассивно отступить перед злом? Должен сложить оружие перед тем, для кого насилие, убийство — повседневное ремесло? Второй роман Робера Мерля «Смерть — мое ремесло», написанный от лица коменданта гитлеровского лагеря смерти, свидетельствовал, что автор его вглядывается в механику зла, чтобы утвердить свою непримиримость к нему, чтобы определить позицию борьбы против исторического зла: фашизма, расизма. Эта эволюция закономерно привела Робера Мерля к идее, которой проникнут «Остров»: в борьбе колониального мира против угнетателей (незачем говорить, какие конкретные явления сегодняшней действительности подставляет французский читатель под вымышленные перипетии войны на острове Питкерн) пассивность равнозначна предательству.

Как давняя история в «Страстной неделе» Арагона, как недавняя история в «Алтонских узниках» Сартра, экзотика «Острова» — та обходная тропа искусства, которая позволяет этим — столь разным — художникам незаметно подобраться к сердцу и уму читателя и растревожить его совесть, заставить задуматься о своем месте в сегодняшней схватке, о своей исторической ответственности.

Л. ЗОНИНА

НОВАЯ ПЬЕСА ШОНА О'КЕЙСИ

Шон О'Кейси снова обращается к своей излюбленной теме — засилию клерикализма в сегодняшней Ирландии, гнету католических догматов, губящих всякую живую мысль и чувство. Но проблематика его новой пьесы «За зелеными занавесями» гораздо шире.

Драматическую интригу составляют по преимуществу злоключения группы артистической молодежи: драматурга Макгира, поэта Хороуна, актера Кониина и владельца местной фабрики Чатэстрея, которые мнят себя «властителями дум», людьми независимых взглядов. Отцы города, представленные в пьесе тупым и злобным фанатиком Карнавоном, затевают демонстрацию против «безбожного коммунизма»: им не нравится, что в далекой Венгрии потерпела провал антинародная деятельность печальной славы кардинала Миндсенти. Необычайно комичны их мечтания о том, что шествие в заштатном Баллибидхасте «разбудит Европу и Америку и нанесет смертельный удар коммунизму».

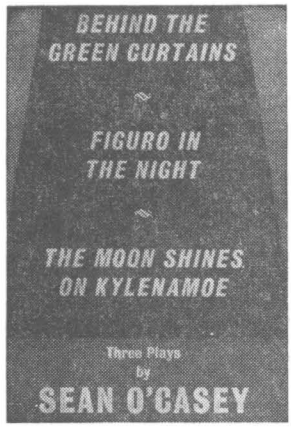
От «властителей дум» церковники тоже требуют участия в демонстрации. Собравшись в доме Чатэстрея и, точно заговорщики, задернув зеленые занавеси на окнах, «властители дум» клянутся не поддаваться шантажу. Драматург с едким сарказмом показывает, как воинственность наших героев уступает место сомнениям, прикрываемым фразами о «назначении художника». «Место писателя,— патетически декларирует Хороун,— в безмятежном отдалении, где его не потревожит ни голос, ни шум автомобиля, ни смех ребенка, ни прикосновение женщины, путающие спокойное течение мысли, где только щебечут птицы, да на тонком стебле нежно качается роза!» А в третьем акте мы увидим этих интеллектуалов членами «Ордена кающихся братьев», облаченными для демонстрации в одеяния из мешковины; захлебываясь от восторга и перебивая друг друга, они расскажут, как их принял сам епископ и душеспасительной беседой о зем-

ных делах («Нельзя стать большим художником, если не падешь ниц пред всевышним») тронул их сердца, а на прощание даже ручку подал.

В пьесе появляются зловещие фигуры фашиствующих молодчиков с дубинами в руках и в полумасках. По наущению Карнавона они увозят с собой заподозренную в «безнравственности» Нониин, горничную Чатэстрея, и отдают ее в руки фанатичек из легиона святой Марии, а те, раздев девушку до рубашки, привязывают ее на ночь к телеграфному столбу...

Верный социалистическому мировоззрению, продолжая основную линию своей драматургии, О'Кейси и в этой пьесе рисует лучших людей своей страны, людей, которые выходят навстречу будущему. Таков, в первую очередь, Беоман, мастер с фабрики Чатэстрея. Он открыто, не таясь, называет себя «красным». Ему даже не верят: перед ними не какое-то загадочное существо, тем более не чудовище, каким порой представляется коммунист перепуганному ирландскому обывателю, а простой рабочий парень, каких много. Беоман — активный герой: «Все, что происходит в стране,— дело каждого ирландца». Эта причастность к человеческим делам и думам составляет неотъемлемое свойство нового героя искусства социалистической эпохи.

Не случайно, что именно к Беоману самой логикой событий протягиваются зримые и незримые нити драматического действия. Все касается Беомана: и назревающий на фабрике конфликт, и шествие черносотенцев, и позиция интеллигенции, и судьбы родины. Это он обнажает подлинный смысл громких фраз о свободе художника, за которыми, по его мнению, кроется трусость. Это он дает отпор бесчинствующим хулиганам, в которых угадываются нынешние «правые». Это под его воздействием находит в себе мужество порвать с легионом святой Марии и присоединиться к Беоману девушка Риина. Ее слова «Можно ли жить при свече, когда взошло солнце?» обращены ко всем тем, кто погряз в невежестве, косности, страхе. Таким образом, слова и поступки Беомана становятся той мерой, какой драматург меряет остальных.



Sean O'Casey. Behind the Green Curtains, London, Macmillan, 1961.

«За зелеными занавесями» Шона О'Кейси — беспощадная, блестящая сатира на буржуазную интеллигенцию, ее либеральные фразы и одновременно гимн людям труда, разрывающим паутину лжи.

Егор КУТЯВИН

НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Датское издательство «Хёст ог сён» выпустило трилогию Максима Горького «Детство», «В людях» и «Мои университеты» в переводе Эйнара Томассена. Это второе издание автобиографических произведений писателя на датском языке. Первое издание этих книг Горького, как отмечает рецензент «Дет данске букмаркед», полностью разошлось по предварительной подписке.

Кубинский Национальный театральный ансамбль в содружестве с Театром-студией, по сообщению газеты «Нотисиас де ой», поставил пьесу Максима Горького «Васса Железнова». В Гаване эта пьеса идет над названием «Одна буржуазная семья».

Томом «Поздние драмы» издательство «Ауфбау» (ГДР) завершило выпуск собрания сочинений Максима Горького. В книгу вошли: «Егор Булычев», «Достигаев и другие», «Васса Железнова» и другие пьесы.

Афинская газета «Авги» сообщает о подготовке к изданию на греческом языке сборника пьес Владимира Маяковского. Автор перевода — Арис Александру.

Роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» опубликован издательством «Четна пракашан гриха» (г. Барода) на языке гуджерати в переводе писателей Суреша Джоши, Раманлала Патхака и Джайанта Патхака. Несмотря на огромные трудности, указывает критик индийской газеты «Бхарат джоти», «переводчики успешно справились со своей задачей, сохранив реалистический стиль и свежесть оригинала. Сложность их работы заключалась и в том, что роман Шолохова широко известен своими высокими литературными достоинствами... Так еще одна замечательная книга пополнила сокровищницу доступных нам литературных драгоценностей».

Итальянское издательство «Эдитори риунити» выпустило перевод «Донских рассказов» Михаила Шолохова.

Книга Е. Драбкиной «Черные сухари» вышла в переводе на немецкий язык в издательстве «Диц» (ГДР). Рецензент газеты «Нейес Дейчланд» пишет, что это произведение «стоит в одном ряду с репортажем Джона Рида и является как бы его продолжением... Книга несомненно найдет бесчисленных читателей».

В издательстве «Вальтер» (ФРГ) вышел сборник произведений Исаака Бабеля под названием «Заход солнца». В сборник включены прозаические произведения, написанные в разное время (с 1916 по 1937 год), а также драмы. «С новой силой нас поражает богатство языка Бабеля, богатство красок его поэтической палитры,— пишет обозреватель журнала «Бюхер-комментаре». — Своим творчеством Бабель как бы перекидывает мост от старой к новой России».

«Впервые за семнадцать лет у нас идет советская пьеса — «Иркутская история» в театре «Альфа»...— сообщила греческая газета «Авги» о премьере пьесы Алексея Арбузова, поставленной труппой Алекоса Александракиса в Афинах. Театральный критик Г. Ставру в рецензии на этот спектакль пишет, что труппа и режиссер Л. Тривизас успешно справились со своей задачей. Среди актеров критик особо выделяет А. Александракиса, талантливо исполняющего роль Сергея. На снимке сцена из спектакля.

(Газета «Авги»)

Амстердамское издательство «Вередбиблиотек» выпустило на голландском языке повесть Чингиза Айтматова «Джамиля» в переводе Р. Эбелинг ван Дельфт с иллюстрациями Лу Стрика.

В софийском издательстве «Народна култура» вышли в свет «Избранные стихотворения» Эдуардаса Межелайтиса в переводах на болгарский язык П. Матева, Н. Вылчева и Ив. Троянского. Это же издательство выпустило «Избранные стихотворения» Маргариты Алигер, переведенные Елисаветой Багряной и Марией Грубешлиевой.

Как сообщает газета «Политика», в Югославии вышел сборник стихов Евгения Евтушенко.

«Так же, как и книга Василия Аксенова, пьеса «Коллеги» была тепло принята венгерским зрителем»,— пишет рецензент журнала «Фильм-синхаз-мюжика». На снимке сцена из спектакля, поставленного будапештским театром им. Аттилы Йожефа.

В венгерском военном издательстве «Зрини» вышел сборник советских поэтических произведений о Великой Отечественной войне. В этот сборник включены стихи, поэмы, баллады Александра Твардовского, Константина Симонова, Степана Щипачева, Павла Антокольского и других поэтов.

В Польском государственном издательском институте — ПИВ — вышла повесть Владимира Тендрякова «Суд» в переводе Кристины Латоневой. «Эта книга,— пишет рецензент газеты «Трибуна люду»,— настойчиво призывает к установлению коммунистических отношений между людьми, она обвиняет носителей пережитков старого, мешающих новым отношениям». В этом же издательстве вышел роман Юрия Германа «Один год» в переводе Витольда Юркевича.

Варшавское издательство «Ксенжка и ведза» выпустило книгу Норы Адамян «Ноль три» в переводе Янины Дзярновской. По словам критика газеты «Трибуна люду», Адамян говорит много интересного польскому читателю «о моральной чистоте чувств советского человека наших дней».

Издательство «Культур унд фортшритт» (ГДР) выпустило третьим изданием роман Леонида Леонова «Русский лес» в переводе Максимилиана Шика.

Во втором издании выпущен сборник «Стихи о любви» Степана Щипачева. Составитель сборника — Герберт Кремпин.

Откликаясь на выход в свет французского издания «Сентиментального романа» Веры Пановой, Андре Вюрмсер пишет в еженедельнике «Леттр франсез»: «Французский читатель знает Веру Панову как одну из выдающихся писательниц нашего времени. Все ее произведения переведены на французский язык. Каждая ее книга отражает определенный период в истории советского государства, рассказывает о тех необыкновенных годах, когда создавался новый мир, построенный людьми доброй воли. «Сентиментальный роман» — возврат Веры Пановой к дням ее молодости, которая была молодостью этого нового мира».

Мюнхенское издательство «Пипер» (ФРГ), как сообщает журнал «Бёрзенблатт фюр ден дейчен бухханделъ», издало роман Юрия Бондарева «Тишина».

Австрийский журнал «Эстеррейхише библиографи» сообщает о выходе в венском издательстве «Бухгемайнде» романа Михаила Бубеннова «Орлиная степь».

«С молодым советским поколением поэтов знакомит венгерского читателя вышедший в издательстве «Европа» поэтический сборник «Современная советская лирика», в который вошли произведения Евтушенко, Вознесенского, Рождественского и Винокурова»,— пишет рецензент венгерского бюллетеня «Тайекоztato».

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Венское издательство «Глобус» выпустило фундаментальный труд видного австрийского прогрессивного литературоведа и критика Эрнста Фишера «От Грильпарцера до Кафки». В книгу вошли литературные портреты Франца Грильпарцера, Николауса Ленау, Иогана Нестроя, Карла Крауса, Роберта Музиля и Франца Кафки — шести австрийских поэтов и прозаиков, оказавших влияние на духовное развитие своего народа и оставивших глубокий след в мировой литературе.

Высоко оценивая книгу Эрнста Фишера, рецензент газеты «Фольксштимме» пишет: «...без преувеличения можно сказать, что она может стать существенной основой для истории австрийской литературы, написанной с марксистских позиций». Эрнст Фишер глубоко анализирует творческое наследие этих писателей и дает современное, свободное от вульгаризаторских, националистических и идеалистических напластований освещение роли и места каждого из них.

«Кто серьезно хочет ознакомиться с развитием австрийской литературы за последнее столетие,— подчеркивает рецензент «Фольксштимме»,— тот должен прочитать книгу Эрнста Фишера».

ПРОТИВ НОВОЙ ХИРОСИМЫ

В журнале «Иностранная литература» (№ 8, 1962) публиковалась переписка участника атомной бомбежки Хиросимы американского летчика Клода Изерли с австрийским писателем и философом Гюнтером Андерсом. В одном из своих писем Андерсу, посланных из психиатрической больницы, Клод Изерли писал: «Я жажду ответов на мысли, в которые я погружен, о прекращении дальнейшего атомного вооружения и подготовки к войне. Я обращался в различные организации, чтобы найти поддержку своим убеждениям. Но речи слишком недолговечны. Зато книга — это памятник. Поэтому напишите свои книги как можно скорее. Скажите людям слова, которых ждут не дождутся все, кому дорог мир».

И вот недавно вышла в свет книга Гюнтера Андерса «Разрушив Хиросиму». В основу ее легла история Клода Изерли. Андре Стиль пишет в газете «Юманите», что трудно найти произведение, которое сравнилось бы с этой книгой по значению поставленного перед людьми трагического вопроса, затрагивающего все человечество. В предисловии к книге Роберт Юнг пишет: «Завтра... суд Истории будет так же сурово судить сторонников атомного вооружения, планирующих массовое убийство, как сегодня он судит Гитлера и его безумные теории». И далее он ставит вопрос: «Что делать?»

На этот вопрос, по словам Андре Стиля, самый ясный ответ дан на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир: если мы хотим иметь будущее, перед нами стоит одна цель — всеобщее и полное разоружение.

ПАРОДИИ РОБЕРТА НЕЙМАНА

Еще до второй мировой войны в Австрии были популярны литературные пародии Роберта Неймана. Остроумно копируя стиль известных писателей, он создал целую галерею литературных шаржей. В адрес одних это была веселая дружеская ирония, в адрес других — колючая насмешка.

Особенно доставалось столпам «великогерманской», то есть нацистской литературы. Неудивительно, что в 1933 году, вместе с произведениями известных писателей-гуманистов и антифашистов, на кострах в Германии горели также и книги пародий Роберта Неймана: «Чужими перьями» и «Под фальшивым флагом».

Новое издание «Пародий» Неймана было живо встречено австрийской печатью.

АЛЖИР

В «САЛОНЕ КНИГИ»

Недавно в столице Алжира, как сообщает газета «Альже репюбликэн», открылся «Салон книги». По замыслу членов Комитета по делам нового Алжира, организация этого салона позволит алжирцам ближе познакомиться со своими поэтами и прозаиками, с их произведениями о борьбе за национальное освобождение. Здесь устраиваются выставки книг, проводятся встречи читателей с авторами. На одной из таких встреч выступали известные алжирские поэты Жан Сенак, Нуреддин Тидафи и Бурбун, прочитавшие свои произведения и поделившиеся творческими замыслами. Выступая на конференции, посвященной теме «Алжирская революция в арабской поэзии», поэт Салах Карси подчеркнул, что «поэты Алжира живут страданиями своего народа, отдают все силы своей души, все свое дарование делу национального освобождения... Мы, поэты, хотим, чтобы наши братья — арабские поэты лучше узнали наш народ и помогли нам занять достойное место в единой семье свободных народов».

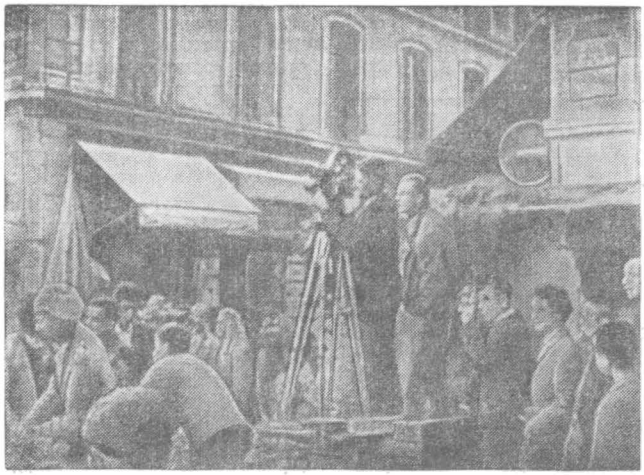
Особенно большое впечатление на посетителей салона произвела выставка, устроенная в связи с выходом в свет книги «Дети Алжира». В эту книгу включены рисунки, письма и записи рассказов детей Алжира, родители которых были убиты французскими колонизаторами.

ПО РОМАНУ ЯСИНА КАТЕБА

Группа кинематографистов работала над экранизацией романа известного алжирского писателя Ясина Катеба «Труп в круге». Большая часть натурных съемок проходила в Казба́. Одну из главных ролей в фильме исполняет видный алжирский актер Мухаммед Зинэ.

— Я был, наверно, одним из первых европейцев, прочитавших книгу Ясина Катеба,— сказал режиссер Поль Локкберг в беседе с корреспондентом газеты «Альже репюбликэн».— В этом ярком произведении я обнаружил глубокий и драматический конфликт, происходящий между старым и новым в Алжире. Я увидел, как растет, ищет, борется с остатками прошлого молодое поколение вашей страны и, несмотря на трудности, добивается побед и уверенно идет вперед. Эти проблемы, свежесть, образность и лиризм повествования привлекли мое внимание, и я принял участие в экранизации романа.

Момент съемок фильма «Труп в круге» на улицах Алжира.
(Газета «Альже репюбликэн»)



АНГЛИЯ

РЕЦЕНЗИЯ МИТЧЕЛА УИЛСОНА

«От Курска до Канзаса» — так озаглавлена напечатанная в лондонском еженедельнике «Обзёрвер» рецензия известного американского писателя Митчела Уилсона на книгу английского литератора Мервина Джонса «Большая Двойка».

«Эта книга,— пишет Уилсон,— представляет собой увлекательный отчет автора о его поездках по Советскому Союзу и США... Он пишет о том, что видел собственными глазами, живо, наглядно, четко, тепло и в то же время без сентиментальности». Позицию автора книги Уилсон определяет так: «Он находится где-то между США и СССР и как бы смотрит на эти страны через телескоп».

В то же время автор «Встречи на далеком меридиане» указывает на «отдельные неточности» в этой книге и делает ряд критических замечаний в адрес Джонса.

«Всякий раз, когда мистер Джонс выступает в качестве наблюдателя и репортера, он вне конкуренции,— указывает рецензент.— Его описания уличных сцен, будь то в Курске или в Канзас-Сити, весьма колоритны. Значительно слабее Джонс в своих обобщениях, а обоснование их зачастую просто неубедительно».

В частности, по мнению Митчела Уилсона, ошибочно утверждение Джонса, будто различия между США и СССР носят лишь «поверхностный» характер.

Однако Митчел Уилсон склонен «прощать Джонсу его заблуждения», считая, что их у него не так уж много, и сам автор книги «в своих описаниях двух самых сложных стран мира» вовсе не претендует на абсолютную истину...

Общий вывод американского писателя по поводу книги англичанина таков: «Совместное путешествие с мистером Джонсом по СССР и США весьма приятно».

КОГДА УМ ЗА РАЗУМ ЗАХОДИТ

В Англии вышла книга некоего Мориса Фридберга «Русские классики в советских суперобложках».

Судя по появившимся в английской печати рецензиям, Морис Фридберг не ставит главной целью своей книги говорить об изданиях классиков русской литературы в СССР. Ему хочется доказать, вопреки общеизвестной истине, что и до Великой Октябрьской революции в России печаталось гораздо больше книг, чем в СССР.

Трудно Морису Фридбергу скрыть гигантский размах книгопечатания и издательского дела в Советском Союзе. Как тут ему выйти из положения? И вот Фридберг заявляет, что после второй мировой войны Латвия и Эстония «наводнены русскими книгами». Он старательно умалчивает об огромном количестве книг, выходящих в этих республиках на латышском и эстонском языках.

Фридберг спрашивает: «Почему русские любят классиков?» И немедля делится своим «открытием»: «Потому что у русских классиков можно найти описания капиталистического строя в царской России, из которых явствует, что жилось тогда совсем неплохо» (!). Итак, делает он вывод: поскольку русские классики — «хорошие пропагандисты капитализма, тем самым они пропагандируют и Запад»!

«Не слишком ли далеко заходит автор?» — вопрошает обозреватель лондонского еженедельника «Таймс литерари сапплмент». Нельзя не согласиться с обозревателем: у мистера Фридберга явно ум за разум заходит!

АНГЛИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ДВУХ ФИЛЬМАХ

На экраны Англии вышли два кинофильма, посвященные проблемам молодого поколения.

Новый фильм «Мальчики» впервые, как указывает газета «Дейли уоркер», остро, честно и недвусмысленно

Кадр из фильма «Стремление к славе».
(Газета «Дейли уоркер»)

говорит о так называемых «тэдди-бойз» — молодых английских «стилягах»; этот вопрос стал одним из наиболее серьезных во внутренней жизни страны. Постановщики фильма подчеркивают ряд социальных моментов, которые до сих пор старательно затушевывались как в кино, так и в театре. Фильм свидетельствует о том, что например, кондуктор автобуса, даже работая сверхурочно, не получает прожиточного минимума. В фильме показаны темные, зловонные трущобы, в которых до сих пор обитает трудовой люд. В основу фабулы положена история о том, как четверо загулявших юношей — «тэдди-бойз» — попали на скамью

Кадр из фильма «Мальчики»
(Газета «Дейли уоркер»)

подсудимых по обвинению в убийстве. Эта история развертывается на фоне ярко и реалистически показанной жизни современной Англии. Постановщики фильма не побоялись задать вопрос: действительно ли эти юноши виновны в преступлении, или вина ложится на то общество и тот уклад жизни, которые их к этому привели? Свидетели обвинения в фильме, по словам критика газеты, уступают свидетелям защиты, сумевшим убедительно доказать, что подлинный преступник — буржуазное общество, условия жизни в капиталистическом мире.

Авторы другого фильма, «Стремление к славе», обеспокоены тем пагубным влиянием, которое может оказать на юное поколение англичан пропаганда милитаризма и войны.

Отравляющее влияние милитаристских рассказов отразилось на героях фильма—группе лондонских подростков, проводящих летние каникулы в одной из деревушек графства Саффолк. Мальчики играют в свою любимую игру — в войну. Воспитанные в среде, где живы и расовые предрассудки, и колониалистский псевдопатриотизм, и буржуазный национализм, подростки заражены отвратительным убеждением в превосходстве британской расы. Агрессивные инстинкты в них разжигают отставные военные, живущие в этой деревушке. Они обучают детей стрельбе, прививают им вкус к муштре. Зараженным милитаристским «зудом» подросткам мерещатся военные парады, марши, битвы, победы, награды, слава. Им не терпится поскорее стать взрослыми и вступить в ряды армии.

Все это становится сложной дилеммой для главного героя фильма, юного Джона, роль которого с большим чувством сыграна новой «звездой» английского экрана Мартином Томлинсоном. Джон, так же как и его товарищи по играм, мечтает о военных подвигах и славе. Но его не удовлетворяет только одна военная муштра. Ему хочется настоящей

глубокой и крепкой дружбы, которую он встречает у робкого болезненного мальчика из еврейской семьи, бежавшей из нацистской Германии в Англию.

Отставные военные научили мальчишек стрелять. Дело кончается трагедией — гибелью одного из них...

«Этот фильм,— пишет критик газеты «Дейли уоркер»,— представляет собой страстный и гневный протест против войны и милитаризма». Газета считает, что фильму «Стремление к славе» будут чинить всякие препятствия на пути к «большому экрану»; пока его показывают лишь на окраинах. Симптоматично, что английская цензура в течение длительного времени не разрешала выпускать этот фильм, утверждая, что он, дескать, может плохо повлиять на молодежь!

БОЛГАРИЯ

ФИЛЬМ-ПОЭМА О КОММУНИСТЕ

В Болгарии с успехом демонстрируется фильм «Плененная стая» — новая работа болгарских кинематографистов. Это фильм-поэма о Коммунисте. О его безграничной любви к партии. О его моральной чистоте и его великом самопожертвовании...

Сюжет фильма трудно пересказать. Жизненная ситуация, положенная в его основу, знакома: она многократно воплощалась во всех видах искусства. Действие протекает в однообразной обстановке тюремных камер и коридоров. Диалог почти отсутствует. Тем больше заслуга постановщиков — сила фильма не в том, *что* происходит, а в том, *как* это происходит.

Режиссер Дучо Мундров и сценарист Емил Манов, как отмечается болгарской печатью, хорошо знают то, о чем говорят. Их фильм свидетельствует об определенном художественном видении, о высокой кинематографической культуре.

В трактовке образов привлекает не внешнее поведение героев, а живая человеческая мысль, душевное состояние.

«В фильме есть несколько сцен, в которых режиссер и оператор достигли высочайших вершин нашего кинематографического искусства,— пишет критик журнала «Пламк»,— это, например, ночной диалог Антона и Христо после вручения им обвинительного акта, возвращение Христо из карцера к своим товарищам... И, конечно, финал, где идея фильма выражена в наиболее чистом виде».

Кадр из фильма «Плененная стая».

(Журнал «Пламк»)

«ОСЕННЯЯ ГРОЗДЬ»

Сборник новых стихов Димитра Пантелеева вышел под названием «Осенняя гроздь».

«В новом сборнике,— говорится в рецензии, опубликованной журналом «Читалиште»,— мы открываем характерные черты поэзии Пантелеева, видим его четкий, легкий, ажурный творческий почерк... Воздушный, светлый рисунок, свежая акварель пейзажей, насыщенных жизнелюбием, вольным раздумием и мечтами— плод житейского опыта, мудрости и прежде всего неиссякаемой, вдохновенной любви к человеку и природе. Такова поэтическая атмосфера, которой проникнута новая книга».

ВЕНГРИЯ

ТЕМА — СОВРЕМЕННОСТЬ

Творчество популярного венгерского писателя Лайоша Мештерхази уже известно советскому читателю и зрителю. Его роман, сборник рассказов, пьесы вызывают интерес актуальностью поставленных проблем. Недавно будапештский театр комедии «Вигсинхаз» поставил новую пьесу Мештерхази «Эпоха, когда не будет виновных и несчастных», являющуюся сюжетным продолжением его же «Одиннадцатой заповеди».

«В своей новой пьесе,— рассказывает Мештерхази на страницах журнала «Фильм-синхаз-мюжика», — я попытался сформулировать первую заповедь нового, коммунистического общества, ведь оно уже совсем близко, и недалек тот день, когда человек будет трудиться не ради материальной заинтересованности, а в силу душевной необходимости.

Героиня моей пьесы — женщина, которая, выйдя замуж, бросает работу. Случилось так, что она увлеклась другим. После тяжелых раздумий она начинает понимать, что надо

найти в себе силы и коренным образом изменить свою жизнь. В пьесе нет традиционных, обращенных к публике монологов. События в пространстве и времени более едины, в спектакле меньше эпического. На сцене нет «четвертой стены», комнатных декораций, и публика как бы сама является участником спектакля».

Пьеса представителя молодого поколения драматургов Эндре Веси «Почему вы молчите?», поставленная театром имени Мадача, также связана с морально-этическими проблемами. «Это не случайно,— говорит ее автор,— потому что требованием времени именно эти проблемы продиктованы нам, писателям... Главное действующее лицо в пьесе Антал Даниш — человек не испорченный, но избалованный, лишенный чувства ответственности — соблазняется легкими путями в жизни и изменяет своим идеалам. Только ценой серьезной внутренней борьбы ему удается выйти из трудного положения...

«Почему вы молчите?» — эти слова, звучащие в спектакле, обращены к людям, окружающим Антала, напоминают им об ответственности за судьбу человека».

Прозаик и драматург Дердь Молдова пришел в литературу недавно, но зарекомендовал себя как требовательный и взыскательный художник. Новая пьеса Молдова «Будь любезен, Эромош», включенная в репертуар театра имени Пётефи,— третья пьеса драматурга.

«Я попытался написать комедию в форме бурлеска,— сообщил драматург корреспонденту «Фильм-синхаз-мюжика». — «Будь любезен, Эромош» рисует жизнь и настроения, неудачи и успехи главного героя Эромоша, борющегося за утверждение красоты на земле».

На экранах страны демонстрируется новый фильм «Дождливое воскресенье», кадр из которого здесь помещен. Место и время действия фильма — Будапешт, май 1962 года. Герои — венгерская молодежь, учащиеся одной из столичных гимназий.

(Журнал «Фильм-синхаз-мюжика»)

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПУТЬ РИХАРДА КАРТХАУЗА

Издательство «Ауфбау» выпустило новый роман Арнольда Цвейга «Мечта дорога». Впечатления и переживания главного героя, врача-невропатолога, в период второй мировой войны передаются автором от первого лица.

«В этом романе,— пишет критик газеты «Дер морген»,— Арнольд Цвейг говорит о трагической мечте некоторых немецких интеллигентов идти по среднему пути как в личной, так и в политической жизни, не давая себя затронуть событиям». На примере героя книги, Рихарда Картхауза, осуждается стремление некоторой части немецкой интеллигенции уклониться от ответственности за антигуманизм и преступления государства, в котором они жили. Главное в содержании романа — не в развертывающихся внешних событиях, а в трудном процессе внутреннего созревания представителя интеллигенции. Жизнь разбивает все мелкобуржуазные иллюзии героя — и он обретает ясность мировоззрения.

Не впадая в ошибку, можно предположить, указывает критик, что здесь не последнюю роль играли автобиографические элементы. Создавая образ своего героя, Цвейг ярко показывает, как выкристаллизовывалось его сознание, как складывалось его отношение к фашизму и к Советскому Союзу.

Поздняя проза Арнольда Цвейга, по словам критика, особенно привлекательна зрелостью таланта, строгостью, красотой, пластичностью языка.

СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ

«Эльфрида Брюнинг известна как автор рассказов о женщине нашего времени. И свою повесть писательница также посвятила этой теме. Ее героини: врачи, педагоги, работницы, актрисы, бургомистры, директора предприятий, сельские библиотекари — женщины, глубоко осознавшие свою роль в новом обществе и настойчиво осуществляющие цели, которые они перед собой поставили. Среди ее героинь читатель встречает и тех женщин Западной Германии, которые в тяжелых условиях героически отстаивают гуманные убеждения, действуя решительно и энергично»,— пишет критик еженедельника «Зоннтаг», откликаясь на новую книгу Эльфриды Брюнинг «Пути и судьбы».

По мнению критика, героини Эльфриды Брюнинг не являются какими-то «особенными» женщинами или редким исключением. Писательница рисует портреты своих героинь в типичной для них среде, они говорят характерным для их профессии языком и поступают так, как и бесчисленное множество других современных женщин демократической Германии. Писательница близко познакомилась с жизнью своих героинь, поэтому образы их интересны и жизненны.

Каролина — героиня нового фильма «Удар в подбородок», выпущенного берлинской киностудией «ДЕФА». Девушка живет в столице ГДР. После 13 августа 1961 года она не могла больше ездить на прежнее место работы в Западный Берлин и пытается бежать на Запад. Однако настоящее, глубокое чувство к молодому военному Николаусу помогает Каролине принять правильное решение. Так постепенно молодая девушка находит свое место в жизни демократической Германии. Критика ГДР называет этот фильм — в котором, наряду с серьезными раздумьями над жизнью, много остроумия и иронии — своевременным и нужным. Сценарий фильма, кадр из которого здесь публикуется, написан Манфредом Кругом, исполняющим в картине роль Николауса.

(Газета «Берлинер цейтунг»)

К ЮБИЛЕЮ ГЕРХАРТА ГАУПТМАНА

В связи с отмечавшимся столетием со дня рождения Герхарта Гауптмана издательство «Ауфбау» выпустило восемь томов избранных произведений выдающегося немецкого писателя.

Среди произведений, включенных в юбилейное издание, публикуется реквием «Тьма», написанный Гауптманом в 1937 году и ставший известным лишь десять лет спустя, уже после смерти автора. Реквием «Тьма» по духу, по своим идейным и творческим истокам примыкает к известной драме «Перед заходом солнца» и написан был после нее. В реквиеме, как и в драме, нашла свое отражение глубокая тревога писателя и драматурга перед надвигавшейся фашистской угрозой, его решительное осуждение расовой идеологии гитлеризма и антисемитизма.

Выпуском собрания сочинений Гауптмана, пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг», издательство «Ауфбау» претворило в жизнь мечту Иоганнеса Бехера, который хотел, чтобы... «лучшие произведения Герхарта Гауптмана вновь стали доступны немецкому народу и тем самым помогли бы ему найти путь к гуманизму».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ЗА ВСТРЕЧИ И КОНТАКТЫ

Писатели Германской Демократической Республики призвали своих западногерманских коллег выступить за расширение встреч и контактов, за устранение всех препятствий, искусственно воздвигаемых на пути к этому.

В открытом письме литераторам, входящим в «Группу 47», писатели ГДР выражают надежду, что, «несмотря на некоторые разногласия», коллеги из ФРГ будут также стремиться к установлению контактов и будут активно «препятствовать полицейским мерам» по отношению к писателям ГДР. Имея в виду случай, происшедший с Бруно Апицем (см. «Иностранную литературу» № 1, 1963), авторы письма предлагают: «Мы должны выступать вместе против таких репрессий». Письмо подписали Анна Зегерс, Арнольд Цвейг, Виланд Герцфельде и другие прозаики и поэты.

Ганс Вернер Рихтер, руководитель «Группы 47», ответил на этот призыв письмом на имя Анны Зегерс. По сообщению газеты «Вельт», Ганс Вернер Рихтер пишет, что он и члены его группы «решительно выступали и выступают против того, чтобы полицейскими акциями мешали литературным встречам и беседам писателей обеих частей Германии».

ЧЕМ ОКОНЧИЛАСЬ ДИСКУССИЯ

В тех профсоюзных кругах Западной Германии, где в трогательном согласии с предпринимателями пытаются убаюкивать рабочих легендой о немецком «народном капитализме», не прочь иногда устроить литературную дискуссию среди рурских шахтеров...

Однако в прессе нет-нет да и проскользнет признание, что читательские конференции металлургов, горняков или любых других представителей рабочего класса лишены всякого основания. Современная литература ФРГ обходит социальные вопросы молчанием. Социал-демократический еженедельник «Форвертс» приводит слова одного профсоюзного деятеля: «О том, что существуют рабочие и социальные проблемы, из новой западногерманской литературы не узнаешь».

И все-таки одна такая читательская конференция состоялась. Повод — появление романа 36-летнего рурского шахтера Макса фон дер Грюна. Автор, проработавший на шахте двенадцать лет, написал первое произведение. Роман

выпущен издательством «Паулюс-ферлаг» под названием «Люди двойной ночи». И еженедельник «Форвертс» сразу же поспешил заявить, что наконец-то «закрыта брешь в западногерманской литературе».

В высшей народной школе Реклингхаузена собрались представители окрестных угольных шахт. Собрание читателей было не очень многочисленным: за круглым столом сидело лишь около тридцати участников. Они заслушали выступление автора, несмело и с оговорками осудившего устарелую, насчитывающую уже восемь десятилетий, систему горняцкого труда. Ведь давно не секрет, что в стремлении выжать максимум возможного из углекопов предприниматели не заботятся о технике безопасности, то и дело происходят аварии в Руре. И в самом романе автор не смог умолчать о подобной катастрофе, стоившей жизни многим шахтерам.

А каково мнение читателей? Слушатели Макса фон дер Грюна выразили мнение, что его социальная критика — только начало... Как отметил «Форвертс», их мнение свелось к тому, что автор сильно смягчил свой критический тон.

Дальше читательская конференция пошла по тому руслу, которого ее устроители, видимо, не предусмотрели: очень скоро роман перестал быть предметом дискуссии, и зашел откровенный разговор о действительном положении на рурских шахтах. «Горняки дали полный выход своему чувству недовольства»,— сообщает «Форвертс».

«НЕТ НИЧЕГО УДИВИТЕЛЬНОГО»

Первое драматургическое произведение западногерманского писателя Карллюдвига Опица «Нет ничего удивительного» увидело свет не в Западной Германии. В прошлом году пьесу поставил Реалистический театр в Праге, недавно она была показана телевидением ГДР. Перед первым спектаклем писатель заявил, что пьесу он написал не против своих соотечественников, а против фашистов и милитаристов в современной Западной Германии. Опиц сказал, что по вполне понятным причинам его сатира не могла быть поставлена на западногерманской сцене.

Пятнадцать лет благополучно проживает в лечебнице для нервнобольных бывший штурмфюрер СС Франц Шикеданц. Пятнадцать лет «изнуряет» он себя едой, питьем, сном и перекличками, которые перед каждым приемом пищи Шикеданц проводит среди таких же, как и он, обитателей лечебницы. Во всяком случае, это лучше, чем сидеть в тюрьме вместе с друзьями, своими прежними коллегами.

Но вот в руки Шикеданца попадает «багрово-кровавое знамя эпохи величия Германии»... Так создается «Новое движение» — возрождается проклятая всем человечеством партия, которая в Западной Германии вновь входит в почет...

«Сатира Карллюдвига Опица могла бы казаться просто злой иронией, если бы не рисовала горькую правду западногерманской действительности. Пьеса еще раз предупреждает людей, что в Западной Германии не все фашисты добиты»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цейтунг».

Сцена из телевизионной постановки «Нет ничего удивительного».

(Газета «Берлинер цейтунг»)

ГРЕЦИЯ

ЖУРНАЛ «ОДИССЕЯ» И ГРЕЧЕСКИЕ ДИПЛОМАТЫ

В Нью-Йорке стал выходить журнал «Одиссея», посвященный современной греческой литературе. В первом номере журнала опубликованы отрывок из романа П. Превелакиса «Смерть солнца» и статья профессора Салоникского университета Лаурдаса о творчестве автора этого романа, рассказ Карагациса «Шторм», девять стихотворений Янниса Рицоса и три стихотворения Такиса Синопулоса.

Появление греческого литературного журнала вызвало бурную реакцию греческого посольства в США. Оно известило редакцию, что не намерено купить ни одного экземпляра.

«Новое издание,— пишет обозреватель афинской га-

зеты «Авги»,— ставит перед собой благородную цель познакомить американского читателя с лучшими произведениями греческой литературы... Это начинание достойно всякого поощрения. Почему же греческое посольство объявляет ему бойкот? Дело в том, что у представителей посольства есть свои взгляды на греческую литературу... Эти взгляды не позволяют им мириться с популяризацией тех греческих писателей, которые в немилости у КИП (греческая секретная служба безопасности). Помимо дипломатических функций работники посольства берут на себя роль полицейских соглядатаев. Такая политика не только препятствует пропаганде греческой культуры за рубежом, но и дискредитирует Грецию в глазах всего мира».

КТО МОЖЕТ КУПИТЬ КНИГУ?

Греческая передовая общественность озабочена падением спроса на произведения художественной литературы, особенно на романы. Объясняется это небывалой дороговизной книг. «Книги становятся все более и более недоступными,— сообщает газета «Авги».— Книга в 250—300 страниц стоит не дешевле 50 драхм. Кто купит такую книгу? Кто может пожертвовать своим дневным заработком?»

ДАНИЯ

ПРЕМИЯ ФАРЕРСКОМУ ПИСАТЕЛЮ

Первая литературная премия «Датско-фарерского фонда культуры» присуждена современному фарерскому писателю Вильяму Хейнесену. Газета «Ланд ог фольк» подчеркивает, что присуждение Хейнесену премии вполне справедливо: Хейнесен — крупнейший поэт и прозаик Фарерских островов, своими реалистическими произведениями завоевавший широкое признание.

ИНДИЯ

В ДЖУНГЛЯХ БЕНГАЛИИ

«В лесу и на болоте» — так называется повесть видного современного бенгальского писателя-реалиста Моноджа Бошу, опубликованная калькуттским издательством «Бенгал паблишерз».

Непроходимый лесной массив, пересеченный речками и речушками, опоясывает болотистое южное побережье Бенгальского залива. Из года в год населению этого района приходится затрачивать огромные усилия, чтобы отвоевать у джунглей пригодную для посевов и жилья землю. Рассказ о трудной, полной лишений жизни крестьян далекой сельской общины, об их борьбе с природой за каждый клочок земли, составляет сюжет произведения, написанного, по словам критика газеты «Бхарат джоти», «простым языком, без риторических излишеств, с чувством большой и искренней симпатии к безвестным труженикам». На этом фоне писатель в теплых лирических тонах рисует историю любви лодочника Кетучарана и красавицы Илокши.

РАССКАЗЫ ПОЭТА

В бомбейском издательстве «Митраготри консернс» вышел сборник коротких рассказов «Потомки Дхритараштры» — первые прозаические произведения поэта Г. В. Кулкарни, пишущего на языке каннада.

«В наше время, когда книжный рынок страны наводнен «модернистской» литературой и читатель буквально утопает в бестемных, бессмысленных, анемичных рассказах, зачастую лишенных каких бы то ни было литературных достоинств, приятно встретить хорошую книгу,— пишет в рецензии на сборник критик индийской газеты «Бхарат джоти» Рашика. — Подлинный гуманизм и глубокое проникновение писателя в человеческую природу выгодно отличают эти рассказы».

Творческих работников индийского кино в последнее время стали увлекать не только шедевры национальной классики, но и популярные произведения современных писателей. На индийских экранах пользуется неизменным успехом фильм «Король, дама и валет», поставленный по одноименному роману известного бенгальского прозаика Бимала Митро. Недавно молодой кинорежиссер Аруп Гуха Тхакурта экранизировал еще одно произведение этого писателя. В фильме «Бенараси» зритель вновь встречает давно полюбившихся ему героев. «Режиссерская и операторская работа, талантливый сценарий (автор — Аруп Гуха Тхакурта) и игра одаренных актеров ставит «Бенараси» выше многих других бенгальских картин»,— пишет критик индийского журнала «Линк». На снимке молодая актриса Рума Гуха Тхакурта, исполняющая главную роль.

(Журнал «Линк»)

ОБЗОР САНСКРИТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Труд доктора Ч. Кунхана Раджа «Обзор санскритской литературы», опубликованный бомбейским издательством «Бхаратья видья бхаван», занимает около четырехсот страниц. Книга представляет значительный интерес прежде всего потому, что это первая попытка индийского ученого проследить историю литературы на санскрите. Подобные обзоры до него создавались только иностранными учеными. По словам критика еженедельника «Блиц» Р. П. Айара, это не простой перечень документов и текстов, а обширное серьезное исследование исторических материалов.

Книга состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена различным памятникам древней индийской литературы, расположенным в хронологическом порядке. Первая часть — Веды, которые автор считает одним из лучших образцов мирового поэтического искусства; затем Пураны, Рамаяна и Махабхарата — памятники классической эпохи. Особый раздел посвящен Калидасе, а также произведениям более позднего периода.

«Нет такой темы на земле, которая не получила бы отражения в санскритской литературе»,— пишет в заключение доктор Раджа.

ИСПАНИЯ

ЗАБЫТЫЕ ТЕКСТЫ ГАРСИА ЛОРКИ

Молодая французская ученая из Тулузы Мари Лафранк, исследуя творчество великого испанского поэта Федерико Гарсиа Лорки, неоднократно посещала Испанию, разговаривала с людьми, которые лично знали поэта. Мари Лафранк удалось извлечь из-под архивной пыли многие забытые тексты Гарсиа Лорки. Плоды своих исследований она опубликовала в «Болетин эспаньоль», издаваемом в Бордо.

Она пишет, что, приехав в Буэнос-Айрес в 30-х годах, Федерико Гарсиа Лорка рассказывал на страницах газеты «Насьон» о передвижном студенческом театре «Ла Баррака», с которым он побывал во многих районах Испании:

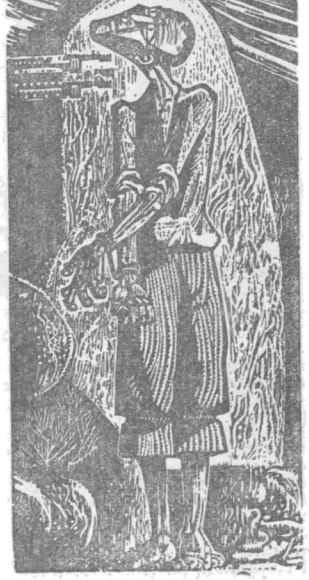
«Для меня «Ла Баррака» — это главное мое дело, которое интересует и влечет меня гораздо больше, нежели моя литературная работа. Из-за «Ла Баррака» я много раз оставлял стихи и не завершал пьес; к их числу принадлежит и «Йерма», которую я уже заканчивал, когда мне пришлось оторваться и пуститься по землям Испании в одну из необыкновенных экскурсий «моего театра». Я говорю «моего», хотя руковожу им не я один. Мы делим руководство с Эдуарде Угарте...

«Ла Баррака» — замечательное предприятие, почти единственное в своем роде... Не только по качеству предлагаемых им спектаклей, но также и по присущему ему творческому горению, дисциплине, энтузиазму, духу взаимопомощи. Декораторами работают лучшие художники испанской школы в Париже, изучившие самый современный язык линий у Пикассо... В течение полутора лет работы мы осуществили постановку восьми одноактных пьес Сервантеса, различных произведений Лопе де Руэда, «Фуэнте Овехуна» Лопе де Вега, «Жизнь есть сон» Кальдерона, которая поставлена так, как этого хотел автор, «Севильского обольстителя» Тирсо де Молина и некоторых других. Примечательны радость и внимание, с которыми нас принимали крестьяне. Они поколотили бы того, кто малейшим шумом помешал бы им услышать хоть одно слово. И поэтому, вероятно, в самых отсталых селениях Испании наши постановки воспринимались как самое достоверное, живое толкование нашего классического театра».

К настоящим поклонникам театрального искусства Федерико Гарсиа Лорка относил «народ, самый бедный, считающийся самым некультурным, — народ чистый, целомудренный, с богатой восприимчивостью ко всем переживаниям и ко всем оттенкам красоты». Он считал, что «испанский классический театр — вернейший проводник культуры в деревнях и среди жителей Испании».

Многие испанские художники, противники франкистского режима, объединились в «Движении народного эстампа». Этот союз, организованный в Мадриде в 1959 году, объединяет живописцев, скульпторов, граверов, правдиво показывающих страдания и нищету испанского народа. В целях распространения своих идей и своего искусства союз начал выпускать гравюры, ставшие великолепным средством воспитания масс. Сегодня, как отмечает печать, еще нельзя назвать настоящие имена художников, участвующих в «Движении», потому что франкистское министерство внутренних дел приняло решение, согласно которому авторы и издатели эстампов подвергаются штрафу в сумме 10 тысяч песет. Полиция запретила проведение выставки народного эстампа в Бильбао. Мы воспроизводим гравюру Феррера Адана — «Расстрел»

(Еженедельник «Леттр франсез»)



СОНЕТЫ О КОСМОНАВТАХ

«Тринадцать космических сонетов» — под таким названием, как сообщает бар-

селонский еженедельник «Дестино», в Бильбао издана книга стихов Эстебана Калье Итуррино. Автор посвящает свои сонеты советским космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову, а также американскому космонавту Джону Глену.

ИТАЛИЯ

ИНТЕРВЬЮ ВАСКО ПРАТОЛИНИ

Автор известных советскому читателю «Повести о бедных влюбленных» и «Метелло» в интервью корреспонденту газеты «Унита» сообщил, что он закончил работу над новым романом, название которого — «Постоянство разума» — взято им из «Новой жизни» Данте.

Новый роман не входит в трилогию «Итальянская история», начатую «Метелло», а представляет собой самостоятельное произведение. Действие его происходит, в отличие от предыдущих повестей и романов Васко Пратолини, в наши дни, но место действия — тот же родной город писателя, Флоренция, точнее, его рабочая окраина Рифреди. Герой — молодой паренек по имени Бруно, механик, стремящийся поступить работать на крупнейшее предприятие города — завод «Галилео». Бруно — современный юноша, его мучают вопросы, стоящие перед нынешним поколением двадцатилетних. «Главное в романе, — говорит Пратолини, — стремление юноши разобраться в своих отношениях с любимой девушкой, с семьей, с друзьями, со всем обществом, осознать смысл самого своего существования, свою роль в жизни».

Этот роман писатель рассматривает как «передышку» в многолетней работе над трилогией «Итальянская история», ныне доведенной до начала 30-х годов и ожидающей завершения в третьей книге. Роман «Постоянство разума» выйдет из печати весной этого года.

«ДУЭТ ДЕ СИКА — САРТР»

Так итальянская критика назвала фильм «Альтонские узники», поставленный по одноименной пьесе Жана-Поля Сартра итальянским режиссером Витторио Де Сика.

Появление картины ожидалось с большим нетерпением. Фильм привлекает огромный интерес критики и зрителей своей острой антифашистской направленностью, вызывавшей уже во время съемок ярость западногерманской печати. В создании его участвовала плеяда известных мастеров кино. Сценарий написан Чезаре Дзаваттини, Де Сика и прогрессивным американским сценаристом Эбби Манном, одним из авторов нашумевшего фильма о процессе в Нюрнберге. В действие фильма органически включены отрывки из антифашистских пьес Бертольта Брехта в исполнении актеров театра «Берлинер ансамбль». Музыкальное сопровождение составляют фрагменты из произведений Дмитрия Шостаковича. Стены комнаты, где укрылся от внешнего мира герой пьесы — фашистский преступник,— увешаны рисунками Ренато Гуттузо, изображающими ужасы войны. Главные роли исполняют София Лорен, Фредерик Марч и Максимилиан Шелл.

В фильме, по сравнению с пьесой, значительно усилена антифашистская тема; морально-философская проблематика и символика Сартра звучат гораздо приглушеннее. В фильм добавлены многие сцены, показывающие сегодняшнюю действительность Западной Германии. Итальянский режиссер поставил фильм, который не только разоблачает гитлеровцев и тех, кто привел их к власти, но и напоминает об угрозе реставрации фашизма в Западной Германии.

Фильм получил самую высокую оценку прогрессивной критики.

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ

Большим событием в театральной жизни Рима явилась премьера на сцене театра «Квирино» пьесы Эдуардо Де Филиппо «Сын Пульчинеллы», изданной еще в 1960 году, но увидевшей свет рампы только теперь. В этом сложном многоплановом произведении, заслуживающем глубокого анализа, Де Филиппо, играющий центральную роль Пульчинеллы, смело пытается соединить сказку и действительность, заставить

Кадры из фильма «Альтонские узники».

(Еженедельник «Вие нуове»)

древнюю маску жить в реальном мире — современном Неаполе с его социальной несправедливостью, нищетой, борьбой политических партий, выборами и интригами. «Внешняя покорность Пульчинеллы, его готовность услужить хозяину,— пишет рецензент еженедельника «Вие нуове»,— служит автору парадоксальным средством для разоблачения социального строя, основанного на рабском подчинении человека». Сын Пульчинеллы не хочет оставаться, как отец, слугой богача-политикана, он срывает с себя маску и устремляется навстречу новой жизни — такая концовка пьесы символична, как и все произведение. В связи с премьерой «Сына Пульчинеллы» неаполитанскому драматургу, режиссеру и актеру в торжественной обстановке была вручена «Золотая медаль» Римской ассоциации театральных критиков.

Другая премьера, привлекшая внимание общественности — постановка пьесы «Ее роль в истории» драматурга Луиджи Скуарцины — автора изданных у нас пьес «Всемирная выставка» и «Девушка из Романьи» («Романьола»). Пьеса «Ее роль в истории», написанная Скуарциной еще в 1955 году, лишь недавно впервые была показана итальянскому зрителю Туринским городским драматическим театром. В основу сюжета драмы, действие которой происходит в первые послевоенные годы, положен конфликт между руководителями прибывшей на остров Сардиния американской миссии и сардинскими крестьянами, а также одним из врачей миссии — молодой американкой, встающей на защиту обездоленных крестьян и отказывающейся участвовать в демагогическом фарсе, подготовленном американцами и местными властями.

КИТАЙ

БЕСЕДА С ЯН МО

Советскому читателю знакомо имя китайской писательницы Ян Мо: ее роман

«Из искры — пламя» — так называется новый художественный фильм, демонстрирующийся на экранах Китая. В картине, поставленной известными режиссерами Чжан Цзюнь-сяном и Гу Эр-и, повествуется о жизни шахтеров, их борьбе против жестокой эксплуатации в Китае 20-х годов. Здесь помещен кадр из фильма.

(Журнал «Шанхай дяньин»)

«Песня молодости» издавался в Советском Союзе.

Отвечая на вопрос корреспондента пекинского журнала «Чайниз литерачер», как формировалось ее мировоззрение, Ян Мо вспоминает, что друзья-революционеры советовали ей читать прогрессивные книги.

— Я жадно читала, — сказала Ян Мо, — такие книги, как «Мать» Горького и «Железный поток» Серафимовича. Я читала долгими зимними ночами, не ощущая холода. Я чувствовала себя заблудившимся человеком, который неожиданно нашел дорогу и обрел надежду... Мне казалось, что в меня вдохнули новые жизненные силы.

«Я заметил, — пишет корреспондент журнала, — что некоторые читатели ставят знак равенства между автором романа и ее героиней. Писательница улыбнулась и ответила:— В ней есть кое-что и от меня, но не все. Для создания характера писателю не обязательно иметь какой-то прообраз. Часто характер героя литературного произведения включает в себя черты многих людей. Что же касается меня, то мой жизненный путь похож на судьбу многих представителей молодой интеллигенции 30-х годов, мне знакомы их переживания».

— Что заставило вас написать «Песню молодости»? — спросил корреспондент.

— Однажды вечером, более тридцати лет назад, когда мне было 11 или 12 лет, к нашему дому подошел молодой и приятный человек и стал о чем-то беседовать с моим отцом... Через несколько дней я узнала, что реакционеры схватили его в ту же ночь, когда он был в нашем доме, и повесили вместе с профессором пекинского университета коммунистом Ли Да-чжао и другими революционерами. Для меня это было большим ударом... Я решила, что когда-нибудь напишу книгу об этих героических людях. Можно сказать, что так зародился замысел «Песни молодости».

— Намерены ли вы работать над продолжением романа?

Писательница поднялась со стула и указала на полку с книгами, посвященными национально - освободительной войне китайского народа против японских захватчиков.

— Я прочитала их за истекший год,— говорит писательница,— и скоро начну писать продолжение «Песни молодости». На этот раз события будут разворачиваться в период войны с японскими захватчиками. Линь Дао-цзин и ее единомышленники пойдут к рабочим и крестьянам. В романе будет показано, как в борьбе закаляются их характеры, как они превращаются в пролетарских борцов за национальное освобождение. Но я не могу сейчас сказать, когда будет окончена эта работа...

КУБА

ЖИВОПИСЬ — ТОЖЕ БОЕВОЕ ОРУЖИЕ

Под таким названием армейский журнал «Верде оливо» публикует статью о выставке картин художников—

На выставке работ художников — бойцов Революционных вооруженных сил Кубы.

(Журнал «Верде оливо»)

бойцов Революционных вооруженных сил Кубы. 103 работы солдат — любителей живописи, представленные на выставке в Гаване, явились ярким свидетельством того, что вместе со свободой революция принесла кубинскому народу возможности для всемерного развития культуры и искусства. Написанные маслом, акварелью, тушью, цветными карандашами и просто углем, исполненные в разных жанрах и манере, эти полотна говорят о революционном духе кубинцев, о любви и преданности Родине, о светлой памяти тех, кто отдал за нее жизнь в борьбе.

Очень интересны, например, сообщает журнал, оригинально выполненные пастелью портреты В. И. Ленина, Фиделя Кастро, Н. С. Хрущева, Камило Сьенфуэгоса, Юрия Гагарина.

Внимание посетителей выставки неизменно привлекали полотно Ребольяра, удачно скопировавшего известную картину советского художника В. Серова «Ходоки у В. И. Ленина» и полотно Гильермо Санчеса «Беседа Ленина с солдатскими депутатами».

Спокойной уверенностью в завтрашнем дне веет от работ Хорхе Альвареса Гарсиа, выполненных цветным карандашом. Характерны их темы: «Дружба народов», «Победная поступь социализма», «Народы мира солидарны с Кубой» и «Завоевание Космоса». Теме космоса посвящен один из центральных стендов выставки, вызвавший наибольший интерес посетителей.

С большим успехом в гаванском театре «Сала Арлекин» идет постановка новой пьесы молодого кубинского драматурга Мануэля Регеры Саумеля «Воспоминания Тулипы». В этой реалистической пьесе рассказывается о судьбе актрисы бродячего цирка, которой — еще в дни батистовского режима — пришлось покинуть арену... По оценке кубинской критики, драматургу, а также режиссеру Рубену Вигону удалось передать социальное звучание в произведении, написанном в традициях национального театрального жанра — сайнете. На снимке сцена из спектакля.

(Журнал «Верде оливо»)

ЛИВАН

ДРАМАТУРГИЯ МАРУНА НАККАША

По сообщению кувейтского журнала «Аль-Араби», в бейрутском издательстве «Дар ас-Сакафа» вышла первая книга из серии «Арабский театр». Она посвящена основоположнику арабского театра сирийцу Маруну Наккашу (1817—1855).

Опубликованное в книге исследование жизни и творчества этого первого арабского драматурга написано известным ливанским ученым-театроведом доктором Мухаммедом Юсуфом ан-Наджмом. В книге напечатаны три пьесы Наккаша: «Скупой», «Глупый Абуль-Хасан» и «Завистливый наглец».

ЛИВИЯ

«...И КАРАВАН КУЛЬТУРЫ»

Журнал «Аль-Адаб» опубликовал статью Мухаммеда ас-Саиха Юсуфа «Ливия и караван культуры», в которой рассказывается о духовной жизни этой страны.

Ливия в значительной мере отстала в своем культурном развитии от соседних арабских стран вследствие долголетнего османского владычества, сменившегося затем кровавой фашистской диктатурой Муссолини. Это отразилось и на ливийской литературе — поэзии и прозе.

Из крупных поэтов прошлого автор называет лишь Сулеймана аль-Баруни, видного борца за независимость.

Со временем в Ливию мало-помалу стали проникать отголоски культурного возрождения из Египта и Ливана. Но подлинный подъем в Ливии начался только после провозглашения ее независимости в 1952 году. Независимость была «зеленым сигналом светофора для ливийской интеллигенции, чтобы приступить к созданию литературы». В стране один за другим стали выходить поэтические сборники, появились первые новеллисты.

Созданная четыре года назад «Ассоциация ливийской мысли», объединившая писателей западной провинции Ливии — Триполитании, издает свой ежемесячный журнал. Члены Ассоциации

ведут культурно-просветительную работу среди населения.

В восточной столице Ливии — Бенгази (согласно конституции в Соединенном королевстве Ливии две столицы — Триполи и Бенгази) в последнее время также наступило оживление в культурной жизни. Там проводится деятельная подготовка к открытию «Ливийского клуба культуры», который должен объединить деятелей культуры и литературы второй ливийской столицы.

МАРОККО

КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

В марокканском городе Тетуан состоялась конференция деятелей культуры Марокко, организованная ассоциацией «Факел мысли». Темой конференции была выбрана проблема «Марокко и направления в мировой идеологии». В дискуссии, по сообщению печати, приняли участие видные марокканские ученые, писатели и деятели культуры.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

СТИХИ НАРОДА МАОРИ

Отдаленность географического положения Новой Зеландии, трудность и малоизученность языка делают недоступным для большинства читателей других стран знакомство в подлиннике с поэзией народа маори.

Однако, как отмечает журнал «Лэндфолл», и те, кто читает на английском языке, до недавнего времени были лишены возможности получить хотя бы некоторое представление о поэзии народа маори и по переводам. Дело в том, что английские переводчики стремились изъять из стихов все сколько-нибудь существенно маорийское.

Вот почему журнал приветствует выход в свет нового сборника стихотворений народа маори в переводе поэта Бэрри Миткалфа: новые переводы соответствуют оригиналу и вместе с тем отличаются поэтическими достоинствами.

ПАКИСТАН

УСПЕХ ХУДОЖНИКОВ-РЕАЛИСТОВ

Вопреки традиции, шестая национальная выставка картин пакистанских художников состоялась не в Карачи, а в Лахоре. На ней было представлено 178 работ, принадлежащих 83 художникам из различных областей страны.

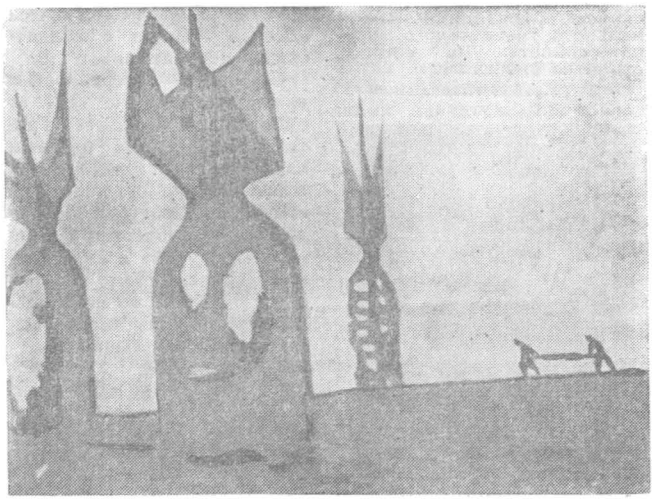
Отличительной чертой шестой выставки, по мнению критика журнала «Пэкистан куотерли», было весьма большое разнообразие стилей представленных на ней работ, причем наиболее высокую оценку получили полотна художников-реалистов.

ПОЛЬША

ВСТАВАЛА ИЗ РУИН ВАРШАВА...

В январские дни 1945 года, когда советские и польские войска переправлялись по понтонному мосту через Вислу в Варшаву, капитан Войска Польского Беднар получил почетное и ответственное задание: руководить восстановлением моста Понятовского... Так начинается повесть польского писателя Леслава Бартельского «Венец».

Но в книге рассказано не только о строительстве моста, о восстановлении Варшавы. Автор рисует сложные судьбы людей. Кое-кто не сразу принял сторону народной власти. Таков журналист из Ченстоховы Конрад, который берет у Беднара интервью о восстановлении моста Понятовского, такова и сестра Беднара, при первой же встрече потребовавшая, чтобы ее брат немедленно сбросил мундир офицера Войска Польского. Но путь Беднара в родную Варшаву прошел через казахстанские степи, через белорусскую деревню Ленино, где первая дивизия Войска Польского вступила в бой против гитлеровцев в октябре 1943 года,— и потому он политически грамотнее и дальновиднее кое-кого из своих соотечественников. Правда Беднара побеждает: мост Понятовского, несмотря на то, что строители располагают самыми скромными техническими средства-



«Памятник капитализма» — так назвал свою работу молодой познанский художник Рышард Скупин. Она была экспонирована на выставке «XV лет польской живописи» в Национальном музее в Варшаве.

(Еженедельник «Нова культура»)

ми, успешно восстанавливается. Леславу Бартельскому, по оценке польской критики, удалось создать живые, убедительные образы рабочих-строителей, которые считают скорейшее восстановление Варшавы своим священным долгом.

Рецензент еженедельника «Нова культура» Станислав Маркевич считает «Венец» произведением «политическим от первой до последней страницы», хотя внешне повествование ведется как бы бесстрастно.

«Повесть о судьбах людей в те годы не может не быть повестью политической, — пишет Маркевич.— «Венец» входит в цикл, который автор намерен продолжать. Это несомненно будет полезно для нашей современной литературы».

О восстании шахтеров долины Жиу против эксплуататоров в 1929 году рассказывает фильм «Лупень-29», кадр из которого здесь помещен. Фильм по сценарию Н. Цика и Э. Мандрика поставлен режиссером И. Драчан.

(Журнал «Флакэра»)

РУМЫНИЯ

ДИСКУССИЯ О КОНФЛИКТЕ

Главное место в дискуссии, ведущейся в румынских литературных журналах, отведено проблеме конфликта в произведении. Газета «Скынтейя» недавно подчеркивала положительный характер этих обсуждений. «Проблема конфликта,— писала она,—весьма важна для развития румынской литературы». Далее газета требовала расширения дискуссии с привлечением большего круга прозаиков, а также широких масс читателей.

На страницах «Газета литерарэ» вокруг проблемы конфликта ведется серьезный разговор еще с лета прошлого года. По этому вопросу высказывались почти все театральные критики. Серьезно раскритикованы были пьесы, изобилующие декларативными утверждениями, описанием того, что происходит в умах героев, пренебрежением событийным материалом, из-за чего пьесы оказались лишенными всякого реального драматизма. Нельзя также согласиться с бесконечным выводом на сцену всякого рода современных Бовари, одетых в рабочие спецовки. В этом плане борьба велась и на страницах журналов «Контемпоранул» и «Театрул».

Наибольшую остроту приобрело обсуждение жанра короткого рассказа, столь популярного среди молодых авторов. Еженедельник «Лучафэрул» открыл эту дискуссию опубликованием рассказа Николае Веля — одного из талантливых молодых прозаиков Румынии. В этом произведении как раз вскрывались достоинства и недостатки новых творческих поисков молодежи. Вместе с рассказом была помещена острая статья молодого критика. Это вызвало живейший отклик со стороны как литераторов, так и читателей.

Почему проблема конфликта занимает такое важное место на страницах литературных журналов? Это можно понять, учитывая нынешний исторический период завершения строительства социализма в РНР. Какова же специфическая форма конфликта на этом этапе? Каково соотношение между коллективным конфликтом, происходящим в жизни общества, и индивидуальным — в психологии отдельных людей? Эти и другие вопросы, занимающие литераторов и литературоведов, обсуждаются на дискуссии, организованной Союзом румынских писателей.

США

ГОВОРИТ ДЖОН СТЕЙНБЕК

Корреспондент французского еженедельника «Фигаро литтерер» Лео Соваж встретился в Нью-Йорке с лауреатом Нобелевской премии по литературе Джоном Стейнбеком. В ходе беседы выдающийся американский писатель высказал ряд интересных мыслей по самым разнообразным вопросам.

Касаясь присуждения ему Нобелевской премии, Стейнбек сказал:

— Мне кажется, что премии писателям присуждают всегда слишком рано. Премию следует давать только тогда, когда, собственно говоря, творческий путь писателя заканчивается. Лишь к тому времени можно судить о всей его работе в целом и решить, заслужил ли он высокую награду...

Корреспондент спросил Стейнбека, как он работает.

Лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек и известный шведский художник Бу Бесков познакомились и подружились четверть века назад. И тогда, в 1937 году, Бесков нарисовал первый портрет своего друга, настолько еще мало известного в Европе, что, по словам Бескова, «его не пускали в ресторан без галстука». Спустя почти десять лет Стейнбек снова приезжает в Швецию, и появляется второй портрет уже знаменитого писателя. Еще через десять лет, в 1957 году, был создан третий портрет, о котором Бесков в одном из интервью, опубликованном в связи с присуждением Стейнбеку Нобелевской премии, сказал: «Я с радостью отмечаю, что Стейнбек первого портрета остался тем же».

(Газета «Стокгольмс-тиднинген»)

— Почему садишься писать книгу? — ответил Стейнбек.— Да потому, что вас толкает на это внутренняя необходимость куда более мощная, чем все те причины, которые можно было бы выдвинуть против написания этой книги. Эта внутренняя необходимость проявляется в том, что вы обуреваемы желанием бросить решительно все, включая планы создания других произведений. Вы отставляете в сторону все, что вас до сих пор занимало и интересовало, и подчиняетесь толкающей вас изнутри силе.

Далее писатель отметил внешние или внутренние факторы, подчас побуждающие взяться за ту или иную тему. Иногда это бывает какое-нибудь случайное открытие, случайная встреча, неожиданное знакомство. Стейнбек рассказал, какие причины «подтолкнули» его на создание романа «Гроздья гнева».

— В то время я работал для одной газеты в Сан-Франциско. Мне поручили сделать репортаж о фермах «пыльного бассейна», то есть американского Юго-Запада, где всегда царит засуха, бушуют пыльные бури. Из-за бесхозяйственности администрации этот район страны постепенно превращается в пустыню. Тысячи сельских жителей покидали свои фермы, грузили семьи и пожитки в старенькие машины и направлялись по федеральному шоссе № 66 на Запад. Калифорния представлялась раем в мечтах изголодавшихся людей, влекли их видения жирной плодородной земли. Но эта земля, к сожалению, принадлежала другим...

И вот, когда я очутился среди этих людей, познакомился с их нищетой, с их страданиями, отчаянием и надеждами, когда я понял, что, спасаясь от одной трагедии, они ввергают себя в другую, и когда я осознал, что виною этому не природа и стихийные бедствия, а люди, я забыл о порученном мне задании и сел писать «Гроздья гнева».

— Вы хотели встать на их сторону? — спросил Соваж.

Стейнбек заявил:

— Писателю необходимо высказать то, что он думает и чувствует, в особенности, если речь идет о чем-то таком, что глубоко его волнует. Он не может не встать на чью-то сторону, а если этого он не сделает, он перестанет быть самим собой, перестанет быть писателем.

Когда речь зашла о внутриполитических проблемах сегодняшней Америки, Соваж задал вопрос, не тревожит ли Стейнбека активизация ультраправых элементов, усиленная возня коричневорубашечников Рокуэлла и «американской нацистской партии», членов «общества имени Бэрча», а также генерала Уокера.

— Уокер слишком смешон, чтобы быть опасным...— начал было Стейнбек и тут же осекся. Он, очевидно, вспомнил, пишет Соваж, как много лет назад так отзывались и о бывшем немецком ефрейторе, и мир заплатил за это потоками крови, гибелью миллионов людей.

— Разумеется, — сказал Стейнбек,— никто не будет давать клятву, что у нас этого не может произойти никогда. Но я все же спокоен, у нас старые демократические традиции. Хотя, конечно, все мы слишком часто забываем о том, что произошло в Европе. С другой стороны, возможно, что возня крайне правых вызовет и положительный эффект — в том смысле, что она активизирует на борьбу с ними те либеральные элементы, которые склонны вообще проявлять политическую инертность!

ФИНЛЯНДИЯ

ВЯЙНЕ ЛИННА О СЕБЕ

Кто самый популярный писатель в Финляндии? Каждый финн, не задумываясь, ответит: Вяйне Линна. Действительно, книги этого писателя издаются большими тиражами — что весьма редко в Финляндии — и немедленно раскупаются.

Недавно вышла заключительная часть его трилогии «Здесь, под Полярной звездой». Как и предыдущие части, эта книга переведена на многие европейские языки и вызвала широкий интерес.

Финский журнал «Ууси найнен» опубликовал интервью с автором трилогии. В свое время Вяйне Линна работал на заводе фирмы «Финлайсон» в городе Тампере, и корреспондент журнала задал ему вопрос, не намерен ли он написать книгу об этом заводе.

— Да, я думал и над этой темой,— сказал Вяйне Линна. — Она мелькала у меня в мыслях наряду с темой книги «Здесь, под Полярной звездой», но ее проблески всегда были весьма слабыми. С другой стороны, тему для возможного нового романа следует искать в собственном жизненном опыте. Я не могу писать только по воображению. Два периода моей жизни уже мной описаны. Первые восемнадцать лет я прожил в сельской местности, следующие пять лет находился в армии. На заводе работал и после того, как написал «Неизвестного солдата». Этот период жизни еще остался нераскрытым. Но сейчас у меня пока нет желания писать. Сказывается усталость от шестилетнего непрерывного напряженного труда. Задача, которую я поставил перед собой, оказалась тяжелой. Лучше, пожалуй, было бы сначала написать все части и только потом передать их издателю. Больше всего я работал над третьей частью. Я даже отложил на один год ее опубликование, поскольку хотел переписать ее заново.

Говоря о трилогии, Вяйне Линна заметил:

— Первую часть моего романа встретили с одобрением — дела наших дедов далеки от нас. Вторая часть вызвала дискуссию по историческим вопросам, и мне иногда казалось, что это я разжег гражданскую войну, хотя я только описывал ее. Но и дела отцов наших выдержали экзамен у читателя. Третья часть — уже о наших надеждах, и поэтому легко воспламеняет.

ФРАНЦИЯ

ВАЙЯН-КУТЮРЬЕ — ТРИБУН И ПИСАТЕЛЬ

Издательство «Эдисьон сосиаль» выпустило сборник избранных произведений Поля Вайяна-Кутюрье. Предисловие к сборнику написано Жаком Дюкло.

Эта книга, подчеркивает газета «Юманите», поможет читателям понять, сколь значительной была роль Вайяна-Кутюрье во всех областях французской жизни. Газета печатает воспоминания Леона Муссинака о Вайяне-Кутюрье. «Однажды, еще в 1921 году, мы с женой гуляли в парке,— пишет Муссинак,— кругом царила праздничная атмосфера. Оказалось, что здесь состоится собрание членов Союза коммунистической молодежи, на котором должен был выступить Вайян. В этот день мы с ним и познакомились.

Он был замечательным оратором... В любом месте, при любых обстоятельствах у него мгновенно устанавливался контакт с аудиторией, то есть он очень хорошо чувствовал аудиторию, мгновенно находил нужный тон и так излагал свои мысли, что его понимали буквально все. Как раз это его качество меня, может быть, больше всего в нем и потрясло... Но его таланты не ограничивались областью ораторского искусства. Он обожал музыку и живопись. Я уже не говорю о таланте писателя — это общеизвестно...

Поль был сама доброта».

Поль Вайян-Кутюрье в сопровождении Леона Муссинака выходит из парижской тюрьмы «Санте». (Снимок 20-х гг.)
(Газета «Юманите»)

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

КНИГА О БЕДРЖИХЕ ВАЦЛАВЕКЕ

В издательстве Чехословацкой Академии наук вышла книга К. Хватика «Бедржих Вацлавек и развитие марксистской эстетики».

Вацлавек, пишет рецензент еженедельника «Литерарни новины», начинал как защитник пролетарского искусства, а в тридцатых годах его программой становится социалистической реализм.

Лучшее в книге Хватика, по мнению рецензента,— это анализ теоретической проблематики тридцатых годов, данный через исследование взглядов Бедржиха Вацлавека.

Оценивая новую книгу К. Хватика, чешская критика отмечает, что «благодаря ей теория марксистской эстетики сделала шаг вперед».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

ДЖУЗЕППЕ УНГАРЕТТИ — GIUSEPPE UNGARETTI (род. в 1888 г.)—итальянский поэт, автор поэтического цикла «Жизнь человека» («Vita di un uomo»), в который входят следующие сборники: «Веселье» («L'Allegriá», 1914—1919), «Чувство времени» («Sentimento del tempo», 1919—1935), «Разрозненные стихи» («Poesie disperse», 1945), «Боль» («Il Dolore», 1937—1946), «Земля обетованная» («La Terra promessa», 1950), «Записная книжка старчка» («Il Taccuino del vecchio», 1952—1960).

Публикуемые стихи взяты из сборников «Веселье», «Чувство времени», «Боль», «Записная книжка старика».

Дж. В. Б. ДАНКВА — J. W. B. DANQUA — ганский поэт. Стихотворение «Голоса мира» было напечатано в газете «Ганэйен таймс».

ДЖОН ОКАЙ — JOHN OKAI (род. в 1941 г.) — поэт Ганы, лауреат Президентской премии поэзии за 1960 год. Публикуемое стихотворение взято из журнала «Ганэйен».

ВОЛЬФГАНГ ЙОХО — WOLFGANG JOHO (род. в 1908 г.) — немецкий писатель и критик. Автор романов «Жанна Пейрутон» («Jeanne Peyrouton», 1949), «Дюжина и два» («Ein Dutzend und zwei», 1950), дилогии «Путь из одиночества» («Der Weg aus der Einsamkeit», 1953) и «Перелом» («Die Wendemarke», 1957), «Жалости нет» («Es gibt kein Erbarmen», 1961).

Статья «Новые голоса в литературе ГДР» прислана автором в рукописи.

ЯНУШ ПШИМАНОВСКИЙ — JANUSZ PRZYMANOWSKI (род. в 1922 г.) — польский писатель. Автор книг «В первом ряду» («W pierwsym szereg», 1951), «Солдаты четырех рек» («Żołnierze czterech rzek», 1953), «Тайна высоты 117» («Tajemnica wzgorza 117», 1957), «Рыцари серебряного щита» («Rycerze srebrnej tarczy», 1958) и др. В 1955 г. вышла книга «Штурм гранитных твердынь» («Desant na kamniennej wyspie»), написанная Я. Пшимановским и В. Жукровским.

Публикуемая статья получена журналом в рукописи.

РОЖЕ ШАПЛЕН-МИДИ — ROGER CHAPELAIN-MIDY (род. в 1904 г.) — французский художник. Статья, помещенная в этом номере, была опубликована во французском еженедельнике «Ар».

ПЬЕР АБРААМ — PIERRE ABRAHAM (род. в 1892 г.) — французский журналист. Главный редактор журнала «Эроп».

Статья «На что живут французские писатели?» прислана автором в рукописи.

ХОРСТ ШЕПОНИК — HORST SZEPONIK — немецкий публицист (ГДР). Статья «Когда мистер Хаули хлопнул дверью...» получена журналом в рукописи.

ЯН ДРДА — JAN DRDA (род. в 1915 г.— чехословацкий писатель и публицист, автор романа «Живая вода» («Živá voda», 1941), сборников рассказов «Немая баррикада» («Němá barikáda», 1946), «Красная Тортиза» («Krásná Tortiza», 1952) и ряда публицистических работ.

Публикуемый материал был напечатан в еженедельнике «Литерарни новины».

ЖУЖА ФЕХЕР — ZSUZSA FEHER — венгерский искусствовед. Ее статья о Короле Раслере получена редакцией в рукописи.

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА **С. А. ДАНГУЛОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. И. АНИСИМОВ, Б. Г. ГАФУРОВ, С. А. ГЕРАСИМОВ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА (отв. секретарь), **Т. Л. МОТЫЛЕВА, Л. В. НИКУЛИН, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Б. И. РОЗЕНЦВЕЙГ, М. И. РУДОМИНО, В. П. ТЕРЕШКИН, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ, К. ЯШЕН.**

Художеств. редактор **М. М. Милославский.** Технический редактор **В. Л. Шачнев.**

Адрес редакции: Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон: В 3-51-47.

А 01537 Сдано в производство 11/XII-63 г. Подписано к печати 9/II-63 г.
Бумага 70×108 1/16=9,0 бум. л.; печ. л. 24,66 Зак. 2270.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

78

ИНДЕКС
70391